95 коп.

14

Индекс 73276



«Нева», 1988, № 7, 1—208

НЕВА 7 1988

ISSN 0130-741X

НЕВА

7 | 1988



НЕВА

Выходит с апреля 1955 года

7| 1988

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал

Орган Союза писателей РСФСР и Ленинградской писательской организации



Ленинград. Издательство „Художественная литература." Ленинградское отделение



ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

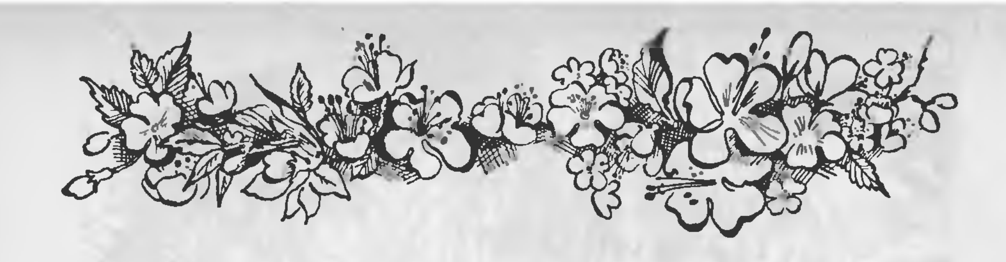
ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

В номере вклейка: «Народный художник СССР Евсей Евсеевич МОИСЕЕНКО. Новые произведения».

На обложке: гравюра Б. СМИРНОВА «Фонтанка у Аничкова моста»



Мария СУХОРУКОВА

◻ ◻ ◻

И совсем не за семью замками —
На открытой полевой меже
Встретились ромашки с васильками,
Сразу посветлело на душе.

А в лесу за ближнею горою
Улыбнулись ягоды грибам,
Сладкою закатною зарею
Прикоснулись к девичьим губам.

И мои обветренные губы
Дух бурьянный горько холодил,
И в комарьи плачущие трубы
Надо мною вечер голосил.

Уводил меня от дивной сказки,
И тогда, разлуке вопреки,
Счастье мне пророчили ромашки,
Небо мне дарили васильки.

◻ ◻ ◻

В лесу так долго пела птаха
И песнь ее была грустна,
А тишь в лугах полынью пахла,
Сверчками плакала она,

И ночь белым-бело росилась
В седом безмолвии луны,
А мне опять война приснилась,
Хоть я не видела войны.

◻ ◻ ◻

Притихли тальниковые кусты,
И голоса гусей на речке смолкли,
Вечерний луг баюкает цветы
Дыханьем одинокой перепелки.

Туманом зябким стелется закат,
Все липнет к зыбке озера лесного.
И закрывают лилии глаза,
Как будто бы страшатся водяного.

◻ ◻ ◻

Зелеными глазами звезды
Горят в небесной синеве.
Скользящим следом от полозьев
Дорога ловит лунный свет.

Одни лишь вербы у обочин
Понуро на ветру скрипят
Да волчьи очи среди ночи,
Как звезды, зелено горят.



Рис. Б. Аникина

Дмитрий ПРИТУЛА



НОЛЬ ТРИ

Роман

11

Отличие бригадной работы от работы в одиночку я понял — вернее, вспомнил, много лет работал именно в одиночку — на том самом дежурстве.

В час ночи диспетчер дала мне вызов — плохо с сердцем — недалеко: семь километров, дачное место.

У калитки стояла женщина в темном платке. Подняв руку, она пошевелила пальцами, так призывая следовать за ней.

Покуда мы проходили садом да долгим каким-то двором, да всходили на крыльцо — не парадное, а крыльцо к пристройке — я пытался расспросить, что случилось да к кому вызов. Но женщина молчала, что меня чуть даже и рассердило — показалось, что молчит она демонстративно.

Но когда мы вошли в скудную комнатеху, и она включила тусклую лампочку, и когда я увидел синеватые ее губы, испуганное лицо, и когда услыхал ее дыхание, я понял, что два дела разом — идти и говорить — она просто делать не в силах.

— А вы почему не лежите? — вкрадчиво спросил я, обрывом сердца почувствовав, что предстоит тяжелейшая работа.

— Некому.

— А хозяева? Вы же на даче.

— Пустили... с условием... беспокоить по ночам... не буду.

— У вас были инфаркты?

— Два.

Я уложил ее в постель и на ходу пощупал пульс и приблизительно, без часов определил, что лупит под сто восемьдесят.

Вот тут секундная — и непременная у меня — растерянность. Ну, топтание на месте — то ли бежать за аппаратурой, то ли раскладывать сумку.

— Секунду! — сказал я.— Сейчас.

И побежал — узким проходом между домом и сараем, двором, садом — к машине. И на бегу лихорадочно соображал, а что делать? Так-то, по правилам, могу вызвать бригаду. Но пока они приедут. Если, конечно, они на месте, что вряд ли, дачное время, накат белых ночей, отчего-то сердечники не любят белые ночи, есть в них что-то нездоровое. Ладно, постараюсь справиться. Плохо, что в таком случае и четырех-то рук мало — кислород, вены, кардиограф. Ладно, кардиограф потом.

Но прихватил и кислородный аппарат, и кардиограф, и опять же бегом, бегом.

А женщина-то сухонькая — вернее, изможденная долгой болезнью, да и лет ей немного, всего шестьдесят, и лицо у нее землистое, и глаза уже не испуганные, а безнадежные, она потратила последние силы на ожидание машины и проход по двору, и вот, дождавшись меня, вытянувшись вольно на кровати, она вовсе уплывала.

Ей бы хоть сесть для облегчения дыхания и ноги опустить в теплую воду. Но уж, видно, смирилась с тем, что уплывает, и воля исчезла.

Окончание. Начало см.: «Нева», 1988, № 6.

Ах ты, мать честная, а в легких-то отек начинается, а мерцательная аритмия сто восемьдесят, а давление восемьдесят на сорок, а вен — что самое плохое — нет вовсе. Так что меня бросило в позорный пот.

Но тут включился счетчик некоторой выучки, и уже далее я работал привычно.

— Дышать, прошу вас, дышать. Соберитесь, прошу вас. Ну, прошу,— уговаривал я ее, пропуская кислород через спирт.— Ведь лучше, верно?

Она устало моргнула.

— Что вам помогает при аритмиях? — спросил я, кончив давать кислород.

— Вроде изоптин.

Набрал несколько шприцев лекарств. Но вен-то нет. Я пытался попасть наугад, но все впустую. А она уплывала снова, и уже не могла удержать руку на кровати, и рука бессильно свесилась. А кровать была низкой, и кисть касалась пола.

Тогда я рухнул на колени, но так было неудобно, и я сел на пол, но и так мне никак было не подловить вену, и тогда я лег на живот, и как-то уж, чуть даже ползая на пузе, все-таки сумел зафиксировать кисть и поймать тонкую венку между указательным и средним пальцами.

Осторожно снял жгут и начал медленно вводить шприц за шприцем. Начал чувствовать, что рука уже не безжизненная, но женщина удерживает ее в нужной позиции.

— Ну, легче? — спросил я с надеждой, но уж и сам видел, что легче: и давление чуть поднял, и пульс стал реже, и хрипы в легких исчезли, и уменьшилось удушье. Даже губы порозовели.

Это уж, скажу честно, мне просто повезло.

— Вы сейчас будете спать — я ввел морфий и седуксен, но еще пять минут потерпите.

Мне надо было сделать кардиограмму, и я установил аппарат. Но во времянке не к чему было присоединить заземление, и тогда я вышел во двор.

Хоть замечал, что наступило прозрачное утро, что дом стоит на берегу залива, и залив сверкает в розовом рассвете, и даже видны на горизонте неподвижные лодки, глаза мои суетливо искали какую-нибудь железяку. И нашли — ржавый лом. Я воткнул его во влажную траву под окном и приспособил к нему зажим заземления.

Быстро, не прося больную задерживать дыхание, снял кардиограмму. Рассмотрел ее — да, старые инфаркты, да, ишемическая болезнь, да, мерцательная аритмия, но свежего инфаркта не было.

Я собрал шприцы, положил в карман пустые ампулы, за которые следует отчитаться, заполнил листки, еще раз осмотрел больную — спит глубоким сном, и данные, пожалуй, привычные для нее.

И тогда я ушел. И когда вышел во двор (в руке сумка с лекарствами, на одном плече сумка с кислородом, на другом — электрокардиограф), и когда я глубоко вдохнул воздух раннего утра, и когда я услышал в саду беззаботное пение птиц и увидел полыхание края солнца, меня зашатало так, что я прислонился к дощатому сараю и так простоял несколько секунд, привыкая к невозможной, нестерпимой красоте раннего утра.

Потом, вовсе обессиленный, поплелся к машине.

Вспомнил, что хозяева так и не появились — твердо выполняют соглашение по сдаче комнаты внаем,— не затрудняют друг другу жизнь.

Шофер был весел — он выспался за те два с половиной часа, что я крутился у больной. Халат мой был серый, с несколькими каплями крови. Я был обессилен, но под углями усталости чуть томилась слабая искорка удовлетворения — повезло, выкрутился, спас.

Рухнул на топчан. Диспетчер Зина, посмотрев листки, поняла, что за работу я делал, и дала немного поспать.

Да, а человек, как известно, существо конформное, то есть он быстро привыкает и к хорошему, и к плохому. К хорошему, разумеется, быстрее. Но да это ладно — это уж я шибко глубоко хватаю.

И я довольно резво привык к работе в одиночку, собственно, у нас бригады-то организованы всего пять лет назад. А до этого я же пятнадцать лет не в вольных струях эфира парил.

Привык. Тем более, что на нашей «Скорой» нет разделения на скорую и неотложную помощь, как в больших городах. Все, на что вызвали — наше. И не меньше половины вызовов не для «скорой», а для «неотложки» — температура у взрослого повысилась, сделать укол онкобольному, перевозка, все такое.

А это уж совсем другое дело. Тут не надо заранее собирать волю, подбираться в предчувствии тяжелой работы. Нет, все сравнительно просто, в сущности, на одной выучке, не включая коры.

То есть вызовов больше, чем в бригаде, но нервной и сердечной траты на каждом вызове меньше, по кругу одно на одно и выходит — по усталости в конце смены.

Но вовсе привык к работе линейного врача в ближайшее воскресное дежурство. Про себя я называю это — сделать большой круг, то есть проехать по периметру две трети района.

Правда, сперва я привез в хирургию больного, который выпал из окна второго этажа.

Это был сорокалетний дородный, короткошеий мужчина с лицом, как блин, которое достойно покоилось на груди.

С утра мужчина затеял — причем, в трезвом состоянии — забавную такую игру: высовываясь из окна, он плевал в прохожих, стараясь, разумеется, в них попасть. А было, напомню, воскресное утро, люди спешили в кино или на рынок — много народу, хорошее поле действия.

Так он высунется из окна и плюнет. Если попадет — радуется, если промажет — огорчается. Это понятно. И вот он высунулся из окна слишком уж ретиво, да и вывалился.

Но сумел сгруппироваться и приземлиться на ноги. Однако его потянуло вперед, и он подбородком клюнул телефонную будку. И вот — перелом нижней челюсти.

— Ну, ровно ребенок,— приговаривала жена, рассказывая мне про игру, затеянную мужем.

В ее голосе не было осуждения, а так — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы воскресным утром у пивного ларька не торчало.

Я наложил повязку, держащую челюсть в одном положении, да и отвез этого блиннолицего мужчину в хирургию.

По дороге, помню, пытался понять психологию этого мужчины, но ничего внятного не придумал.

А потом как раз и начался большой круг. Меня отправили вдаль, за пятьдесят километров. Конечно, знал, что это надолго — жара, дачное время, так просто из района не вырваться, и потому перед выездом внеочередной раз перекусил.

А шофер Гена дежурит всего третье дежурство, новый человек, стесняется разговаривать с пожилым незнакомым доктором, и я помалкиваю, а тридцать километров ехать берегом залива, а люди купаются, играют в волейбол, а воздух сухой и дышится легко.

И ты потихоньку погружаешься в свои заботы, да так и покачиваешься в них. Вот чем сейчас занимается Павлик? Небось, пошел на пруд прыгать с веревки, привязанной к сосне. Порешал ли он сегодня примеры? Еле вытянул по математике на четверку, струхнул, понятно (прежде не было у него четвертных троек, да и эта четверка оказалась единственной за год). Поклялся хоть полчаса в день заниматься математикой — прорезалось у мальчика честолюбие, хочет стать первым номером в классе.

Через три дня Павлик вместе с Надей уезжает. Это постаралась лучшая Надина подруга, наш профсоюзный лидер, подкинула путевку в пансионат «Мать и дитя».

В отпуск — к тетке в деревню — уезжает и Наташа, так что месяц мне куковать в одиночестве.

Вот такие простейшие соображения перелистываешь, покуда едешь в нужную точку. Быстро обслужил вызов и к рации. Если рация не достает, ищешь, у кого в деревне есть телефон. И диспетчер передает тебе ходку в следующую деревню.

Детский вызов. Одинокий дом в лесу. И на дороге нас встречала молодая женщина.

Уже это меня порадовало: дом найти было нетрудно — он у дороги и один. Мы могли задержаться на предыдущих вызовах, но женщина стояла и ждала нас.

Тут надо сказать, что мнение, что мы обслуга и обязаны приехать в любом случае, проникло довольно глубоко в самые различные слои населения.

Встречают нас очень редко. А уж ночью почти никогда. А что легко доступно, то, видно, мало и ценится, и к этому нужно относиться соответственно, то есть как ко второму сорту.

Помню, прошлой зимой я больше часа искал нужный дом, а ночь, а деревня спит, и на наши гудки никто не выходит, а мороз, и снег глубок, я же в пальтеце, накинутом на халат, и в полуботинках, да проваливаюсь в снег по колено. А уехать не имею права.

Наконец кто-то сжалился и вышел к нам, да повел через овраг, а я в темноте, ахая, все проваливался в снег, а здоровенный мужик, ведущий меня, не сообразил взять не только легкий кардиограф, но и тяжелую сумку. То есть мне бы, конечно, сунуть ему в руки сумку, и он, возможно, с удовольствием понес бы ее, но уж больно я был обижен на эту деревню. Потом уж я сообразил, что мужчина, поди, не предложил помощь, боясь, что я не доверю ему столь драгоценную сумку и столь хитроумную технику.

Пришли. Ни огня. Дом спит. Наконец, достучались. Застучало, захрипело, загрюкало. Расспросы. Удивление. А маме было плохо, я дала ей таблетку, стало лучше, теперь спит. А что ж вы не позвонили нам и не отказались от вызова? А телефон далеко. И это я могу понять — телефон далеко, темно и холодно, и чего ходить, если лекарь и сам подъедет, я ему все и объясню.

Я был так зол, что даже не стал накаляться. Я осмотрел старушку, которая тоже была недовольна, что я ее разбудил, велел пить таблетки далее и уехал.

Я всегда внушал молоденьким фельдшерам, что мы обслуга, и больной — как покупатель или посетитель ателье — всегда прав. И если лекарь конфликтует с больным, он поступает неумно — больной всегда прав. Он редко-редко бывает неправ.

Он неправ, если ночью в глухой деревушке не встречает «скорую помощь». Он неправ, если вызывает «скорую» — у него повысилась температура — и обижается, когда диспетчер советует ему принять таблетку аспирина, а потом, если не поможет, позвонить снова. Еще он неправ, обижаясь на диспетчера, когда она подробно расспрашивает, что болит, да сколько лет, да кто вызывает (перед диспетчером бумажка, которую она должна заполнить, чтоб сообразить, кого послать — бригаду ли, педиатра, фельдшера).

И еще он неправ, когда вечером говорит диспетчеру, что у него температура тридцать девять градусов, а когда я приезжаю, отмотав тридцать километров, оказывается, что тридцать семь и три. Лечение ему не нужно, а нужен больничный лист — у него вечерняя смена,— и тут больной неправ, полагая, что я этот больничный лист выдам.

И еще, если он не хочет приглушить телик, когда я слушаю его мать, он тоже не совсем прав. Даже если идет многосерийный детектив.

И он неправ, когда выпивши пытается вытереть свои не совсем чистые руки о мой сравнительно белый халат.

Больной редко-редко бывает неправ. Он неправ, если думает, что все это бесплатно и что кроме него ну никто более не болеет. А пока я ахаю в темном овраге, у Марии Васильевны Курослеповой мерцательная аритмия перейдет в сердечную астму.

А так-то больной, несомненно, всегда прав.

Но когда тебя встречают, ты все равно умиляешься.

А молодая женщина была круглолица, улыбчива и необыкновенно приветлива. Она была так хороша, что мое сердце кувыркнулось от умиления.

И дом был большой, и двор большой, и гуляли куры, и к столбику была привязана коза, и стояли два больших сарая — двор, каких я давно уже не видел.

И удивительно: у этой молодой женщины было трое детей. Но что более всего сразило меня — в воскресный день, в шесть часов вечера муж ее, молодой парень, был дома и трезв. И что характерно, по лицу его я понял, что трезв он был и вчера, в субботу.

Первое, что сделала эта женщина — что бывает так редко, что по пальцам нетрудно счесть — спросила, а не голоден ли я после дальней дороги.

— Я обедал. А вот шоферу вы не дали бы стакан молока? — спросил я, понимая, что порадую хозяйку.

И точно: она даже затанцевала от удовольствия. И выбежала, и ввела смущенного шофера, и предложила ему яичницу. И она поджарила яичницу на свином сале, и когда Гена съел эту яичницу в шесть, поди, яиц, он захмелел от сытости.

А хозяйка велела мужу покормить поросенка, и тот сразу и привычно, без неудовольствия, согласился.

Я осматривал трехлетнюю девочку — у нее температура тридцать семь и пять — и говорил, что надо делать.

— А то они у меня еще не болели,— объяснила женщина, почему она нас вызвала.

И тогда ко мне, задрав майку, подошел пятилетний сын хозяев и попросил, чтоб я послушал его тоже. И я послушал его, а заодно и годовалую его сестренку.

Я спросил, откуда они приехали. Из Западной Белоруссии. Их звали Устин и Юлия. Парнишка служил в этих местах, женился на местной девушке, увез ее к себе, а когда умерла мать Юлии, они перебрались сюда. Устин — механизатор в лесхозе, Юлия сидит с детьми.

— Никого ведь нет. Все сами.

А потом она проводила нас, на прощание сказала:

— Вы уж простите нас. Уж спасибо так спасибо.

И покуда видно было, она махала нам рукой. И меня даже легкая сентиментальная зависть кольнула: счастливчик Устин, работать, растить троих — а потом и более — детей, любить красивую жену — да чем же не счастливая судьба? Да нету доли лучше.

— Я никогда такой яичницы не ел,— все восхищался Гена.

— Это потому, что мы с вами едим магазинные яйца.

— А вот то, что я ел, это и не яйца вовсе, это что-то другое.

— Пожалуй, это все-таки яйца. А вот то, что мы с вами едим, это что-то другое.

А дальше пошла цепь вызовов, связанных один с другим. В том смысле, что всех больных пришлось забирать.

Сперва посадил в машину женщину с болями в животе. Боли начались три часа назад. Вроде бы аппендицит. А может, и гинекология. Оставить на месте не мог. Женщина, понятно, отказывалась, даже и расписку предлагала, но я упрямо напирал — вызов дальний, и ночь впереди.

Потом был пятидесятилетний крепкий тракторист с переломом предплечья. Вчера упал на руку, зацепившись за порог.

— Боль сразу появилась?

— Ну да.

— А отекать начало сразу?

— Это конечно.

— А чего нас вчера не вызвали?

— А думал — пройдет,— это после некоторой заминки.

Тут было понятно, почему нас вызвали сегодня, а не вчера. А выпивши был — дело нехитрое.

Какое же человек существо сноровистое, он любой закон пытается приспособить к себе половчее. Вот этот мужчина — довольно симпатичный, крепкий,

жилистый — сейчас получит на пять дней бытовую справку, а потом уже пойдет больничный лист с полной оплатой.

А вызови он меня вчера, я бы поставил диагноз перелома, а потом, после запятой — алкогольное опьянение. И все — по новому положению он не получит ни копейки. Как только это положение ввели, нас на пьяную нетяжелую травму стали вызывать на следующий день. И все говорят одно: а думал, что пройдет.

— А вчера не выпивали? — на всякий случай спросил я.

— Ну, что вы, что вы,— он даже обиделся от одного предположения, он даже руками замахал,— ну, какой обидный вопрос.

Да, но в углу стояли две пустые бутылки из-под бормотухи. Мужчина поймал мой взгляд, нахмурил брови на жену и, пока я шинировал его руку, а также чтоб заполнить неловкое молчание, рассказал короткую историю.

Лекарство от сглаза

Так-то я здоровый человек и ездить в больницу терпеть не могу. В вашу поликлинику езжу только на осмотры. Как-то нас повезли в автобусе, а шофер торопился назад. А нужно было кровь сдать. Я и попросил у очереди пропустить меня — автобус же уходит. Очередь глухо поворчала, а одна тетка как вцепится в меня, мол, за бутылкой можете час стоять, а тут не подождать десять минут. Злая, в общем, тетка. А я ей говорю, да что вы злитесь, разве ж это полезно для здоровья. Так я заболеть недолго. Печенка, к примеру, лопнет. Я ведь ей почему про печенку сказал? А сосед у нас был с такой присказкой — не сердись, печенка лопнет.

Ну вот. Я и забыл про этот случай. А в прошлом году снова нас повезли на осмотр. Сдал я пальто, номерочек успел положить в карман, а вдруг ко мне подходит незнакомая женщина и начинает меня трясти, как яблоньку. А лицо сияет от счастья. Да вы что, тетя, обалдел я. Мужчина, говорит тетка, я вас долго искала, вы меня сглазили, сказали про печенку, и она через месяц заболела. Где я только не была, ничего не помогает. Знахарка сказала, что это от вашего сглаза. И пока вы меня не простите, сглаз не пройдет. Так простите меня, мужчина, это я вам по глупости нахамила, а так-то характер у меня не хамский.

Ну, мне-то что, я, понятно, ее и простил. Так женщина даже адрес у меня взяла, чтоб подарок прислать. Если, понятно, пройдет сглаз. Ну, подарок — это она хватила, а вот два раза открытки к праздникам присылала, а исчезла у нее болезнь.

Значит, машина помаленьку начала заполняться. Женщина лежала на носилках, мужчина с вытянутой вперед зашинированной рукой сидел на боковом сиденье.

Мы ехали со средней скоростью, то есть так, как позволяли дороги, и я думал о том, что это уж судьба практикующего медика — слушать разные истории, иногда самые невероятные.

Вот я здесь излагаю лишь малую часть того, что вижу и слышу. А потому что возьмись я вспоминать все, что видел и слышал за двадцать лет работы, конца бы этому рассказу не было никогда.

Оно и понятно, что в этих историях есть некоторая однобокость, а радостных, поднимающих человека ввысь историй так и нет вовсе, но как может быть иначе, если у меня такая работа.

Регистратор ЗАГСа рассказала бы тьму историй про высокую и счастливую любовь, вот девушка ждала парня много лет, и теперь играет пластинка со «Свадебным маршем» Мендельсона, и, говоря о наших девушках, регистратор непременно заметит, что какие же они красивые, да в белых платьях, да мытые до блеска, и как пары, вступающие в законный брак, любят друг друга.

А судья районного суда расскажет, как эти же самые пары через три года разводятся, и с какой страстью делят они имущество и метры казенной площади, и с каким омерзением говорят о спутнике жизни.

О! У каждого человека своя картинка жизни, и только сложив все картинки вместе, можно получить хоть сколько-нибудь напоминающий правду оттенок жизни. Но для этого нужна иная голова, иной ум.

Свою же задачу я нахожу в том, чтобы показать, что же я такое вижу со своей колоколенки. Она невысокая, с нее не так уж далеко вокруг видно, но все

же она чуть возвышается над ровным местом. И с нее видно некоторое горе, и болезни, и всякую беду, с ними связанную.

Это потому, что я не пытаюсь красиво, хоть и несколько картинно прикрыть глаза ладонью — о! не вынести столь печального и хрупкого зрелища жизни, мной обозримой,— но лишь хочу я видеть то, что вижу, и не сообщать того, что не попадает на мои глаза.

Доктора не зовут на пир жизни, на буйство, можно сказать, красок этой жизни, на счастливые взлеты ее и на связанные с ними праздничные мероприятия. Его еще покуда не звали, чтоб сказать — я вызвал вас потому, что счастлив сегодня, так пожелайте мне, дорогой доктор, чтоб счастье это было вовсе бесконечным, и поднимите за это красивый такой бокал и выдайте тост, чтобы все застонали от вовсе уже непереносимого счастья, и чтоб от истины ходячей, сами знаете, всем стало больно и светло.

Но вижу я инфаркты, которые редко бывают в переизбытке счастья, и вижу я травмы, которые редко случаются с людьми незапятнанной трезвости, и вижу я счастливых людей, но только в ту минуту, когда их счастье разбито бедой на мелкие стекляшечки.

Поэтому и наблюдается некоторая однобокость в моих рассказах.

Случись, к примеру, мне рассказывать о семейной жизни, тоже однобокое может выйти представление. Что-то не вызывают нас для того, чтобы порадовать долгим миром и счастливой улыбкой, нет, вызывают нас в случае семейной войны, вернее, последствий этой войны, как-то: побои, разбитая голова, стенокардия после очередной ссоры.

Или вот я могу вспомнить случай, когда женщину, лет тридцати, мы несколько раз привозили в терапию. Она, пожалуй, любила мужа, но после каждой ссоры с ним пыталась залезть в петлю. Причем делала это не очень-то всерьез, а чтоб только припугнуть мужа. Вот она соорудит устройство, встанет на табуретку, а услышит, что муж дверь открывает (жили они в коммуналке), толкнет табуретку ногой. Всего несколько секунд и висела. Но муж с полгода ходит как шелковый.

Но однажды он услышал стук упавшей табуретки, однако вбегать не стал, напротив того, покурил на кухне, да побалакал с соседкой, а когда вошел, было поздно. Мы уже ничего не могли сделать.

А вот и противоположный случай. Я никогда не забуду пожилого мужчину, жену которого вез в терапию с инфарктом. Несколько раз, когда я шел на работу, встречал этого мужчину (он всю ночь сидел у постели жены и теперь, когда начался утренний обход, шел домой немного отдохнуть).

Однажды он с блуждающей какой-то улыбкой сказал мне, что жена его только что умерла, и смиренно добавил, что и ему теперь нечего задерживаться (они никогда не разлучались, даже когда его отправили на Север, она все годы жила там, где работал он).

И через несколько дней умер от инфаркта. Не отбивался от лечения, а только понимающе улыбался. С одной стороны, зачем мешать людям делать свое дело, с другой же стороны, работа эта в его случае вовсе бесполезна — что может помешать человеку в его страстном желании последовать за своей любимой женой.

То есть получается, какие картинки я ни показываю, они получаются не слишком веселыми. Но тут простейшее оправдание — такими я их вижу. Вот и весь сказ. А иными их покажет иной человек, что устроен так счастливо, словно у него в глазу, как в давней сказке, стекляшечка, волшебная призмочка, любые картинки превращающая в беспредельную красоту и гармонию.

Но то задачка для волшебников.

Тут мы выехали на пригорок, включилась рация, и ее пронзительный звук прервал мои нехитрые рассуждения. Я получил новый вызов — в большую деревню, в знаменитый совхоз.

Новый пятиэтажный дом. Однокомнатная квартира на первом этаже. Битые стекла, пустые бутылки, сдернутая со стола на пол скатерть, остатки пищи на полу — привычная картина пьяного разгрома. Два дружинника

с повязками, на стуле плачет молодая женщина, на полу сидит паренек, правой кистью намертво сжимая левое предплечие.

Тут история такая. Молодая женщина поехала в отпуск к тете в Воронежскую область, там познакомилась с этим вот пареньком, и он высказал большое желание перебраться сюда. И, понятно, жениться. И перебрался.

Решили было уже заявление подавать, да женщина поняла, что жених ее, как выпьет в субботу, так его тянет на скандал. И не то что рядовой скандал, а всякий раз норовит поколотить свою невесту. Она и думает, что если он сейчас синяки ей наставляет, то что же будет потом, когда он станет законным человеком на этой вот жилплощади. Ну и говорит ему, а вали-ка ты, дружок, обратно, не состоялась у нас с тобой любовь. Сегодня она сказала, чтоб завтра его духу здесь не было. Домой возвращаться ему неохота, а в совхозе не зацепиться — люди же видят птицу по полету, кто ж его здесь примет.

И вот сегодня он устроил скандал, запустил в невесту вазой (а ваза дорогая, от мамы осталась), поставил очередной синяк, сдернул со стола скатерть, но поняв, что перегнул палку, стал перерезать себе вены на предплечье.

Но делал это, изнемогая от жалости к себе — вена цела, хотя кровь немного просочилась. Женщина вызвала разом и милицию, и «скорую помощь».

Я смазал ранку иодом да и забинтовал. А женщина рыдала в углу — молодая симпатичная женщина.

— Тише, Танечка, не плачь...— начал паренек.

— Вас в самом деле Таней зовут? — зачем-то поинтересовался я.

Женщина кивнула.

— Сдашь бутылки,— продолжал паренек,— купишь мяч.

Это четверостишие я знал от Павлика. Две первые строки: «Наша Таня громко плачет — пропила последний мячик» — несомненный пример сближения двух культур, городской и деревенской.

— Я здесь больше не нужен,— сказал я.— Откуда можно позвонить?

— А подвезите нас до пикета, оттуда и позвоните,— сказал дружинник.

Но тут паренек кочевряжиться, вопить — а не пойду в пикет, однако его дружинники под ручки и втолкнули в машину, а он все вопит и вопит.

Господи, думал я, ну до чего же мы, «Скорая помощь», не любим пьяных. Скорее это даже ненависть. Даже не потому, что дают нам лишнюю работу. Хотя и это тоже. Но они дают такую работу, что ты всегда можешь промахнуться. Вот он спит с надсадным хрипом, а ты ломай голову, он пьян или без сознания. Или же он возбужден, и ты никак не сообразишь, это от алкоголя или от травмы.

А этот пьяный кураж, ты его обрабатываешь, а он, как было уже сказано, норовит вытереть о твой халат свои в крови и грязи руки или же, отбиваясь от тебя, норовит в тебя же и плюнуть.

Года два назад мужчина не давал осмотреть себя, а у меня не было времени на долгие разговоры — субботний вечер, работа ждет — и я прикрикнул на него. Так жена говорит с укором, мол, вы уж с ним поласковее, он же доцент. Тут я нашелся, ответил, что это завтра он будет доцентом, сегодня же он ползает на четвереньках.

И когда у пьяного начинается особенный кураж, тебя прямо колотит от ненависти. Но, разумеется, приходится сдерживаться — человек же, а как иначе, к тому же у него травма или сердце схватило.

Но надолго моего разгона не хватило — до пикета было метров триста.

Приехал на станцию, а все, как и положено в воскресный вечер, в разгоне. Только поужинал, Зина приготовила мне новый вызов.

— Поезжайте, Всеволод Сергеевич, бригада на вызове, педиатр в другом конце,— она, конечно, понимала, что это значит — сделать большой круг, потому голос ее был просительным.

— А что там?

— Годовалый ребенок задыхается.

— Ложный круп? — спросил я, и сердце оборвалось от предчувствия беды.

— Да. Он с трахеостомой.

— А где ставили трубку?

— В областной больнице.

— Туда везти?

— Да.

— А возьмут?

— А куда денутся?

— Тоже верно.

Я вскочил в машину.

— Ну, Гена, на вас смотрит вся Европа. От вашей скорости зависит жизнь ребенка.

Я редко прибегаю к столь высоким словам, и Гена это понимал.

Мы помчались.

Уже в прихожей понял, что дела плохи — слышно было, как надсадно, с хрипом дышит ребенок. На ходу отец ребенка рассказал, что два месяца назад у мальчика развился ложный круп, спасли чудом, но в больнице пришлось в трахею вставлять трубку, другого выхода не было — ребенок погибал. Витя, год и пять месяцев.

Он и сейчас дышал с трудом и вяло всплакивал. А лицо голубоватое, почти прозрачное — дыхательная недостаточность. На полу стоял электроотсос, чтоб в трубке не скапливалась мокрота.

— Из-за чего тогда круп развился? — спросил я.

— Не то пневмония, не то аллергическое,— ответил мне отец мальчика, лет двадцати трех парень, с мягким светлым лицом и тихим ненадрывным голосом. Он был встревожен, но вполне владел собой.

Я послушал мальчика.

— Отека легких нет? Пневмонии нет?

— Отека нет. И пневмонии тоже. А вы медик?

— Нет, я механизатор. Просто с Витей лежал в больнице. Вот обучили всему,— показал он на электроотсос.

— А мать что же?

— Так у нас еще и девочка.

Только тут я заметил, что у стенки детская кроватка, а у кроватки стоит молодая красивая женщина. Но она в разговоры не вступала — и в больнице с сыном лежал отец, и все дальнейшие хлопоты на нем.

Они были повязаны, отец и сын, такой незримой нитью, что стоило отцу отойти от сына, как мальчик начал плакать. Только отец подошел, мальчик успокоился.

А парень был ловок, сноровисто подключил отсос и поднес к трубке, вставленной в трахею, и сказал:

— Нет ничего,— и успокаивая, губами коснулся лба ребенка.

Мать не вмешивалась, она следила, спит ли четырехмесячная дочь — слишком яркий свет в квартире.

— Поехали,— сказал я.— Кто со мной?

— Я,— ответил отец ребенка, даже удивляясь, что я могу сомневаться.

Он быстро и сноровисто одел мальчика и еще раз поднес отсос, а мать молча смотрела. Так что у меня даже подозрение возникло, что она смирилась, что однажды круп удавит сына, и все душевные силы направила на младшую дочь. А отец, о нет, он не смирится. Как, надо сказать, и я. Я не мог бы вслух сказать, что ребенок не жилец, а если и жилец, то судьба его горчайшая. И мне очень нравился отец мальчишки, заботлив и сдержан; и можно было только догадываться, чего стоит ему эта сдержанность, и какие страхи, какие взрывы любви к сыну происходят сейчас в его душе. Но они повязаны нитью, и чтоб не испугать сына, он вынужден сдерживаться.

Как нежно коснулся он губами лба сына, и как осторожно взял его на руки, и как бережно нес по лестнице.

— Гена, с богом!

И мы помчались.

В пепельно-сероватой ночи голубым огнем вспыхивала наша мигалка.

Мальчик дышал сипло, но не задыхался — свист трубки был чист. Отец положил его на носилки, и вовсе неестественно согнувшись, опустил голову рядом с головой сына. Они заснули.

Боже мой, как гнал Гена! К счастью, дорога была сухая и почти не было встречных машин. И я молча произносил похвальное слово нашим шоферам. Ну, положим, Гена — человек новый, но большинство из них работает много лет, то есть прижились, и это отличные и надежные люди. Разумеется, говорю только о тех, кто прижился. А случайные люди уходят сразу. Хлеб тяжелый, работают, как и мы, по десять суток, но почему-то держатся за этот хлеб, хотя есть хлеба и полегче.

Они могут поскрипывать на несправедливость диспетчера, когда та посылает их вне очереди, и на начальство, когда дают мало бензина, но в случае серьезном, как сейчас, они ловки и надежны.

А вот и Нева, пустой город, вот улица Комсомола, узкие проезды, ловкие маневры Гены — приехали.

Я тронул отца ребенка за плечо, молча показал ему будить мальчика и идти за мной следом, а сам выскочил из машины, нетерпеливо дал долгий звонок, и когда стукнул засов, не слушая расспросов всклокоченной санитарки, проник в приемное отделение.

— Свистать всех наверх! Педиатра! Реаниматолога! Лор! — отдавал я молоденьким сестрам приказания так, словно находился в своей больнице.— Ложный круп!

Видно, они поняли, что я имею право отдавать приказы, и одна из них бросилась к телефону, а другая усадила на кушетку отца с ребенком.

И лишь потом принялись спрашивать меня, почему к ним — они же не дежурят по «Скорой» — и почему не сговаривались заранее.

И тут пришла педиатр — молодая и симпатичная, несколько, правда, широкоскулая и с непроснувшимся лицом. Она, конечно, была испугана, что вот притащили ложный круп, и этот испуг вылился в довольно скрипучие слова:

— Вот только легла. Не дадут поспать! — и это совсем без юмора, но, напротив, с напором злости.

— Представьте себе, мое любимое занятие — возить по ночам детей с ложным крупом,— это я с улыбкой.

— Но ведь не договаривались! — все это зло.

Я привык к разного рода недовольству медиков, что их подняли от сна, от телика, от книги, и никогда не принимаю это недовольство на свой счет, но доктор была молода, и следовало ее осадить. Исключительно из педагогических соображений.

— Нас с вами в институте учили философии. Так вот, истина всегда конкретна. Это Гегель. Из конкретной деревни звонить конкретно вам, это все равно, что звонить на Луну. К тому же трахеостому ставили у вас.

Она мгновенно все поняла — и что я нахрапистый говорун, и что взять ребенка она обязана, и что я все равно не уйду.

А я не ушел бы ни за что — искать дежурную по крупу больницу, когда действие лекарств в любой момент может кончиться — нет, я бы не ушел.

И она это поняла, и так же спиной обозначила презрение к этому пожилому нахалу — ему бы только спихнуть, а им теперь крутись всю ночь — и она пустила в ход последний ход:

— У нас нет дежурного лор-врача!

— А вы его вызовите,— с улыбкой побил я и этот козырь.

Тут пришел красивый молодой парнишка — очки-«дымка», красивые усы — реаниматолог. И тоже с упреками, почему не договаривались.

— Это примерно, как если перед вашей больницей у человека случится инфаркт, он придет к вам, а вы его упрекнете, что не договорился. Круп, вы же знаете, он нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь.

Парень был не зол, но встревожен — предстояла тяжелая работа, а он, возможно, не имеет должного опыта, по виду — сразу после института. И он не отважился поучать тертого лекаря.

— Удачи! — это я пожелал докторам.— Удачи! — это я отцу мальчишки.

Он чуть приподнялся и благодарно улыбнулся мне.

— Все, Гена! — сказал я в машине.— Весь оставшийся месяц вы можете не ездить, а только иной раз пнуть колесо машины, и в этом случае после сегодняшней гонки ваша работа в этом месяце будет оправдана.

И, отходя от этой гонки, мы медленно поехали по набережной Невы.

Когда я впервые приехал в Ленинград, был конец июня. Это самый накал белых ночей, это серебристое густое свечение, это сжатость дальних пространств, это волшебная восторженность души. Я сразу и безоглядно влюбился в этот город.

Да, но ведь север, и долгие слякотные месяцы, и смог, и ветер, в ноябре и декабре продувающий город навылет. От ветра, как и от одиночества, нет спасения, и с этим городом были связаны долгие годы бедности, подголадывания, одиночества, и дай бог, чтоб набралось двадцать дней в году, когда город красив.

Да, но зато в эти двадцать дней — конец июня — начало июля, первая половина сентября — божественный город, лучшее, что есть на белом свете.

Распахнутость серебристых и золотых просторов, прощальная грусть, беспредельная восторженность — в эти дни он так прекрасен, что случись остаток жизни быть с ним в разлуке, вспоминать станешь не эти дымы, не сквозные ветры, не декабрьскую безнадежность, но свечение легкого серебра, но золотую распахнутость печали, но непокидающее на все оставшиеся дни утешение — ты жил в этом городе, и тебе не так страшно умирать.

Проклятый город — и стойко должен зуб больной перегрызать холодный камень! — божественный город.

Сейчас ночь была тиха и волшебна. Начало светать, и каждая частица воздуха сияла, и где-то вдали чуть угадывалась медная муть солнца, и Нева была неподвижна, и на противоположном берегу смутно проступали купола Смольного. Сияющее легкое дыхание белой ночи. Нежное блаженное время. Фантастический, волшебный город. В тот момент, после трудной работы, я обожал его невозможным захлебом.

12

Может показаться странным, что я как будто забыл про Андрея. О нет, вовсе не забыл. О нем и о Павлике я думаю постоянно. А только за лето Андрей и забегал к нам несколько раз. Все был занят — сперва сессия, потом на месяц лагерь.

Но однажды, в начале августа, пришел торжественный, как бы и довольный собой, и принес вторую часть рукописи — сорок страниц. Особенно не засиживался — хотел, чтобы я поскорее прибился к рукописи.

Разумеется, я прибился в тот же вечер. И не могу сказать, что чтение это уж очень порадовало меня.

Андрей как-то странно построил эту часть повести. Год до восстания рассказал скороговоркой — хватило и пяти страниц, зато само восстание и день перед ним рассказаны подробно. Что, конечно же, объяснимо — главный день в жизни Каховского. И еще бросилось в глаза то, что я заметил и прежде, при чтении первой части: Андрей находчив и раскован, когда у него в руках точные мемуарные данные. Когда же приходится полагаться на воображение, он становится робким, как закомплексованный посредственный ученик.

Хотя, конечно, ход, который придумал Андрей, показался мне интересным: автор рассказывал параллельно, чем занимался четырнадцатого декабря — с утра до встречи на Сенатской площади — два человека, Каховский и Милорадович.

Снова оговорюсь, что это малоблагородное дело — пересказывать своим языком чужое произведение.

Хотя день, проведенный Милорадовичем, рассказан как раз неплохо (об этом дне хорошо рассказано в воспоминаниях Башуцкого, адъютанта Милорадовича).

И Андрей подробно, по Башуцкому, описал, как граф спал на узкой, без боков кушетке, в батистовой рубахе. И какие дурные предчувствия томили Милорадовича утром: ему более не удастся бывать у Катеньки Телешовой, прелестной танцовщицы, он слишком рано войдет в траурную залу и только один вот этот перстень (кивнул граф на перстень) ляжет с ним в могилу.

В восемь тридцать Милорадович был в полной парадной форме, грудь его изнемогала от двух дюжин главнейших наших и европейских звезд и крестов (причем Андрей их перечислил), и был граф в голубой андреевской ленте (это Андрей подчеркнул дважды, потому что сюда, в эту ленту, Каховский и всадил пулю).

Я успел загадать, удержится ли Андрей от иронии по поводу Телешовой, опустит ли он вообще это место. Нет, спекулятивный оттеночек был необходим Андрею — понимание вкусов читателя. Нужны ведь кое-какие подробности, желательно, конечно, пикантные. Нет, не удержался, не опустил. Как же! Зван на кулебяку! Любил ее со всей горячностью юноши, чистейшая любовь (ну прямо шпарит по Башуцкому), все завидовали и насмехались над ним.

Граф любил приговаривать похохатывая: для меня еще пуля не отлита.

«Отлита, уже отлита!» — восклицает Андрей.

На площади стоят московцы, и перед ними ходят несколько человек в штатском платье. А вон человек в армяке. Тонкое нервное лицо, в карих глазах печаль, нет, не печаль даже, но беспредельная, многовековая тоска (это, возможно, несколько манерно, но ведь первая вещица юного автора). У него непропорционально длинные руки (деталь, думаю, придумана Андреем). Он нервически подвижен, при ходьбе подпрыгивает и странно дергается (тоже, думаю, придумано Андреем). И за пояс заткнуты пистолеты. А в пистолеты уже вогнаны пули.

Да, это Каховский.

Тут время как бы отматывается назад, и Андрей описал, как Каховский провел вечер и ночь перед восстанием.

Андрей дал внутренний монолог Каховского в том духе, что одно дело — со всеми вместе, при толпах зрителей, тут роль цареубийцы я сыграю героически, с настоящим выстрелом, со всамделишной кровью, и совсем другое дело — убийца-одиночка. Если Рылеев разумеет меня кинжалом, то как бы он сам не укололся, готов жертвовать собой, но Отечеству, ступенькой же к возвышению Рылеева не лягу.

Вот такой примерно монолог (и каким иным он может быть, если взять из воспоминаний Бестужева?).

Воля, сжатая в пружину до последнего предела. Всю ночь был в нервном возбуждении, но сердце его было легко, как пух. Восторг, необъятный подметельный восторг, ах, какое славное дело ожидает нас, если и придется пострадать, то ведь за Отечество любезное, ах, как хорошо.

Все утро, словно в бреду, вспышками памяти, урывками сознания, и все более сжимается пружина воли, и взрыв энергии возможен в любой момент, вот только бы дотерпеть до настоящего дела.

На площади на Каховском крестьянский армяк, подпоясанный шарфом, за который заткнуты два пистолета и кинжал. Андрей вскользь заметил, что, видимо, Каховский понимал себя вальтерскоттовским рыцарем, и тогда понятен армяк — рыцарь народнее, чем сам народ.

А вот снова Милорадович. Его помяла чернь, и он требует себе лошадь, лошадь эта неспокойна, а граф в седле тяжеловат, и тяжелы его ругательства. И он излишне красиво приподнимается в стременах, и он излишне истово крестится и радостно кричит: «Слава богу, здесь нет ни одного русского солдата!». Забыл, забыл граф, что играет роль отца-командира не на сцене, но в жизни, так это мимоходом бросил Андрей.

И снова человек в армяке с заткнутыми за пояс пистолетами. Пружина его воли сжата до последнего предела, она в любой момент готова распрямиться, и тогда непременно произойдет взрыв.

Да, замечает автор, счастлив человек, который понимает величие текущего

момента, который в точный миг ощущает себя существом историческим, способным хоть отчасти изменить ход истории, этот сладостный миг — вершина человеческой судьбы и счастья.

Я, помню, умилился наивности Андрея, но и позавидовал ему, а это прекрасно, когда человек верит в такой счастливый звездный миг.

Надо заметить, что события того дня Андрей описал довольно изобретательно. То он дает события глазами Милорадовича, то глазами Каховского, то одной-двумя фразами напомнит и о своем присутствии, ну, чтоб показать свое отношение к происходящему.

С замиранием сердца приближался я к главному для меня месту: как Андрей оценит выстрелы Каховского в Милорадовича и Стюрлера.

Вот этот миг: сочувственное солдатское молчание, да они же замерзли в одних мундирах (это внутренний монолог Каховского), сейчас граф уговорит их разойтись, и всему придет конец, и бесславно закончится этот день возможного торжества и восторженного действия. Да можно ли такое допустить?

И в суматошный монолог ярким пятном впечатался Оболенский — после бесполезных уговоров он схватил у солдата ружье и с возгласом «Прочь!» ткнул штыком лошадь графа, зацепив при этом и седока.

И внезапный взрыв Каховского — больше нет никаких преград, и никого не следует щадить, потому что сминается и гибнет Вселенная, и не может быть пощады, если гибнет дорогое сердцу дело. Что будет потом — это во тьме оглушения. Потом не будет ничего (прямо тебе «времени больше не будет»). Есть только сейчас — взрыв воли, ураган, сметающий все на своем пути.

И, подкравшись к лошади, встав к графу вплотную, Каховский выстрелил, и пуля вошла в андреевскую ленту, в левый бок.

И сразу же за суматошным мельканием сознания Каховского наступает странная заторможенность — и все идет медленно, словно против законов природы. И медленно, словно у барышни перед обмороком на провинциальной сцене, падали руки графа, и медленно же, заторможенно перегибалось туловище.

Но сразу затем включилась привычная скорость, и раненая лошадь рванулась, ноги Милорадовича тяжело брякнули шпорами о землю, и Башуцкий едва успел принять на себя потяжелевшее тело графа.

А далее, словно в каком-то немыслимом мелькании — приход лейб-гвардейцев, и выстрел Каховского в Стюрлера, их командира, а потом — распад, угасание дня, крушение надежд.

И сухая информация. Ночевал Каховский у Кожевникова, пятнадцатого утром поехал к себе домой — у Вознесенского моста, гостиница «Неаполь», в доме Мюссара, откуда днем пятнадцатого был казаком увезен в Зимний.

И я понял, почему, по Андрею, Каховский стрелял в Милорадовича. Объяснение общепринятое и привычное: иначе нельзя было спасти восстание.

То есть это был революционер, который ради высокого мог отдать собственную жизнь. Да, характер у него был взрывной, неуправляемый, но ведь революции нужны и такие люди. Каховский мог, конечно, стать и цареубийцей, но лишь как член революционной организации.

Странное у меня было ощущение после чтения этой части повести. Вроде бы все описано изобретательно, без ученической тусклости, а некоторые места так и просто хороши — вот мне, к примеру, понравилось это медленное перегибание туловища Милорадовича и бряканье шпор (именно бряканье), да и поведение Каховского, перепады его настроения описаны не худо, а местами даже умно, однако отчего-то не было во мне радости. Напротив — сидела во мне легкая, едва уловимая обида. Так бывает, когда улетучится очередная надежда.

Потому что повсюду чудилось мне авторское лукавство.

Но это подозрение я отбросил — все мы строги к чужой совести, к своей-то, небось, менее строги.

Что меня порадовало в Андрее, когда мы встретились с ним на следующий день? А в нем появилась уверенность в себе. Он уже не трепетал от страха. Что и понятно — кое-чему научился за несколько месяцев работы и, естественно,

появилось самоуважение. К тому же впервые он делал что-то такое, чего я никогда не делал. Два его очерка не в счет — это компиляция, которая, конечно же, и мне по силам — это он понимал. Повесть — дело другое. Читая посредственную вещицу, каждый из нас говорит, а и я так могу, только жаль время тратить. Думаю, это ошибка. Попробуй — не выйдет. Это только кажется, что несложно.

Теперь я уже не боялся сбить парнишке руку — он разогнался и уверен в себе — и сперва прошел по фразам, которые мне не понравились.

Андрей со мной согласился — доверяет моему вкусу, что приятно.

— Главное вот что, Андрей. Тебе мешает то, что ты историк. Когда описываемое тобой подтверждено документами, мемуарами, ты волен, раскрепощен, и тогда интересно. И я ясно вижу, что происходило в тот день. Когда же нет материалов, ты становишься сухим, и тогда скучно. Милорадовича ты писал по Башуцкому, и я все картинки вижу. Каховский же у тебя бледен. Будь вольнее, ничего не бойся. Прости за цинизм — будь не только смелее, но и бесстыднее, ты же писатель.

— Да, вы правы, Всеволод Сергеевич. Боялся обжечься. Вроде протяну руку и сразу отдерну.

— Вот сейчас у тебя пойдет следствие. В чем был Левашов? Николай? Ты почему-то не описал, как к восставшим шли священники. У всех это красиво описано: морозец, ясный день, горят кресты, панагии — красиво.

— Вот потому и не описал, что красиво,— легко засмеялся Андрей.

— Это убедительно,— сразу согласился я.— А теперь поговорим о некоторых принципиальных вещах. Конечно, описывать весь тот день подробно — не входило в твою задачу, к тому же все это описано прежде и описано замечательно. Но я пытаюсь понять, почему у тебя скороговоркой сказано об убийстве Стюрлера. Он бежал, как я понимаю, позади своего полка и уговаривал разойтись. Хорошо, с Милорадовичем — это у тебя спорно. Каховский стрелял в него, чтоб спасти восстание. Но уж Стюрлер-то не был опасен, прогнать его с площади не составляло труда. Однако Каховский выстрелил в него и поначалу этим гордился. Это он потом говорил, что мясничать гадко, а поначалу именно гордился. Как же так, Андрей?

— Это у меня такой замысел. Композиционная, что ли, хитрость. Каховский уже в крепости, и перед ним снова и снова в подробностях проходит день четырнадцатого декабря. Я надеюсь таким образом избежать однообразия.

— И еще, я помню, Каховский ударил в лицо кинжалом свитского офицера.

— Вы мне как-то жаловались на свою память. И делали это напрасно. Да, был штабс-капитан Гастефер. Каховский его вот так ударил,— и Андрей ловко показал, как ударил Каховский — рукояткой, плашмя.

— Видишь, а я этого не знал. Думал, именно кинжалом в лицо. Ты должен был это объяснить читателю. Еще помню — по мемуарам ли, по материалам ли следственной комиссии, неважно,— что Каховский и сам не мог внятно объяснить, почему ударил свитского офицера. То ли тот отказался кричать «Ура Константину», то ли просто показался подозрительным. Согласись, мотив любопытный: человеку с кинжалом в руках кто-то кажется подозрительным, и он пускает кинжал в ход.

— Но ведь он сразу опомнился, пожалел Гастефера и отвел его в каре.

— Не кажется ли тебе, что и это верный штрих к портрету героя: сперва ударил, а уж потом пожалел, именно в таком порядке.

— Вот тут, Всеволод Сергеевич, я не согласен с вами. Да, было так, как вы говорите. Но мне это показалось деталью, которая мельчит действие. К тому же эта деталь принижает героя.

— А тебе непременно нужно, чтоб он был безупречным рыцарем?

— Нет, конечно. Но все-таки мне хотелось вырвать его из тогдашней повседневности. Я вот о чем думал все это время. Читателю надоела в книгах повседневность, он в ней и так барахтается. Один физиологический очерк — это хорошо, а десять физиологических очерков — явный перебор, и это скучно. Более того, я предчувствую в литературе новый всплеск романтизма. Сейчас успех может иметь только что-то необычное, загадочное. Читателя сейчас

может заинтересовать только яркая судьба, решительные поступки, необычная среда, то есть то, что далеко от повседневности.

— Странно мне слышать это от тебя.

— А почему, собственно?

— Нет, конечно же, подобные рассуждения я встречаю не впервые. Так всегда говорят люди, когда сталкиааются с трудной книгой или трудным фильмом. Трудных книг и фильмов потому стало мало, что люди слишком уж хотят необычной судьбы и ярких поступков. Но ведь ты-то еще недавно говорил нечто противоположное.

— А вы хотели бы, чтоб я всю жизнь говорил одно и то же? Вот сейчас я как раз думаю, что правы читатели и зрители, желая окунуться в новую среду, чтобы увлечься ярким героем и на время позабыть о собственной блеклой судьбе и тусклой жизни.

— То есть в идеале читатель должен как бы грезить наяву или находиться в летаргическом сне? И я понимаю, почему бешеный успех имеют самые посредственные романы, которые пишут полуграмотные люди. Эти романы не имеют касательства к жизни обыденного человека. Но ведь мы, Андрюша, надеемся не на посредственную повесть, а на что-то интересное, не так ли?

— Да уж, конечно, надежды, как говорится, имеют место,— усмехнулся Андрей.— С чем, с чем, а с надеждами у нас хорошо.

— Но главная надежда — на вещь правдивую. И поэтому я снова прошу тебя: не лукавь, не думай о печатании. Человек ведь хитро устроен. Он немного слукавит, он чуть отступит от правды, а уж оправдания тут как тут. Мол, и всякий человек идет на компромисс — с собственной ли жизнью, с судьбой ли, с историей. Можно где-то чуть нажать на героизм Каховского, а где-то что-то умолчать, но все-таки я надеюсь, что ты не пойдешь на компромисс ради печатания и успеха.

— А я надеюсь, Всеволод Сергеевич, что не даю вам повода причислить меня к негоциантам,— чуть даже и обиделся Андрей.

— И еще помни, Андрюша, что ты пишешь не только за себя, но и за всех нас, безмолвных. Только так ты и должен смотреть на себя. Я, твоя мать, Павлик, твои друзья — мы безмолвны, и ты взялся что-то за нас сказать. Помни, пожалуйста, об этом и будь серьезным.

— По правде говоря, мне казалось, что я как раз излишне серьезен. Именно из-за серьезности маловато артистизма.

— Этого ты не бойся. Это совсем другая серьезность. Словом, старайся, мальчик. Думай не о некоем усредненном читателе, а о нас: обо мне, о своей матери, о Павлике. Мы хотим тобой гордиться, а Павлик — брать с тебя пример. Помни об этом и старайся говорить только правду.

Нет, нелегко мне было, когда Андрей ушел. Господи, как же я сочувствовал этому мальчику. Нет, он не сам по себе, он часть моей жизни.

И я корил себя — был высокомерен, слишком уж мы чувствительны к чужой совести, лучше бы все усилия направить на совесть собственную, но я все равно знал — и в дальнейшем буду предъявлять Андрею только самый серьезный счет.

Оплатит он его или нет — вопрос другой, но предъявлять его я буду непременно. Потому что эта ставка — его дальнейшая судьба — для меня очень высока. И в этой ставке не только жизнь его или его матери, и ее надежды, но и моя жизнь, и мои надежды. Если я не стану предъявлять ему высокий счет, никто не предъявит. Уж так в его и моей жизни все скрутилось. Развязать этот узел невозможно. И остается только ждать.

13

Напомню, что мой разговор с главврачом не был бесполезным — смены после этого разговора заполнялись полностью. Правда, я и поплатился переводом из кардиологической бригады, но тут уж ничего не поделаешь. По Заходеру, кто хочет честно рисовать, тот должен чем-то рисковать. А за все то есть надо платить.

Уже смены неплохо заполнялись, как пошли жалобы. Что и понятно — на все нужно время. Пока человек собрался жаловаться, пока письмо шло в газету или в облздрав, да пока шло обратно — нужно время.

Жаловались главным образом на то, что мы приезжали с большой задержкой. Была и еще одна жалоба, но она как раз относилась к другому эксперименту Алферова — к замене врача кардиологической бригады.

Значит, женщина написала, что ее муж чувствовал себя сносно (правда, ныло в груди, почему, собственно, и вызвали «скорую»), приехала врач Федорова и начала лечить ее мужа, и чем больше лечила, тем человеку становилось хуже и хуже. И по дороге в больницу муж умер.

Я посмотрел листок — клиника тяжелого инфаркта.

Это только неопытному человеку может показаться, что все врачи лечат по одной схеме, по утоптанной дорожке ходят. Опытный же человек из листка поймет, о чем думал врач (если он, конечно, в это время думал о больном). Можно даже судить о его характере, темпераменте, не говоря уж о знаниях. Терпелив он или нет. Добр или жесток. Выдержан или суетлив. Тот будет вводить лекарства помаленьку и ждать результата, а тот вкатит весь коктейль сразу, чтоб лишнее не торчать у постели больного. Тот в нетяжелом случае пощадит вены больного, думая о временах, когда эти вены будут необходимы, а тот сразу начнет с внутривенных вливаний.

Я не мог понять, о чем же думала Федорова на том вызове. Я понимал только, что она растерялась, боль не проходила, и Федорова бросалась в крайности. В самом деле, нельзя же одномоментно и возбуждать, и успокаивать, снижать давление и повышать его.

А она — знающий врач и, следовательно, шараханье шло не от незнания, а от растерянности. Еще и жена больного стояла рядом, покрикивала на доктора и заламывала руки. Оно и понятно — вон целую тарелку лекарств накололи, а мужу все не легче.

Жалоба была составлена очень толково, разбираться с ней приехала комиссия из областной больницы. Вина Федоровой была несомненна, и ей, а заодно и Алферову, объявили по выговору.

Федорова, конечно, была подавлена случившимся, а Алферов, похоже, выговором даже и гордился. А потому что такова уж доля начальника — отвечать за подчиненных, если даже невиновен. Что поделаешь, это уж ноша ответственности.

Я же с горечью думал, что в очередной раз оправдались мои предчувствия тертого калача: прокол у Федоровой должен был случиться, вот он и случился.

Это уж непреложный закон: если кто-то ссорится или личные счеты ставит выше счета профессионального, обязательно страдают ни в чем неповинные люди.

Уже закончились эксперименты с частыми поездками на другие станции — с этими вот призывами учиться, ведь мы же молодые, закончилось и дерганье с совместительством — Алферов давал его всем желающим.

Правда, еще несколько человек ушли — не хотели работать с Алферовым.

Последней уволилась молодая педиатр Муравьева, очень сильный врач. Она как раз мало зависела от Алферова — у нее обеспеченный муж, проживет и без совместительства. Но уволилась.

— Вы-то чего уходите? — спросил я. Горько, когда нас покидают лучшие.

— А в воздухе паленым пахнет, разве не чувствуете? Не могу я ему кланяться,— таков был довольно гордый ответ.— Я его не уважаю.

Вот так: она его не уважает, и потому увольняется. Я не мог сказать, что избыточно уважаю Алферова, но уходить не думал. Эта «Скорая помощь» моя, если я не нравлюсь Алферову, пусть увольняется он, я же здесь буду всегда.

Нет, я не очень-то его уважал, хотя и отдавал должное его бытовому уму: мне потребовались годы, чтоб с моим мнением начали считаться, Алферов же добился этого за несколько месяцев. Он, собственно, мое влияние ловко свел к нулю. Если раньше все прислушивались к моему мнению, и мои советы по лечению были как бы последней инстанцией, то теперь в таком положении оказался Алферов.

Ему уже не надо было призывать к тишине, если захочется поговорить — и так все мгновенно замолкали, и если он советовал вот в этом случае вводить то-то и то-то, все сразу соглашались.

И все-таки, думаю, я не потому мало уважал Алферова, что он оттеснил меня на задворки всеобщего внимания, надеюсь, я не такой тщеславный. Причина моего, скажу прямо, неуважения была проста: я считал его плохим заведующим. Уверен был, что со своей работой он не справляется.

К тому, что стало хуже с машинами, лекарствами и укомплектованием смен, мы помаленьку привыкли, и привычно по одежке протягивали ножки. Но хуже стало с лечением. Попросту говоря, оно стало менее грамотным. Лариса Павловна была врачом высокого класса, ее замечаний боялись, и, понятно, старались соответствовать однажды заданному уровню, теперь же сходило и посредственное лечение.

Да если напомнить, что опытные работники ушли, а пришли девочки, станет понятно, что наш уровень резко снизился. И это бросалось в глаза.

Ничего не могу с собой поделать — непрофессионалов не уважаю. Непрофессионал может быть даже хорошим, добрым человеком (в чем я, правда, сомневаюсь — он всегда чувствует свою ущербность и завидует профессионалу, следовательно, добрым он быть не может), и все равно уважать его я не могу.

Я не скрывал своего недовольства и непременно указывал на пятиминутках, что вот опять нехватка лекарств, машин, бензина. Иной раз проскакивало у меня раздражение — ну сколько же можно говорить об одном и том же, пора бы уже и делом заняться.

Вообще-то я не сомневался, что Алферов — временный заведующий. Он устраивает главврача сейчас: не требует, не дергает, дает спокойно жить. Однако безделье в нашем деле кончается особенно плохо. И когда главврача начнут беспокоить — уже сверху,— что мы плохо работаем, он сменит Алферова. Это мне было ясно. Неясно было только, какие планы нас ждут впереди.

Я всякий раз наскакивал на Алферова, он же был терпелив, не обрывал меня, не одергивал. И кто в выигрыше? Конечно, он, значит, воспитанный человек, а я все нарываюсь на скандал, ищу приключений на свою шею.

Я, значит, нападаю (при общем неодобрительном молчании), а он ласково согласится со мной, да, здесь у нас узкое место, недоработка. Но и оправдается — с талонами на бензин прозевал завгар, одну машину срочно поставили на яму, а другую отправили на село — у них сейчас горячее время, надо помочь — с лекарствами вы и сами, товарищи, виноваты — были неэкономны, лимиты кончились, потому два дня потерпите, пожалуйста.

И если учесть, что недоволен Алферовым бывал только я, то после очередного наскока оказывался, надо признаться, в глупом положении.

Алферов объяснит мне положение дел, словно я детсадник, и обязательно поблагодарит за служебное рвение, а потом всеобщее долгое молчание и насмешливый перегляд девочек — опять этот возбухает, надоело, когда же он угомонится. Они только что пальчиком не вертели у виска.

К тому же Алферов всячески выказывал справедливое отношение ко мне. Если придет благодарное письмо, он обязательно прочтет его на общем собрании и поблагодарит за ловкую работу, и призовет девочек брать с меня пример.

Было общее такое мнение: человек я, конечно, не без странностей, характер у меня сквалыжный, склочный, но дело свое я знаю. А это главное, товарищи.

Думаю, я своим недовольством только подчеркивал всеобщее явное уважение к своему лидеру.

Попроси я в то время бригаду, Алферов, несомненно, мне ее дал бы. Но я не просил: обида прошла, и мне было безразлично, где работать. Нет, все-таки удержусь от лукавства — почти все равно. Конечно, сознавал, что в бригаде от меня больше пользы, чем от Федоровой.

Да Алферов поставил бы меня в бригаду и без моей просьбы.

Потому что у Федоровой после жалобы и последующего разбирательства появилась неуверенность в себе, и она просила послать ее на курсы кардиологии, что Алферов и обещал сделать с нового года.

Так бы все и вернулось постепенно на прежние места.

Но тут к нам пришел новый доктор Сергей Андреевич Васильев, выпускник нашего института. Он закончил интернатуру и первого августа вышел на работу.

Он был невероятно красив, этот Сергей Андреевич. Тощ, прям, высок. Даже вроде и гордился своим высоким ростом. Светлые волосы, курчавая, хоть и жидкая, бородка и голубые глаза.

Одевался он как бы в тон голубым глазам — синие брюки (не джинсы, подчеркну, а брюки), голубая рубашка. Перед тем как надеть халат, он достал из портфеля синий галстук и повязал его. И всегда в дальнейшем ездил на вызовы непременно в галстуке — собранность, униформа, подчеркивающая серьезность дела, которым человек занимается.

А какие чудеса он выделывал длинными узкими пальцами, как он их разогревал перед выездом — ну, готовит к делу главный инструмент своего труда.

Конечно, в этом была и легкая профессиональная рисовка: вот это излишне громкое хлопанье дверью машины, вот этот сосредоточенный взгляд, когда едет на вызов, но смею уверить, для начинающего врача это не худший вид рисовки. Да он и неизбежен, если человек горд своей профессией. Я в его годы был не лучше.

Не поленился сходить проверить, все ли есть в машине — не поверил на слово. Очень тщательно укладывал свою сумку. Посмотрел, есть ли ленты в электрокардиографах.

Хороший паренек, подумал я тогда, несомненно приживется. Даже не могу сказать, как я определяю, приживется у нас человек или нет, но знаю безошибочно: вот этот приживется, а тот после нескольких суток или грубого прокола скиснет и сменит работу.

Когда все было готово к выезду, Сергей Андреевич сел за маленький столик, достал из портфеля книгу и приготовился читать. То есть в разговоры не вступал, а сразу отъединился — не хочет человек терять напрасно время.

Любопытство книжника взяло верх над желанием казаться воспитанным, к тому же книга была в красивой суперобложке, и я спросил, что он читает.

Сергей Андреевич показал — «Библиотека античной литературы». Лукреций. «О природе вещей». Ничего себе книжка для чтения на дежурстве!

— Вы собираете эту серию? — спросил я.

— Стараюсь, но плохо получается. Всего книг семь-восемь. Но читаю все.

— А какая последняя покупка? До Лукреция, конечно.

— Плутарх.

— Хороший сборник,— обрадовался я. Нехитрое счастье книжника поболтать с понимающим человеком, покрасоваться малость при этом.— А трехтомника Плутарха из «Литпамятников» у вас нет?

— Нет. Я недавно собираю библиотечку. Трехтомник вышел очень давно.

Я это понимал: для меня книга двадцатилетней давности — книга почти новая, для него — антиквариат, чуть ли не девятнадцатый век.

— А вы книгу Аверинцева о Плутархе не читали?

— Нет. Только слышал о ней.

— Как-нибудь принесу. А что у вас есть еще из «Античной библиотеки»?

Он сказал: «Историки Рима», «Историки Греции», что-то еще. Вопрос мой был не праздный: Сергей Андреевич мне так понравился, что я захотел его порадовать.

Уж не знаю даже как, но я определил, что Сергей Андреевич, что называется, свой человек. Не могу сказать внятно, как я это определяю: свой — не свой.

Только помню в романе Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара» люди двадцатых годов узнавали друг друга по прыгающей походке, по какому-то «масонскому знаку» во взоре, думаю, «масонский этот знак» есть и сейчас. Причем он менялся от поколения к поколению. Сорок пять лет назад, думаю, взор был суетливый, испуганный, тридцать лет назад — виноватый, почти погасающий, теперь — прямой, насмешливый, но в дымке печали. Человек понимает, что ничего удивительного, потрясающего мироздание, не произойдет, на его веку,

по крайней мере. И с этим смиряется. Он не трясет древо мироздания — не настолько он безумен, но и не желает подбирать плоды, иногда падающие с этого древа — он горд.

В тот же день, возвращаясь с вызова, я заскочил домой и прихватил томик «Александрийской поэзии».

— Вы меня очень обяжете, если примете этот подарок,— сказал я.— У вас ведь нет этой книги?

— Это невозможно,— Сергей Андреевич даже покраснел от удовольствия.

— Это не только возможно, но и справедливо. Мне эта книга не нужна (что правда, давно собирался ее продать). Я эту поэзию, александрийскую, считаю мертвой, но кому-то она нравится. Возможно, понравится и вам.

— Спасибо. О деньгах говорить — безумие?

— Да. Это подарок.

— А почему?

— А с первым днем работы вас, Сергей Андреевич.

— Спасибо, Всеволод Сергеевич,— он в самом деле был обрадован и растроган. И мне это было приятно: паренек все больше и больше мне нравился.

О девочках наших что и говорить. Они все исщебетались, втягивая нового доктора в свои разговоры. Ну, расспросы, то-се, они, конечно, говорили о том, что жара не спадает, но таким хитрым способом интересовались его семейным положением.

Всеобщее внимание было столь активным, что я даже подумал, в Сергее Андреевиче есть некий магнетизм.

Вот он сидит и читает Лукреция, ресницы у него длинные, глаза голубые, бородка курчавая, а девочки сидят на топчанах и болтают о своих делах, и так им хочется, чтоб этот паренек оторвался от гадкой этой книги, да взметнул бы ресницы, да поднял бы глаза, фу, противный, да посмотрел бы на мои джинсы фирмы «Монтана», а он ни гу-гу.

Я не выдержал:

— Вы бы разрешили девичьи сомнения.

— Нет, не женат, Всеволод Сергеевич,— подхватил Сергей Андреевич и улыбнулся всем девочкам разом.— Отец и мать — врачи, я переехал сюда начать самостоятельную жизнь. Снимаю жилье, но надеюсь на казенное жилье как вполне молодой специалист.

Наши девочки в тот момент напоминали мне детишек из города Гамельна. Они согласны были не только в реку идти за Сергеем Андреевичем, они согласны были на большее — кормить Сергея Андреевича на дежурствах.

Да, именно такое предложение и поступило вечером. «Что-то мы стали лениться,— сказал кто-то,— еду готовим кое-как».

Что правда. Кое-как. С едой вообще дело хитрое. Одно время, когда диспетчер Надя (давно уволилась) была тайно (о, так тайно!) увлечена мной, она варила на всю смену борщи и делала жаркое, беляши, а когда увлечение это прошло (она вышла замуж), все кончилось. В последнее время у нас каждый устраивается как может. Кто обходится бутербродами с чаем. Кто берет из дому термос. Кто варит картошку и поедает ее под капусту или огурцы. И бесконечные чаи, разумеется. А я стараюсь заскочить домой, благо живу рядом. На сухомятку или казенную еду не согласен — получил положенное в молодости.

И вот, значит, вечером кто-то сказал, мол, обленились мы, и давайте в следующий раз сварим пельмени.

И у нас снова началась красивая жизнь: то пельмени, то беляши, то манты. И пироги несут из дома, и варенье — нет, голубоглазые стройные блондины определенно обладают магнетизмом.

А вечером Сергей Андреевич еще раз удивил девочек. Можно сказать, сразил.

Примерно в полночь все укладываются на топчаны. Спим вповалку.

Правда, топчан у каждого свой. Но белье нам меняют раза два в месяц, если, конечно, прачечная не на ремонте.

Однако это будет неверное понимание, что вот каждой смене свое белье. Нет, это будет безбожное украшательство. Одно белье на все смены. Да и это мы должны воспринимать как милость. И когда мы подныаем, что, дескать, мы не псы шелудивые, чтоб спать на грязном белье, начальство нам отвечает, что, во-первых, псы не спят на белье, а во-вторых, и это главное, мы не должны спать — нам за это добавляют денежку, так что нам белье и не положено.

По молодости я был как все — есть свободный часок, плюхнулся на топчан и отключился. Чистое белье, нет ли — никакой разницы, дайте мне только поспать, а уж я и на старой рогожке засну.

Но когда я женился, Надя внушила мне, что уж если треть ночей я провожу на казенном топчане, то пусть хоть белье будет чистым. И я стал носить белье из дома. Собственно, последовал примеру некоторых наших опытных женщин.

Но это мы, старые работники. А тут начинающий доктор достал из портфеля чистое белье, лег под белую простынь и приготовился к временному отдыху.

Сразил девочек, конечно, сразил. Представить себе: холостяк, живет на частной квартире, а заботится о постельном белье. На другого сказали бы: чистоплюй и высокомерный, а Сергей Андреевич — чистоплотный и самостоятельный. Вот вам обаяние юного голубоглазого блондина.

Первое, что я посоветовал Сергею Андреевичу — не быть слишком самоуверенным, даже самостоятельным. Если есть хоть малейшее сомнение, везите больного в приемный покой. Не рискуйте. Пусть хирурги называют вас извозчиком, пусть говорят, что вы отфутболиваете больных, это лучше, чем ошибки. Когда придет опыт — другое дело.

И он не рисковал. Не стеснялся советоваться со мной. Именно со мной, а не с Алферовым или с Федоровой, старшей смены. Федорова не обижалась, Алферов же начал сердиться.

Чего там, приятно в августе было ходить на работу. Что понятно. Как-то за последние месяцы я стал закисать — не очень-то тянет на разговоры, если тебя не слушают. А лягу на топчан и читаю до следующего вызова. Разговоры сводились лишь к неизбежному совместному быту и работе.

А тут выйдем мы с Сергеем Андреевичем во двор, сядем на лавочку под окном диспетчера да и балакаем себе — о книгах, о музыке, он меня просвещал в современных ансамблях, да и вообще о жизни. Для меня вернулись прежние времена.

Да и привычно, словно бы я с Андрюшей разговариваю. Хотя из гордости следует отметить, что Андрюша поначитаннее, даже поосновательнее. Правда, у них и профессии разные (все же Сергей Андреевич в литературе и истории понимает больше, чем Андрей в медицине).

Значит, приятный был август. Именно месяц надежд. Андрей показывался редко — что и понятно, вышел на финишную прямую,— заходил молчаливый, задумчивый, и я не пытался его растормошить, чтоб не сбить нужный настрой.

А вот с Павликом мы были неразлучны. Все свободное от дежурств время я проводил с ним. Много плавали, он даже рекордный для себя заплыв сделал — до фортов и обратно,— это почти три километра.

За лето он как-то незаметно перешел в иное возрастное состояние — из мальчика превратился в подростка. Стал со мной чуть сдержаннее, суше. Начал рассматривать в зеркале свое лицо и даже без материнских напоминаний мыться по вечерам. Даже заявил, что Светка, с которой он вместе сидит, пожалуй, не ябеда, а нормальная девчонка — так он поразмыслил летом.

14

— Еще немного потерпеть, и все,— утешала себя Наташа.— И все. И новая жизнь.

То есть все ее надежды были связаны с получением жилья, и каждый день общежитской жизни был невмоготу, потому что каждый день — отсрочка близкого счастья.

А я прокручивал нехитрое соображение про относительность счастья. Это так просто. Вот, к примеру, в этот же самый момент какой-нибудь жалкий рантье сидит где-нибудь, скажем, на Елисейских полях, и возможно, у него на душе пакостно, ему скучно, одиноко, и он несчастлив, а я в это же самое время лежу в зачуханном общежитии, и только что меня бросило в страх оттого, что в дверь барабанили, и я не смею громко разговаривать, и я не смею вольно ступать, и за нами наблюдала наглая крыса, и я все равно счастлив. Да уж, все на свете относительно.

— Как же все-таки люди десятилетиями живут по коммуналкам? — спросил я.

— Не знаю. Никогда не жила, и поэтому невыносимо.

— Да, изнеженное выросло поколение,— это я так, разумеется, шутил. И чтоб сменить разговор, спросил: — Что нового на работе? Клуб начал работу?

— Да. Вчера было открытие нового сезона. Березин у нас снова староста.

— Это капитан, любящий поэзию?

— Да. Он принес гвоздики. И как он смущался и краснел.

— Да уж, галантные нынче пошли капитаны.

Но она не поддержала мои подтрунивания над старостой клуба, она даже обиделась, что мне очень и очень не понравилось.

Да, август был месяцем удивительно ровной радости, и я даже думал, что есть же счастливчики, что и всю жизнь в такой радости живут.

Но то была лишь вспышка радости перед долгим захлестом тоски.

И к этому самое прямое отношение имел новый доктор Сергей Андреевич. Собственно, потому я так подробно о нем и рассказывал.

Все дело в том, что он оказался больно уж независимым. Он, представьте себе, живет без двойного счета: один — для себя, другой — для других. Он словно бы малый мальчик. И если говорит, что человек не должен излишне приспосабливаться к обстоятельствам, то это означает, что приспосабливаться не должен именно он, Сергей Андреевич, к нашим конкретным обстоятельствам.

Алферов, как и положено заведующему, опекал молодого специалиста, с особым вниманием просматривал его листки, всякий раз спрашивал, а почему вы сделали то-то и то-то, не лучше ли было сделать вот это.

И это все правильно: институтское образование — это одно, наши реалии — это другое. Именно у нас обучение по-настоящему и начинается. Так что опека Алферова была вполне понятна.

Странны были реакции Сергея Андреевича. Положено ведь как: старший товарищ тебе, новичку, дает указания, ты поблагодари и исполни. Сергей же Андреевич, если с указаниями был согласен, благодарил, а если не согласен — доказывал свою правоту. Сухо, нашим привычным халдейским языком, но убедительно, черт побери.

Если бы Алферов поучал его в своем кабинете, наедине — это одно, но поучал на пятиминутках, с понятной целью — на ошибках одного учимся все, и тут довольно быстро выяснилось, что теоретически Сергей Андреевич подготовлен превосходно. Что понятно: только что закончил институт, прошел превосходную интернатуру, где его год накачивали теориями, и в этих теориях он был сильнее и Алферова, и меня, и всех. Умный парнишка, чего там.

Алферову бы смириться с таким положением, как, к примеру, смирился я, но это его почему-то задело. Можно сказать, молокосос, мальчишка, а туда же.

Однажды стал выговаривать — да с легким раздражением, мол, говорю не

в первый раз, а вам хоп хны,— зачем вы при бронхиальной астме ввели коргликон, когда достаточно эуфиллина — я этого больного знаю, ему достаточно внутривенного эуфиллина.

— Нет, Олег Петрович, вы неверно ставите вопрос,— спокойно ответил Сергей Андреевич,— если вы говорите об экономии лекарств, о том, что коргликона у нас не хватит до конца месяца — это одно. Если вы скажете экономить, я буду экономить. Но в данном случае именно этому больному коргликон показан,— и он так складно пропел хвалу сердечным гликозидам, что я даже заулыбался от удовольствия, какая у человека грамотная профессиональная речь, четко доказал, неотразимо.

Так, что даже Алферов всплеснул руками и воскликнул:

— Пять баллов! Ну что же — в споре рождается истина.

Однако, не думаю, что это упрямство Сергея Андреевича ему нравилось. Небось, подумал тогда, что у него будут хлопоты с этим пареньком. Он непокладистый, неручной. Он, беда, говорит то, что думает. А мы от этого, благодаря усилиям Алферова, помаленьку отвыкли.

Но это ладно. А только Сергей Андреевич проявил себя самым неожиданным образом: он вдруг выступил на ближайшем собрании. Что удивило всех. Есть неписаный закон: ты молодой, твой номер дальний, ты, знай, слушай старших и помалкивай. В медицине послушание в период твоей выучки — штука обязательная.

А этот паренек взял слово на общем собрании. Ну, извинился: ему надо не говорить, а внимать, но у него есть оправдание — свежий взгляд, вот этим взглядом он и хочет поделиться.

— Первое: почему диспетчер грубит больным? Ночью и особенно к концу смены с больными разговаривают недопустимо. Несколько раз на вызове, вместо того, чтоб лечить, я долго успокаивал больных. Так они были накалены.

Наша бедная Зина пошла пятнами — так неожиданно было нападение Сергея Андреевича. Она ему как раз симпатизировала, даже щадила, а он налетел на нее.

И это была смелость с его стороны. Диспетчеров мы все побаиваемся, стараемся с ними не ссориться. Многие даже и заискивают. Что и понятно: от диспетчера зависит — послать тебя ночью на соседнюю улицу или в район за тридцать километров. И тут не нужно излишне геройствовать: как ни относись к работе, а все же ночью каждому больше нравится сделать ближний и легкий вызов, а не дальний и трудный. Все понятно.

Спорить с диспетчером — плевать против ветра. У нее так много маленьких хитростей, что ты всегда будешь стороной проигравшей. Если диспетчер тебя не взлюбит, тебе придется плохо. Твоя очередь ехать, вызов легкий и близкий, так она его чуть придержит до следующего вызова, и если он будет дальним, непременно всучит тебе, немилому, а на ближний пошлет того, кто ей симпатичен.

Вот так впрямую ругать диспетчера — отвага немалая. Ну, начальство ругает постоянно, это и понятно, грубость — бич повсеместный, диспетчер — зеркало «Скорой помощи», все так, но чтоб ругали свои же — это бывает редко.

К тому же все понимают, что работа диспетчера очень трудна. Тут и бесконечные розыгрыши по телефону, и ложные вызовы, и заигрывание молодых ребят с помощью матерных анекдотов, и немотивированная грубость, и пьяные — всего хватает.

Алферов похвалил Сергея Андреевича:

— Все верно. Сергей Андреевич говорит правильно: у нас диспетчера сильные, но грубоватые.

Но, оказывается, Сергей Андреевич только брал разгон.

— Второе: у нас плохие отношения между сменами. Дважды я сталкивался с тем, что один врач оговаривал другого в глазах больного. А меня учили уважать монолитность нашего клана. И, наконец, главное: что у нас происходит с лекарствами, Олег Петрович?

— Конец месяца. Лимиты. Все же сами знаете,— сердито ответил Алферов.

— А я как раз не хочу этого знать. Мое дело — лечить. А уж обеспечить меня необходимым — ваше дело. Сегодня ночью поехал на сердечную астму. Кислорода нет. Морфия нет. Лазикса нет. Чем лечить?

— А вы, Сергей Андреевич, должны были вызвать бригаду. И у бригады должно быть все.

— Я был далеко в районе. Да и бригада не любит и боится ездить на сложные вызовы. Вот Всеволода Сергеевича я бы вызвал.

Это было уже вовсе неожиданно. Главное — тон Сергея Андреевича — требовательный, настырный. В последнее время все привыкли, чуть лебезя, просить, а тут нате вам — напор, а тут — обвинение.

— Но вы справились? Выкрутились? — чуть смешавшись, спросил Алферов.

— Я выкрутился, но в следующий раз могу и не выкрутиться.

— Но вы и сами виноваты. Уж кислород-то — ваша забота, Сергей Андреевич. Вы обязаны, я подчеркиваю это, обязаны проверить укомплектованность машины.

— Погодите, Олег Петрович,— не смог удержаться я,— как можно отвечать за машины, если у нас часто не бывает постоянных машин. Выездных единиц пять, а сегодня было только три машины. Вы посмотрите по журналу: на платформе пятнадцать минут лежала женщина без сознания, я сидел в этой вот комнате, знал, что она лежит в темноте и без сознания, и не мог к ней выехать — не на чем.

И вот тут случилось непредвиденное: вступила сухая, надменная наша Елена Васильевна.

— Нет, правда, Олег Петрович, машины меняются, так неужели нельзя, чтоб за аппаратуру отвечал кто-то один. Вот хоть старший фельдшер. Все равно ведь здесь сидит. Вот пусть и проверит, всюду ли есть кислород,— она явно нервничала и потому захлебывалась словами.

Как-то уж собрание докатило до конца, что-то там повнушал нам Алферов, но он был явно растерян, потому что все это было слишком уж неожиданно. То все привычная тишь да гладь, и вот тебе мальчик полез в бой, ну, с него что возьмешь — петух еще жареный не клевал тебя, но клюнет, клюнет, когда ты попросишь специализацию ли, летний отпуск или напомнишь про положенное тебе жилье. Но с него какой спрос? Нет спроса и с Всеволода Сергеевича, этот, известно, в каждой бочке затычка, да и обижен, что он теперь не первая скрипка в складном нашем оркестре, с ним тоже все ясно. Непонятно лишь поведение тишайшей предпенсионной Елены Васильевны. Ну, вот ей-то с чего возникать? Ох, аукнется, еще и как аукнется.

— Нехорошо, Всеволод Сергеевич, нехорошо,— с досадой сказал Алферов, когда мы с ним выходили из общей комнаты.

— Что — нехорошо? — удивился я.

— Нехорошо настраивать молодежь против меня,— как-то уж очень горько сказал он.

— Клянусь вам, я ни слова не говорил Сергею Андреевичу,— почему-то стал оправдываться я. Слишком уж много горечи было в его словах.

Главное — чистая правда, мы с Сергеем Андреевичем ни разу не говорили о своем заведующем (как-то мне и в голову не могло прийти жаловаться юному доктору на начальство).

— Я всячески поднимаю ваш авторитет, а вы мой роняете,— сказал Алферов.

— Да оставьте вы это. Не говорил, значит, не говорил. Он и сам, знаете, не глупый и не слепой.

— А я ведь хотел вас снова в бригаду поставить. Нехорошо! — с прежней горечью сказал он и ушел к себе.

Мимо проходила Елена Васильевна, голова ее была гордо вскинута — ну, победительница.

— Ну, вы даете! — восхищенно сказал я.

Она чуть повернула ко мне голову.

— А надоело. Стала противна сама себе. На старости лет суетиться из-за десятки к пенсии — надоело.

— Уважаю! — и я вскинул руки кверху.

Не скрою: несколько дней не покидала меня радость. А потому что, как я и предполагал всегда, есть на белом свете неизменные какие-то вещи — честь, там, достоинство, и когда они на твоих глазах берут в ком-то верх над трезвым расчетом, привычной покорностью, это не может не радовать.

Вот эта вдруг выпрямившаяся спина, вот этот чуть насмешливый, не без трагизма ожидания взор — а довольно, не принимаю этих правил и в дальнейшем играйте без меня. А я проживу по своим правилам, где чести и достоинству есть кое-какое место.

Но то были последние радостные дни. Потому что вслед за ними случился какой-то обвал, и чуть было не рухнуло все здание, которое я сам возводил много лет.

Потому что сразу после собрания Алферов взял курс на мое удушение. Другого слова я не подберу — именно удушение.

15

Тут я должен подробно описать все последующее дежурство. Вся штука именно в подробностях, в малостях наших профессиональных установок, вернее, в их вывертах.

Было первое воскресенье сентября. Теплый солнечный день, все светилось, все было прозрачно. Правда, я видел этот день не из кабинета, а из зарешеченного окошка салона.

— На вызов! — крикнула мне диспетчер в десять часов утра.

— Что там?

— Девочка загорелась и выбросилась с пятого этажа.

Мы помчались.

Толпа, собравшаяся у подъезда пятиэтажного дома, расступилась перед машиной, и я выбежал.

В цветнике на спине лежала девочка лет тринадцати. Волосы ее были подпалены, сгоревшие колготки скрутились в черные жгуты, вместо платья — горелые клочья. Девочка была жива, но без сознания.

— Носилки! — крикнул я шоферу.

Из отрывочных возбужденных возгласов я собрал нечто внятное: девочка вместе с братом была на кухне, когда по какой-то причине вспыхнул газ. Мальчик успел проскочить сквозь огонь, а девочка замешкалась и, пробиваясь к двери, вспыхнула. Обезумев от страха, бросилась в окно. Кто-то даже сказал, что она схватила зонтик и раскрыла его и спустилась. Но это, конечно, была выдумка толпы. Люди видели, что из пятого этажа летит полыхающий факел.

Мы понесли носилки, втолкнули в машину.

— Постойте секунду, Петр Васильевич,— сказал я шоферу, вводя девочке противошоковую смесь.

Потом, высунувшись из машины, узнал фамилию и имя девочки, и мы помчались.

В перевязочной хирургического отделения нас уже ждали дежурный хирург и реаниматолог.

— Значит, так,— сказал реаниматолог, осмотрев девочку.— Ожоги обширные, с пузырями, но без черноты. Мы их сейчас обработаем, наладим капельницу, и вы отвезете девочку в ожоговый центр. И будем считать, что вы нам ее и не привозили.

— Понял! — сказал я.

Да и чего ж тут непонятного в наших несложных хитростях.

Девочку с такими ожогами я должен привезти в ближайшую больницу, то есть как раз к нам. А отделение должно сговариваться с ожоговым центром, и те будут решать, брать девочку или не брать. Могут велеть несколько дней подождать и посоветуют, как лечить девочку, а к себе возьмут уже на восстановление. У меня же обязаны взять сразу.

— Все равно мы будем капать эту вот жидкость. Так пусть льется в машине. На полтора часа хватит.

Я согласился.

— Годится! — удовлетворенно сказал реаниматолог, ловко введя иглу в подключичную вену.

Реаниматолог сух, молод, законно считается хорошим специалистом. К тому же с хорошим профессиональным нюхом (интуиция — половина нашего дела), общее мнение таково, что ему не было бы цены, если бы не маленький недостаток — любит иной раз выпить. Правда, выпивает в свободное от дежурств время, но побаловать себя пивком может и на дежурстве.

Вот и сейчас, по всему судя, ему было тяжело после вчерашнего: погасший взор и красные глаза. Но профессионал — руки проворные и не дрожат.

Год назад у нас с ним была стычка. Я привез больного с тяжелой черепной травмой. Всем было ясно, что больной не жилец: у него помаленьку просачивался мозг. Но порядок есть порядок, не я же устанавливал, что за чужую жизнь следует бороться до последнего, даже когда надежд нет вовсе.

И положено было вызвать нейрохирурга, чтоб тот начал операцию (ну, там, освободить сжатый костными обломками мозг, прочее). Положено так.

А через два часа я снова кого-то привез на травму, а мужчина с битым черепом как лежал в перевязочной, так и лежит. Уже и дыхание захлестывается.

— А вы чего? — спросил я реаниматолога.

— А бесполезно,— и молодой этот человек махнул рукой в сторону больного.

И это было понятно: операция, которая длится часа три, бесполезна, и чего лишнее суетиться, если больной не жилец. Да и кому же это нужна лишняя послеоперационная смертность.

А так больной тихонько помрет до операции, они поставят время смерти таким образом, что вот, мол, не успели вызвать нейрохирурга — и работать лишнее не надо, и показатели отделения улучшаются.

— Вы же не господь бог, чтоб решать, кому жить, кому умирать,— это уж я сказал очень зло.

И он пошел вызывать нейрохирурга. Потому что знал о моем приятельстве с Колей, заведующим отделением, а тот таких штучек не любит.

Больного тогда спасти не удалось, но на всякий пожарный случай этот реаниматолог в дальнейшем был со мной осторожен, то есть не говорил: «Это бесполезно», но всяко обозначал активность.

Но с этой обожженной девочкой он был, конечно, прав: лучше ей с самого начала лечиться не в провинциальной больничке, где то нет того, то этого, а в городском центре, где, будем надеяться, есть все или почти все. И уж во всяком случае, чтоб не туманить голову излишним оптимизмом, лучше, чем у нас, все-таки академия.

И мы помчались. Под мигалку, понятное дело. В машине едко пахло палеными волосами. Девочка в сознание не приходила, но показатели были неплохие — пульс, давление.

Домчали. Поставили носилки на каталку, каталку втолкнули в лифт, промчали по коридору.

Нас ждали. Дежурный врач спросил, что я делал девочке.

— Сами? — спросил он удивленно, кивнул на капельницу, идущую к шее.

— Сами,— взяв грех на душу, скромно сказал я.

— Молодцом!

Это я потом не забыл переадресовать нашему реаниматологу.

А девочку спасли. Это, конечно, редкое чудо — обгореть, упасть с пятого этажа и выжить. Но, значит, чудеса на свете все-таки бывают.

Но это я забежал вперед. Потому что в тот же день мне предстояла более тяжелая работа. И снова гнать в город. Ох, уж этот мистический закон парных случаев. Хочешь не хочешь, а приходится в него верить.

Только я приехал из города, только стал просить диспетчера сбегать домой да поклевать, как она говорит мне:

— Вы поезжайте на температуру и на обратном пути пообедаете.

Я посмотрел на нее удивленно — молодой мужчина с температурой, что за спешка и вообще почему я, а не фельдшер.

— Давно лежит. И вообще что-то там не так.

— А что не так?

— С вечера не просыпается.

— Ой-е-ей! Там же, видать, менингит.

— Поезжайте, Всеволод Сергеевич.

Нет, тридцатидвухлетний мужчина не спал, он был без сознания.

Жена его, госпитальная медсестра, объяснила мне, что муж ее заболел в пятницу: прыгнула вверх температура, но врача не вызывали: в пятницу у больного отгул, думали, пятница, суббота — отлежится, а больничный по какой-то там причине ему не нужен. Жена что-то там давала, думала, пройдет, но вот вчера он как заснул, так и не просыпается. А уже час дня.

Ухоженная новая квартира, милая жена, двое малолетних детей. А он умирал. То есть что высокая, под сорок, температура, это было ладно, но глубокая кома, но затрудненное дыхание и давление, что называется, на нуле.

— И что? — спросила меня жена больного.

— Беда,— ответил я.— Тяжкий менингит.

В молчаливом испуге зажала она рот ладонью. Чтоб, значит, не испугать детей.

— Ах, дура старая! — это она на себя, что запустила болезнь мужа.

Я наколол все, что мог. Чувствуя беду, захватил с собой специальную — от менингита — укладку. Как-то уж нашел вену. Потом к телефону. Все объяснил диспетчеру, попросил заказать место через бюро госпитализации.

— Одевайте мужа. Я за носилками.

Внесли носилки.

— Я с вами,— твердо сказала женщина.

— А дети?

— Мама побудет. Я вам не буду мешать.

Снова позвонил на «Скорую». Диспетчер сказала, что больного надо везти в больницу Боткина.

— Да позвоните им через полчаса. Чтоб реаниматологи были наготове.

— Что, Всеволод Сергеевич, тяжелый?

— Это не то слово.

Пока мы укладывали больного на носилки, да пока по узкой лестнице спускали носилки с третьего этажа (а он крепкий человек, под сто килограммов), я соображал, правильно ли делаю, что хочу везти его.

Нет, неправильно. По существующему положению, если больной тяжел — а этот очень тяжел,— я должен доставить его в реанимацию — так у нас называется маленькая палата на хирургии для тяжелых больных. Но знание наших подробностей подсказало мне ясную картинку: вот я привез больного, а они начинают спорить, куда его класть. Одни толкают каталку от себя — это к вам, а другие тоже от себя — к вам. И долго освобождают нужное место, и долго вдохновляют себя на труд, и это при том счастливом стечении обстоятельств, что и хирург на месте (а он может быть на операции) и главное — на месте реаниматолог. И тут попрошу вас вспомнить про красные после вчерашнего его глаза — мог пойти и пивка попить.

Я же, все наколов, не буду затруднять подробностями, прошу поверить: укладка собрана неплохо, вполне достойный уровень — помчу под мигалку, а через полтора часа буду в том месте, где нас несомненно ждут. У нас ему будут капать то же самое, что и я в машине.

Установил капельницу, велел жене фиксировать руку и следить за капельницей, сам включил кислородный аппарат.

— Ну, Петр Васильевич,— сказал шоферу,— на вас вся надежда.

И как же гнал Петр Васильевич. Обычно спокойный, он подался вперед, и лицо его заострилось от напряжения. Он шел не только с мигалкой (ее я видеть не мог), но и с сиреной и под красный свет.

Я понимал, что больной умирает, но все же тлела надежда на чудо.

Но чуда на этот раз не произошло. Больной перестал дышать как раз на середине пути.

Не раз при мне умирали больные, и что всего больше меня потрясало, а вот это — ничто, оказывается, в окружающем мире не меняется. Светит осеннее солнце, спешат по улицам люди, кто-то жует и выпивает, кто-то влюбляется — все по-прежнему. А человек умер. Нить ли перерезали, душа ли отлетела, и ничего не произошло. Лишь в одно неуловимое мгновение жена стала вдовой, а дети сиротами.

— Все,— сказал я, отнимая кислородную маску.

— Что — все? — испуганно спросила женщина.

— Кончился кислород, надо дышать в рот,— не отважился я сказать правду. Ничего не мог с собой поделать: ее было очень жалко. Еще дома обвиняла себя, медики в этот раз не виноваты — их не звали. Двое малых детей. И теперь будет казнить себя всю оставшуюся жизнь.

Я достал бинт и сложил его в несколько слоев.

— Я сама!

И как же она дышала, припав губами к губам мужа. Меня бы и на десять минут не хватило, она же дышала весь оставшийся путь.

У приемного покоя я выскочил из машины.

— Куда? — крикнул стайке юных медиков.

Назвали номер.

— За мной! — приказал я молоденькому фельдшеру, и он сразу побежал следом.

— В кабину. И указывайте шоферу дорогу.

Носилки на каталку. Каталку в лифт. И по коридору бегом. Я толкал каталку, а жена семенила рядом и натужно все дышала и дышала в рот мужа.

А в реанимационной уже стояли люди в синих халатах, и они держали перед грудью готовые к работе руки.

Потом — уже в ординаторской — отдал направление пожилой женщине, заведующей отделением. Рассказал все, что знал о больном. Она просмотрела мою запись.

— Нормально,— с тихим удовлетворением сказала она.

— Есть к нам претензии?

— Да какие же тут претензии? У него же клиническая смерть. Конечно, больной нетранспортабелен. И безнадежен. А оставь вы его у себя, надежд было бы больше? Все вводили правильно.

Спускаясь по лестнице, я подсчитывал, что вот клиническая смерть наступила на полпути сюда, и в нашей больнице это время ушло бы как раз на подготовку места, да на тырканье каталки по коридорам, да на вопли — свистать всех наверх! — да на разгон к долгой работе, так что к самой работе как раз бы и не поспели.

— Все, Петр Васильевич. Поехали.

Мы чуть отъехали от больницы, свернули за угол, и Петр Васильевич остановил машину.

— Пять минут постоим. Одну папиросу выкурил, но мало. Сейчас еще одну.

Нам надо было отойти от недавней гонки, и я закрыл глаза, запрокинул голову, чтоб вовсе расслабиться.

Петр Васильевич бросил окурок, сплюнул на мостовую.

— Вот теперь не торопясь можно и ехать,— сказал.

Вечером я позвонил, чтоб узнать, не случилось ли чуда. Но чуда не случилось — через сорок минут после нашего отъезда больной умер.

В понедельник на пятиминутке я рассказал об этом случае.

Алферов сразу после пятиминутки позвонил из своего кабинета в больницу Боткина. Разговаривал с заведующей отделением, то есть с той самой женщиной, которой я вчера сдал больного.

Звонил Алферов при старшем фельдшере. И делал он это для того, чтоб она рассказала мне об этом звонке. Разумеется, она сделала это сразу и охотно. Простой расчет: я должен знать, что он меня спекает, и неприятности идут не из пустого места, но целенаправленно.

Он спросил, правильно ли все сделано. Она, видно, ответила, что вообще-то, по инструкции, везти следовало в ближайшую больницу, но случай-то особый.

Тогда Алферов попросил прислать бумагу с указанием дефектов. Та, видать, удивилась, но Алферов заверил, что тогда появится возможность поговорить о тактике врача в подобных случаях. Разумеется, какие тут оргвыводы, но на ошибках ведь учимся, не так ли?

Ну, бумага пришла.

Через пять дней в кабинете главврача собрался медсовет: заведующие отделениями, больничное начальство. Да, а главврач был в отпуске. Так-то он, относясь ко мне неплохо, может, оставил бы бумагу без внимания. Поговорил бы со мной да и ответил, что беседа проведена, да и делу конец.

Но заседание проводила начмед, хотя ко мне и хорошо относящаяся, но буквоедистая, особенно когда замещает главврача. Бумага пришла — надо на нее реагировать. Случай был всем понятен — я думал не о себе, а о больном, хотя, конечно, по инструкции, везти не следовало. Все понимали, что другого выхода у меня не было, больной погиб бы у нас в коридоре.

— Вам нужно было думать не о себе и не о больном, а о прокуроре,— сухо пошутила начмед — это распространенная среди медиков шутка.

— Согласен. Это неуязвимая позиция. Но для уголовника, а не для врача,— не удержался я.

Своим ответом я, конечно же, рассердил начмеда — ему бы смиренно каяться, что больше не буду, а он еще и дергается.

Заведующие отделениями поохали бы, повздыхали, мол, это уж наша судьба такая, инструкции инструкциями, но надо и голову на плечах иметь, да и разошлись бы.

Но тут вмешался Алферов.

— У меня молодой коллектив. Если мы разойдемся без оргвыводов, моя молодежь подумает, что им тоже можно вольно толковать тактику врача. Погиб молодой мужчина, а тактика Лобанова была неверной. Как же так: нарушения есть, а наказания нет. Нас не поймут.

И мне объявили выговор.

Выходили мы из кабинета вместе с Колей.

— Ты хорош,— сказал я ему сердито.— Мог бы и защитить меня.

Он посмотрел удивленно.

— То есть ты хочешь сказать, что принял все это всерьез?

— Первый выговор за двадцать лет.

— Всегда считалось, что ты человек с юмором. Зачем же ты разрушаешь свое прежнее реноме? У меня выговоров было навалом. И жив, как видишь. К празднику тебе объявят благодарность. Вот плюс на минус и выйдет. А не

объявят благодарность, так выговор автоматом через полгода отмирает. Все это тебе должно быть — слону дробина.

— Неужели ты не понимаешь, что Алферов меня спекает?

— Перестань, Сева. Ты просто устал. И потому мнительный. Нас с тобой спечь невозможно — мы ломовые лошади нашей больницы. А вот твой заведующий сгорит — запомни мои слова. Если человек не защищает коллег, он непременно сгорает — железный закон.

— Твоими бы устами...

16

Конечно, что там говорить, я был обижен. Эдакая профессиональная гордыня возмущалась — вот двадцать лет отработал, и ничего, а тут за несколько месяцев два взыскания. Правда, первое — перевод с бригадной работы, если смотреть формально — наказанием не считается, но ведь наказание-то было. А уж выговор просто ни за что. Конечно, мог писать, жаловаться в местный комитет, но объявил мне выговор не отдельный человек, а медсовет. Да я и не имею склонности качать права.

Обида была: вот сколько лет отработал вместе с этими людьми, связан если не дружбой, то уж всяко приятельством, и никто не защитил.

Но когда обида утихла, я понял, в чем здесь дело. Да они просто и представить не могли себе, что мой заведующий подталкивает меня к увольнению. В самом деле, когда смены закрываются с трудом, когда текучка кадров, кто-то может хотеть расстаться с опытным работником, который, к слову, постоянно пашет на полторы ставки, не болеет, не ходит в декрет и безотказен. Да опытным заведующим это и в голову не приходило. Да любой из них согласен терпеть склочника, неуживчивого человека, только бы он безотказно и грамотно тащил свои палаты.

К тому же каждому из них было ясно, что уволить меня нельзя. О нет! Я не сверхоптимист, уволить можно кого угодно, но в конкретных обстоятельствах и конкретно меня уволить было нельзя.

И причина здесь проста: увольняет не заведующий отделением, а главврач. У нас с ним хорошие отношения. И ему вообще плевать, какой у меня характер. Даже если и представить, что я человек вздорный и сквалыжный. Он не поверит Алферову, что я вдруг ни с того ни с сего перестал справляться с работой. А в глазах главного — это единственный показатель ценности работника (это выражается в отсутствии жалоб и грубых проколов).

Разумеется, не следует быть романтиком: вот если бы главный захотел избавиться от человека, он бы нашел такую возможность. Закон, конечно, хорош — без разрешения местного комитета человека не тронь. Но мелкие рифы успешно преодолеваются опытным судоводителем.

Потому что опытный человек станет не увольнять, но выживать.

Скажем, ты опытный участковый врач поликлиники. Тебе дадут дальний и разбросанный участок, а машину, напротив того, не дадут. То есть машина будет стоять под окном поликлиники и бить копытом, но тебе всякий раз будут говорить, что она нужна для каких-то иных дел. И ты это все понимаешь.

А участок, значит, дальний и разбросанный. Одно дело — пять вызовов в одном доме, и другое — пять вызовов в пяти домиках. Ты, конечно, будешь ерепениться, а тебе в ответ — а кто-то должен обслуживать те, дальние, вызовы, так почему не вы? Там разве не люди? Люди, конечно, люди.

А обязательные дежурства в отделении тебе будут ставить непременно в субботнюю или воскресную ночь.

Или у тебя с приема заберут медсестру — не у другого врача, а именно у тебя. Мало ли куда — на комиссию военкомата или в какое другое место. Ты, понятно, в крик, не могу и не буду без сестры. Но все понимают, что ты можешь отказаться работать без сестры, но не сделаешь этого — коридор-то полон больными. Тебе дадут сестричку на часок, чтоб ты захлопнул свой ротик, но потом она упорхнет на постоянное свое место. О! Способов навалом!

Да и у нас ли только? А всюду не так?

Тут как-то директор школы выживал Надину подругу, хорошую математичку. Она имела обыкновение критиковать директора как в устном, так и в письменном виде. Чем-то ей директор не нравился. То ли на руку был не вполне чист, то ли еще что — это не так важно. А важно то, что директор всегда очень и очень благодарил математичку за ее принципиальность, ставил, разумеется, ее в пример.

Но расписание ей так хитро составляли, что она не смогла работать. Ставят, к примеру, два часа в первой смене, три во второй. Да часы ставят не кряду, но с перерывами, и с перерывами такими малыми, что и покидать школу не имеет смысла. И разные классы давали — один пятый, один шестой, один седьмой.

Она потерпела немного, да и ушла в другую школу.

О! Начальники прекрасно изучили науку расставания.

Говорю, разумеется, лишь о расставании с людьми профессиональными и стоящими. О прогульщиках я не говорю — у нас их практически нет.

Конечно, Алферов тоже понимал, что уволить законным путем он меня не может. Конечно, он мог подвести меня под еще какой-нибудь выговор и тогда вопить: два выговора за короткий срок, имеем право уволить. Но ты сперва натяни меня на второй выговор, если я не прогуливаю и справляюсь с работой, но даже если и натянешь, это ничего не изменит: больничное начальство не захочет со мной расставаться. Вот в этом я был уверен.

Конечно, понимал это и Алферов. Он мне, убежден, и выговор-то объявил, чтоб дать понять — я должен уйти. То есть если я человек неглупый, то должен понять, что вместе нам не работать, специалист моего класса (хотя бы по стажу и категории) нужен всюду, то есть даю намек — отвалите, Всеволод Сергеевич, умоляю.

Ну вот. А я отваливать не захотел. Уперся, попросту говоря.

Даже и внятно не смогу объяснить, почему я уперся. Глупо? Да, глупо. Нет, я не туманил голову общими соображениями, что кто-то же должен упереться, нет, я отдавал отчет, что не такое уж важное место занимаю в жизни. Упрусь я или нет, большого значения не имеет.

А только с детства я понимал (порой безотчетно), что если уж в этой жизни я могу рассчитывать только на себя, то подминать себя я не могу позволить никому. Нет, вовсе я не должен отодвигать соперников плечами и локтями, этого у меня, судя по моему месту в жизни, не было, но вот так взять и сожрать себя я не мог позволить никому.

Если Алферов был бы лучше меня, если б он предъявил такие уровни работы, которым я не смог бы соответствовать, я, разумеется, ушел бы.

Но картинка-то была обратная, и я остался.

Снова спрошу: это глупо? Да, глупо. Да, отсутствие здравого смысла. Потому что здравый смысл как раз подсказывал, что следует уйти (да, звали в хорошее место, да, оформили бы переводом и дали бы лучшую работу), но не ушел. Здоровьем платил, но остался. Тьфу ты, да и только.

Внешне все выглядело замечательно: Алферов со мной подчеркнуто вежлив, никакого недовольства или, упаси боже, раздражения, но после каждой пятиминутки он забирал к себе листки наших вызовов, а потом непременно ласково спрашивал меня:

— Всеволод Сергеевич, а почему вы так долго не выезжали на вызов?

Это, разумеется, при всех, словно я практикант-пятикурсник.

Как могу, сдерживаю себя:

— Как диспетчер дала вызов, сразу и поехал.

— А почему держали? — это диспетчеру.

— Это район. Взрослая температура (к примеру). Ждали, когда будет еще что-нибудь.

— Всеволод Сергеевич, напишите, пожалуйста, объяснительную.

Диспетчер права — температуру можно обслуживать не сразу — и что ж тут писать? Но объяснительная так объяснительная.

Глупо? Да, но лишь на первый взгляд. Алферов заставлял писать объяснительные только меня, на каждом дежурстве я одну-две объяснительные писал. Издевательство? Оно конечно. Но тут и другая сторона. За пару месяцев наберется ворох моих бумаг, и тогда Алферов сможет пойти к главврачу — надо что-то делать, Всеволод Сергеевич в последнее время совсем распустился.

Или вот такое:

— Всеволод Сергеевич, вы почему долго были на вызове?

— То есть как долго?

— А вот так. А там, заметьте, только давление.

— Но оно не снижалось.

— А почему?

Я пожимаю плечами: странный вопрос — в одном случае оно снизится от одного твоего появления, а в другом — будет снижаться долго.

— Я отвечу, почему. Ваша тактика была неверна. Вы ввели лекарства внутримышечно, а нужно было сразу в вену. Вы выбрали путь попроще.

— Я у этого больного не в первый раз. Прежде было достаточно той смеси, с которой я начал. И я, представьте себе, думаю о том времени, когда больному действительно понадобится вводить лекарства в вену, а мы их начисто испортим.

— Удобная позиция. Тем более, что товарищи в это время надрываются на вызовах.

— Я тоже не чаи гонял,— это уже с явным раздражением.

— Этого бы еще не хватало. Пожалуйте, объяснение,— это ровно и с накатистой улыбкой.

— Ладно, контора пишет.

— Именно, Всеволод Сергеевич, именно.

Это я так спокойно рассказываю сейчас, по уже просыхающим следам. Но тогда-то. Всякий раз унижение, всякий раз душа взводится в состояние перед взрывом, и прямо физически ощущаешь выброс в кровь адреналина, и сразу звон в голове, и мокнут ладони, и долго успокаиваешь себя, приводишь в рабочее состояние, и собираешь волю, чтоб написать объяснительную.

При этом стараешься, чтоб присутствовала легкая ирония — любой человек поймет, что тебя заставили заниматься чепухой; но вместе с тем и не пережимаешь, чтоб не производить впечатление человека наглого — вишь, он непочтителен с начальством.

Это один путь. Легкой издевки, скажем так.

Был и другой путь.

Меня, с указания Алферова, заставили заниматься самой черновой работой. Нет, я не белоручка и, надеюсь, не высокомерный человек, и за долгие годы привык делать все.

Однако же у каждого свой маневр. Разумеется, как и всюду. Я могу носить носилки, но не потому, что мне это нравится, а потому, что нести некому. Точно так же заведующий отделением не моет полы и не перестилает больных (правда, их и никто не перестилает, если, разумеется, у больного нет родственников).

У нас, на «Скорой», тоже у каждого свой маневр. У бригады одно, у меня другое, у фельдшера третье. Что и справедливо. У каждого свое умение. Правда, бывает, что иной фельдшер толковее иного врача, но это уж случай особый.

Однажды Алферов спросил диспетчера, почему вызов — укол онкобольному — лежит так долго. Или — к примеру — почему задерживается перевозка из района.

Диспетчер ответила, что фельдшера на вызове.

— Так пошлите врача.

— Не посылать же на укол бригаду!

— Бригаду — нет, а линейного врача именно послать.

А линейный врач в этой смене как раз я.

Диспетчер ясно поняла своего заведующего: мне нужно давать все. В дополнение к основной работе, разумеется.

Я спрашивал, было ли такое распоряжение другим диспетчерам — нет, не было, только меня касалось это указание.

Я смотрел наши отчеты за те дни: у бригады десять-пятнадцать вызовов,

у фельдшеров четырнадцать-пятнадцать, у меня — двадцать-двадцать два.

Но дело не только в количестве, хотя лишние вызовы, разумеется, утомляют. А во всем этом было что-то унизительное.

Если ты делаешь свою работу, скажем, дальний вызов, и надо заодно привезти больного — это одно. И другое — если тебя посылают специально. Конечно, гордыня некоторым образом возмущалась — долгий опыт, некоторое умение, и на что они тратятся — сделать укол, привезти больного в хирургию — это по силам и начинающей медсестре. Даже и профессиональное возмущение имело место — но, разумеется, возмущение молчаливое. Вот я занят на перевозке — кучер, не более того,— а здесь может случиться что-то сложное, и кого направят? Девочку-фельдшера? Если, конечно, бригада занята.

Ведь до чего доходило? Диспетчер строго велит мне привезти в детское отделение девочку с пневмонией. Очередь не моя, но это ладно. Главное — на месте педиатр и фельдшера. Я удивленно посмотрел на педиатра — она отвела взгляд. Ну, вроде бы не знает, что поступил вызов. Ее можно понять: у нас не принято рваться в бой, диспетчер — хозяйка, что она сунет, туда ты и должен ехать.

Конечно, унижение имело место.

В прежние времена я непременно спросил бы, а почему, собственно, я должен ехать. Теперь же молча брал бумажку и, обозначив спиной возмущение, уходил.

Понимал, Алферову как раз и нужно, чтобы я возмутился. Диспетчер передаст вызов другому человеку, а заведующему скажет, что я отказался. А отказ — дело серьезное. Это докладная главному. Это, возможно, и оргвыводы. Нет, такой козырь Алферову я не давал.

И сейчас я спрашиваю себя, а что мне было делать? И говорил себе — надо действовать. А как? Очень просто, методами Алферова. Нехватка машин или лекарств, или неукомплектованность смены — писать по начальству. И копию в облздрав. И всюду жаловаться. В письменном, разумеется, виде.

Но не мог этого делать. И ругал себя — его топчут, а он, какой чистоплюй, не может защититься. Вот потому-то хам и берет верх над нехамом, что у него такие методы борьбы, до которых нехам не может унизиться. А ты унизься, ты снизойди, ведь в следующий раз хам поостережется. Но, во-первых, я знал, что жалобы вряд ли помогут, а во-вторых, будь я уверен в своем успехе на сто процентов, все равно не стал бы писать по начальству. Причина проста — если принять правила Алферова, сам станешь таким же. Или — что тоже страшно — профессиональным склочником.

И я делал вид, что мне все нипочем. Объяснительная — пожалуйста. Внеочередная поездка — пожалуйста. Терпел. Да, ждать и ждать. О, мы такие зимы знали, вжились в такие холода... Со мной, уговаривал себя, ничего нельзя сделать. И унизить меня невозможно. Потому что любая работа — дело достойное. Недостойно только безделье.

Да, со мной ничего нельзя сделать. Он выживает меня, провоцирует, создает невыносимые условия, но только я не уйду.

Нет, все-таки это у меня было не без внутренней демагогии. Мол, что же произойдет на белом свете, если каждый, кто считает себя правым и за это спекаем начальством, уйдет. Нет, ничего хорошего не выйдет. Подкидывал в костерок рассуждений такие понятия, как долг, стойкость, прочее. Говорил себе — я уперся, и все тут. Меня можно убить, иначе я не уйду. Это моя «Скорая помощь», а не алферовская. Пусть уходит он.

Рассуждения, конечно, красивые, но я стал замечать, что постепенно у меня портится характер. Какая-то постоянная нервозность появилась, взведенность души. И здесь Алферов был в выигрышном положении — у него нервы, несомненно, были покрепче. Он заставит меня писать объяснительную и весь день находится в веселом расположении духа (а как же, уел противника). А я клокочу все дежурство. Да и вне дежурства тоже.

И что самое пакостное — на работу стал ходить без охоты, и даже, надо сказать, с омерзением. Вспомню, что скоро увижу Алферова — ну, не могу идти, хоть вопи. Вот сейчас я увижу этот хрящистый носик, эти прижатые к голове, полетные уши — ну, не могу.

И начал пропадать сон. А ведь прежде гордился — и законно,— что могу спать в любых условиях. Всегда был счастливчиком — только ухо на подушку, и аут. Потому, собственно, и переносил десять суток в месяц. Иначе давно начало бы прыгать давление — самая первая реакция на недосып.

Значит, начал пропадать сон. То есть дома лягу и представлю, что завтра снова увижу Алферова, и он меня порадует своей новой задумкой, и все! — сон летит прочь. Крехаю, ворочаюсь, хоть снотворное принимай. Но после снотворного человеку сутки не прокрутиться. Сон под балдой — это самообман. Стал помаленьку на ночь пить валерьянку. Помогало, но это, конечно, не дело. А на дежурстве, если и выпадал свободный часок, отключаться уже не мог.

А если ты не выспался, то на работу идешь во взведенном состоянии. Это знакомо каждому: внешне ты обычный, даже веселый, но только тронь кто тебя, и ты готов взорваться, все разнести в клочья.

Конечно, на работе сдерживал себя. В самом деле, окружающие не виноваты, что ты не выспался. Хотя понимал, что и они отчасти в этом виноваты. Разве не видят, что начальник меня травит? Но помалкивают. Вот молодая фельдшерица. Я подстраховывал ее, когда она ничегошеньки еще не умела. Все понимаю: без мужа тянет двух мальчиков, не даст Алферов совместительства — погибель, а перейти на другую станцию тоже нельзя — здесь живет, кататься вдаль — сколько времени уйдет, а старший мальчик пошел в первый класс.

Потому и отводит глаза, когда меня посылают на вызов. Хотя знает, что и очередь, и вызов — ее.

Говорил себе, а вот возмутись кто-нибудь, что вот меня снова гонят вне всякой очереди, так ведь всегда благодарен буду. Но никто и ни разу. Горько? Да уж конечно.

Правда, уверен был, что Сергей Андреевич или Елена Васильевна заступились бы за меня, но они были в других сменах. А жаловаться им, что вот меня заставляют работать лишнее или писать глупые объяснительные, я считал постыдным.

Значит, характер у меня неудержимо портился. Становился, как бы сказать, вздорным. И первыми это почувствовали домашние. Стал раздражаться из-за ничтожных бытовых подробностей. Чего прежде никогда не было. Мог даже и на визг сорваться. Словно бы распущенная истеричка.

Как-то Павлик получил двойку по зоологии — забыл дома тетрадку. Прежде я бы пошутил, не без издевки, над раззявой, да и все.

Но теперь:

— Ты когда-нибудь станешь самостоятельным? Или всю жизнь поддерживать тебя за подтяжки?

— Отрок превращается в подростка, отец. В этом возрасте, почитай Спока, он становится рассеянным.

— Но только, прошу, без демагогии. Оставь ты эту манеру.

Удивление и обида на лице парнишки. Что и понятно: то были друзьями, а теперь старший друг вопит на младшего.

— Но это она меня просто попугала. В дневник двойку поставила, а в журнал нет.

— Господи! Да ведь ты учишься не для отметок, а для знаний.

Я слышу свой вздорный голос, и мне самому стыдно.

— А если я забыл тетрадь, то знания уменьшились?

— Прекрати болтовню! Это от расхлябанности. С нее начинаются все беды.

Мы стыдимся смотреть друг другу в глаза, но во мне клокочет раздражение, и я вяжусь к домашним, вяжусь, вяжусь.

Постепенно стал раздражаться и на работе. Ну, вот где журнал сдачи дежурств, где старший фельдшер — у меня пуста коробка с наркотиками, а фельдшер уехала в аптеку, почему биксы не обновлены?

Понятно, что это брюзжание не прибавляло мне уважения. Да еще в новой малознакомой смене.

Да, отвратительно я себя чувствовал в то время. Как-то сразу перешел в следующую возрастную категорию. Если не высыпаешься, то под глазами появятся темные круги, словно ты после многодневной пьянки, и морщины углубятся, и глаза потускнеют. Словно бы ты враз потерял смысл жизни.

Говорил себе — я не конь блед, я — конь уныл. Да, унылый конь. Прежде ведь я не ходил, а как бы дергался — вроде бы переизбыток энергии, но выхлест этой энергии я сдерживаю. А теперь ходил, словно на плечи давят двухпудовки.

Что меня спасало в то время? В это и поверить трудно, но спасала меня именно работа. Вот поеду я на сложный вызов, и все как бы становится на свои места. Все вокруг глупость — отношение с начальством, отношения новой смены ко мне — я на самом-то деле лишь для того существую, чтоб лечить больных, и только для этого. Как-то сразу восстанавливалось равновесие, и включалась выучка, и пропадала раздражительность. Так что ловил себя на том, что неохота уходить от больного — вот я помог ему, он меня за это ценит и уважает, а на «Скорую» возвращаться неохота — там меня и не ценят, и не уважают.

Надя меня постоянно уговаривала — уйди, ну что ты маешься. Смени «Скорую» на поликлинику. Тебе ведь только сорок три. Из-за чего мучаться? Из-за какого-то ничтожества.

Однажды случайно я встретил на улице нашу бывшую сотрудницу, когда-то совмещала у нас. Она спросила, как мои дела, и я неожиданно порывом пожаловался, что не в ладах с начальством.

Она вдруг обрадовалась. Оказалось, что два года она заведует «Скорой помощью» в Губине.

— Переходите ко мне, Всеволод Сергеевич,— уговаривала она.— Рядом же. Врачей не хватает. А вашего класса нет никого. Дам вам кардиологическую бригаду. Вы, два фельдшера, а? Машина хорошо оборудована. Дефибриллятор новый. Шесть-восемь вызовов в сутки.

— Красивая жизнь,— вздохнул я.— Но все-таки скажу — нет.

— Вы сразу не отказывайтесь. Но помните, что место за вами.

17

Вечером рассказал Наде об этой встрече и своем отказе.

— Ну, и что ты хочешь доказать? — неожиданно набросилась она.— Так и будешь дальше терпеть?

Я обиженно пожал плечами — ожидал иной реакции. Какой? Понимания я ожидал. Но всего более — чтоб она меня пожалела. Да, вот скажи она, бедный ты, бедный, совсем затравил тебя Алферов, но потерпи немного, я с тобой, и мы тебя любим, мне стало бы легче.

Но Надя с первых дней, как стало ясно, что Алферов меня выживает, придерживалась одной линии — мне следует уйти. Что меня, конечно же, огорчало. Думал, за долгие совместные годы мы срослись на манер сиамских близнецов.

— Что и кому ты хочешь доказать? — спрашивала Надя.— Ты врач, и ты должен не враждовать с начальством, а лечить людей. Вот твое дело. А где ты их будешь лечить — у нас или в Губине — неважно. Твои отношения с Алферовым обязательно скажутся на больных. Ты не высыпаешься, ты похудел и задерган.

— Не понимаешь,— огорчался я.

— А что я должна понимать?

— Не понимаешь.

А что я мог объяснить? Говорить бравыми лозунгами? Мол, кто-то должен, и все такое? Или если не ты, то кто же? Или что будет с цивилизацией, если никто не будет отстаивать то, что считает правдой.

Тем более, что она, в сущности, права. Все понимаю: глупо переть на стену. Умный человек тихо уйдет. Его дело — лечить больных, а не гробить здоровье из-за ничтожнейшего человека. Понимал ли я, что это глупо? Да, понимал. Но

и сейчас, когда я крепок задним умом, скажу — начнись все снова, все равно бы не ушел. Никаких иных резонов у меня не было, однажды я сказал себе — не уйду, и не ушел бы, пока не сдох. Возможно, я и есть неумный человек. А только я знал одно — вот здесь я и умру. Все! — я уперся. Всего больше боялся быть проигравшим.

Если уйду, значит, я свою жизнь проиграл. Вот так у меня почему-то скручивалось. То есть если бы я сразу, не задумываясь, ушел, то, возможно, и не укорял бы себя в дальнейшем. Но теперь так в моем понимании получалось, что если уйду, то перестану уважать себя. Опять-таки глупо? Да, именно уперся лбом в каменную стену.

Вспоминаю ранний рассказ Бредбери. Там дикари с копьями бросались на страшное чудовище. Оказалось, что чудовище — паровоз. Безумные люди? Конечно. Но не желали смириться с чудовищем. Достойно ли это уважения? На мой взгляд, да. Хотя их можно осуждать за дикарство. О! Достоинство кое-чего стоит. Оно, я думаю, ценнее жизни.

Напомню считалку: кто хочет честно рисовать, тот должен чем-то рисковать. Абстрактные позиции, за которые ничем не надо платить, остаются только абстрактными позициями. С ними жить красиво. Но жизнью они становятся лишь тогда, когда за них платишь. Иногда здоровьем, иногда жизнью.

Значит, от недосыпа, постоянной взведенности мой характер портился. Недовольство с домашних выплеснулось и на посторонних людей.

Помню два своих срыва в поликлинике.

Однажды был на вызове в глухой деревне. Три месяца назад старик ушиб голень, потом появилась язва, и теперь постоянно идет гной. Делают какие-то примочки.

— А хирург смотрел?

— Да какой у нас хирург?

— А в город вас не посылали?

— Да кому мы нужны, старики? Если человеку за семьдесят, то его и не лечат.

— Тогда собирайтесь — поедем к хирургу.

Ну вот. А на приеме сидит молодой паренек. Кругляшок такой румяный. Второй год работы. Известен тем, что карточки и направления заполняет на машинке. Ну, прогрессивный паренек, научно-техническая революция, все такое.

— Там пожилой мужчина,— показал я в сторону коридора.— Ветеран войны. Ушиб ногу. Нет ли остеомиэлита?

— А вы зачем его сюда? — с улыбкой спросил паренек.

— А куда же? Вот его карточка. А вот и номерок.

— Нет, его в приемный покой,— поучает меня паренек.— Вы же привезли его по «скорой помощи». Значит, в приемный покой.

— Но больной-то амбулаторный. Вот карточка. Вот номерок. Считайте, что он приехал сам, на автобусе.

— Но ведь его привезла «скорая помощь», а не автобус.

— Но вам-то какая разница? Вот карточка, вот номерок.

— Нет, не приму. Его в приемный покой.

Вдруг меня подбросило от накатившей злобы, даже какая-то пелена встала перед глазами.

— Вы все-таки гляньте его своим полупрофессиональным взглядом,— это я уже с нескрываемым презрением.

Он выкатился из-за стола, обомлев от этого вот «полупрофессиональный». В кабинете ведь медсестра и больные.

Тогда я поманил доктора пальчиком, провел в перевязочную, потянул за лацкан халата и шепнул на ухо:

— Надо бы вам ушки надрать за такие штуки,— и постарался обворожительно улыбнуться.

А он так и стоял, онемев, пока я не вышел в коридор и не ввел в кабинет своего старичка.

Срыв? Да. Спад воли? Несомненно. Мне бы не ввязываться в разговоры — привез больного, отдал и отвалил. Пусть доктор скажет спасибо, что я взял в регистратуре номерок. Ветеран войны, сельский житель — примет, куда денется. Но вот возмутился. Как же наш брат быстро наглеет, год поработал и уже кобенится — этого туда, этого сюда, ожидая, что я буду его упрашивать.

Шел поликлиническим коридором и ругал себя — глупо, ну, как же глупо.

И второй срыв был в тот же день, и тоже в поликлинике.

Мне нужно было поставить печати на рецептурных бланках, и я пошел в регистратуру.

— Нет, нет, строго запрещено,— сказала худенькая девочка (она меня не знает, тут они долго не задерживаются, в основном набирают стаж после десятилетки).

А печать поставить было нужно: выписываю лекарства знакомым, да и на вызовах иной раз, правда, нечасто — это не входит в наши обязанности.

Конечно, могу пользоваться Надиными бланками, с ее собственной печатью, но тут уж дело принципа — лекарь я или не лекарь — у меня тоже есть своя печать. И теперь к ней следовало присоединить печать поликлиническую.

С девочкой я спорить не стал — это же не ее выдумка, это указание начальства, и я пошел к заведующей поликлиникой.

Та сидела, кругленькая такая, сравнительно молодая, лет под сорок.

— Печать бы поставить! — как мог весело сказал я, дескать, видите, из-за какой малости приходится отрывать вас, занятого человека.

— Никак нельзя! — был ответ.

Да пальчиками нетерпеливо по столу барабанит.

Ну, как же они быстро начинают чувствовать себя крупными начальниками. Я ведь помню ее юным участковым терапевтом — чуть позже меня начинала,— толковый была терапевт, веселая, горластая. А вот уж и пальчиками барабанит по столу.

— Но я всю жизнь ставил печать у вас.

— А теперь с этим строго. Только своим работникам.

— А я?

— А вы не наш. И мы не можем каждому ставить печать.

Вот от этого «каждому» я внутренне взвился. Нет, я, конечно, любезно улыбался, но в душе все клокотало: черт возьми, она понимает себя чуть ли не министром здравоохранения, вместе отработали семнадцать лет, и я для нее — каждый. Что и понятно: она начальница, я — черная кость, и уж ей никак не ровня.

— Интересно, вот я на вызове в районе оставляю больным рецепты. А потом они поедут сюда ставить круглую печать? Или знакомый киоскер просит выписать гипотензивное, так я посоветую сходить на прием?

— Именно так.— Она уж как-то немигающе смотрела на меня, ну, уж очень, видать, презирала. Не меня именно, но в моем лице любого просителя.

— Я понимаю: когда больные у вас выздоравливают поголовно, когда все врачи на месте, пропали очереди, да к тому же заработали лифты, вы вправе отказаться от посторонней помощи. Вы правы.

Жалкий лекаришка с ноль три и поучает ее — ну, наглец.

— Да уж у вас помощи просить не станем. Как-нибудь справимся,— зло сказала она.

— Мы можем быть бюрократами, но зачем же нам при этом быть еще и глупыми?

— Вы это о себе? — вырвалось у нее. Ну, подставка, ну, какая подставка — тут не удержаться.

— Нет, это исключительно о вас,— и я попытался широко, во весь охват кабинета, улыбнуться.

Ничего не ответила. Лицо пошло красными пятнами — это было, но от дальнейшей свары удержалась. Молодец, конечно же.

А я нет, не молодец. Вот зачем эта свара, к чему похамливать? Она что — поумнеет или перестанет быть бюрократом? Безумие все это. Неумение сдерживаться.

Единственное объяснение — портился характер. Стал обидчивым и начал защищаться — качать права, что, надо сказать прямо, глупо.

С омерзением вспоминаю сейчас те осенние месяцы: брюзжал, цеплял всех, был постоянно недоволен. Сказать коротко: у меня вырабатывался характер неудачника, и самое плохое то, что я сам это понимал.

И потому старательно защищался: нет-нет, я вполне на коне, и жизнь моя удалась, подумаешь — конфликты с начальством, это ерунда, это судьба посылает испытание, это жизнь в очередной раз закаляет тебя, это все временно и пройдет, надо только продержаться, не умаляя себя, чтоб потом не было стыдно: вот суетился, вот унижался, вот позволил бесцеремонно подмять себя.

О! Человек — не соринка, которую можно сощелкнуть с праздничного пиджака, не букашка, которую легко раздавить; если человек упрется, он может выстоять один против Вселенной; и это ложь, что один человек ни черта не может, один человек, если он решил устоять и не согнуться, может все!

Такими примерно лозунгами я утешал себя. И защищался как мог. Излишне, может быть, показывая, что я не соринка и не букашка. Налетал на Алферова и старшего фельдшера: та же нехватка лекарств, машин, людей. Вы когда в последний раз аппаратуру проверяли? В скольких машинах работает наркозный аппарат? Я вчера посмотрел — в трех машинах нет закиси азота. Мы допрыгаемся.

В таком, примерно, духе. Да с напором, да с вызовом и не без легкой примеси наглости. Как бы даже и провоцируя: ты меня спекаешь, а я не клоп, меня раздавить невозможно.

Разумеется, попадало и смене, в которой я тогда работал. Пожилой брюзга с дурным характером. Правда, безотказный, и за это можно простить его вздорность.

Но если на работе я все-таки как-то сдерживался — нельзя же распускаться, да еще с молоденькими фельдшерами,— то дома я сдерживал себя поменее.

Дома! Горечь, бесконечная моя горечь! Неужели я не вправе был рассчитывать на безоглядную поддержку Нади. О, единственная душа, о, неразменная половинка. В той поговорке, приписываемой Аристотелю, про друга и истину, мне друг был бы дороже. Понимаю, все понимаю, любовь к истине, по Чаадаеву, понятие божественное, но если бы друга сжимали архаровские объятия, я сперва попытался бы помочь ему выбраться из этих объятий, а уж потом вспомнил бы об истине, да и потолковал о ней, прогуливаясь с другом по осеннему парку.

Это в том случае, если б близкий человек был неправ.

Но я-то был прав, у меня нет в этом сомнений и сейчас. Возможно, иной раз был прямолинеен, вздорен, но, в сущности-то, был прав. И Надя, зная меня долгие годы, должна была понимать, что уж если я решил упереться, то все! — сдвинуть меня невозможно.

Если я решил держаться до конца, я бы продержался. Голодное детство, повторю, и голодная юность кое-чему меня научили: полагаться на свою волю — вот вернейший посыл. И я на себя полагался.

Но при этом отчего-то рассчитывал на поддержку семьи. Конечно, то понимание, что въелось в меня в детстве и юности — человек сам по себе, и он никому не нужен,— сидело во мне постоянно; но под влиянием прошедшей жизни и усиленных внушений — я нужен больным, и Андрею, и своей семье — это понимание своей ненужности, поэтическое, в сущности, понимание, как бы затаилось, как бы пребывало в летаргическом сне. Но вот оно начало обозначать все признаки пробуждения.

Нет! Уверенность, что я занимаюсь стоящим делом, сидела во мне прочно, тут я знал — испарись я внезапно, кому-то, хотя бы двум-трем больным станет от этого хуже. Все-таки лучше я, человек опытный и профессиональный, чем начинающий мальчик. Это сидело во мне прочно. И, несомненно, утешало.

В семье же меня ждало горчайшее разочарование. Казалось бы, все так просто: человек решил упереться, это окончательное его решение, ты с этим решением не согласна, ты давала иной совет, ты можешь даже обидеться, что человек не внял твоему совету, но ведь плоховато-то ему, а не тебе. У него портится характер, но потерпи, это временно, это от архаровских и кержацких объятий, пройдет, конечно же, все пройдет.

Но нет. Получалось так, что раз ты не захотел перейти на другую работу, то сам и виноват. Алферов, конечно, не золото, но тебе-то зачем с ним тягаться. Сам когда-то приводил чье-то высказывание: «Разве я обижаюсь на лягнувшего меня осла». Милая, это Сократ, но то другое время, иная мудрость, иная память человечества.

Было какое-то постоянное взаимное раздражение. Что даже и странно: спекают меня, а раздражается Надя. И не на Алферова, а на меня. Словно бы я, придурок, не в силах понять что-то такое, что ясно понимает она.

Да, это наше взаимное недовольство: я раздражен, придирчив, я мелочен, она на мои подколы отвечает язвительными репликами. В том духе, что где уж нам понять, ведь мы же не бойцы. Если мы уйдем с работы, никто этого и не заметит. А ты — другое дело, потеря невосполнимая.

Ах, эти взаимные уколы быта, возврат коммунального чада, туман невыясненных отношений и накал взаимного раздражения. Тринадцать лет прожили, не было этого прежде, но стоило мне попасть в переплет, как оказалось, что нет домашней поддержки.

Открытие было простейшее: да ведь она же меня не любит. Прежде, когда я был легок и сравнительно весел, со мной было несложно ладить — отходчив, непритязателен в быту, уступчив. Но теперь, когда озабочен и раздражен, дело другое.

Ох уж этот наш неизбывный романтизм, наши розовощекие надежды. Полагаем, что, кроме матери, есть хоть одно существо, кто жизнь за тебя отдаст. Нет, никто и ничего отдавать не станет — истина несомненная. Какая там жизнь, да и не надо, ради бога, нам бы хоть понимание, да ладно, что хватать так безоглядно — нам бы хоть сочувствие. Как нам дается благодать. А если человек не верит в благодать или сомнеается, что она дается? То-то и оно. Утрись! Затихни.

Отчуждение — вот что возникло в те месяцы, новейшее чувство, горчайшее ощущение. И препирательства пошли — да по мелочам, да по точкам повседневного быта, да по вопросам педагогики.

И это все при Павлике.

Однажды я не выдержал и на высоте взаимных подколов сказал:

— Давай послушаем, что нам скажут уста младенца. Павлик, будь судьей!

Это было после ужина, в часы, можно сказать, для Павлика святые — уроки отпихнул, теперь волен и может клеить свои модели.

— Ты нас рассуди. У меня на работе сложности.

— Мне известны твои сложности, папа. Трудно представить, что я глохну в то время, что вы ссоритесь.

— Как мне поступить, мальчик? Быть ли мне таким, как сейчас? Или уйти? Или — что устроило бы всех — унижаться? Это был бы самый лучший вариант для Алферова. Но я не хочу идти в Каноссу, мальчик.

— Только не ходи в Каноссу. Тем более, что твой Алферов не папа Григорий Седьмой, а ты папа (шутка показалась мне удачной, и н не сдержал улыбку). Ты его прогони, а сам сядь на его место.

Надя едко усмехалась — тоже мне, нашел советчика.

— Ты не уходи и не смиряйся. Мы никогда не покорялись недостойным. Из речи, приписываемой Периклу. Борись, папа. Я слежу за тобой. Ты ведешь себя достойно. Я горжусь тобой, папа,— он говорил это как бы в шутку, но голос его дрожал, и я понял, что мальчик и впрямь гордится отцом — награда немалая за недосып и разлив желчи.

— А вот мама считает, что мне надо плюнуть и уйти. Или не дергаться.

— Ну, женщины вообще легче приспосабливаются к изменениям внешней среды. Они бóльшие конформисты. Потому и живут дольше.

Надя снова усмехнулась: с одной стороны, ей приятно, что мальчик говорит взрослыми словами, с другой — обидно, что он взял сторону отца.

— Он же поет с твоего голоса.

— А ты хотела бы, чтоб он пропел твоим голосом — не спорю, нежнейшим колоратурным сопрано — по одежке протягивай ножки. Спасибо, мальчик. Трудись далее. Спор закончен. И попрошу больше его не возобновлять. Отбой!

Да, мне было тяжело в те месяцы, но были и немалые утешения.

У меня был не только Павлик, но и Андрей.

Я не погружал его в свои трудности, зачем отвлекать человека. Но уверен был, что он несомненно поддержал бы меня. Да и сам его ежевечерний труд — превосходная поддержка.

Этот человек не позволит умалить себя ради покоя или краткой выгоды. Получится у него вещица или нет, но что парень ставит перед собой лишь высокие цели, вот в этом я не сомневался.

И поддерживала Наташа. Она всегда находила верный тон и нужные слова, чтоб успокоить меня. Даже само ожидание встреч утешало меня. А что ни случись, говорил себе после очередного наскока Алферова, через два дня я увижу Наташу, и это высокая награда за терпение.

Тогда мы встречались как раз чаще прежнего. Совпадали ее и мои выходные дни, в библиотеке санитарные дни и какой-то переучет (инвентаризация, пожалуй), и в мой свободный день она могла отпроситься на два часа — встречались часто.

Наташа жила тогда в каком-то постоянном веселом ожидании, связанном с близким получением жилья. Уж и бумаги нужные собраны, но что-то откладывали заседание исполкома, где должны решаться жилищные дела. Но это уж легкий толчочек, и жар-птица окажется в руках.

Стыдно вспомнить, но с каким же наслаждением жаловался я тогда на свою жизнь и паскудство Алферова.

И всегда она находила нужные слова утешения.

— Ты спроси у жителей нашего города, знают ли они, кто такой Алферов. Какой еще Алферов? А потому что без него больные обойдутся, а без тебя нет. Таких, как он — навалом, а ты — единственный на свете.

— Все люди единственные,— жалкое, конечно же, возражение при погасшей воле.

— Все — не знаю, это их дело, а вот ты единственный, и я тебя люблю. А если б любили твоего Алферова, он не был бы таким. Он, я уверена, потому такой, что его никогда не любили женщины. Да он недостоин, чтоб ты хоть мгновение думал о нем. Ты лучше думай обо мне.

Но вместе с тем именно в то время случались у Наташи резкие перепады настроения — от безоглядного веселья до замкнутости, даже отчаяния. Такие перепады случались и прежде, но были они смазанные, не такие резкие. Если прежде легкое, неясное раздражение, то теперь, хоть и краткое, но отчаяние.

Перепады, вернее, их причины, были просты: веселье в начале свидания, отчаяние в конце его.

Вот это:

— Не уходи. Это даже и странно: отпросилась с работы я, а торопишься ты. Ну, еще немного.

— Да, конечно, с радостью.

— Ну, придумай что-нибудь. Освободись на вечер или ночь. Я уложу Марину, и мы погуляем по городу. Ведь поздно — на улицах нет никого.

— И дождь — не помеха?

— И дождь — не помеха, и ветер. А потом мы обнимемся и проспим до утра.

— Это невозможно.

— Да, это невозможно,— смиренно, словно эхо, повторила она.

И вот тогда-то она замолкала, и становилась угрюмой, и ее молчание и угрюмство рвали мне душу.

— Ты счастливый человек,— сказала как-то Наташа перед расставанием.— У тебя есть все: и любимая работа, и любимые книги, и привычная семья. Все устоялось, ты поймал равновесие, и больше всего боишься выйти из этого равновесия.

— Это плохо?

— Это хорошо. Вот только я здесь ни при чем. Хотя, конечно, я тоже нужна. Но только для того, чтоб подчеркнуть, как удобно ты расположился в жизни. Тебе даже и Алферов нужен.

— А он-то зачем?

— А чтоб особенно оттенить приятность душевного покоя. Он пытается лишить тебя равновесия, но вот тут-то ты ему не уступишь. Да, у тебя замечательная жизнь, и ты вправе считать, что она вполне удалась.

— Да, особенно ее первая половина.

— Это другое дело. Твое нынешнее состояние дорого тебе далось, но тем больше ты должен ценить равновесие. Человек, который в молодости голодал, всего больше боится повторения голода. Человек, которого часто обманывали, больше всего боится повторения обмана. Я думаю, ты и с Павликом не хочешь расстаться не только из любви к нему — его ты, конечно, любишь,— а из боязни потерять привычное равновесие.

В ее словах был не упрек и уж тем более не осуждение (это бы я почувствовал), но лишь сомнение в моей правоте. О, точно угадала — не глупа, еще и как не глупа.

Да разве же и у меня самого нет сомнений в своей правоте, да разве же я считаю свой вариант жизни единственным возможным вариантом? Конечно, были когда-то и другие варианты, иные возможности, иные пути, но я сам — и, замечу, добровольно,— избрал именно свой вариант, тот как раз, в котором и пребываю.

Нет уж, жизнь единственная, переигрывать ее невозможно.

Но всякий раз, расставаясь с Наташей, я думал: как все просто на свете — однажды набраться отваги и не расставаться на все оставшееся время. И не будет у Наташи отчаяния и тоски. Тщета надежд, уговоры тусклого и робкого сердца. Но не трепетать, когда подходишь к ее дому, не суетиться уходить, когда прошло отпущенное время, не скрытничать.

Господи, как все просто. Господи, как невозможно.

18

А потом внезапный обвал. Обвал и обвал.

Началось все довольно просто, словно бы шуткой.

Это было после праздников, где-то в середине ноября.

— Папа, Борис Григорьевич просит тебя зайти в школу,— сказал мне Павлик.

— А что случилось?

— Даже не представляю.

— Нахулиганил? Что-нибудь поджег?

— Вроде все в порядке. Я спросил его, а зачем родителей, он ответил — да так, ничего особенного.

— Родителей или именно меня?

— Именно тебя.

— Все это странно.

— И я так считаю.

Шел не без трепета — никогда прежде в школу нас не вызывали. Родительское собрание, но это как все. А тут персонально. Мой трепет был понятен. Не зовут же, в самом деле, чтоб поблагодарить — ваш сын — сплошной Сахар Медович.

По дороге прокручивал варианты, а что мальчик мог натворить. Ну, поджег что или с кем подрался — это бы он сам мне сказал. Что за смысл скрывать, если я сам все узнаю. И потом, мне кажется, мальчик у нас не лживый, если бы набедокурил, признался бы. А тут вызов. Да отца. А я редко бываю в школе, на собрания в основном ходит мать.

Классный их руководитель, Борис Григорьевич, второй год в школе, математик, и они все в него влюблены. Он объединяет детей не собраниями (хотя есть и собрания, и классные часы), а общением на природе: то они на лыжах ходили, то просто жгли костер, прыгали и горланили песни, в сентябре всем классом за грибами ходили. Теперь договорились летом куда-то плыть на лодках (правда, вместе со старшеклассниками).

Молодой такой, не озабоченный семьей и не уставший от школы человек. Разумеется, они вьются вокруг него. Высший для Павлика авторитет. Думаю, я на время отошел на второе место. Что и понятно: я свой, привычный, а тут учитель, да энергичный, да с разными затеями, да любит детей.

Школа мне, как всегда, нравилась — новая, два года как построили, и я шел по ней не без внутренней сентиментальной слезинки — никакого сравнения со школой моего детства, зачуханной и пропахшей мочой, и я заглянул в спортивный зал и в столовую, и в актовый зал, и я обалдел от этих кабинетов.

Из всей физики я запомнил лишь колесо, которое, если раскрутить, дает молнию. На уроки физичка носила его с собой, и когда кто-либо пытался его крутнуть без ее разрешения, она честно предупреждала: «Я кому-то сейчас так дам, что пух и перо полетит».

А тут, значит, отдельные кабинеты, и на столах приборы — это я заметил на перемене — прогресс несомненен, и, конечно же, от него невольно обалдеешь. Даже если ты в школе не первый раз.

Бориса Григорьевича я нашел там, где указал Павлик — в кабинете математики. И Борис Григорьевич мне очень понравился — молодой, красивый, с застенчивыми глазами и угловатыми движениями.

Дело вышло вот какое. Перед праздниками класс затеял что-то вроде «огонька». Даже и с маленьким спектаклем. Так, сценки из школьной жизни. Там была постоянная пара — нерадивый ученик и настырный учитель. И учитель — с огромным животом, в соломенной шляпе и с ножом в зубах — гонялся за учеником. Диалог — погоня, диалог — погоня. Кончилось тем, что приспособили незаметно хитрое какое-то устройство — думаю, привязали веревки — и учитель поднялся к потолку, то есть улетел.

— Так и улетел? — спросил я.

— Да. Так и улетел.

— Ловко! — восхитился я, не понимая, зачем он мне все это рассказывает.— А как же веревки привязали? Все видели?

— Незаметно. Вдруг учитель поднялся и полетел. Конечно, при этом дрыгал ногами и руками. Это было и смешно и неожиданно. Я сам все впервые увидел уже на сцене — дал им самостоятельность. Дети от восторга попадали на пол.

— А вы?

— Я усидел.

— Ловко придумано.

— Да, ловко. Вот потому я вас и пригласил. Все придумал ваш Павлик. Он же играл учителя.

Тут я вспомнил предпраздничную суету Павлика — и как он вечерами кривлялся перед зеркалом, и как он изводил Надину помаду, и как он сажей наводил тени под глазами, а я ругал его, что испортит кожу. Помню и его восторг после выступления. Я спросил — ну как. Нормально — важно, но и с нарочитой скромностью ответил он. В подробности своего успеха не вдавался.

Все это хорошо, но я хотел бы понять, для чего меня вызвали в школу.

— И тут случилась неожиданность,— смущенно сказал Борис Григорьевич (ему явно было неловко разговаривать со мной, и он в смущении поигрывал пальцами, сводил ладони, потягивал пальцы, пощелкивая ими — пальцы были очень красивые, длинные и нервные).— Дети пришли домой и обо всем восторженно рассказали родителям. И дедушке одной нашей девочки не по-

правилось все это, и он написал директору школы: куда смотрит классный руководитель и родители мальчика, который все это придумал. Мыслимо ли учителя изображать каким-то бандитом и допустимо ли двенадцатилетним школьникам предоставлять самостоятельность. От горшка два вершка, а критикуют начальство. Что с ними будет, когда вырастут, ведь никого не станут уважать,— он все это говорил застенчиво и чуть насмешливо — дескать, мы-то с вами понимаем, что это вздор, но что же поделаешь.

— Мне кажется, это у них был такой ход — показать, что будет, если учитель и ученик поменяются местами.

— Да, конечно. Потому и было смешно. Но директору нужно отреагировать на письмо. Я ей все объяснил. Но у нее нет времени воспитывать дедушку нашей ученицы. Он же, судя по тону письма, если меры не будут приняты, станет жаловаться в роно.

— Что даже и странно. Я считал, что родители боятся конфликтовать с учителями, у которых учатся их дети.

— Это так. Но идеалы, на которых воспитывался в молодости, дороже. Словом, директор хочет ответить на жалобу, что со мной и с вами проведена воспитательная работа. Чтоб жалоба не покинула пределы школы. Вот и будем считать, что я с вами поговорил.

Да, ему было неловко и даже противно говорить все это. Я понимал также, что он не сразу согласился с указанием директора школы. Но что поделаешь, во всякой работе немало такого, что делаешь, если даже не согласен с этим.

И тут нечего высокомерничать — малый конформизм — это и не конформизм вовсе, но свидетельство бытового, практического ума. Я, к примеру, иной раз не везу больных в стационар, хотя понимаю, что надо бы везти. Знаю — совсем нет мест. Да, но я редко говорю, что нет мест, я внушаю, что больной нетранспортабелен и что его ни в коем случае нельзя трогать с места.

— Я вас понял. Вы провели со мной беседу, и я в очередной раз внушу Павлику, что учителей надо уважать — они дают детям свет знаний.

— Хорошо,— явно обрадовался Борис Григорьевич, видя, что я понял его именно так, как он хотел — не ерепенюсь, не становлюсь в позу и не защищаюсь.

— Вы простите меня, я хочу воспользоваться случаем и поговорить о Павлике,— сказал я.— Расскажите мне о нем.

— Ну, что я скажу? Хороший мальчик. Самостоятельный. Воспитанный. Хорошо учится. Силен в гуманитарных науках. Особенно в истории. Вы же сами знаете, что он развитее многих ребят класса — вы, видимо, много с ним занимаетесь.

— Он не высокомерный? Не фискал?

— Нет. Хороший мальчик. Некоторые учителя считают, что он излишне самостоятелен и может вступить с учителем в спор, но я не считаю это недостатком. Лексика его отличается от лексики сверстников — много книжных слов и взрослых выражений, отчего может сложиться впечатление, что мальчик несколько умничает.

— Это я виноват. Мы никогда на машину не говорили би-би, а на собаку гав-гав. Я всегда разговаривал с ним, как со взрослым человеком. Вы считаете, что надо усредняться?

— Нет, делать ничего не надо. Я же говорю, что вы с ним много занимаетесь, и это особенно заметно на фоне детей из неблагополучных семей. Пока ничего менять не надо.

— Спасибо.

— Вы, и правда, простите меня. Но и поймите правильно.

— Я все понимаю.

И мы расстались, как мне показалось, довольные друг другом.

Я не доказывал, что земля кругла; на такую ересь я бы не отважился, он не принимал позу всезнающего ментора.

У меня было безошибочное чувство, что мы могли бы понять друг друга и в вопросах, не относящихся к школе и к Павлику — так мне казалось. И это наполнило меня радостью: не так уж часто бывает ощущение, что вот с этим человеком без всяких принюхиваний вы могли бы понять друг друга.

Но когда я шел от Бориса Григорьевича школьными коридорами, то не было уже во мне сентиментальной слезинки и умиления от новой школы. Э-э, одно ушло, приходит что-то другое. С одними проблемами школа справилась, в других задыхается. Но тут уж я имею в виду не вину школы, но исключительно родительскую вину.

Ругаем школу, оно конечно, но я бы прежде ругал родителей. Классы переполнены, но они всегда, и в моем детстве, были переполнены. А вот такое количество неблагополучных семей — это уж явление новенькое.

В моем детстве мало у кого из мальчиков класса был жив отец — я считался редким счастливчиком. Но не было термина — неблагополучная семья. Какое к черту благополучие, когда отцы попросту полегли на войне. К возрасту Павлика я уже год жил без матери, так какое тут неблагополучие — это судьба-жестянка. А сейчас укатистое определение — неблагополучная семья.

Однажды был на вызове у директора школы. Пока ждали, что пройдет приступ печеночной колики, разговорились. «Что самое трудное в моей работе?» — спросил он. Я гадал: «Нет денег? нежелание детей учиться? раннее половое созревание?» Все не мог угадать. Наконец, сообразил — неблагополучные семьи. «Да, главная моя забота,— сказал он,— мне некуда девать детей, чьи родители лишены родительских прав. Нет мест в детских домах. Вернее, их мало — не успевают строить — никак не поспеть за прорвавшейся плотиной. Хоть и пьянчуги, но иной раз, смотришь, покормят ребенка, оденут. А с лишением прав и это с них снимается. А детей девать некуда. Двадцатый век, заметьте, вышел на финиш. И дети — их немало, поверьте — не кормлены, не мыты, раздетые. Днем мы еще покормим их в продленке, а вечером? Как и где они спят? Не знаете?» — «Нет, знаю, езжу на вызовы — вижу. Но мало кто знает из сытых наших современников. Что тут сделаешь? Я не знаю. Но напомню старую истину: если вы хотите что-нибудь сделать, делайте хоть что-нибудь».

Надя и Павлик пришли почти одновременно — в три часа. Нервничали, были нетерпеливы — все понятно, случилось что-то особенное, если родителей вызвали в школу.

Хладнокровно, без комментариев я рассказал о беседе с Борисом Григорьевичем, опустив, разумеется, комплиментарную часть.

— Я знала, так кончится! — горько сказала Надя.— Это твое воспитание,— уколола она меня.— Всегда говорила тебе: он — ребенок. Это только кажется, что он все понимает. Он совсем не то и не так понимает. И вот результат. Он самостоятелен! Да кто ты такой, чтоб критиковать учителей? Ты еще маленький мальчик. Самостоятельное мышление ему! Да он ноги не вытрет, если не прикрикнешь на него. Ты когда в последний раз чистил зубы?

Павлик растерялся: то ли от того, что ему вместо общего разговора предлагают какие-то конкретности, то ли от того, что эти конкретности очень уж невыносимы, то есть, и верно, давно не чистил зубы.

— Я ему не напомню перед сном, никогда не почистит. Не загоню его в постель, до двенадцати будет читать. Ты посуду за собой моешь?

— Нет.

— Это папа иногда моет за тебя и за себя. Но, правда, это случается редко. Вы не любите конкретных дел, вам бы только поболтать.

— А правда, Павлик, как ты это понимаешь — учитель гоняется за учеником с большим ножом, а потом улетает на небо? — спросил я.

— Это метафора, папа.

— Что-о? — рассердилась Надя.

— Это реализованная метафора, папа,— уточнил Павлик.

— Вот тебе, пожалуйста,— рассердилась на меня Надя.— Вы только болтать умеете. А вот отвечать за свои поступки — это увольте. Вы не бываете неправы, вы всегда правы. Неправы другие родители, другие ученики, начальство, но только не вы. Вы же неуязвимы.

Я с удивлением смотрел на Надю, она раскалялась бы, возможно, долго, но, видимо, ее насторожило непривычное мое молчание, и она, уколовшись о мой взгляд — не исключено, что в нем было и презрение,— вдруг замолчала.

— Значит так, ребята,— сказал я.— Подведем итоги. Делай выбор, Павлик. Первое: молчи, скрывайся и таи.

— Это Борис Григорьевич сказал? — спросила Надя.

— Нет, это Тютчев, Федор Иванович. Можешь думать что угодно, но помалкивать. За мысли тебя покуда никто не осудит. Второе — можешь говорить все, что думаешь. Но за это придется платить. Вызовом родителей в школу, снижением отметок, конфликтами по службе и иными, более скверными неприятностями.

— Педагог! Песталоцци (это Надя подражает мне)! Сухомлинский! (Это уже самостоятельность.)

— Точка зрения мамы тебе понятна. Она нехитра — хочешь жить, умей вертеться. Все! Диспут завершен. В споре, понимаем, вновь родилась истина. Тебе все понятно, Павлик?

— Мне все понятно, папа,— тихо и серьезно сказал Павлик.

19

В тот же день — а это было перед дежурством — пришел Андрей.

— Вот! — он торжественно положил на стол рукопись.

— Кончил?

— Да!

Он и не пытался скрыть торжество, он сиял — закончен почти полугодовой труд — как же не сиять.

— Поздравляю, Андрюша,— у меня даже голос как бы повлажнел.

Я потрогал рукопись.

— Ого! Уже на машинке отпечатал,— удивился я.

— Да, поспешил,— торопливо, как бы оправдываясь, сказал Андрей.— У знакомого тетя — профессиональная машинистка. Она уезжала в санаторий, потому я и поторопился. Да и недорого.

Я заглянул в конец повести.

— Сто двадцать страниц! — восхищенно сказал я.— Здоров! Теперь вижу — писатель.

— Так я побежал.

— Беги, дружище. Я сейчас же примусь за дело. Завтра дежурю — приходи послезавтра.

Я стал читать свежую последнюю часть, и огорчению моему не было предела: Андрей избрал самый популярный и героический вариант.

И ведь все вроде бы нормально: вот следствие, вот Петропавловская крепость, указано, что в крепостном списке Каховский помечен как арестант, не пользующийся правом переписки. Никто ему не писал, никто не искал свидания с ним.

Скупо, строго рассказано, как достойно вел себя Каховский на следствии — не валил на других, выгораживал тех, кого ввел в общество, всю вину брал на себя. Подчеркивал также, что для блага Отечества мог бы и отцом родным пожертвовать. Равнодушие к смерти, не покидавшее Каховского все время.

В одиночке перед ним проходит весь день четырнадцатого декабря. Так, мелькание лиц: Милорадович, Оболенский, Стюрлер. О свитском офицере Андрей даже не вспомнил.

И выход к кронверку Петропавловской крепости. Один, ни рукопожатий, ни слов утешения. И Каховский видит перед собой виселицу.

И опись оставшихся после человека вещей: фрак черный суконный, шляпа круглая пуховая, жилет черный суконный и прочее.

Андрей дважды подчеркнул, что в Милорадовича Каховский стрелял только для того, чтобы спасти восстание, и он ловко и тактично сослался на сибирские работы Лунина.

Эта последняя часть была написана сухо, и я бы даже сказал, скучно, и единственная фраза, которая задержала мое внимание, это фраза о поведении многих декабристов на следствии: «Они были слишком чисты, чтобы не запачкаться, столкнувшись с подлостью».

И тогда я перечитал повесть целиком, и тут меня ждало самое удивительное: Андрей переписал повесть, чтоб вся она соответствовала последней части, и все непонятным образом сморщилось, так что я не узнавал куски, которые читал прежде.

Этому я находил такое объяснение: первую половину Андрей писал, понимая героя не совсем традиционно — назовем этот путь, условно, дегероизацией, а во второй половине он встал на путь иной — как раз традиционный, как раз героический, и подогнал всю повесть под этот привычный и героический настрой, и все, что не соответствует этому взгляду, выкинул.

И тут проглянула странная какая-то зависимость: стоит человеку слукавить, чуть спрямить обстоятельства, как слог сразу сморщивается, становится привычно-газетным, именно таким слогом пишутся для старшеклассников брошюры о замечательных людях.

То есть такое было ощущение, что Андрей тщательно пропалывал себя, выбросив все, что хоть сколько-нибудь несло печать собственного видения. Даже, представить себе, исчезла ирония в описании романа Каховского и Софьи Салтыковой. А так: роман и роман, без этих ахов, без прижиманий рук к сердцу, а прямо тебе чистейшая любовь, а прямо тебе Ромео и Джульетта. И полусумасшедший злодей папаша, отвергнувший бедного жениха (хотя папаша и на самом деле был полусумасшедшим).

Удивительное дело: словно бы человек ставил задачу выбросить сколько-нибудь своеобразное, порезвее вырвать и закопать. Да еще потоптать землю, чтоб уж в дальнейшем ничто не проросло. Все слова и фразы, которые я запомнил, Андрей, как назло, выбросил.

Именно вот это безжалостное (другого слова не найду) отношение Андрея к прежним своим удачам меня и поразило. Убежден был, что начинающий автор носится с каждым удачным словом и не дает его выбросить постороннему человеку, болезненно морщится, когда знаки препинания расставляют не так, как расставил он. А тут сам испортил рукопись. И главное — зачем? Этого я не мог понять.

Все было гладко, правильно и скучно, и это был язык средней популярной статьи. Меня сердила не так даже сухость, как выпрямленность Каховского. Если я знаю, каков был у него характер и взгляды на жизнь, то, конечно, знал это и Андрей.

Я ходил по комнате и вполголоса произносил монологи в том духе, а где ж обещание писать правду и только правду, где ж тот наш давний взгляд на декабризм и на место маленького человека в нем, о котором мы столько говорили. Ну, хорошо, ты не согласен с моей точкой зрения — несомненно любительской, возможно, и полуграмотной — так дай свой взгляд; но почему же он должен совпадать непременно со взглядами всех пишущих по декабризму. И вообще по истории. Что это — забота о воспитательных мотивах? Молодежь должна воспитываться на положительных примерах? Но ты же не редактор, ты начинающий автор, зачем же взваливать на себя чужие заботы? Перед тобой ведь стояла простая задача: описать правдиво то, что ты знаешь. И ничего более. В этом-то и будет самый поучительный момент — в правдивом взгляде на героя. Ты же историк, боже мой.

Странно все, непонятно все. И так я ламентировал до тех пор, пока не понял простейшую вещь: а ведь мальчик просто-напросто хочет напечататься. Любой ценой, но напечататься. Иного объяснения у меня не было. Хотя мне и стыдно было так думать о своем ученике.

Да что ж это за отрава такая — жажда напечататься, если ради нее человек отказывается от собственного мнения.

Для чего он это сделал? Для денег? Да, они с Верой живут бедно — на ее бухгалтерскую зарплату и его стипендию. Правда, он ездит в стройотряды и напечатал два очерка, но это все деньги небольшие и разовые. Когда-то он хотел подрабатывать, но мать раз и навсегда запретила — твое дело учиться. Нет, мотив заработка не мог быть главным: до окончания учебы остался год, потом — пойдет ли Андрей в школу или в науку — станет легче; за год повесть не напечатают, это мне Андрей объяснил — в журналах свои сроки.

Тогда что же? Жажда славы? Возможно. Двадцать один год пареньку, а он

напечатал повесть в общесоюзном журнале. Уж если мне, его учителю, это кружит голову, то можно представить, каково Андрею.

Когда ему было десять лет, Вера впервые решила отправить его в пионерский лагерь и попросила меня уговорить Андрея — он наотрез отказывался. Я уговорил его простейшим соображением — путевка бесплатная, и лагерь необходим, чтоб сравнительно безболезненно купить Андрею вещички на осень и зиму.

Но потом он ездил в лагерь охотно и на две смены кряду, и я спросил Андрея, что же его примирило с лагерем.

— Время после отбоя. Я рассказываю разные истории. Дюма. Конан-Дойля.

— И слушают?

— Еще бы! — торжественно сказал он.

И я понял, что в эти часы, когда рассказывает истории, он чувствует себя всесильным, и голос его, пожалуй, дрожит от счастья. Да, голос у него слабенький, но он держит в трепете весь отряд — сладчайшая, понимаю, власть, нежнейшая слава. Когда ему удастся держать в руках столько душ сразу? Только на школьном уроке. Или если повезет стать писателем.

Да, но привлечь души читателей может только правда. Но так думаю я, Андрей же, возможно, думает иначе. Ему, может быть, достаточно сознания, что вот он, никому неизвестный парнишка из провинции, напечатал повесть.

И я вспомнил снова рассказ Андрея, как он пришел домой после первой публикации, и как он сдерживал молчаливую горячую радость и только дома завопил «Ура!», и бросил журналы на пол, и повалился на них, едва живой от счастья. Видимо, этот огонь, мне неведомый, опаляет навсегда. Видимо, он не дает покоя, он жжет, как и положено огню, он приносит яростную радость, томит сладостно сердце предощущением будущих публикаций.

Господи, понял я, да ведь в Андрее сидит все тот же маленький мальчик, который постоянно чего-то стыдится — пьяного отца, бедности, и этот прошлый стыд въелся в него и оказался сильнее моих внушений. Я-то внушал, что дело не в тряпках, а в знаниях и что интересна и важна только правда.

Но стыд детства, догадывался я сейчас, постоянно подсказывает, что ты должен еще и еще раз доказывать: мальчик из семьи, где отец пьет, а мать получает крохи, ничем не хуже других. У него есть стержень, и потому Андрей обязан написать повесть, да так, чтоб ее непременно напечатали.

И для этого можно чуть слукавить и немного — на самую малость — отступить от истины.

Оправдание же отступу тут как тут: а что вы там такое печатаете в своих журналах — правду и ничего кроме правды? — ведь и всякий человек, начиная писать и думая прежде всего о печатании, но не об истине, идет на компромисс. Хотя бы со своей совестью.

О нет, я уговаривал себя, что это лишь одни мои догадки, но, как ни стыдно в этом признаться, я уверен был, что мотивы у Андрея были именно эти.

Однако спрашивать его об этом было бы безумием. В истинных мотивах — если они внелитературные — он не признается не только мне, но и самому себе. Потому что истинные мотивы загнаны в этом случае в подсознание. На поверхности же сознания будут убедительные и уютные доказательства своей правоты. На то, собственно, человеку и даны знания. Которые, как и ум, не имеют стыда. Которые, к сожалению, не спасают от компромисса, но лишь делают его более приемлемым, уютно убаюкивая совесть.

Но как же я сопротивлялся этим своим соображениям, как же не хотел примириться с очевидным. Вот именно очевидное было для меня невероятным.

Еще бы я не сопротивлялся: иначе ведь получалось, что пятнадцать лет, которые я воспитывал Андрея, потрачены впустую.

Потому что менее всего я хотел, чтобы Андрей стал конформистом, всегда говорил ему: пусть тебе будет трудно, но имей на все свою собственную точку зрения. Если она совпадает со взглядом большинства — хорошо, тебе повезло; но если не совпадает, не позволяй большинству подмять твой взгляд, отстаивай его, будь терпелив и мужествен, и ты победишь. Даже если ты проиграешь, все равно победишь.

И что же — при первом же испытании, которое, к слову говоря, взвалил на себя добровольно, отказался от собственного взгляда в угоду взгляду распространенному, то есть, опять же, большинства.

Горько это сознавать стареющему учителю? Да, горько. Но я не сдавался. О, наши надежды, как мы верим вам, с какой же болью расстаемся с вами. Но облетаете вы, как листья с деревьев поздней осенью. И добро бы, держались вы до морозов и облетели бы при невыносимом уже ветре, при урагане, можно сказать, но вы облетаете при первом и легчайшем дуновении ветерка.

Нет, не может быть, чтобы в работе Андрея присутствовал торговый счет. Это у него просчет вышел. Это лишь от неопытности. Это он ищет себя. Попытался написать вещицу в одной манере, теперь ищет манеру иную, а потом он попробует еще что-то. Начинающий литератор, он пытается поймать собственную жар-птицу. О, все будет хорошо. Нужно быть строгим, но ни в коем случае не высокомерным.

И тут среди этих самоутешений я похолодел от простейшей догадки: а ведь этот вариант Андрей считает окончательным, и он уже снес повесть в редакцию.

Я заглянул в рукопись и увидел то, на что прежде не обратил внимания: Андрей принес мне второй или третий машинописный оттиск, но не первый. А где же первый? Андрей знает, что я не стану портить страницы, почему же не принес первый оттиск? Мне все равно, но все же почему не первый? Он что, в редакции?

Этого, конечно же, быть не могло. Потому что тогда получалось, что мое мнение для Андрея — дело десятое. Или же он заранее знает, что я скажу, и заранее с моим мнением не согласен. Этого не может быть. Первый оттиск оставил он себе, чтоб еще немного поправить. Еще разок пройтись по нему, хотя бы взглядом.

Да, я утешал себя как мог. Ум мой услужливо подсказывал, что это лишь нечистые мои подозрения, у Андрея порывы самые благородные, но сердце переполнила такая горечь, что оно заныло.

Да, горечь была такая, словно моя жизнь враз и безнадежно пропала (о! господин Войницкий, смилуйтесь и простите!), а сердце ныло так, словно отлетающие надежды решили на прощание сдавить его, ласково, но неотступно.

Так что перед сном я ахнул ложку валерьянки. И долго ворочался, пытаясь найти позицию, в которой сердце перестало бы ныть.

20

Утром, когда я собирался на работу, и на работе в суете начала дежурства — сдача наркотиков, получение лекарств — я как-то забыл о вчерашнем чтении и нытье сердца. Но стоило мне сесть в машину, как что-то снова вступило в сердце — нет, не нытье даже, но какая-то холодная тоска.

Так что я вспомнил сказку Андерсена — льдинка попала в сердце, и оно леденеет, все вокруг заливая тоской. Словно бы я не взрослый здоровый дядька, а нервная юная барышня, впервые разочаровавшаяся в любви. И так было в сердце холодно и пусто, что я готов был тихо постанывать. И все ерзал на сиденье, пытаясь найти удобное положение, чтоб растопить лед в сердце.

Старался отключиться, на вызовах, понятно, забывал о своих тревогах, но, как назло, день был спокойный. До семи часов только три раза и прокатился.

Но зато в семь часов!

Поступил тревожный вызов из Кашина — мальчик прыгнул с крыши и напоролся на колья забора.

Я схватил сумку и к выходу.

— Погодите, Всеволод Сергеевич,— сказала диспетчер.— Нет машины.

— А где моя?

— Наташа уехала.

— А где ее?

— На яму встала. И одна поехала на заправку. Сейчас придет.

— Ну, вы даете. В самый нужный момент прокол. Как всегда.
— Ну, подождите.
Какое-то непереносимое нетерпение вселилось в меня. Я то садился на топчан, то вскакивал с него, то метался по комнате, как по клетке. Понимал — там что-то серьезное, а я не могу выехать. Ну, я ему завтра дам! Ему — это, понятно, Алферову. Поздняя осень, вечернее время, всегда много вызовов, а он не может подстраховаться машиной. Там, возможно, мальчик висит на заборе, а я торчу здесь и не могу выехать.
Наконец, гуднула машина, и я выбежал.
— Что так долго? — спросил у шофера.
— Кончился бензин на нашей станции. Пришлось ехать в Губино. Зато оба бака заправил.
— Тогда резвее. С мигалкой и максимально.
— По такой дороге не разгонишься.
Да, больше пятидесяти километров делать по этой дороге было нельзя. Дорога чуть подмерзла, и был густой предморозный туман, тягучий и липкий.
Доехали до Кашина. Нас встречали. Велели подъезжать к дому со стороны поля. У забора толпились люди. На пальто, брошенном на землю, скорчившись, поджав ноги к животу, лежал мальчик лет двенадцати, худенький, бледный, с впечатанной гримасой боли.
— А почему в дом не внесли?
— Не дает. Кричит.
Он прыгал с крыши на сарай, поскользнулся и упал на колья забора.
— Ты слышишь меня, дружище?
— Слышу, дядя.
— Я тебя сейчас внесу в машину. Потерпишь?
— Больно.
— Носилки! — крикнул я шоферу.
Мальчик стонал, не давая дотронуться до груди и живота. Ран не было, только ссадины, но это не утешало: могли быть и переломы ребер, и разрыв легкого, и селезенки — могло быть все.
— Кто мать? — спросил я, выглянув из машины.
— Я,— отозвалась сорокалетняя женщина.
— Вы с нами?
— Нет. У меня еще двое. Некормлены.
— Он будет лежать в хирургии.
Мы поехали. Я потянулся к наркозному аппарату, чтоб поверхностным наркозом снять боль, даже приладил маску, но тут обнаружил, что в баллоне нет закиси азота. Бросил аппарат и от бессилия протяжно, хоть и молча, выругался. Мне же мальчишку не довезти — у него сейчас начнется шок. И кляня себя, свою жизнь и свое начальство, я ввел мальчику наркотик. Понимал, что делать этого нельзя, хирургам потом будет трудно определить, что с мальчиком, но другого выхода у меня не было. Мальчик заснул.

Дежурил, на счастье, Коля.
— Хреново,— сказал он, узнав, что я ввел наркотик.
— Да уж хорошего мало.
— Что хоть ввел?
— Слабенький.
— Ладно. Все равно покуда снимки сделают, да понаблюдаем мальчишку. Не полезем ведь сходу. Но скажи своему Алферову, что он поганец. Без закиси ездить — это не дело.
— Скажу.
— Не забудь!
— Не забуду.
Только пришел в себя, только попил чай, мне новый вызов. Роды.
— Какие? — крикнул с кухни.
— Вторые.
— Давно схватки?

— Не знаю,— это все через две комнаты.
— Наши берут? — спросил я на всякий случай.
— Нет, везти в город.
— Как в город? — это уж я вбежал в диспетчерскую.
— А так. Приказ начмеда. В родильном отделении канализация лопнула. Негигиенично — все залило.
— И куда везти?
— В больницу Эрисмана.

Двадцатипятилетняя женщина, очень медлительная, с тяжелым отечным лицом ждала меня у подъезда. Сказала, что схватки через пять минут, воды не отходили.
— Нормально,— сказал я.— Думаю, рожать к утру. Не раньше.
Она села на скамейку в салоне, а я в кабину, и тут меня вызвала диспетчер.
— Всеволод Сергеевич, заодно возьмите в приемном покое мальчика.
— А что с ним?
— Аппендицит.
— А почему не к нам?
— Он городской.
Я не стал спорить — не диспетчер же, в самом деле, придумала, что лечение по месту жительства. Тем более, я все равно еду в город.
В приемном покое я осмотрел мальчика — да, аппендицит, начало его, вот и направление нашего хирурга. Так что я кучер, не более того.
До детской городской больницы доехали спокойно.
У въезда в больницу на мраморной доске написано было, что больница построена на средства субботника. Белые девятиэтажные здания.
Приняли у меня мальчика сразу, да и что спорить, если больница сегодня дежурит по городу.
Я вышел из бокса. Сыпал мелкий дождик. В колодце двора я показался себе маленьким и вовсе никому не нужным существом. Окна были темны, и в тишине, откуда-то сверху лился «Полонез» Огинского, даже не знаю, каким образом он мог звучать — детская больница, вечернее время, но лился он как бы с неба, и это было столь неожиданно, что я замер у машины, и вслушивался в музыку, и «Полонез», что называется, достал меня, да так, что я готов был сесть на какую-нибудь скамейку и завыть в полный голос. Или хоть молча пострадать.
Но то была бы невозможная, хотя и красивая распущенность — да при шофере — нет, с неврастенией нужно бороться. И тогда я сел в кабину и мы поехали.
Неторопливо переговаривались с шофером — о погоде, о продуктах. Ехать без гонки одно удовольствие.
Уже въезжали в город, как женщина отодвинула стеклышко в кабину и сказала застенчиво:
— Доктор, а я рожать собралась.
— Интересное сообщение. Именно для этого я вас и везу в роддом.
— Нет, доктор, я буду рожать прямо сейчас.
Прихватив сумку и бикс, я быстро перебрался в салон.
— Мигалку включите,— сказал шоферу.
Он кивнул. Помчались.
Схватки были через полминуты.
— Ноги так. А теперь так! Отключитесь,— уговаривал я роженицу, словно бы рожать ей или нет зависело от ее или моей воли.
Нужно было продержаться минут двадцать до роддома, и повезло — продержалась.
С носилками вбежали в роддом.
— Куда? — крикнул девочке, сидящей у стола.
— За мной! — и девочка стала нашим поводырем.
Успели.

— Вам кого? — все-таки успел спросить у своей роженицы.— Мальчика или девочку?
— Девочку. Мальчик уже есть.
— Попросите акушерку,— сказал я медсестре.— Нужна деаочка.
— Хорошо,— очень серьезно ответила медсестра, хотя, конечно же, моя шутка не была для нее шуткой первой свежести.

Обратно ехали неторопливо, отходя от гонки.
— Что-то, между тем, стало холодать,— сказал я.
— А когда гнали, чего-то печка испортилась.
И это сказалось очень скоро — я так замерз, что к концу дороги дрожал, как, к примеру, осиновый листочек.

С семи до восьми съездил на простенький вызов и принялся ждать конца смены, вернее, пятиминутки. Это было какое-то странное, я бы даже сказал, счастливое ожидание — ну, я *ему* сейчас выдам. Ну, вот только спроси *он* сегодня, как дела — уж я *ему* выдам.
Да, впервые за много месяцев ждал прихода Алферова.
И он пришел, энергичный, бодрый, веселый. Как дела? Общий такой вопрос. Нет, мне нужен вопрос не общий, но направленный только ко мне, и нужно максимальное стечение зрителей, и сердце мое томительно замирало в предчувствии близкого счастья. Дебют на провинциальной сцене, и в зале впервые полно.
И вот пришли наши сменщики, и снова вошел Алферов — в свежем халате, при ярком галстуке.
— Что у вас нового? — спросил у всех по очереди.
Как же счастливо клокотало сердце — ну, дойди, дойди до меня.
— Что у вас случилось, Всеволод Сергеевич?
— Да ничего особенного. Вот только мальчика чуть было не загубил,— и я рассказал, как было дело.— И знаете, по чьей вине чуть не погиб ребенок?
— По чьей же, Всеволод Сергеевич?
Ну, какая подставка, он летит на огонь, словно мотылек.
— По вашей, Олег Петрович,— и я постарался послать ему обаятельную улыбку.
— Э, нет, Всеволод Сергеевич, вы почитайте список обязанностей. Проверка аппаратуры — ваша забота.
— Нет, Олег Петрович, я не могу уследить за всеми машинами. Это должна делать старший фельдшер. Если она не умеет или не хочет этого делать, тогда вы. Но вам это не по силам. И знаете, почему?
— Почему же, интересно? — он смотрел на меня с нескрываемым любопытством. Присутствовала и насмешливость — трепыхайся, трепыхайся, недолго тебе осталось.
— Вы не умеете работать. Вы не можете заведовать отделением. Я бы даже дал вам совет. Вернее, это просьба.
— Слушаю вас, Всеволод Сергеевич.
— Прошу вас: уйдите с этой работы. Сделайте это сейчас, пока не поздно. Вы не можете заведовать. Поверьте моему долгому опыту: у меня могла случиться трагедия, и она случится в ближайшее время. Вы развалили работу, за это кто-то заплатит своей жизнью. Я хотел бы ошибиться, конечно. Дайте людям работать спокойно — уйдите. Можете вернуться на прежнее место — мы вас просим.
Он побледнел, но сумел не сорваться.
— Спасибо за совет,— сказал сухо. А затем уже с металлом в голосе: — Но пока напишите объяснительную, почему вы задержались с вызовом. Виновные будут наказаны, вот это я обещаю.
— Лучше я напишу докладную на имя главного.
— Ваше дело,— бросил Алферов и ушел в свой кабинет.

21

Когда шел домой, на душе было тускло — сразу после моего утреннего взрыва радость улетучилась. Да, было тускло, и сердце ныло. Ну, и что я доказал? Ничего. Проку от этого мало — плетью обуха не перешибешь. Алферов, пожалуй, рано или поздно меня выпрет. Конечно, не сейчас, это было бы глупо — после критики-то.
Придя домой, я полежал в ванне, побрился и пошел к Наташе. О встрече договорились позавчера — у нее сегодня выходной день.

Я шел захламленным пустырем. Было слякотно, после дождей похолодало — дело к близкому снегу.
Помню такую малость. У меня развязался шнурок, я нагнулся, чтоб завязать его, потом выпрямился, и этого малого движения достаточно было, чтоб несколько слов, вяло копошившихся во мне, соединились в законченное понимание — моя жизнь прошла. Я и сразу и покорно с этим согласился.
Нет, конечно, какой-то защитный рефлекс возмущался: как же так, жизнь прошла, да ведь тебе только сорок три, по нынешним меркам, время субтильной моложавости, о-хо-хо, сколько всего у тебя впереди: и работа, и интересные книги, и судьба Павлика и Андрея.
Но я окончательно понимал: жизнь прошла, и это факт бесспорный и решенный. Потому что не будет более ничего, что отличало бы мою жизнь от жизни других людей. Все спрограммировано, все ожидаемо. Конечно, остались некоторые точечки жизни, малые ее загадки, но в главном она прошла.
Но, понятное дело, тут же услужливо шевельнулась очередная надежда — нет, это не последняя истина жизни, будут, конечно же, и другие, чего там, я поймал себя на том, что улыбаюсь.
Улыбку не прогонял, потому что как бы играл: сегодняшнее открытие дорого мне и томит своей безнадежностью, но и привычно уговаривал себя, что все-таки некоторая, пусть и малая, надежда есть.
Я пошел дальше и со вздохом сожаления погасил улыбку. Даже провел ладонью по лицу, чтоб убедиться, что улыбка пропала.

И тот взмах руки, и привычный кивок, и почти беззвучное порхание по коридору, и молчаливое объятие.
Да, но Наташа была непривычно печальна, даже подавлена.
— Что случилось, девочка?
— Так, ерунда — мне отказано в жилье.
— Как? Почему? Ведь все было в порядке.
— Исполком не подписал документы. Сказали, до нормы не хватает метра. Если мы ей дадим комнату, она через год встанет на очередь, и будет права.
— Так пусть дадут большее жилье.
— А другого нет. Тут все одно к одному: кто-то из наших написал анонимку, что вот я без году неделя, а уже дают жилье. К тому же наш завотделом культуры уходит в область на повышение, он выбивал это жилье, потому что заботился о нас, а теперь ничего этого не будет.
Снова повторю: в тонкостях быта разобраться сложно, но смысл прост — комната была обещана, но теперь она уплыла и в ближайшее время ее не будет.
Господи, ну как же я утешал Наташу, ну, милая, ну, потерпи, это не самое страшное, жизнь ведь не сегодня заканчивается, это уж ты так настроилась, что больше здесь жить невозможно, но ведь многие люди в таких условиях живут десятилетиями, и как-то уж утешил, исчезла подавленность.
— Ничего,— говорил я тихо.— Есть даже утешение, которое я называю «зато». Нет жилья, зато у тебя девочка хорошая, и есть для кого жить. Написали анонимку, зато я тебя люблю. И так далее — утешение можно длить бесконечно.
— Да, ты прав. Ладно. Мне подарили оперу Рыбникова. Хочешь послушать?
— Поставь.

Я сел на стул. Наташа надела мне наушники, набросила на мои плечи одеяло.

Мне нравилась не так даже опера, как сиюминутное состояние: вот после тяжелого дежурства я слушаю музыку, рядом Наташа, и в любой момент я могу протянуть руку и коснуться ее.

Когда началась песня Резанова («Ты меня на рассвете разбудишь»), я почувствовал движение за спиной. Обернулся — Наташа надевала халат.

— Ты куда? — спросил, но она не ответила.

Она что-то высматривала под кроватью, торжествующе вскинула руку (так футболист радуется, забивая решающий гол), затем вытащила, держа за хвост, дохлую крысу.

Не сгибая спины, выставив прямую руку, она с торжественным омерзением пронесла крысу мимо меня.

— «Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду»,— пел в это время Резанов.

Наташа, сбросив с моих плеч одеяло, сухой щекой прижалась к моей спине. Я замер. Она сняла наушники и, словно некий неодушевленный предмет, арбуз или мяч, взяла мою голову в руки и повернула к себе.

— Я больше так не могу,— сухо и строго сказала она.— Нам нужно расстаться. Больше мы не встречаемся. Все!

— А в чем, собственно, дело? — растерялся я.

— Я все решила. Надо что-то делать. Я больше так не могу. Крысы. Сырость. Девочка кашляет.

— Крысы, сырость — это одно. А мы — другое. Если расстанемся, то сразу жилье дадут? Нет, не понимаю. Может, ты решила замуж выйти? — кольнула меня догадка.

— Да.

— За капитана Березина?

— Да.

— Он сделал предложение?

— Нет. Но сделает в любой момент, если будет знать, что я соглашусь. И минуту назад я решила — соглашусь. И сразу все встало по местам. И разрешились все трудности.

— Но ты его мало знаешь. И, соответственно, не можешь любить,— конечно, то были жалкие лепетания, чего там.

— Это неважно.

— Что ж тогда важно?

— Жилье. Вот это важно во все времена.

— Тогда вернись к мужу. Незачем было экспериментировать со своей независимостью.

— Поздно, он летом женился.

— Пожалуйста, выключи пластинку.

И я начал молча одеваться. Но, видимо, сделал слишком резкое движение — сердит! — и внезапно что-то острое — нож ли, вражеская пика — ударило меня в грудь, и обожгла боль.

Я захрипел и схватился за грудь, чтобы как-то притупить острие ножа, но не мог заглотнуть воздух.

— Что с тобой? — испугалась Наташа.

— Больно. Не могу дышать.

— Да ты же совсем мокрый,— заметалась она.— Сева, прости меня. Ну, пожалуйста, прости меня.

Ее слова я уже слышал глухо, отдаленно, лицо размывалось, и сама она, в странных каких-то изгибах, уплывала вдаль.

Однако гаснущее мое сознание подсказывало, что это не она, а я уплываю, и уплываю от жизни и безвозвратно, и только рвущая грудь боль не давала мне уплыть слишком уж далеко.

— Я сейчас сбегаю. Телефон-автомат на улице.

— Я уйду. Чужой дом,— уж как-то склеив остатки воли, сказал я.

— Нет, ложись. Я сейчас,— уговаривала Наташа.

Если б она силой уложила меня, я бы остался, потому что боль была невыносима, но она только уговаривала, и я, хватая ртом воздух, как выброшенная на песок рыба, все-таки пытался уйти. Если и умру, знал твердо, это случится не здесь. Здесь — все кончено. Теперь только бы выбраться живым. Как-то уж натянул рубашку, воткнул ноги в брюки и туфли. Набросил пиджак, пальто.

То на миг уплывал, то возвращался — промельк сознания, жалкий трепет воли — все нормально, успокаивал Наташу, и коснулся ее щеки ладонью — красивый прощальный жест — и побрел по коридору к выходу.

— Я с тобой,— не то предложила, не то спросила она.

— Нет, я сам,— и даже попытался улыбнуться, но понимал, что вышла лишь клейкая гримаса боли.— Сам. Тут автомат.

И как-то доплелся до телефона, и с удивлением отметил — работает, повезло, и, набрав ноль три, сказал:

— Это я.

— Всеволод Сергеевич? Что случилось?

— Мне плохо. Боли в сердце.

— Где вы?

— В автомате. Против библиотеки.

— Мы сейчас. Там и оставайтесь.

Стоять не мог, и сел на пол автомата, спиной привалясь к стенке, вольно разбросав ноги. Если б кто проходил мимо, подумал бы, что я пьян, но в то туманное мглистое время никто мимо не прошел.

Я собирал воедино все жалкие осколки воли, чтоб дотерпеть, и знал, что у меня инфаркт — да, сильные боли в груди, и отдают в лопатку, и распространяются в левую руку, и липкий пот, значит, внезапно упало давление — все было ясно.

Господи, удерживал сознание простым и горьким соображением: кого мы любим. Помереть — оно ладно, но хорошо хоть не у Наташи, сумел выбраться. Кого мы любим! От боли и горя я колотил кулаком по стенке автомата.

Но сквозь слякотную мглу пробился наш мерцающий огонь, и из машины выбежала Елена Васильевна, и она махнула рукой — сюда носилки.

— Да вы что? — спросила она.

— Больно! — прохрипел я.

И уложили на носилки, и понесли, и втолкнули в машину.

Елена Васильевна подняла рукав рубашки, надела манжетку и надула ее, и халдейские наши лепетания — нижнее на нуле — и пошлепывание по локтевому сгибу, и слабый вкол, и струение тепла, освободившее тело от боли.

— Поехали! — крикнула она шоферу, и машина рванулась.

Боль прошла, и я попытался подняться. Меня удержали силой. А я и не настаивал, боль хоть и прошла, но осталась услужливая память о ней и удушливое липкое ожидание ее.

Мы подъехали к терапии, шофер начал скликать мужчин, чтобы нести носилки, я снова попытался подняться.

— Это невозможно! — неуступчиво сказала Елена Васильевна и я сразу смирился.

Сила солому ломит, не так ли? Я сейчас был не сильнее соломы. Правда, мелькнуло что-то красивое про мыслящий тростник, но я так боялся — нет, не смерти, а повторения болей,— что было не до рисовки.

Что-то там протестовал, но на мои протесты не обратили внимания, подняли на второй этаж, внесли в многолюдную палату, сбросили на пол пальто и пиджак, стащили с меня брюки и рубашку, вкатили в палату электрокардиограф — и липучие мылкие пошлепывания тряпок по голеням и предплечьям, и унизительное обвивание проводов. Я косил глазом на ленту кардиографа, она, эта лента, и решала мою судьбу.

— Ну, что там, Елена Васильевна? — спросил я.

— Эс-тэ ниже изолинии, патологический ку,— твердо сказала она.

Молодец, строгий деловой голос, нет жалобных нот, а ведь сообщила, что у меня тяжелый инфаркт миокарда.

— Вот посмотрите.

Я взял в руки ленту, смотрел ее профессиональным взглядом, забыв на

мгновение, что это не чью-то ленту держу в руках, но свою, не оттиск чужого сердца, но своего собственного, единственного.

— Все правильно. Обширный инфаркт,— сказал я.— Спасибо за оперативность.

Тут подошла Людмила Владимировна, заведующая отделением, с этого момента мой лечащий врач.

Она улыбалась, но ее голубые глаза были тревожны — молодой инфаркт! А мужчина в сорок три года считается молодым инфарктником.

— Все свободны,— сказала она.— Направление оставьте на посту,— это она Елене Васильевне.— Тоня! Готовь капельницу,— и она сказала процедурной сестре, что именно влить в капельницу.

Людмила Владимировна разговаривала со мной, измеряла давление, выстукивала и выслушивала, но меня уже тянуло в сон, тут внесли капельницу и установили ее, и я поначалу пытался считать проскальзывающие сквозь узкое стеклянное горло капли, но потом провалился в липкий пузырчатый сон, который был, пожалуй что, явью, потому что я умудрился смотреть на себя как бы со стороны, и я видел насмешку посторонних сил над моим телом — оно то вытягивалось, то скорчивалось, руки принимали изогнутый вид, словно бы я находился не в больнице, но в комнате смеха у компрачикосов; но что удивительно, дух мой пребывал в восторженном блаженстве при виде издевательства над телом.

Тело было легче пушинки, дух же — всепонимающ и восторжен, и даже знание, что моя жизнь истончилась до легкого волоса, не вымывало из души восторг.

В сон вплывало тревожное, потемневшее лицо Нади, и я удивлялся, а как она сюда попала, у нее же вечерний прием, и жизнь тогда вновь принимала реальные очертания, переносясь от компрачикосов в больничную палату.

И в эти мгновения жизнь была коротка и ярка, как промельк зимней ночью освещенных окон электрички.

— Что, Надя, подвел я тебя? — лепетал я.— Прости. Вечерний прием.

— Спи.

— Я маюсь — ладно. А ты за что? Что я тебе?

— Все! Ты мне все!

— Глупости! Никто никому ничто.

— Спи!

— Ты иди домой. Я в порядке. А Павлик некормлен.

— Ничего. Легкая самостоятельность ему не помешает.

— Нет. Иди и уложи его. Сейчас вечер?

— Да. Восемь часов.

— Иди. Иначе я буду нервничать. Что не показано.

— Хорошо. Я велю Павлику ложиться спать и сразу сюда.

И снова я то проваливался в сон, то снова всплывал, и сон мешался с явью, и всплывали такие подробности прошлой жизни, что я, знакомый с некоторыми закономерностями сновидений, понимал, что это подключается бодрствующая моя память.

И я видел двенадцатилетнего мальчика, худого, длинноносого, с прической под ноль (таково положение тогдашней школы, до седьмого класса стрижка под ноль, профилактика вшивости), у мальчика тонкая шея и плоский затылок, чуть кривоватые ноги — последствия голода раннего детства, на нем шаровары из какой-то непонятной ткани — свалявшиеся шарики ткани легко сощелкивались, и странная же куртка с какой-то вовсе немыслимой кокеткой. О, претензии нищеты: регланы, кокетки, бобочки.

В руках у мальчика сетки, а в сетках кастрюльки, одна побольше, другая поменьше. По мальчику, как по Канту, можно сверять часы. Потому что он идет в столовую, которая открывается после перерыва в три часа. Мальчик не хочет стоять в очереди, потому приходит ровнехонько к открытию столовой. Там со скидкой в двадцать пять процентов отпускаются обеды на дом.

И что удивительно: мальчик не стесняется носить эти сетки с кастрюльками через весь город. И этому есть объяснение: он сознает себя кормильцем. Да, узкие покатые плечи, нечистые шаровары (они не стирались, они просто

выбрасывались, когда снашивались до дыр), опорки в галошах, в руках сетки — сирота.

Это его ежедневный маршрут в течение двух лет, пока мальчик не стал подростком и не начал взбрыкивать — ему надо было проходить мимо окон Светы Панченко, в которую он был тайно влюблен.

И что еще удивляет: над мальчиком никто не смеялся, даже одноклассники. Опять же — сирота. Почти все росли без отцов, но они отцов и не знали, а тут положение особое — мальчик растет без матери, которую хорошо (о, даже слишком) помнит.

И мальчика в столовой ни разу не обсчитали. А потому что все официантки, и повара, и буфетчицы поочередно спрашивали: а где твоя мама? Она лентяйка? Нет, ответ, полный сдержанного достоинства (и это достоинство чуть подчеркивается, но лишь в той мере, чтоб достать сердце спрашивающего и не отпугнуть его стыдом), нет, моя мама не лентяйка, она умерла.

Излишне говорить, что мальчику дают куски получше и побольше. Потому что мальчик — живой пример другим детям. Вот он растет без матери, а не хулиган, вежливый и честный.

Да, честный. Однажды он выкинул номер: буфетчица передала ему десятку, и на следующий день мальчик ее вернул. Чем поверг всех в изумление — в среде, где упавшее с воза законно считается пропавшим, возврат денег — явление необычное. Так что некоторое время посудомойки выглядывали увидеть такого необыкновенного мальчугана.

Он сейчас напоминал мне маятник. И я хотел погладить мальчика по стриженой голове, я хотел заглянуть в его глаза, я хотел спросить, знает ли он, что ждет его в дальнейшей жизни.

И это так просто, одной минуты достаточно, чтоб проскочить время от того мальчика до меня, сегодняшнего. Только поставь пластинку со словами «Студенточка, заря вечерняя» или же «Я понапрасну ждал тебя в тот вечер, дорогая», и отлетят тридцать лет.

На что ты надеешься, мальчик? На бесконечный праздник? На то, что если захочешь есть, в любой момент сможешь это сделать? Знаешь ли ты, что станешь доктором и иного дела у тебя не будет? И в сорок три года ты получишь инфаркт.

Мне стало невыносимо жаль мальчугана, и я проснулся от собственного стона.

— Что с тобой, Сева? — услышал я испуганный голос Нади.

Было утро, и в палату проникал с улицы жидкий свет.

— Все в порядке. Выходит, почти сутки продрых.

— Боль есть?

— Все в порядке. Только обалдение от лекарств. Ты всю ночь сидела?

— Подремала. Выпал глубокий снег.

Я неестественно выгибал шею, но увидел лишь клок тусклого неба.

Тут включили свет, больные начали шастать в туалет и обратно и шумно готовиться к завтраку.

— А как же Павлик?

— Велела самому проснуться, позавтракать и отправляться в школу.

— Ты иди домой. На работу надо?

— Нет, на эти дни отпросилась.

Она посчитала мой пульс.

— Шестьдесят четыре. Я, и правда, сбегаю домой. Хоть в порядок приведу себя. А потом покормлю тебя.

— Я ничего не хочу.

— Не настаиваю. Я побежала.

Сразу после завтрака пришла Людмила Владимировна. Обход она начала с меня. Что и понятно — молодой инфаркт.

Поговорили о моих нагрузках — вот где я мог сорваться. Физические или душевные?

— Душевные, Людмила Владимировна.

— Как себя вести, вы знаете.

— Да.

— Не поворачиваться даже с боку на бок. Ваша койка, как бы ваша галера — прикуйте себя к ней. Для ассенизации есть судно. Надеюсь, вы уважаете чужой труд.

— Да, вставать я не буду.

Да, вставать я не собирался. Во-первых, был слаб, во-вторых, не настолько уж я был равнодушен к себе, чтоб расстаться с жизнью добровольно и по собственной глупости.

Сил не было даже на возмущение: ах, как же так, вчера был здоров, а сегодня вколочен в койку. Чего уж тут клясть судьбу и ручками всплескивать — если несчастье возможно у другого человека, то почему не у тебя.

Нет, конечно, в груди что-то подныкало, вроде обиды на несправедливость судьбы — вот почему тяпнуло именно меня, да в сорок три года.

Душа моя была тускла до того, что не было судорожного панического страха смерти. Нет, в душе что-то ныло, и все возмущалось во мне от сознания, что я мог вовсе исчезнуть, это уж чего зря геройствовать.

Но ведь недаром десятилетиями изживал из себя страх смерти. Нет, чтение не проходит бесполезно. Оно, как известно, учит хорошо жить и хорошо умереть. Это мне сумел внушить Монтень. Как и стоики, которых я читал именно чтоб выжать из себя страх смерти. Именно выдавливал из себя каплю за каплей. Юношеского страха — до холодного пота, до тошноты, до судорожной рези в подвздошье — сейчас не было.

Скажу больше: в последние годы сумел воспитать себя до того, что боюсь не так даже смерти, как унижения плоти. Вот крайний случай: скажи мне Людмила Владимировна — если вы встанете, мы вас выпорем — не встану никогда. Страх унижения остановил бы меня. Страх смерти — дело иное.

Начальный звонок был вчера, когда от боли то пресекалось, то всплывало мое сознание. Смерть — это если бы сознание пресеклось навсегда. То есть это было бы лишь смещение во времени. Но я бы этого не ведал. Мгновенное пресечение сознания — и только.

Ах, как я уговаривал себя прежде: в смерти нет ничего страшного, нужно только погасить воображение и представить смерть мгновенную, а не долгую, отсечь подробности в виде скорбных лиц друзей и родственников, резиновых этих жгутов при внутривенных вливаниях, проскальзывающие через узкое горло капельницы лекарства.

Подробности эти явились вчера, есть они и сейчас — вот я неестественно выгибаю шею, чтоб видеть белый свет, а встать не могу. И что же? А можно сказать не без гордости, что подробности эти не испугали меня.

О, самообман, о, жалкие утешения сознания.

Хмарь рассеялась, и стало видно голубое небо. Нет, я за жизнь не держусь, но отдал бы что угодно, только бы быть не в палате, а на улице — потянуть ветку и подставить лицо легкой снежной пыли.

О, самообман, о, жалкие утешения сознания.

Более того, вот вся моя правда: пусть не на улице, пусть в палате, только бы всегда видеть сияние этого голубого неба.

И тогда меня захлестнула отчаянная жалость: да почему именно я, ведь всегда был здоров, не переедал, не курил, не пил, плавал и бегал на лыжах, ну, почему же именно мне так не повезло.

И чтоб уж вовсе не раскваситься, я эдакую хитрую игру ума затеял: вот скажи мне, какая высшая сила перед отлетом — сделай то-то и то-то, что прежде полагал подлостью и предательством, и жизнь твоя потечет дальше, так любой ли ценой удерживается жизнь?

Ох, уж эти игры испорченного чтением ума! Жутко и вольно становилось от сознания, что нет, жизнь удерживается не любой ценой. Конечно, душа верещала бы и корчилась, но сейчас можно было признаться — жизнь удерживается не любой ценой. И только ради этого понимания стоило всю жизнь читать книги.

Вскоре пришла Надя. Поначалу она не могла найти верный тон — что и понятно, потрясена и никак не поймает стерженек новой роли — сиделки при больном муже. Сперва она говорила со мной, как с ребенком-недоумком, ах, не суй пальчик в огонь, будет бо-бо, ах, не делай пи-пи на книги — вот горшочек, но я этот тон не поддержал, и тогда Надя нашла нечто противоположное — тон пожилой классной дамы, правда, с некоторым подтруниванием над собой, и это была вполне приемлемая манера. Скорбных ноток в ее опеке не было, и уже за это я был ей благодарен.

Выходя из палаты, Людмила Владимировна вспомнила обо мне и присела на краешек моей койки.

— Ваши-то опять нашелестели. Алферова ругали на медсовете.

— А что случилось?

— Девочка-фельдшер оставила на дому аппендицит. Привезли через день с тяжелым перитонитом. Мужик возьми да и ...— заговорщицки, одними губами шептала она.

— И сколько ему?

— Пятьдесят три. Но это полдела. А вот еще.

О преемственности смен

В восемь часов утра педиатр поехала на вызов. В полдевятого она освободилась. По рации ей передали еще один — у годовалой девочки температура. Подъехали к огромному дому, а там вырыт огромный котлован — метров триста идти пешком. Конец смены, доктор вызов не обслужила, а передала его сменщице. Сменщица же не спешила — вызов-то не ее, с прошлой смены, пока она собрала сумку, да пока чай попила, так что когда приехала, дома никого не оказалось.

Потому что мать девочки, не дождавшись «скорой», взяла дочку на руки — ей и котлован не помеха — и помчалась в детскую поликлинику. Но пока подошла очередь, девочка так потяжелела, что ее сразу положили в больницу. Вызвали из области реанимационную бригаду, девочку увезли в областную больницу, где она вечером умерла.

Случай этот будет разбирать лечебно-контрольная комиссия, это само собой, но мать девочки хочет подать в суд на доктора, который не поехал на вызов.

— Не понимаю, Татьяна Федоровна — толковый педиатр. Мы четыре года в одной смене проработали. Ничего подобного никогда не было,— не мог поверить я.

— Я думаю, она спешила в город к последней электричке перед перерывом.

— Дичь какая-то. Не обслужить вызов — не понимаю. Не было прежде такого.

— А теперь у вас есть все,— и Людмила Владимировна ушла.

Пришла девочка снять электрокардиограмму, мы с ней знакомы не были, и я не стал смотреть свою ленту.

Мы с Надей на бездельные разговоры уже не отвлекались, она читала роман «Челюсти», а я с горечью думал о том, что вот пророк, который предполагает худшее, всегда почему-то прав.

Я ведь очень хотел ошибиться, предсказывая, что при алферовском руководстве неизбежны проколы. Но я не думал, что будет их столько и что ошибется Татьяна Федоровна. Не поехать на вызов — год назад такое было невозможно. Непрофессионализм начальника невольно рождает непрофессионализм у подчиненного. И вот какие платы! Непрофессионализм на швейной фабрике рождает платья-уродцы. Но они будут висеть нераспроданными и только. За наш непрофессионализм горчайшие платы.

Я даже не мог представить, как будет оправдываться Татьяна Федоровна, оправданий нет. Затмение нашло, бес попутал — единственное оправдание. Нет, у этого беса есть имя — Алферов. И самое горькое: ведь проколы на этом не кончатся, и опять платы и платы.

Тут вошла Людмила Владимировна. Лицо ее сияло, глаза стали вовсе васильковыми.

— Я хочу посоветоваться с вами, Всеволод Сергеевич,— сказала она как-то загадочно, глазами приглашая Надю принять участие в нашем разговоре.—

Вот если вчера на кардиограмме был инфаркт, а сегодня его нет, о чем бы вы подумали?

— О том, что девушка спешила домой и перепутала ленты.

— А если ошибки нет?

— Я бы подумал, что у больного не инфаркт, а стенокардия Принцметала.

— И вы будете правы,— торжественно сказала Людмила Владимировна.

— Нет инфаркта? — с робкой надеждой спросила моя бедная жена.

— Нет, Надя, нет.

Тогда Надя отошла к окну, какое-то время молча смотрела во двор, а потом горько, даже и с истерическим надсадом разрыдалась.

— Ну, ну, Надя, ну, милая,— говорила ей Людмила Владимировна,— из двух зол нормальные люди выбирают меньшее.

Профессионалы, мы понимали, что и эта стенокардия — тоже не подарок, да для сорокатрехлетнего мужика, которому, кстати, до пенсии еще пахать и пахать, а уже первые звоночки, да еще какие, доложу я, звоночки, эта стенокардия, канальство, имеет склонность к повторению, и жить с такой угрозой — тоже, конечно же, не сплошной мед, эта стенокардия обязательно перейдет в инфаркт. Все лишь вопрос времени. Сколько? Год? Пять? Никак не больше...

Но эти угрозы — будущее, а живем мы в настоящем — вот, к месту! — мы жить не в будущем хотим, а в настоящем, и потому не спим, чтоб не проспать рассвет. Будущее — оно вон где, за каким еще дальним поворотом, а настоящее, оно рядом, и потому понятны рыдания моей жены — о, бедная моя жена, о чем ты горько плачешь? Не нужно в текущий момент трепетать, что муж сделает неверное движение, и сердце его расползется, не нужно пытаться удерживать выскальзывающую его жизнь — в ближайшее мгновение она не выскользнет.

Надя молча склонилась и поцеловала меня в лоб, так поздравляя.

— Исходя из этих новостей, каковы мои планы? — спросил я.

— Надо подлечить вас,— ответила Людмила Владимировна.— Подержим недельки три. Как всех.

— Это всего лучше, как всех. Но вставать я могу?

— А береженого бог бережет?

— Обожаю поговорки. «Не пей воду из колодца — пригодится плюнуть». Надю мы, пожалуй, отпустим к страждущим?

— Да, Надя, иди домой и выспись,— сказала Людмила Владимировна и вышла из палаты.

— Да, Надя, иди. Вечерком подошлешь ко мне Павлика. Может прийти Андрей.

— Вчера приходил. Я запретила навещать тебя. Ты спал. Было не до него.

— Но сейчас мне как раз до него.

— Он написал хорошую повесть?

— Нет, плохую.

— Ты скажешь правду?

— Это уж обязательно.

— Я вечером принесу еду.

— Ничего не надо.

— Я разберусь.

Странное было у меня чувство, когда я остался один. Умом я понимал, что должен радоваться: в сущности, здоров, угрозы дальнейшие — это только угрозы, и меня должна бы захлестнуть оглушительная радость, но был лишь слабый ее оттиск, скорее, приятное сознание, что можно помаленьку вставать и не чувствовать себя беспомощной колобашкой.

То есть я был именно тускл.

Потому что до этого мгновения все силы были направлены на то, чтоб не улететь напрочь, теперь же передо мной была не вообще жизнь, но конкретная, знакомая, со всеми ее подробностями и поворотами обстоятельств.

И потому я вправе был спросить себя — а что дальше-то? Как тащиться далее, если жить мне стало скучно? Да, везунчик, и еще какой, и скажи любому

инфарктнику, что у него нет инфаркта, так он от радости в пляс пустится, а этот (я про себя) тускло пережевывает скудные соображения, капризничая при этом — принять ему или не принять неожиданный подарок судьбы. Ему милостиво сказали — живи покуда, так он еще сомневается, так ли хорошо будет ему жить. Нет-нет, не сомневайся, жить хорошо, чего там, жить замечательно.

Но снова это были лишь доводы тусклого ума.

Держась за тумбочку, я поднялся и подошел к окну.

А за окном сверкал зимний день. Внезапно ударил мороз, на земле, на деревьях, на крышах домов лежал глубокий снег. Голубое небо было подпалено солнцем, тугим, в малиновой разлитой короне. Снег разрезали красные полосы, и ровно струился в небо красный дым.

И, представить себе, я еще сомневался, хорошо ли жить на свете, не слишком ли тускло жить? Да, хорошо, хорошо, замечательно. Ну, как птичка. Особенно если ты беззаботен, как птичка — хорошая погода, хороший корм, вот ты и чирикаешь. Да, жизнь прекрасна, если у тебя ум птичий.

Да, странно человек устроен: несколько часов назад готов был отдать что угодно, только бы выйти отсюда, но сейчас почти здоров — и прочь прежние клятвы!

Вдруг пошло оживление — подготовка к обеду, все, кто мог ходить, воодушевились, стали доставать сетки и кулечки, потянулись к холодильнику да и пошли на обед.

Принесли еду и мне — кислые щи, котлету с гречкой и горячий компот. И я все съел. Не могу сказать, что с силой протолкнул в себя пищу. Съел да и все тут.

Тогда мне пришла в голову шальная мысль: я не истощен, болезнь моя не связана с пищей, так дай я поставлю на себе эксперимент — средних лет мужчина, временно бездельничает, так хватит ему казенной пищи или нет? Обоснованы ли повсеместные жалобы на скудость больничного питания? Такой экспериментатор выискался.

После обеда меня пришли навестить старший фельдшер Зоя Федоровна и Сергей Андреевич. Уже знали, что у меня инфаркта нет, потому обошлось без скорбных нот. Сергей Андреевич принес свежие газеты, не забыв указать мне, что именно следует почитать.

Потом пришел Павлик. И как же он был испуган. Что понятно — всегда здоровый папаша лежит беспомощный, в казенной одежде и небритый.

Совсем недавно он меня спросил:

— Папа, а кто лучше врач — ты или Пирогов?

Однажды по телику показывали боксера Стивенсона, так Павлик спросил:

— Папа, а ты этому Стивенсону отколешь?

И сейчас все-таки что-то осталось от его детских преувеличений, потому понятно потрясение мальчика. Кумир, вызывающий жалость,— это уже бывший кумир.

Коротко расспросив Павлика о его школьных делах, велел ему бежать домой.

И принялся ждать прихода Андрея. Да, волновался, это несомненно.

И в пять часов Андрей пришел.

И с испуганным видом переминался он у порога, искал глазами, где ж это умирающий учитель, я помахал рукой и улыбнулся, и на лице Андрея вспыхнула улыбка облегчения — учитель улыбается и ручками двигает, значит, не так плох, как говорили.

Сиротски присел на краешек кровати.

— Не бойся, Андрюша, у меня нет инфаркта. И мы сейчас поговорим о деле. Попробуем выйти в коридор. Здесь не разговоришься.

— А вам можно?

— Мне все можно.

Я взял с тумбочки чистую и глаженую полосатую пижаму.

— Выведешь меня. Больная старость опирается на трепещущую юность,— приговаривал я, надевая больничную форменку,— смычка прошлого с будущим, порока с добродетелью, седины в бороду с бесом в ребро,— все приговаривал я, и Андрей улыбался, понимал, что я готов к разговору.

Мы прошли в столовую. Нет, все-таки столовая — это слишком громко сказано. Мы прошли именно в то место, где принимают пищу.

Это обычный коридор отделения, но между уборной и телевизором есть некоторое расширение, что-то вроде зоба или мешочка, и вот в этом зобе или мешочке стоят столы, за которыми больные и кормятся. Вечерами здесь же смотрят телик, играют в домино, принимают гостей, словом, здесь-то и протекает светская жизнь отделения.

Мы сели за стол. Посетителей покуда не было, и нам никто не мешал.

— Итак, к делу,— призвал я.— Только скажи мне, Андрюша, ты рукопись уже снес?

— Да.

— А почему такая спешка?

— Мне редактор посоветовала. Завотделом прозы через неделю уходит в отпуск. А потом его не будет еще два месяца — уже отпуск творческий. А когда вернется, накопится много работы, будет не до меня. И редактор советовала принести рукопись сейчас, она попросит прочесть ее до отпуска. Полгода экономии.

Что было приятно? Андрей не был смущен, не юлил. Да, это несомненная правда — он сделал так, как советовала редактор. Андрюше и в голову не приходило, что я могу обидеться — чтоб сэкономить время, можно пренебречь мнением учителя. Но я мгновенно погасил обиду — иные времена, иные песни. Иные песни, иное молодое поколение. Иное молодое поколение, иное отношение к ценностям. И в шкале этих ценностей успех в работе, возможно, стоит выше дружбы. И в этом случае человека упрекать глупо.

— Значит, к делу. Мне повесть не понравилась.

— Вам было скучно? — как-то деловито спросил Андрей.

Может, я и неправ, но эту деловитость я понял так: я — читатель и имею право на свое мнение, но это будет мнение одного человека. Андрей же рассчитывает на многих.

— Да, мне было скучно. Я не понимаю, Андрюша, зачем ты это сделал?

— А что я такое сделал, Всеволод Сергеевич? — удивился Андрей.

— Зачем ты выпрямил героя? Зачем ты его сделал рыцарем без страха и упрека? Чтоб на свете одним прямолинейным человеком стало больше?

— «Она всего нужнее людям, но сложное понятней им»,— процитировал Андрей. «Она», мы понимаем, простота.— Нужна была простота.

— Но зачем же при этом выкидывать лучшие куски? Я не стал бы упрекать тебя, если б не видел, что ты можешь писать нешаблонно. Но когда положительный знак переводится в отрицательный, согласись, это удивляет.

— А я поставил перед собой цель не навязывать читателю свое мнение. В последнем варианте я сух, но это умышленная сухость. Я поставляю только факты, а уж дело читателя разбираться в них.

— Но ведь искушенному читателю ты не сообщаешь о декабризме ничего нового, а неискушенного оттолкнешь сухостью. Что ты сделал с характером героя? Каховский был человек неуправляемый, а у тебя он волевой, целеустремленный логик. А почему, собственно?

Моя суровость была для Андрея непривычна, но он не растерялся, не обиделся, нет, он убеждал меня, неожиданно прибегнув к пафосу:

— А потому, Всеволод Сергеевич, что я думал об исторической справедливости. Разве это правильно — рассматривать человека, погибшего за то, чтоб помочь своему народу сбросить оковы рабства, чуть ли не убийцей-истериком? Это несправедливо. Погиб за правое дело. Его порывы были чисты. Ближайшие люди, с кем он шел на смерть, отвернулись от него. И я хотел восстановить историческую справедливость. Даже и слова вспоминал: «Конечно, вы свежебриты и вкус вам не изменял. Но были ли вы убиты за родину наповал?»

— Твоя точка зрения мне ясна, Андрюша. Я ее не разделяю, потому что по-прежнему считаю — дороже всего правда.

— Но одно другому не противоречит. Историческая справедливость — это правда, проверенная временем.

— Значит, что же нас рассудит?

— Я не знаю.

— Вот и я не знаю. Не редакция же?

— А почему не редакция?

— Хорошо. Хотя и редакция для меня не судья.

Мог ли я спрашивать о том, были ли у него лукавые намерения — имею в виду непременное печатание — нет, не мог спросить. А не спросив, я не мог обвинять его в лукавстве, в торговом счете. Он взял высокий уровень — историческая справедливость, сбросить оковы рабства, за родину наповал. Снизить этот уровень до рассуждения о негоциантском расчете было бы равно тому, что человеку, рассуждающему о неразгаданных тайнах бытия, сходу рассказать анекдот о неверной жене, о Вано или каком-нибудь Петьке.

Тем более, что ничего я уже не мог изменить — рукопись сдана. И мне, как, впрочем, и Андрею, оставалось одно — ждать.

Вечером я объявил Наде о своем эксперименте и просил, чтоб она не носила еду. Уверенная, что я долго не выдержу, она весело согласилась.

22

И потянулся мой больничный быт, столь однообразный, что потом эти три недели представлялись мне одним днем, который через равные промежутки перебивается сном.

Ну как же, крупный экспериментатор, я говорил себе, что надо знать все. Я вожу больных в это отделение, как они себя здесь чувствуют?

И должен сказать честно и прямо — неплохо чувствуют. Что, признаться надо, обрадовало меня.

Да, напряженка с сестрами и санитарками, да, быт не вполне ухоженный, и все-таки больные любят это отделение.

Все дело не в быте и не в кормежке, а в двух немолодых женщинах, которые ведут всех больных. Когда я пришел на «Скорую», они уже были здесь. Вся жизнь, в сущности, в этих вот стенах. И говоря о них, я не могу не впасть в пафос, и я хочу признаться в любви к ним. Из двухсот врачей нашей больницы я насчитал семь или восемь человек, которых уважают безоговорочно и у которых хотел бы лечиться в случае болезни — я бы им верил безоглядно. Ими держится не только отделение, но и вся больница.

Они тащат это отделение десятки лет, иной раз и всплакнут на судьбу, что вот умаялись и что домашних своих почти и не видят, но предложи им работу поспокойнее, непременно откажутся. Ими как раз и держится медицина. Было бы удивительно, если б горожане не платили им любовью.

Да, простите великодушно мой пафос — возраст, замкнутость клана, иной раз тянет на слезу.

Значит, три недели слились для меня как бы в один день.

Если сон перебивает день, то разнообразит долгий день кормежка. Да, кормежки и есть те опорные столбы, на которых день покоится.

Ах, этот легкий шепоток, переходящий во взрыв радости — мальчики пошли за едой. Всегда есть два-три сравнительно здоровых паренька, которые помогают делать тяжелую работу — принести кислородный баллон или ведра с едой, снести в морг отмаявшегося бедолажку.

И вот старенькая тетя Маня стряхивает со столов крошки, оставшиеся от завтрака, и она же объявляет полную мобилизацию всех наличных ресурсов.

Еду разносят и раздают все — постовые и процедурные сестры, и санитарки, и больные, которые почище.

Потому что основа основ — напор. Только ты успел заглотнуть первое, как тебе сходу подают второе, к примеру, котлету, шмякнутую в перловку. Уж

перловку-то почти никто не станет есть, так, если только из любопытства колупнуть ее разок-другой, как бы в поисках клада. Котлету же съедают все. Кроме, разумеется, тех, кому из дома принесли курицу или мясо.

А потом очередь горячего компота. Уж его все глотают неторопливо, чтоб потешить свое гурманство.

Однажды ко мне подошла начмед.

— Ну, как вам наша пища? — поинтересовалась она.

— Все в порядке. Соблюдаю чистоту эксперимента — ем только больничное. И, как видите, жив и вес не теряю.

Рассуждения начмеда о казенной пище

— Я понимаю, что вы не в восторге. Но я призову посмотреть вас на дело иначе. Что ест большинство больных дома? У нас положено на нос сто граммов мяса в день — это, разумеется, общего веса. Ну, тридцать процентов — кости, отходы, затем усушка, утруска, налипание. Но худо-бедно пятьдесят-то граммов в день больной получает. Извольте выйти к столу и покушайте. Вы дома часто рыбу едите? А у нас на ужин три раза в неделю рыба. Пусть треска и хек, но ведь три раза вынь да положь. Нет, Всеволод Сергеевич, я всегда внимательно выслушиваю жвлобы на наше питание, но и думаю при этом — а что вы дома едите, голубчики? И если к тому же муж пьянчужка, то у тебя каждый вечер пустая картошка с чаем.

И это, скажу прямо, была убедительная речь. То-то я иной раз не понимал, а чего это некоторые больные неохотно выписываются. Вроде и полегчало, а домой не спешат. А то и не спешат, что не надо здесь шустрить по магазинам, и не надо видеть нетрезвую рожу мужа, или ловить на себе укоризненные взгляды кормильцев — вон ты стара, а лопатишь за столом, что молодуха.

Да, все в сравнении. И после разговора с начмедом я так и начал понимать, что у нас вполне сносно. Тебе не надо усилий прилагать, тебе следует только клювик раскрыть. Даже не придется расходовать на пережевывание — все уже пережевано.

И когда я заглатывал гречневую кашу, такую клейкую, что с трудом разжимаешь челюсти, да под такой слизнеобразной подливкой, что попади она на палец или пижаму, ее никакими силами не стянешь; и когда я глотал немыслимого цвета суп-пюре гороховый или наслаждался хвостиком рыбы, плоть моя не трепетала от удивления, что это можно удержать в себе, но терпеливо смирялась — да, все в сравнении и только в сравнении.

В те дни я спасался привычно — чтением. Иначе зачем человеку библиотека, если она не ближайший друг в дни тягот и болезней? А Монтень на что? А Диккенс? А большой однотомник Ремарка? И еще от переизбытка времени я перелистывал все, что случилось со мной за последнее время.

Нет, сожаления меня не томили — не душа, а какая-то скучная пустыня.

Но стоило мне вспомнить, как от меня отказалась Наташа, или как Андрей при первом же испытании сделал не тот выбор, к которому я готовил его долгие годы, и меня начинал томить стыд. Не раскаяние, не тоска, а именно стыд. Словно бы я виноват в том, что меня предали. Да, виноват, зачем надеялся на что-то иное? Все просто: никогда не надейся и не будешь обманут в ожиданиях. Циник — вот кто всегда прав, вот неошибающийся пророк.

И вся штука состояла в том, что я не знал, как мне жить дальше. Не без уколов мазохизма думал иной раз — а ведь испарись я тогда, всем стало бы легче. У Алферова исчез бы последний противник, у Андрея не стало бы химеры в виде совести пожилого учителя, Наташа без каких-либо укоров совести вышла бы замуж за военнослужащего с жилплощадью. Одно утешение — я хоть на краткое время нужен Павлику.

А кроме него — никому, и с этим давно пора смириться.

А что дальше-то? А дальше ничего. Через несколько дней выпишут из больницы, потом пару недель похожу в поликлинику да и пора приниматься за дело. И ведь ничему не научился. Снова буду переть на Алферова. Ясно понимал, что сдохну, а не уступлю ему. Вот это я сумел вбить в себя прочно.

23

Но ведь в жизни так устроено, что рассчитываешь на одно, а выходит совсем другое. Какие все-таки вензеля выписывает жизнь, какие неожиданные повороты она делает.

За три дня до выписки вечером ко мне пришел Андрей. И был он, прямо сказать, раздавлен. Таким я его никогда не видел — погасший взор, опущенные плечи, ну, именно опрокинутый вид.

— Что случилось, Андрюша? Ты здоров?

— Здоров,— ответил он. А губы дрожат.— Повесть прочли,— потерянно сказал он.

— Ну? — нетерпеливо спросил я. Сам не ожидал такого нетерпения, думал, тускл теперь навсегда.

— Вернули.

— Погоди. Давай выйдем в коридор.

По телику шла программа «Время», и люди так жадно слушали прогноз погоды, словно мы зависим от внешнего тепла, а не от тепла больничных батарей.

Ох, это вечернее хождение больных по коридорам, томительное позевывание, с ахами, с нежным подвыванием.

Мы приткнулись в закуток возле туалета.

— Так расскажи подробнее.

— А нет никаких подробностей,— отчаянно сказал Андрюша и попытался улыбнуться, но то была лишь гримаска боли.— В том-то и беда, что никаких подробностей нет.

— Так чем же им герой неугоден? Вроде прям, что телеграфный столб,— сказал я и сразу пожалел: сейчас вовсе не время насмешничать.

— Может, я, и верно, просчитался, и он слишком телеграфный столб.

— Так что в редакции сказали?

— Они как раз хвалили. Это нужно им, и юбилей приближается. Даже и комплименты говорили, чтоб подсластить пилюлю. Нельзя же молодого автора сразу дубинкой по голове.

— Так где ж сама пилюля?

Нам помешал шум, возникший у телика. Мужчины весь день заговорщицки совещались на лестнице и в курилке, что вот сегодня какой-то важный футбольный матч, и мы не дадим бабам в десятый раз смотреть очередную серию «Вечного зова».

Но все эти заговоры были пустым чихом для двух-трех боевых женщин, которые стали перед телевизором на манер «Граждан Кале» Родена, и они стояли насмерть.

В возникшей перепалке женщины, конечно же, взяли верх, что и понятно: разве дома муж позволил бы жене сбить ему футбол, и теперь женщины отыгрывались за многолетние домашние поражения, и их единение было сильнее смерти.

— А вот и пилюля. Они долго втолковывали мне, что все у меня хорошо — и герой, и события, и выводы — но это для отдела публицистики.

— Так отдай в публицистику.

— Им нужны очерки, а я уже печатал у них очерк о Каховском. У нас, сказали, отдел художественной прозы, с ударением на слове *художественной*. Получается, что моя повесть ма-ло-худо-жественная.

— Подумаешь, что они там только высокие художества печатают,— сказал я, но это был подыгрыш Андрею. Я никогда, разумеется, не считал, что если кто-то свое дело делает плохо, то и ты свое можешь делать неважно. Ты — это ты. У тебя своя совесть и свой счет.— Ну, и что же теперь?

— А теперь, Всеволод Сергеевич, ничего,— с глубоким вздохом сказал Андрей.

— Ну-ну. Ты готов прямо сказать, что времени больше не будет. Да что ты, Андрюша.

И как же я утешал его, для меня он был сейчас тем же самым мальчиком, который пытается поднять с земли пьяного отца. Правда, тогда у него были

глаза взрослого и все понимающего человека, а сейчас — потерянные глаза маленького мальчика, который не знает, что ему делать.

— Да что случилось, Андрюша? Да, жалко, что не удался полугодовой труд. Но ты что — пятидесятилетний литератор, который написал книгу своей жизни, можно сказать, эпопею. Ведь это у тебя первая вещь. Давай признаем: она не получилась. Причин касаться не будем — у нас впереди много времени. Ведь тебе только двадцать один год. У тебя есть знания. У тебя в руках специальность. Ты можешь идти в школу или заняться наукой. И наконец, ты можешь писать. На мой взгляд, у тебя есть способности. И вспомни фразу из Чехова: это очень хорошо — плохо начать.

Я утешал его страстно, так что и сам удивлялся своему пылу.

И как могло быть иначе, если я любил этого паренька, любил всегда, даже и в те дни, когда он пренебрег моими советами, в те дни, возможно, и сильнее любил, но только пепел обиды столь обильно засыпал любовь, что ее как бы и видно не стало. Держись, мальчик, человек узнает себе цену именно в беде.

Конечно же, убедил: Андрюша как-то встрепенулся, и из глаз ушла безнадежность.

— Думай, мальчик, где просчет. Вот, мне кажется, первый урок: поучительнее правды нет ничего. А уж куда ты приложишь свои способности, чтоб довести эту правду до других людей — дело будущего. Сейчас тебе остается одно — думать и страдать. Все, мальчик, иди и страдай.

— «Страдать надо, молодой человек, страдать»?

— Вот именно, мальчик.

Думаю, он страдал в этот вечер. Но я-то страдал, несомненно. Правда, примешивалось и спасительное утешение; вот думал, я никому и ни для чего, но вот сейчас я нужен этому мальчугану, и, возможно, не раз еще понадоблюсь ему в дни отчаянья и сомнений.

Держись, мальчик, я с тобой!

О, если бы он мог слышать меня!

Днем накануне выписки навестить меня пришел главврач.

Мы прошли в физиотерапевтический кабинет, главврач попросил сестру постоять в коридоре и никого к нам не пускать.

Мы сели у стола, заставленного приборами, масками, металлическими прокладками.

Лицо у него было сероватое и усталое — видимо, обострилась язва.

— Я в курсе ваших дел. Поэтому так: на «Скорой» сейчас форменный бардак. Обвал жалоб, просто обвал,— морщины на лице его собрались ко рту, словно бы он втягивает слюну для плевка.— Вчера еще одна. Прокараулили инфаркт на дому. Утром человек поехал в город и рухнул на вокзале. А накануне дважды ездила «скорая помощь».

— И не сняли электрокардиограмму?

— Не сняли. Больной в городской реанимации, еле вытащили. Прислали бумагу. У меня раньше с вами особых забот не было, а теперь завалили жалобами. Как-то в исполком вызывали, а вчера в райком — пишут ведь люди.

— На меня есть жалобы?

— На вас нет.

— Так зачем вы все это говорите? Чем я вам могу помочь?

— Смерть смерти рознь. Одно — когда все сделали, но не смогли помочь, и другое — когда ничего не сделали или сделали все неправильно. Куда мы спишем пять-семь смертей, случившихся только по вине «Скорой»? Я говорю только о тех случаях, когда жалуются. Я не знаю о бесшумных смертях, когда баба с возу — родственникам легче. Навалом глупых смертей. И кто в этом виноват? — он сердито, даже зло посмотрел на меня.

— Интересно — кто же может быть виноват? — с вызовом, даже нагло спросил я.

Главврач погладил череп, как бы интересуясь, достаточно ли он гладок, и с удовлетворением кивнул.

— Два человека в этом виноваты...

— Вы и Алферов? — помог я ему.

— Нет, я и вы.

— Ах, как это интересно. Назначаете человека вы, поддерживаете его вы, не даете в обиду вы, а виноват, значит, я. Хотя я еще летом предупреждал вас, что будут платить ни в чем неповинные люди. Нет, я умываю руки.

— А что вы сделали, чтоб вас услышали? Летом пришли ко мне? С той поры вон сколько воды утекло. Да, с Алферовым я промахнулся. Вины с себя не снимаю. Но вы-то? Вам надо было вопить, а вы помалкивали. Он умывает руки! Удобная позиция. Чистота рук — залог здоровья.

Это меня разозлило.

— Я думаю, Алексей Федорович, что Алферова надо выгнать. Но я не думаю, что нам при этом следует переходить на лозунги. Вот вы намекаете, что человек должен за все отвечать. А я думаю, человек должен отвечать за то, за что он может отвечать. К примеру, за свою работу. Но для этого надо быть профессионалом. А чтоб отвечать за все, надо быть не профессионалом, а демагогом. Назначив Алферова, вы поступили непрофессионально. Желание спокойной жизни — желание именно демагога, а не профессионала. Так что я здесь ни при чем.

— Вы уж так круто не берите — я старше вас,— он хотел накалиться, но сдержал себя, видно, я ему для чего-то нужен.— Не испытывайте мое терпение — оно еще понадобится. До пенсии два года. Это, по правде говоря, меня и спасло,— уж как-то очень доверительно жаловался он.— Алферову и вашему педиатру влепили по строгачу за девочку. На областной лечебно-контрольной комиссии нас просто выпотрошили. Неизвестно, будет ли судиться мать девочки. А с Алферовым расстаемся.

— Он не уйдет.

— Считайте, уже ушел. Заявление на столе. Будет работать в городе линейным врачом.

— Стоило мне заболеть, и сразу волшебные перемены.

— Вы довольны?

— Да.

— Что ж не радуетесь?

— А я должен визжать от счастья?

— Ладно. За двадцать лет совместной работы мы с вами говорили только о деле. Не будем нарушать традицию. Алферову я предложил уйти, и он ушел. Людмила Владимировна считает, что ваше здоровье таково, что в ближайшие полгода дежурить вам неполезно. Режим труда, сон, прочее. Сейчас начало декабря. У вас две недели амбулаторного лечения. Затем примете мой новогодний подарок — заведование «Скорой помощью». Это все! — опершись на стол кулаками, он резко поднялся — разговору конец.

— Могли бы спросить согласие,— обиделся я.— Вдруг я откажусь.

— Вы не откажетесь,— строго, как учитель нерадивому ученику, внушил мне главврач.— Много дров наломали. А поучать мы все горазды. Мол, врач и учитель — это врач и учитель, у них нет карьеры. Это очень красиво. И главное — удобно. У меня готового человека нет. Вот вы и исправляйте. Кончатся жалобы, наладите работу — другое дело. Найдете себе замену, тогда и будете вспоминать про удобные расклады.

— Там хорош юный доктор — Сергей Андреевич.

— Он мальчик. Пару лет покатается, тогда будет видно. А пока вы. Все!

— А чего такая спешка?

— Меня через полчаса исполком слушает. Меры приняты, отвечу, назначен Лобанов. Его знают и любят — это всех устроит.

Он так и ушел, не спросив моего согласия.

Конечно, дров наломано много, но когда остался один, я старался понять, почему все-таки согласился стать заведующим, и не мог дать ответ, который удовлетворил бы меня самого.

Нет, для окружающих мотив был готов: здоровье не позволяет дежурить сутками, но это был мотив лишь для посторонних. Я-то знал, что мне пошли бы навстречу и ставили бы дневные и вечерние часы: как же, как же, мы опытных работников ценим, тем более на законных основаниях.

И я не потому согласился, что считал себя способным на лучшее заведование, чем Алферов (это само собой). Я не сомневался, что буду хорошим заведующим. По правде говоря, я не сомневался, что был бы хорошим главврачом и даже завоблздравом. И это не мания величия, но ясное понимание, что при нынешнем состоянии дел желание блага, профессионализм и отсутствие корыстного интереса — достаточные качества для руководителя.

Не мог же я, в самом деле, не понимать, что дело не во мне, не в Алферове и даже не в главном враче. И я превосходно помнил, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, и все-таки согласился. В чем же дело?

И еще в тот день я постоянно думал об Алферове. Вот что удивительно — мне его было жаль. Да, было удовлетворение, что моя взяла, но так оно и должно быть: я профессионал, а не только демагог.

А вот радости или злорадства не было. Даже и удивлялся этому: ведь человек унижал меня, чуть не ногами пытался ходить по мне, но верх брала жалость к нему.

Потому что я представлял, каково ему сейчас. Все считали его человеком средненьким, даже маленьким, и он пытался доказать, что вовсе он не маленький, и пытался выбиться из общего, ненавистного ему ряда, и этот единственный шанс не использовал.

Крах надежд. Теперь всю жизнь полагать будет себя изгоем, неудачником, жертвой моих козней. Да хоть бы кто другой сел на его место, а то ведь я, ненавистный. Да, я не хотел быть в нынешней его шкуре.

Вскоре должен был прийти Павлик, и я пошел встретить его.

Снова потеплело, снег растаял, под ногами влажно блестел асфальт двора, чернели мокрые ветки деревьев.

Я все свои силы направил на то, на что и направлял последние две недели — на уговоры самого себя. Таким образом пытался вернуть испарившийся мой оптимизм. Ничего, уговаривал себя натужно, все будет хорошо. Инфаркт еще когда объявится, мне бы только вывести себя из состояния унылости, вернуть ту прыть, что была еще полгода назад. Сейчас я себе напоминал мяч, из которого выпустили воздух: оболочка есть, ударить по нему, конечно, можно, но он не зазвенит от удара и, понятное дело, не полетит. Именно состояние тупой унылости.

Да, меня оставила подъемная сила или, как сказали бы в цирке, пропал кураж.

В таком вот привычном состоянии я и бродил по двору, как вдруг заметил, что от лаза в заборе спешит ко мне женщина в клетчатом пальто, и легким, тусклым обрывом сердца я узнал ее и заспешил к ней.

— Простите меня, Всеволод Сергеевич, я виновата, я стерва, но вы простите меня,— задыхаясь от волнения, говорила Наташа.

— Ну, что ты, что ты, не надо, прошу,— бормотал я растерянно.

— Вы только простите меня. Я уже две недели в это время пересекаю этот двор в надежде увидеть вас. Вот — повезло.

Господи, а губы дрожат, и вся она на нервном взводе, и малое мое касание, и она зарыдает.

— Да за что же мне тебя прощать? Все было хорошо. Все нормально,— так это тускло говорил я, словно бы старичок, внушающий пережившей первые разочарования любви десятикласснице, что все пройдет и все будет хорошо.

— Тебе, небось, сказали, что у меня инфаркт,— вдруг догадался я.

— Да,— кивнула она и коротко всхлипнула.

— Но у меня нет инфаркта.

— А весь город говорит — инфаркт.

— Это указывает лишь на то, что в городе ко мне неплохо относятся. А если бы прошел слух, что я умер, зто означало бы, что меня по-настоящему любят.

— Если бы с вами что случилось (следовало понимать — если бы я умер), я бы не перенесла,— сухо, как о деле окончательно решенном, сказала Наташа.

— Это, пожалуй, ты высоко взяла. Казалось, что нам друг без друга никак. Но, заметь, живем, и по всему судя жить станем дальше.

Я сумел посмотреть на нас как бы со стороны, к примеру, из окон второго этажа, из своей палаты: стоит дядька в темном пальто, из-под пальто видны полосатые больничные штаны, дядька тускл и хладнокровен, и перед ним нервничает, борется с рыданиями молодая красивая женщина. Да, она красива, посторонним умом понимал я — нервное подвижное лицо, и эта смутная чуть проступающая улыбка, готовая мгновенно прерваться рыданиями.

А что же меня-то заботило в тот момент? Стыдно признаться, но в тот момент меня заботило, что вот сейчас придет Павлик, а его отец стоит в центре двора с какой-то чужой женщиной.

— Отойдем немного,— предложил я.

Мы прошли по аллее к серым домикам подсобных помещений. Там остановились.

— Со мной все ясно. Ты-то как? Выходишь замуж? — спросил я.

Она вдруг подняла ко мне лицо — глаза были полны слез.

— Вы ненавидите меня, Всеволод Сергеевич? — отчаянно спросила Наташа.

— Что ты, что ты, девочка,— растерялся я. И что-то уже стронулось в моей душе, поплыло, начало заливать легким теплом волнения.

— Или вы только презираете меня? — а глаза-то потерянные, а на лице-то болезненная — перед взрывом — улыбка, ах ты, боже мой, да за что же, почему снова хотят рвать мою душу, ну, довольно, довольно.

— За что ж мне презирать тебя,— а уж и сам не смог сдержать волнения,— за что презирать? За то, что хочешь жить лучше? Кто ж тебя судит? Страшно одиночество, нужно растить девочку, я не опора и не защита, а нужна именно опора и защита. Тут все нормально.

— А выйти замуж за человека, которого не любишь, тоже нормально?

— Да, нормально. Потому что привычно.

— Это когда никого не любишь. Но ведь я же вас тогда любила. И тогда, в последнее свидание, любила отчаянно.

— Это для меня слишком сложно,— и я показал на полосатые свои штаны. Порушился тусклый мой покой, и появилось раздражение — вот если б любила, я не стоял бы в больничном дворе да в казенной одежде,— нет, видно, женская логика выше моего понимания.

— Что ж здесь непонятного? — удивилась она — ну, я прямо каким-то чурбаном стал, не понимаю очевидные вещи.— Да знаете ли вы, что такое отчаянье?

— Да, мне известно отчаяние,— сухо сказал я.— Это когда неохота жить, и потому рвется сердце.

— Так почему же вы не понимаете меня? Я была оглушена отчаяньем. А жилье — это так, последняя капля. Я не сдержала себя, и это был бунт против вас.

— А что против меня бунтовать? Я — безобидное существо.

— Нет, не заблуждайтесь, вы — не безобидное существо. Вы любите свой покой, устоявшийся быт, и вы ничего не хотите менять в своей жизни, и это вовсе не безобидно.

— Конечно, это страшно для человечества,— рассердился я.— Только отчего-то сердце чуть было не расползлось именно у меня. Хотя я, разумеется, и не знаю, что такое отчаянье.

— Да вы не знаете, что такое любить и страдать оттого, что никогда не быть вместе. Любить человека — и видеться украдкой, и с кем-то его делить. Невозможно. Я хотела рожать вам детей, помогать, а если понадобится, служить вам, но это было не нужно,— а глаза сухие, а смута прошла, лицо решительное, говорит то, о чем много думала — это несомненно.

— Ах, милая, да я не стою такой страсти. Считал, что ты предала меня. Но отчаянье от любви — если это отчаянье от любви — дело другое. И спасибо тебе. Полгода любви — разве это не везение? Этого могло не быть, но случилось чудо, и оно останется на всю жизнь.

— Да вы же меня совсем не любите,— удивленно и горько сказала она.

— Да, я не могу сказать, что люблю. Но не могу сказать, что не люблю. А только в тот момент, когда ты сказала, что нам надо расстаться, все во мне

помертвело. Если спросить сейчас, какой я сейчас, я отвечу — никакой. Меня оставила подъемная сила, и мне стало скучно. Только тем и утешаюсь, что это временное состояние. Вот и вся правда, девочка. Утешаюсь надеждой, что еще проснусь. И тогда я затоскую по тебе.

— И это будет? — с надеждой спросила Наташа.

— А что мне остается? Только надеяться.

И тут я заметил, что к отделению торопится Павлик, и сказал:

— Сын. Я пойду.

— Ты не меняешься,— горько сказала Наташа.

Мы сняли пальто, я сел за стол, а Павлик стоял перед мной, почему-то держа правую руку за спиной.

Я вспомнил, как просидел с ним десять дней — в шесть лет у него была ангина, и мы спросили, с кем бы он хотел сидеть, и Павлик выбрал меня. Как же тогда сердилась Лариса Павловна — эпидемия гриппа, а он, здоровяк, уселся с ребенком. Но уход с работы Нади был тяжелее моего ухода, и Лариса Павловна смирилась.

И то были десять дней непрерывного счастья. Тогда мы были повязаны так, что я физически ощущал малейшие повороты души Павлика, и тогда я, несомненно, был всесилен.

Мы весь день лежали рядышком, да так, чтоб касаться головами, точнее, ушами — именно на этом настаивал Павлик — и я все дни напролет читал ему сказки Афанасьева.

Да, тогда мое всемогущество было для Павлика, конечно же, сильнее окружающей жизни, ее законов, ее обстоятельств.

Лишь год назад у него начало проклевываться самостоятельное зрение, и он с удивлением начал замечать, что отец не всесилен, и знания его не так уж необъятны: в английском он переплюнул меня в прошлом году, и я уже не помню многих имен из истории, чем очень и очень удивляю Павлика.

Но что ни говорите, сознание, что папаша не всесилен — это одно, а понимание, что он ничтожество и предатель — это совсем другое.

— Как английский?

— Нормально.

— Слова выучил? Римма Робертовна (англичанка) не сердилась?

— Все в порядке. Сказала, что через месяц возьмемся за Агату Кристи.

— Адаптированную?

— Вам обязательно надо обидеть человека, отец?

— Неплохо. А почему ты держишь руку за спиной? Что у тебя там?

Тогда Павлик победно выбросил руку вперед, и в руке он держал новую модель самолета.

— А вот что! — восторженно сказал он, полагая, что я разделяю его восторг.

— Новая?

— А как же? Сразу после школы и закончил. А после английского забежал за ней. Потому и задержался.

— А сколько там мест? — ткнул я в кабину.

— Так ведь два.

— То есть для тебя и для меня? — предложил я игру.

— Точно — ты впереди, я позади,— подхватил он.

— Нет уж, твой самолет, тебе за него и отвечать. Ты впереди, я позади. Ты — мой ведущий, и я надеюсь на тебя.

— Пусть так. Но летать будем вместе.

— Я не знаю данных этого самолета. Долго ли можно на нем летать?

— Да, очень долго.

— Хоть всю жизнь?

— Ну, это ты хватил.

— Но все равно долго?

— Конечно, папа,— серьезно ответил Павлик, и голос его задрожал,— на этом самолете можно летать очень долго.

Леонид АГЕЕВ

ИЗ ЦИКЛА „Раставив даты"

ВСТРЕЧА ПОЭТОВ С 1937 ГОДОМ

Лежал их путь — трагичен и короток.
Они не знали —
будет ли, как б ы л о...
А им еще смотреть из-за решеток,
а им еще точить в Сибири пилы.
Еще они друг другом не любимы,
осмеяны, зашучены друг другом.
По-мелкому спесивы и ранимы,
пока еще не пайкой, а досугом
делясь,
бранятся шумно из-за строчек
и пьют *во славу общую* спиртное.
А им —
рабами выкормышей волчьих —
одно на всех большое и тупое
бревно
тащить на окрик паровоза...
Они еще побриты...
И одеты —
по моде...
И — при женщинах... И в позах
героев — из богемной оперетты.
Они не знали —
будет ли, как б ы л о...
Нагруженные хмелем и стихами,
про время вспоминали с петухами
и, кофе отрезвляюще-постылый
глотая залпом, подымались вяло,
шли к вешалке походкою неверной.
А будущее их
уже стояло,
примкнув штыки,
за тоненькою дверью.

1957

⊡ ⊡ ⊡

Так и думала тетя Катя —
все потом ей спишет война:
майна — в баржу,
подцепят катер,
в море вывезут и — хана!
Так и думала, кавторанга
поджидая по вечерам...
Довоенного солнца танго
рвало уши и души нам.
...Самовар до ночи томился,
гостя ждал — дождаться не смог.
Кавторанг своего эсминца
от торпеды не уберег.
Чуть не месяц, «держа характер»,
патефон молчал за стеной.
А потом заявилась как-то
тетя Катя со старшиной...

Свирепел я за дядю Колю:
ну и тетка! Ну, сатана!
Я едва не орал от боли,
слыша это: спишет война...
До окопов Катины мысли
доползали — уж это факт!
Одолеть половодье Вислы
дяде Коле не вышел фарт.
На миру коммунальном
горе —
на ветру костром отгорит...
В дяди Колиных тапках вскоре
ковылял средь нас инвалид...
С ним-то мы и похоронили
нашу Катю сей год весной.
Попрощался я на могиле
(не впервые...) с м о е й войной.
Из большого — вырезал долю...
Только — тщетно душа спешит!
В поминальном нашем застолье
обнимал меня инвалид,
говорил:
— Завидую Кате!
Все закончилось для нее!
Утащил баржу ее катер
в это море... в небытие...
Эх, ты, ржавая жизнь-жестянка!
Всем нам, как ни крутись,— ко дну!..
Помянем, что ли, кавторанга? —
...а потом он — про старшину...
(Ничего-то таить не стала
от последнего своего...)

Ничего война не списала.
Никому — ничего.

1987

◻ ◻ ◻

В чаду кромешного застолья,
когда, дурея от удач,
целуешь мир и песни стонешь,
ко мне приходит мой палач...
Палач задумчиво безмолвен,
в глазах — тяжелая вода,
его топор — как десять молний,
темнее крови борода.
Я окуну лицо в ладони,
не веря, верую еще...
Он подойдет ко мне, он тронет
окаменевшее плечо.
И постоит... И ногтем рыжим
топор опробует:
— Востер! —
И бороды своей пробор
оправит гладким топорищем...
— Присядь, палач! В чем я повинен?
Скажи, чем я грешней других? —
Палач «штрафную» отодвинет.
— Свои,— пролязгает,— у них!
А я — лишь твой! —
И взгляд разумный
уйдет в глазах его под лед,
палач ощерит хищно зубы
и на ладошки поплюет.
Вот размахнется. Вот помедлит...
И вдруг отступит, хохоча,
к стене шагнет со звоном медным —
и все, и нету палача!
До срока нового явленья...
Как точно кто-то знает нас:
страшней всего — приготовленье,
свершенье — миг, и только раз.

1959

◻ ◻ ◻

А живая вода зацветала
тем пронзительным тинистым цветом...
На нее мы смотрели устало
и думали только об этом:
живая вода зацвела —
веселые наши дела!
О, как долго ее мы искали,
как упорно — и не находили.
Мы обшарили долы и скалы,
стали лысыми, стали седыми,
и здесь вот, в ладони земли,
сегодня нашли...
А она зацветала,
живая вода,
жить без пользы устала,
ждать устала — отыщем когда...
Что ж мы скажем
пославшим когда-то
нас — от плуга и жатки — за нею?
Что,
вернувшись к поникшим пенатам,
на вопросы ответим немые?
Нелегко умирать, вероятно,
если даже — за веру в идею,
легче ли на пороге заката
убедиться впервые,
что ж и в а я
лишь в сказке жива,
донести этой правды слова?!
Ложь во благо,
приди к нам на помощь!
Мы вернемся и скажем:
«Простите!
Мы устали, близка наша полночь,
пусто в нашем разбитом корыте.
Мы по чести вершили свой труд...
Снаряжайте детей наших —
пусть за живою водою идут...»

1962

ОКРАИНА

Здесь избы и дома старинны —
кот на крыльце, герань в окне.
С получки тонут здесь мужчины
в дешевых бабах и вине.
Летят в сельмаг и из сельмага
всегда охочие «гонцы»,
примагазинная дворняга
кропит задорно на венцы.
...Шла женщина — лицом к закату,
по пыли волоча платок.
«Куда ты сгинул тут, куда ты
запропаститься, леший, мог?!
В какой избе, в котором доме,
на чьей занюханной печи —
голодный клоп, лютуя, донял,
пригрели камни-кирпичи?!
Отдай законного, шалава!
От краденого — откажись!
Тебе — недолгая забава,
а мне — какая еще жизнь
без лютого, без проклятущего?..
Глаза не видели б его!
С похмелья злющего,
убойно бьющего,
но... моего!
Но — моего...»

1956

СУДЬБА

А. Г.

1

Какие там круглые даты?!
Когда ты за сорок забрел,
они тебе все — угловаты,
на ссадины — крепкий рассол.
...Ребенок, потомок, наследник
не кошеных веком страстей,
владелец фантазий несметных,
пороков своих казначей —
ты в море забав неизбывных
нырял с недоступных нам скал,
ты плавал на мутных глубинах,
запретного дна доставал.
При каждой удаче ликуя
и жаждая новых побед,
раскручивал скорость такую,
каких на спидометрах нет.
Воздев кулаков своих гири,
расхрупав и сплюнув печать,
о том говорил, что другие
боялись и в мыслях держать.
Ты был в лицедействе искусен:
на взгляд — простодушен и лих,
других убеждал, что не трусил,
а трусил не меньше других.
Но билось в мистерии этой
такое страстей естество,
что времени доброй приметой
казалось твое торжество...
Каких только дел и деяний
нет в списке твоем послужном!
И есть ли судьба окаянней —
увязнув, остаться в былом?..

2

Кто выдумал круглые даты?!
Здесь круглый — лишь стол,
да за ним
округлые гости распяты
на стульях — едой и спиртным.
Дежурные гости — в дремоте,
им пресен, хозяин, твой вид.
Театр — на бессрочном ремонте,
гниет под дождем реквизит.
Страстей отшумевших покосы
асфальт задушил и бетон...
Поминки!..

Растерзан, разбросан
по скатерти бывший лимон:
он высосан, выжат, и скоро —
с объедками — в мусорный бак!

Ты нюхаешь желтую корку,
смакуешь заморский табак.
Буянил, не зная запрета,
весь выгорел, все превозмог...
Всего отбоялся... И это —
твой самый последний порок.

1970

В. Ф. ХОДАСЕВИЧ



Рис. Ю. Шабанова

Время шло. Потемкин успел впасть в немилость, проблистал Завадовский и вновь укрепился Потемкин. Сменялись фавориты и фавориты фаворитов. Двор и полк давно уже вернулись в столицу. Из месяца в месяц, перебиваясь единственно карточною игрой (она была уже не так счастлива, как вначале), Державин жил в полном неведении дальнейшей судьбы своей. Полк ему опротивел. Теперь он хотел немногого: чтобы его выпустили в армию полковником и наградили хотя бы так, как были награждены другие офицеры из секретной комиссии (заслуги его были, конечно, выше). Надежда то разгоралась, то меркла. Весы справедливости плясали. На их шаткую чашу одно за другим Державин подкидывал письма, прошения, к самой даже императрице,— все было тщетно. Его судьба зависела от Потемкина. Тому было, в сущности, все равно, он был готов согласиться, но враги Державина его удерживали. Особенно старался некий майор Толстой, с которым Державин поссорился тому назад года три.

Все это тянулось долго и завершилось, наконец, тем, что Державина, прослужившего в гвардии пятнадцать лет, указом 15 февраля 1777 года выпустили не в армию, а в статскую службу, объявив его *неспособным* к военной. Он получил чин коллежского советника и 300 душ в Белоруссии, в Себежском уезде,— ничто по сравнению с наградами, которые были розданы другим офицерам, служившим хуже Державина и сделавшим меньше.

На этом закончилась для него пугачевщина. Как далека была теперь та пора, когда впервые являлся он к Бибикову, мечтая устроить свою будущность!.. Сражаясь на стороне победителей, Державин вышел из борьбы побежденным.

IV

Это была, пожалуй, самая веселая пора екатерининского царствования. Минувшие войны были победоносны, значение России возрастало, осыпанное милостями дворянство приходило в себя после ужасов пугачевщины, даже в царской семье, казалось, расцветал мир: овдовевший великий князь вступил в новый брак, и вторая супруга на время сблизила его с матерью. Двор и Петербург жили занятною и кипучей жизнью, в которой великолепие мешалось с убожеством, изысканность с грубостью; шестерка лошадей насилу вытаскивала золоченую карету из уличной грязи; фрейлины разыгрывали пасторали на эрмитажных собраниях — случалось, что после того их секли; вельможи собирали картины, бронзу, фарфор, отвешивали друг другу версальские поклоны и обменивались оплеухами; императрица переписывалась с Гриммом — Митрофан Простаков не хотел учиться, хотел жениться; вист, фараон и макао процветали везде — от дворца до лачуги.

Полученные земли Державин заложил в банке; это не обеспечивало его будущности, но, вместе с карточной игрой, давало возможность существовать пристойно, в ожидании лучшего. Найти службу значило прежде всего найти приятелей. Державин стал возобновлять былые знакомства и искать новых. Служба должна была быть штатская; мундиры вокруг Державина постепенно сменялись бархатными кафтанами.

Трудная молодость сделала его отчасти скрытным и замкнутым; с тем вместе он умел быть приятным. У Алексея Петровича Мельгунова, на Мельгуновском тенистом острове (том, что впоследствии перешел к Елагину, обер-гофмейстеру), на пикниках, средь умной и просвещенной беседы, он был занимателен. Масоны из мельгуновских друзей звали его в свою ложу, но он воздержался. Он был свой человек и на пышных пиршествах князя Мещерского с генералом Перфильевым, и среди людей не столь знатных, там, где попросту ценилась старая серебряная кружка, налитая пополам русским и английским пивом (в пиво сыпались гренки и лимонная корка). Женщины, чаще всего — доступные участницы холостых пирушек, находили в нем предприимчивого и веселого поклонника. Между возлюбленными, как между винами, не имел он особых пристрастий: любил всех равно:

Вот красно-розово вино:
За здравье выпьем жен румяных.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст багряных!
  Ты тож, румяна, хороша:
  Так поцелуй меня, душа!

Вот черно-тинтово вино:
За здравье выпьем чернобровых.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст лиловых!
  Ты тож, смуглянка, хороша:
  Так поцелуй меня, душа!

Вот злато-кипрское вино:
За здравье выпьем светловласых.
Как сердцу сладостно оно
Нам с поцелуем уст прекрасных!
  Ты тож, белянка, хороша:
  Так поцелуй меня, душа!..

Братья Окуневы, у которых пять лет тому назад, выйдя в прапорщики, приобрел он в долг первую свою карету, теперь ввели его в дом князя Вяземского. Это было знакомство особой важности: князь Александр Алексеевич был Андреевский кавалер и генерал-прокурор Сената, то есть, приблизительно, совмещал должности министра финансов, внутренних дел и юстиции. Возвышением он обязан был своей глупости: поручая ему ведение важных дел, Екатерина могла быть спокойна, что никому не придет в голову приписывать Вяземскому ее собственные заслуги. Впрочем, рекомендованный государыне еще Орловым, Вяземский умел быть отличным служакой; угождая государыне, не забывал и себя, то есть воровал, но в меру; был неразборчив в средствах и деятелен, потому что завистлив. Он жил на Малой Садовой в собственном доме, где, кстати, помещалась и тайная канцелярия; иногда он лично присутствовал при допросах. Никто его не любил, но все у него бывали: как не бывать у генерал-прокурора? Ему было пятьдесят лет. Жена его, урожденная княжна Трубецкая, была значительно моложе своего супруга и старалась придать дому некоторую приятность.

Ища покровительства Вяземских, Державин постановил их очаровать и скоро того достиг. Он стал проводить у них целые дни, сделался своим человеком; иногда читал князю вслух, «большею частию романы, за которыми не редко и чтец, и слушатель дремали»: Вяземский — потому, что именно так и смотрел на литературу, как на снотворное средство, а Державин — по врожденной сонливости (при всей кипучести своего характера он обладал странным свойством: порою, даже среди оживленной беседы, сон внезапно его охватывал). Вечерами играли в вист; эта игра не давалась Державину; к счастию, в то время, как другие вельможи игрывали на бриллианты, черпая их из шкатулки ложкою, у Вяземских игра шла по самой маленькой (хозяин дома был скуп). Что касается княгини, то Державин порою сочинял от ее имени стихи, обращенные к супругу, «хотя насчет ее страсти и привязанности к нему не весьма справедливые, ибо они знали модное искусство давать друг другу свободу». Княгиня была к Державину столь благосклонна, что даже хотела выдать за него свою двоюродную сестру, княжну Урусову, славную стихотворицу того времени,— но Державин отшутился. (Княжна так и осталась старою девой.)

После всего этого не покажется удивительно, что лето 1777 года Державин провел в имении Вяземских, под Петербургом. Наконец, в августе месяце открылась в Сенате вакансия, и Державин назначен был экзекутором 1-го департамента (государственных доходов).

Должность была довольно видная, но требовала немалых трудов. Отношения с сослуживцами тотчас сложились отличные: главным начальником был князь Вяземский, а ближайшим и непосредственным — обер-прокурор 1-го департамента Резанов, с всею семьей которого Державин был в дружеских отношениях.

Точно так же он и раньше знаком был, а теперь сошелся короче с обер-секретарем Александром Васильевичем Храповицким. Это был толстый, веселый человек, не лишенный лукавства, любивший наблюдать молча, но умевший порою сказать словцо острое и проницательное. В юности подавал он поэтические надежды, но лиру почти забросил. Однако, усердно вписывал в особую книгу вольные стихи, написанные другими. Вообще любил собирать документы, запис-

Продолжение. Начало см.: «Нева», 1988, № 6.

ки, письма, вел дневники. В нем дремал историк.

Козодавлев, Осип Петрович, такой же экзекутор, как и Державин, но во 2-м департаменте, был умом куда проще; зато в свое время учился в Лейпцигском университете, переводил с немецкого и сам баловался стишками (впрочем — кто ими не баловался?). Очень был юркий и обаятельный человек. Вскоре после начала их знакомства, 30 августа, в день Александра Невского, Державин был приглашен к Козодавлеву смотреть из окна крестный ход. Были и другие гости, среди которых одна девица особенно привлекала внимание. Было ей лет семнадцать. Черные, как смоль, волосы, острый, с легкой горбинкою нос, из-под черных бровей — огненные глаза на несколько бледном, словно не русском, слегка бронзовато-оливковом лице,— все изумило Державина. Она была с матерью. Державин осведомился о фамилии. *Бастидоновы* — был ответ. Державин уехал. Смуглая красавица не выходила у него из памяти. Зимою он встретил ее в театре,— и вновь она поразила его.

* * *

23 февраля, на масляной неделе в пятницу, младший из братьев Окуневых, быв на конском бегу, из-за чего-то поссорился с Храповицким. Дошло до того, что они ударили друг друга хлыстиками и порешили быть поединку. Храповицкий объявил своим секундантом младшего сенатского секретаря Александра Семеновича Хвостова. (Хвостов тоже писал стихи, и двадцатилетний братец его двоюродный, Дмитрий Иванович, тоже писал, да так плохо, что уж тогда смеялись.) Окунев же прискакал к Державину, в свою очередь прося быть секундантом. Державину эта просьба не улыбалась: он боялся испортить отношения с Храповицким. Как быть? Он дал Окуневу согласие, но при условии, что наперед посоветуется с Резановым: если Резанов не посмотрит косо— Державин будет секундантом, в противном же случае вместо себя приведет Гасвицкого, того самого офицера, которого некогда в Москве спас от шулеров. В согласии Гасвицкого он не сомневался.

На том и порешили. Державин поехал к Резанову, но не застал дома: сказали, что он на Васильевском острове, у герольдмейстера Тредьяковского на блинах. (Это был Лев Васильевич Тредьяковский, сын покойного поэта.) Делать нечего, отправился Державин на Васильевский остров. Наступил уже вечер, обед кончился, гости разъезжались. Запорошенный снегом, Державин вбежал в переднюю,— там, возле матери, в ожидании своей кареты стояла *она*!

Встреча была мгновенна. Через минуту красавицы уже не было, но после того с Резановым говорил Державин торопливо и бестолково — то о дуэли, то о девице Бастидоновой. Вдруг объявил, что готов жениться. Резанов смеялся, не понимая, шутит он или говорит правду. От секундантства советовал по возможности уклониться, напомнив, что Храповицкий — любимец Вяземского.

Тогда Державин поехал звать Гасвицкого, но и того не застал. Все еще думая о черноокой девице, оставил записку; изложил дело, сообщил, что дуэль состоится завтра, в таком-то часу, в лесу под Екатерингофом, просил приехать. Потом, наконец, вернулся домой, велел подать свечи, припомнил весь этот странный и суетливый день и уснул влюбленным бесповоротно.

В субботу поутру, не имея ответа от Гасвицкого, пришлось Державину ехать в Екатерингоф. Там все уже были в сборе. Направились к лесу. По дороге Державин старался примирить противников, и это ему легко удалось, ибо отважными забияками они не были. Пока добрались до назначенного места, враги уже целовались. Хвостов, однако, сказал, что должно бы им хоть для вида поцарапаться, чтобы не было стыдно. Державин возразил: если противники помирились без боя, никакого в том стыда нет... Хвостов начал спорить, Державин вспылил, и слово за слово, дошло до того, что горячие секунданты схватились за оружие. По пояс в снегу, они уже обнажили шпаги и стали в позитуру. В самое это мгновение, весь красный от спешки и оттого, что был прямо из бани, явился Гасвицкий. Бросившись между Державиным и Хвостовым, он пресек битву. Тогда всей компанией отправились в трактир, выпили кто чаю, кто пуншу и отпраздновали общее примирение.

Меж тем, красавица все предносилась воображению Державина. Едучи домой с Гасвицким, он ему открылся. На другой день, в прощеное воскресенье, был при дворе большой маскарад. Влюбленный явился на нем вместе с наперсником, оба в масках. Гасвицкому предстояло взглянуть на девицу беспристрастными дружескими глазами. Державин тотчас увидел ее в толпе и громко воскликнул:

— Вот она!

И мать, и дочь обернулись и поглядели пристально. Во весь маскарад, следуя по пятам за ними, кавалеры наши старались приметить поведение молодой красавицы, с кем и как она обращается. «Увидели знакомство степенное и поступь девушки во всяком случае скромную, так что при малейшем пристальном на нее незнакомом взгляде лицо ее покрывалось милою, розовою стыдливостию. Вздохи уже вырывались из груди улыбавшегося экзекутора». Наперсник вполне им сочувствовал. Тут же примерно подсчитали державинские достатки, и решено было свататься.

Восторгов своих Державин не скрыл и от прочих друзей, бывших на маскараде. Так что на следующий день, в чистый понедельник, за обедом у Вяземских, над Державиным стали уже подтрунивать за вчерашние маскарадные шашни. Вяземский спросил:

— Кто такая красавица, которая столь скоропостижно пленила?

Державин назвал фамилию. Это не понравилось управляющему ассигнационным банком действительному статскому советнику Кирилову, который присутствовал на обеде. Когда встали из-за стола, он отвел Державина в сторону:

— Слушай, братец, нехорошо шутить на счет честного семейства. Сей дом мне коротко знаком; покойный отец девушки, о коей речь идет, мне был друг, да и мать ее тоже мне приятельница; то шутить при мне на счет сей девицы я тебе не позволю.

— Да я не шучу, я поистине смертельно влюблен.

— Когда так, что ты хочешь делать?

— Искать знакомства и свататься.

— Я тебе могу сим служить.

Положено было завтра же ввечеру, будто ненарочно, заехать в дом Бастидоновой.

* * *

Великий князь Павел Петрович родился 20 сентября 1754 года. Тотчас после того, как духовником их высочеств была прочтена очистительная молитва, императрица Елисавета Петровна явилась в спальню великой княгини и забрала младенца к себе. С этой минуты мать почти не видала его и всею душою раз навсегда возненавидела мамушек и нянюшек, попечению коих он был вручен. Первое место среди этих женщин, естественно, занимала кормилица, по имени Матрена Дмитриевна. Ее тогдашняя фамилия до нас не сохранилась. Вскоре, впрочем, она овдовела, а в 1757 году вступила во второй брак. Избранником ее сердца был Яков Бенедикт Бастидон, родом португалец, в Россию приехавший из Голштинии: Петр III, тогда еще великий князь, привез его в качестве своего камердинера. От Бастидона — в России звали его Бастидоновым — у Матрены Дмитриевны было четверо детей: сын и три дочери. Из них семнадцатилетняя Екатерина Яковлевна и была та самая, что покорила сердце Державина.

К тому времени, когда произошла эта знаменательная встреча, самого Якова Бастидона уже не было на свете: Матрена Дмитриевна овдовела вторично. Была она женщина многоопытная, пронырливая и жадная, но обстоятельства ее выходили довольно трудны. Детям она старалась дать пристойное воспитание, дочерей надо было одеть и вывезти, а покойный муж больших средств не оставил. Давно миновали счастливые времена, когда сама Елисавета Петровна наряжала Матрену Дмитриевну к венцу, когда на свадьбе гремела придворная музыка, и государыня изволила танцевать. О милостях нынешней императрицы нечего было думать: Екатерина, как сказано, терпеть не могла Бастидониху. От великого князя Павла Петровича помощи тоже не было: выкормыш Матрены Дмитриевны сам постоянно нуждался в деньгах. Поэтому семья жила по-мещански, скромно, почти бедно, в собственном, но не большом доме у церкви Вознесения.

27 февраля, во вторник на первой неделе великого поста, вечером, подъехали к этому дому Кирилов с Державиным. Гостей в такой день не ждали. Босая девка с сальною свечою в медном подсвечнике встретила их в сенях. Кирилов объявил хозяйкам, что, проезжая мимо с приятелем, захотелось ему напиться чаю. Тут он представил Державина. После обыкновенных учтивостей сели. Та же босая девка подала чай. Часа два провели в общежительном разговоре. Сестры-красавицы хохотали и говорили много, пускаясь в хитрые пересуды, чтобы выказать остроту свою и умение жить в большом свете. Катенька же сидела тихо, вязала чулок и вмешивалась в беседу с великою скромностию, рассудительно и пристойно. Влюбленный не только «жадными очами пожирал все приятности, его обворожившие», но и старался приметить все — от разговора до утвари. Заключил, наконец, что люди не богатые, но честные, благочестивы нравом и опрятны в одежде. Откланиваясь, новый знакомый просил позволения и впредь быть к ним въезжу.

На другой день Кирилов явился к Матрене Дмитриевне и от имени Державина сделал настоятельное предложение. Мать отвечала, что сразу не может решиться, и просила дать несколько дней сроку, чтоб разведать о женихе. Но Державину, разумеется, не терпелось. В Сенате служил еще один знакомый Бастидоновых, некто Яворский. Державин просил и его подкрепить сделаное предложение. Яворский пообещал.

Меж тем, влюбленный стал часто ездить пред домом любезной особы. Это входило в правила ухаживания. Катенька, со своей стороны, полюбила сиживать у окна. Вскоре после беседы с Яворским Державин выследил такой час, когда матери дома не было, и решился заехать. Хотелось ему узнать мысли самой невесты. Вошед, он по обыкновению поцеловал руку и сел рядом с Катенькой. Затем

просто, без обиняков, спросил, известна ль она об искании его.

— Матушка сказывала,— был ответ.

— Что ж вы думаете?

— От нее зависит.

— Но если б от вас, могу ли я надеяться?

— Вы мне не противны,— сказала красавица вполголоса и закраснелась.

Тогда он бросился на колени и стал целовать ее руки. Тут, как в доброй старой комедии, открылась дверь, и вошел Яворский.

— Ба, ба! и без меня дело обошлось! — вскричал он.— Где матушка?

— Она поехала разведать о Гавриле Романыче.

— О чем разведывать? Я его знаю, да и вы, как вижу, решились в его пользу. То, кажется, дело и сделано.

Вскоре вернулась Матрена Дмитриевна. Среди объятий, слез, поцелуев Державин с Катенькой были помолвлены. Госпожа Бастидонова все-таки объявила, что для окончательного сговора нужно соизволение великого князя, который, как молочный брат Катеньки, почитался ее покровителем. Само собой, дело шло не столько о соизволении, сколько о помощи в рассуждении приданого. Через несколько дней Державин с будущей тещей предстали перед наследником. Чувствительный и уязвленный Павел Петрович сердечно радовался каждому знаку внимания. Он принял гостей в кабинете, говорил с ними долго, обласкал чрезвычайно и отпустил, обещав хорошее приданое, «как скоро в силах будет». В силах, однако ж, он так и не оказался.

Свадьбу сыграли 18 апреля 1778 года. За два дня перед тем из Казани пущено было такое письмо:

«Государыня моя, Екатерина Яковлевна! Любезное письмо ваше от 14 марта я с немалым удовольствием приняла, и когда уже по благословению Божию судьба соединяет вас в супружество моему сыну, сие есть мое обрадование, и взаимно обнадеживаю вас моею к вам усердностию и материнской любви горячностию, и желаю, чтобы я была счастлива в старости моей вашим почтением и любовию, кою я уже и предвижу, от чего зависит мое благополучие и утешение, и в знак к вам моей любви при сем посылаю гостинец, хотя не в драгих вещах состоящий, но оно от моего искреннего усердия; прими, моя любезная, и будь благословенна Божиею милостию и уверьтесь, что я вам во всю мою жизнь усердная.

Матушке вашей, милостивой государыне моей, свидетельствуйте мое почитание и прошу о принятии меня в ее благосклонность, а я с моей стороны оное сохранить конечно не премину, а затем пребываю охотная вам во услугах

Фекла Державина».

* * *

Державин женился стремительно, но вовсе не очертя голову. Впервые переступив порог бастидоновского дома (в тот памятный вечер, когда приехал туда с Кириловым), он сразу стал зорко всматриваться в невесту — и если бы не нашел того, что ему было нужно, не стал бы свататься, отступился бы. В числе его прочных и простых взглядов был и взгляд на семейную жизнь. Он хотел быть в доме главою,— тем более женясь тридцати пяти лет на девушке, которая была ровно вдвое моложе его. Будучи сам порывист и неуступчив (что почитал в себе отчасти даже достоинствами), от жены он требовал вовсе иных добродетелей: «тихость и смирение суть первые достоинства женщин, и они одни те истинные превосходства, которые все их прелести и самое непорочнейшее их поведение украшают. Без них страстнейшая любовь — вздор».

Тихость и смирение он подметил в Екатерине Яковлевне при первой беседе, а угадал, пожалуй, и раньше — при первом на нее взгляде. И в самом деле, то были ее первейшие добродетели. Если он собирался быть с нею строгим, то оказалось тотчас же, что это не требуется. Она была перед мужем тиха и смиренна, и это давалось ей безо всякой борьбы, без самопожертвования: во-первых, потому, что так она понимала свой долг, во-вторых, потому, что мужа считала умнее себя и во всех отношениях превосходнее, а в-третьих, и это, конечно, главное — потому, что его любила. Выходила за него, может быть, без особой страсти, но потом словно влюблялась все горячее и крепче. Ее сердечная преданность была безгранична, верность — мало сказать непоколебима: просто она даже никогда не подвергалась и не могла подвергнуться никакому испытанию.

При всей кротости Екатерина Яковлевна не была, однако ж, безвольна. Благожелательная ко всем, она была уступчива лишь до известного предела и в случае надобности могла постоять за себя, а в особенности за мужа. Была добра без навязчивости, почти незаметно, ласкова — без слащавости, приветлива — без унижения. Словом, самые чувства и добродетели, сильные, но подчиненные внутренней гармонии, были развиты в ней так же стройно, как она была стройна внешне. Самому Державину лишь постепенно открылась ее *пленительность*. И он перед нею не размякал, но какая же могла быть речь о суровости или строгости, если его любовь изо дня в день, а после — из году в год только росла и крепла? В то время поэты любили давать прозвания своим возлюбленным. Темиры, Дафны, Лилеты, Хлои, как чужеземные птицы, налетели в поэзию. Державин своей жене дал русское, задушевное имя *Плениры*.

Вскоре после свадьбы он взял четырехмесячный отпуск и повез жену в Казань, показать ее своей матери. Екатерина Яковлевна без усилий пленила и свекровь, и все казанское общество. Когда вернулись Державины в Петербург, директор казанской гимназии Каниц писал: «Noch lange werden die vernüftigen unter den Casanschen Schönnen, daran gedenken, dass die junge, verehrungswerte Catharina Jakowna sich eine Zeitland hier aufgehalten habe».

Денежные дела улучшались. Имение Маслова, пущенное с публичного торга, почти целиком досталось Державину, как главному кредитору. Уплаченные из выигрыша двадцать тысяч вернулись к нему в виде трехсот душ в Рязанской губернии. Заключив мировую с одним из казанских соседей, он получил еще восемьдесят. Когда правительство стало безденежно раздавать новоприобретенные днепровские земли, Державин раздобыл себе в Херсонской губернии 6000 десятин со ста тридцатью душами запорожцев. Таким образом, вместе с пожалованными при выходе из полка тремястами, а также с материнскими и отцовскими, всего очутилось за Державиным больше тысячи душ. Это был уже известный достаток. Сюда надо прибавить сенатское жалованье. Державины могли жить «приличным домом».

Они поселились на Сенной площади. Счастливый Державин был чрезвычайно радушным хозяином. Поэзия гостеприимства была ему ведома. Хвостов, Храповицкий, Резановы, Козодавлев, Окуневы, порою — сам генерал-прокурор с супругою стали его гостими. Но сердце больше лежало к нескольким новым знакомым.

С молодым стихотворцем Василием Васильевичем Капнистом первая встреча произошла еще в полку. Теперь знакомство перешло в дружбу. Родом малоросс (он не только говорил, но и писал с малороссийским выговором: Катеньку звал Катерына Яковлевна), Капнист был отчасти увалень, был порою хмур и склонен к обидчивости, но при всем том — человек добрейший и великий семьянин. Впрочем, женат он был лишь недавно.

Две молодые четы коротко сблизились, и это повело к тому, что вскоре вокруг Державиных образовался целый кружок. Дело в том, что у Александры Алексеевны Капнист (урожденной Дьяковой, дочери сенатского обер-прокурора) была сестра, Марья Алексеевна, девушка очень милая и собой преизрядная. Два друга Капнистовых были в нее влюблены (надо ли прибавлять, что оба принадлежали к числу стихотворцев?).

Первого звали Львов, Николай Александрович. Судьба была к нему благосклонна. Приятный лицом, состоятельный, имевший очень большие связи, хорошо образованный, был он зараз поэт, музыкант, живописец и архитектор. Ничего вполне замечательного не довелось ему создать ни в поэзии, ни в живописи, ни в архитектуре, ни в музыке. Но всюду он был умным и тонким ценителем. Не без приятного легкомыслия он одновременно переводил Анакреона и строил церкви. Стихи его были не глубоки, но забавны, веселы, бодры, как сам он был всегда легок, весел и бодр. Много он суетился, любил хлопотать за приятелей, покровительствовать, шуметь и блистать. Впрочем, делал все это со вкусом и не без тонкости. Был чувствителен. Маша Дьякова отвечала на его чувства нежной взаимностью, но отец ее почему-то был против этого брака.

Другой поклонник был сын обрусевшего немца Иван Иванович Хемницер. Он ничем не походил на Львова. Был настроен философически, сдержан, задумчив,— отчасти потому, может быть, что уж очень был нехорош собою, даже до безобразия. Как раз незадолго до женитьбы Державина вернулся он из заграничной поездки, влюбился в Машу Дьякову и стал самым прискорбным образом за нею ухаживать. Притворялся щеголем, петиметром, густо пудрил уродское лицо свое и сажал на него мушки. Любви не скрывал, даже посвятил Машеньке первую книгу своих сказок и басен, но все было напрасно. Ни Маша, ни счастливый соперник над Хемницером не смеялись (по крайней мере, при нем), к чувствам его относились бережно, Львов, пожалуй, даже особенно был с ним ласков,— но бедный Хемницер еще не знал самого горького обстоятельства: Маша Дьякова жила у отца, значилась в девушках, но была уже тайно повенчана с Львовым.

Семеро друзей сходились часто. Три прелестные женщины и четыре поэта связаны были любовью, дружбой, беседами об искусствах. Екатерина Яковлевна рисовала силуэты и занималась рукоделием. Львов руководил ее искусными вышиваниями. Иногда посещали Львова на его даче, близ Невского монастыря, на Охте. Там, в память прочного союза, каждый посадил по молодому вязу или по сосенке. Порою мелькала среди этого общества красивая, чернокудрая, не по летам высокая девочка. Это была третья из сестер Дьяковых — Даша. Впрочем, ей было всего лет одиннадцать.

* * *

В 1777 году умер Сумароков. Теперь на вершинах российского Парнаса гремели действительный статский советник Херасков и кабинетный переводчик Василий Петров, семинарист, имевший честь слыть «карманным ее величества стихотворцем», каковым прозвищем он весьма

гордился. Оба, однако ж, были значительно старше Державина; их слава началась еще при Ломоносове. Но и ближайшие сверстники Державина не оставались в тени. Княжнин родился в 1742 году, Богданович в 1743-м, Фонвизин в 1744-м. От каждого из них Державин по возрасту разнился не годами, а месяцами. Но Княжнин был известен уже «Дидоной», Богданович написал «Душеньку» и пребывал «на розах», Фонвизин прославился «Бригадиром», путешествовал за границей и дружил с самим Никитою Паниным. Рядом с ними Державин был просто никто.

Два стихотворения, напечатанные им перед самой пугачевщиной, справедливо прошли незамеченными. После пугачевщины выдал он «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае». Они были замечены только среди поэтической молодежи. Будучи летами гораздо старше, Державин оказался литературным сверстником Капниста и Львова. Он смиренно склонялся перед авторитетами; они с авторитетами готовы были бороться. Но, ища новизны и даже отчасти чуя к ней верный путь, сами они оставались поэтами заурядными. Напротив того, Державин, стремясь подражать, оказывался непроизвольно оригинален.

Его познания были слишком невелики. Он пополнял их жадно, но беспорядочно. С того дни, как он вышел из гимназии, учиться ему было некогда; к тому же он не умел учиться. Читалагайские оды были чудесной победой гения над безграмотностью. Свой собственный стих Державин обрел, имея весьма спутанные понятия о стихах вообще, не зная простейших правил, которые для Капниста и Львова были детской азбукой. Державин делал ошибки в размере, в рифме, в цезуре, даже в языке: самые неотесанные провинциализмы уживались у него рядом с явными германизмами (немецкий язык был для него языком поэзии). Его неопытность была очевидна Капнисту и Львову, но они, может быть, почуяли, что Державин превосходит их дарованием. В общем же почитали его себе ровней, видели в нем возможного соратника и старались просветить в духе новых веяний. Эти новые веяния были не слишком ясны им самим, но они зачитывались Горацием и находили великие откровения в теории Батте. Теперь мы можем сказать, что то были первые, остро переживаемые, но смутно осознанные влечения к реализму, которым силою вещей пора было зародиться в русской поэзии. Этим влечениям предстояла долгая и славная жизнь, но тогда, при первом своем зарождении, они выражались в попытках заменить условности ломоносовской школы новыми условностями, представлявшими, однако же, некий шаг вперед.

Впоследствии Державину казалось, будто именно в это время, под влиянием Львова, Капниста и Хемницера, в его поэзии совершился глубокий перелом. В действительности такого перелома не было. Учителя неопытные и сами себе не вполне уяснившие сущность своего учения, Львов и Капнист не столько внушили Державину новые поэтические идеи, сколько попросту исправляли его просодические и стилистические ошибки, не умея, однако, дать в руки ученику верные способы избежать таких же ошибок в будущем. Особенно тут старался Львов, чинивший державинские стихи с тою же дружеской хлопотливостью, с какой он устраивал служебные дела Хемницера и Капниста.

В глубине же державинской поэзии происходило медленное и закономерное развитие. Действительно, оно кое в чем совпадало с чаяниями Капниста и Львова: тут чутье их не обмануло, Державин был их естественным соратником. Но это развитие протекало самостоятельнее, чем казалось самому Державину. После Читалагайских од, написанных до литературной встречи с Капнистом и Львовым, следующий важный этап его поэзии составили стихи на смерть Мещерского. Но как раз они-то и связаны всего непосредственней с теми же Читалагайскими одами.

Едва увидел я сей свет,
Уже зубами Смерть скрежещет,
Как молнией, косою блещет,
И дни мои, как злак, сечет.

Ничто от роковых когтей,
Никая тварь не убегает:
Монарх и узник — снедь червей,
Гробницы злость стихий снедает;
Зияет Время славу стерть:
Как в море льются быстры воды,
Так в вечность льются дни и годы;
Глотает царства алчна Смерть.

Скользим мы бездны на краю,
В которую стремглав свалимся;
Приемлем с жизнью смерть свою;
На то, чтоб умереть, родимся;
Без жалости все Смерть разит;
И звезды ею сокрушатся,
И солнцы ею потушатся,
И всем мирам она грозит.

. . . .

Смерть, трепет естества и страх!
Мы — гордость, с бедностью соаместна:
Сегодня бог, а завтра прах;
Сегодня льстит надежда лестна,
А завтра — где ты, человек?
Едва часы протечь успели,
Хаоса в бездну улетели,
И весь, как сон, прошел твой век...

Где только не искали источников, из которых почерпнуты, будто бы, отдельные частности и сама мысль этих стихов! И у Горация, и у Геллера, и у Петрова, и в

Библии... Не обратили внимания лишь на то, что и мысль, и все замеченные параллельные места (и еще ряд незамеченных) имеются гораздо ближе: в той из Читалагайских од, которая переведена из Фридриха и называется «Жизнь есть сон»: «О Мовтерпий, дражайший Мовтерпий, как мала есть наша жизнь! Лишь только ты родился, уже рок того дня влечет тебя к разрушающей нощи...» Много мыслей и образов перенесено из оды Фридриха в оду на смерть Мещерского,— вплоть до знаменитого обращения к Перфильеву:

Сей день иль завтра умереть,
Перфильев! должно нам конечно,—

навеянного обращением Фридриха к Мовтерпию [1].

Между Читалагайскими одами и «Одой на смерть князя Мещерского» нет скачка; есть лишь огромное поэтическое развитие, которое становится особливо заметно именно потому, что так очевидна связь между ними. В стихах, родственных стиху Читалагайских од, но несравненно более совершенных, Державин говорит о владычестве смерти. В этом следует он за Фридрихом, но превосходит его. Державинская ода короче и сильнее. В ней каждое слово бьет прямо в цель. Такой лапидарности и точности Державин, быть может, не достигал уже никогда впоследствии. Уже самая постановка темы замечательна. Державин не рассуждает, как Фридрих, но развертывает свою тему на конкретном примере, который, однако же, избран с таким расчетом, чтобы ода не оказалась слишком прикреплена к случаю.

Мещерский не был человеком выдающимся. В его лице Державин не оплакивает ни героя, ни прерванного поприща, ни кем-либо понесенной утраты. Мещерский — просто богач, «сын роскоши, прохлад и нег», ничего больше. В его жизни представлена сама сладость жизни. Чем чувственней и обильней житейские блага, от коих его похищает смерть, тем разительней выступает предмет всей оды. Картина еще усилена внезапностью смерти. «Где стол был яств, там гроб стоит»: невозможно сказать общее и в то же время конкретнее; короче — и в то же время сильнее.

Державин не был другом Мещерского, был просто знакомым. Ходил слух, будто во времена пугачевщины он вешал людей «более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости». Это не верно. Но верно то, что с самой читалагайской поры размышления о смерти стали для него притягательны. Он охотно им предавался — среди счастия и довольства в особенности. Есть некое поэтическое сладострастие в том, как здоровый, благополучный, окруженный друзьями, любимый и любящий Державин созерцает смерть Мещерского и по поводу нее философствует. Четыре года он таил и вынашивал эти мрачные образы, выжидая лишь последнего толчка, подходящего случая, чтобы придать им форму и с творческим наслаждением выбросить их из себя. Таким случаем была смерть Мещерского. Резкие жизненные контрасты прельщали Державина так же, как резкие столкновения слов и образов. Эти стихи о скоротечности жизни и ложности счастия писал он как раз в те дни, когда твердо верил в свое счастливое будущее. Это верование прорвалось наружу: недаром в одной из заключительных строф он сказал о самом себе: «Зовет, я слышу, славы шум». То было первое из числа пророчеств, которых впоследствии он находил много в своих стихах и которыми столь гордился.

* * *

Тогда все поэты служили — звание писателя не существовало. Общественное значение литературы уже признавалось, но на занятие литературой смотрели, как на частное дело, а не общественное. Что касается Державина, то в его понятиях поэзия и служба были связаны особенным образом.

Он, конечно, не думал, что чин или орден могут прибавить достоинства его стихам; равным образом не смотрел он и на стихи, как на способ для добывания орденов и чинов; это пошлое представление пора забыть. Дело обстояло иначе, гораздо серьезнее и достойнее. К началу восьмидесятых годов, когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига.

Поездка по Волге, предпринятая Екатериной в 1767 году, подтвердила ее неутешительные мысли о внутреннем положении России. Случаю было угодно, чтобы эти печальные наблюдения были сделаны в тех самых местах, где прошло горькое детство Державина и невеселая его юность. Угнетение, произвол, бесправье, бессудье — вот что увидела государыня во глубине страны. То, что ей было показано лишь издали и отчасти, Державину было давно ведомо безо всяких прикрас по личному опыту и по опыту его близких.

[1] Который есть не кто иной, как французский ученый Мопертюи. Эта забавная ошибка произошла от необразованности и торопливости Державина. Французское Maupertuis он прочел на латинский лад да еще по рассеянности переставил буквы: получился Mauterpius, превратившийся по-русски в Мовтерпия. Этому легендарному лицу суждено было на многие годы стать спутником самых мрачных раздумий Державина.

Врожденная бедность, несмотря на дворянское звание, рано приблизила его к простому народу, и память об этой близости никогда в нем не угасала: жила в воспоминаниях об избитом отце, о челобитчице-матери, плачущей у приказных дверей, о собственном сиротстве, о грубостях и обидах солдатчины; жила эта память и в складе его ума, отчасти мужицкого, и в чертах житейского обихода, и в его отношении к собственным крепостным, и, наконец — в самом языке его.

На усмирение пугачевщины Державин отправился по карьерным соображениям; он и усмирял ее со всеусердием — по тем же соображениям, и по долгу присяги, и потому, что Емельян Пугачев был в его глазах жестоким и гнусным обманщиком. Но вот что весьма замечательно: не в личности Пугачева, конечно, но в пугачевщине, квк движении народном, он очень скоро почуял если не правду, то все же логику. Понял, что возмущение имеет свои причины и оправдания. След этих раздумий — в его письме к казанскому губернатору Бранту от 4 июня 1774 года: «Доложить вашему высокопреасходительству имею: надлежит искоренить взятки. Говорить о истреблении заразы сей потому я за должное себе поставляю, что разлияние оной наиболее всего, по моим мыслям, пособствует злу, терзающему наше отечество». Но это лишь след, лишь то, что Державин по своему положению мог сказать к слову и в официальной бумаге. Мысли его шли дальше. Это видно из того отношения, которое в пору пугачевщины стало у него складываться к самодержавной власти и к личности самодержца.

Уже в ранних (очень слабых) стихах Державина, посвященных Екатерине, находим многословные рассуждения о ее заслугах и общественных добродетелях. Однако ж автор нигде не говорит о том, что эти заслуги суть основание и оправдание ее власти. Державину с малых лет была внушена идея о святости самодержавия, о его происхождении свыше. В глазах молодого Державина помазанник прав и велик уже в силу своего помазания. (Разумеется, очень хорошо, если при том имеются за ним и заслуги.)

После пугачевщины у него от этих воззрений ничего не осталось. Насколько повлияла тут пугачевщина, решить невозможно, у нас нет прямых данных. Но в самом факте сомнения быть не может: уже в пору писания Читалагайских од Державин так или иначе расстался с идеей о божественном происхождении царской власти. Помазание и титул перестали для него значить что бы то ни было. Отныне в его глазах «пышность одежд» равняет царей не только с богами, но и с куклами. Императорская порфира не мешает ее носителю падать и еще ниже:

Калигула, быть мнимый богом,
Не равен ли с своим скотом?

Два года спустя, в «Эпистоле И. И. Шувалову» мысль эта повторена:

О! жалкий полубог, кто тщетно носит сан:
Пред троном он ничто, на троне истукан.

Отсюда вовсе не следует, что Державин не признает царской власти. Он только ищет для нее иной источник и иную опору. Вот отрицательная формула, из которой, однако ж, легко вывести и положительную:

Пускай в подсолнечную трубит
Тиран своим богатством страх;
Когда народ кого не любит,
Полки его и деньги — прах.

Это неуклюже, но ясно. Это значит, во-первых, что властитель, не опирающийся на народную любовь, в сущности, безвластен. Во-вторых, что он и не царь, а тиран, захватчик власти, которого можно согнать с престола, не совершая никакого святотатства. Следовательно, царя от тирана отличает не помазание, а любовь народа. Только эта любовь и есть истинное помазание. Таким образом, не только опорой, но и самым источником царской власти становится народ. Эта мысль не вяжется с укоренившимися представлениями о Державине. Однако ж она не случайно, не в «поэтическом жару» высказана; Державин постоянно к ней возвращается, она отныне лежит в основе его воззрений, и без нее понять Державина невозможно.

Под словом *народ* он склонен был разуметь всю нацию, и это ему удавалось, пока шла речь о делах военных или дипломатических, пока *русский* народ противополагался какому-нибудь иному. Но лишь только взор Державина обращался во глубину страны, непосредственное чувство тотчас побуждало его звать народом лишь обездоленную, бесправную часть нации. Дело, однако, шло вовсе не об одном крестьянстве: бедный дворянин, вотще ищущий суда и управы на богатого соседа, или мелкий чиновник, прижимаемый крупным, в глазах Державина были такими же представителями народа, как и крестьянин, страждущий от произвола помещичьего. Словом, так выходило, что кто страждет, тот и принадлежит к народу; царь же народный — защита и покров всего слабого и угнетаемого от всего сильного и угнетающего.

На Екатерину Державин взирал с благоговением. Он ожидал, что именно ей дано стать такой народной монархиней, «радостию сердец», способною облегчить народную долю, защитить слабых, укротить сильных, утереть слезы вдов и сирот. Эти надежды казались ему тем более основательными, что первые уроки вольнодумства были даны ему самой жизнью, а вторые, более систематические, он извлек из екатерининского Наказа, этого собрания самых передовых, самых гуманных и либеральных идей, дотоле высказанных в России (да и не только в России: недаром распространение Наказа было воспрещено во Франции). Екатерина была его наставницей: уже в Читалагайских одах он делает прямые заимствования из Наказа. Больше того: Наказ и созыв Комиссии по составлению проекта нового уложения одушевили Державина главною мыслью, которой суждено было стать основанием его поэтического и служебного пафоса.

После того, как существующее законодательство было с высоты трона объявлено несовершенным и не ограждающим народа от произвола и кривотолка; после того, как отсутствие законности было признано первым злом русской жизни; после того, как законопослушание было названо основной добродетелью не только подданного, но и монарха,— у Державина, можно сказать, открылись глаза. Простое слово *Закон* в русском тогдашнем воздухе прозвучало, как откровение. Для Державина оно сделалось источником самых высоких и чистых чувств, предметом сердечного умиления. *Закон* стал как бы новой его религией, в его поэзии слово *Закон*, как Бог, стало окружено любовью и страхом.

Наказ, между тем, давно лежал под сукном, а Комиссия была распущена. Это не смущало Державина. Екатерина в его глазах была навсегда озарена сиянием Наказа. Упримый и прямолинейный, он в воображении своем наделял и ее этими двумя свойствами, которых в ней как раз не было. Тех сложных политических и личных обстоятельств, в которых протекала жизнь государыни и которые постепенно уводили ее от возвышенных предначертаний Наказа, он отчасти не знал, отчасти не хотел знать. Весьма рационалистически лишив монархию религиозного ореола, он в целости перенес этот ореол на голову данной монархини. Его поэтический гиперболизм превращался тут в политический. Екатерина в его глазах сделалась обладательницей гражданских, то есть вполне человеческих добродетелей, но в полноте и степени уже не человеческой, титанической. Он допускал, что на ее пути могут встретиться и препятствия, и несчастия, но, с безжалостной требовательностью обожателя, готов был им радоваться:

Услышьте все земны владыки
И все державныя главы!
Еще совсем вы не велики,
Коль бед ие претерпели вы!
Надлéжит зло претерть пятой,
Против перунов ополчиться,
Самих небес не устрашиться
Со добродетельной душой.

Богиню он хотел окружить жрецами, ее достойными. Он видел пороки и происки вельмож. Ему представлялся выбор: бичевать порок или поощрять добродетель. Он не хотел вовсе отказаться от первого, но избрал преимущественно второе: вот почему он не стал сатириком. Изображение добра представлялось ему более плодотворным, нежели обличение зла. Он старался создать образец вельможи добродетельного, великодушного, бескорыстного, пекущегося о народном благе:

Я князь, коль мой сияет дух,
Владелец, коль страстьми владею,
Болярин, коль за всех болею...

«Друг царский и народный» — вот, по его определению, истинный вельможа. Такими виделись ему Бибиков, И. И. Шувалов. Таким он желал стать и сам. Тут, именно в этой точке, поэтическая деятельность соприкасалась у него со служебной. По его мнению, слова поэта должны быть им же претворены в дела. Обожатель Екатерины мечтал быть ее верным сподвижником, поклонник *Закона* хотел стать его неколебимым блюстителем.

* * *

В 1779 году здание Сената перестраивалось. Державин, по должности экзекутора, наблюдал за работами. Между прочим, зала общего собрания была украшена новыми барельефами, изваянными Рашетом. По окончании работ Вяземский вздумал осмотреть залу. На одном из барельефов представлен был храм Правосудия; императрица, в образе Российской Минервы, вводила в него Истину, Человеколюбие и Совесть. Поглядев на обнаженную фигуру Истины, Вяземский сделал кислое лицо и обратился к Державину:

— Вели ее, братец, несколько прикрыть.

Может быть, он не намеревался придать этим словам аллегорический смысл, но для Державина они прозвучали именно так. Чем ближе знакомился он с делами, тем видел яснее, что «стали отчасу более прикрывать правду в правительстве». Кое-какие проделки генерал-прокурора он уже приметил. В следующем году между ним и начальником впервые пробежала черная кошка.

Только что были учреждены экспедиции о государственных доходах и расходах. Они находились в ведении генерал-прокурора. Державин был назначен одним из советников экспедиции доходов, и это поставило его в непосредственную служебную близость к Вяземскому. Для начала надобно было составить «начертание» о круге действий и об обязанностях экспедиций. Случилось так, что те, кому надлежало бы этим заняться (в том числе Храповицкий),— уклонились, и Вязем-

ский поручил дело Державину — с неохотою, ибо почитал его не довольно опытным. Последнее было справедливо. Сам Державин не без отчаяния принялся за работу, постановив, однако же, лицом в грязь не ударить. Он заперся у себя и не велел никого принимать. «Поелику ему была дика и непонятна почти материя, то марал, переменял и наконец через две недели составил кое-как целую книгу без всякой посторонней помочи». На общем собрании экспедиции, когда читался державинский труд, Вяземский всячески придирался, но все же вынужден был представить «начертание» государыне; оно было конфирмовано и вошло в Полное собрание Законов (XXI, 15. 120).

Конечно, Державин был весьма горд: без знаний, без подготовки удалось ему выполнить поручение важное и ответственное. Он ждал награды — и не получил. Даже так выходило, что его труд едва ли не пытались приписать Храповицкому. Обиженный Державин поведал горе приятелю своему Львову; Львов был, что называется, правой рукой Безбородки, тогда состоявшего одним из секретарей государыни. Державин через голову Вяземского был произведен в статские советники. Понятно, какую досаду вызвало это в генерал-прокуроре, тем более, что Безбородко был в числе его недругов. Он все же старался скрыть раздражение: приязнь между семействами Вяземских и Державиных еще поддерживались, княгиня очень любила Екатерину Яковлевну.

Настал, однако же, день, имевший решительное влияние не только на отношения Державина с генерал-прокурором, но и на всю его жизнь.

То было в конце мая, в 1783 году. Державин обедал у Вяземских. Он был не в духе: с часу на час должно было решиться одно дело, исход которого тревожил его уже несколько месяцев. Вдруг после обеда, часу в девятом, вызывают его в переднюю; там стоит почтальон с пакетом; на пакете странная надпись: «Из Оренбурга от Киргизской Царевны мурзе Державину»,— а внутри осыпанная бриллиантами золотая табакерка с пятью стами червонцев.

Державин тотчас догадался, что это и есть решение его участи. «Но не мог и не должен был принять это тайно, не объявив начальнику, чтобы не подать подозрения во взятках: а для того, подошед к нему, показал».

— Что за подарки от киргизцев? — гневно проворчал было генерал-прокурор. Но осмотрев табакерку, он тоже все понял: посылка была от императрицы.

— Хорошо, братец, вижу и поздравляю,— сказал Вяземский.— Возьми, коли жалуют.

При этом постарался он улыбнуться, но улыбка вышла язвительная...

«Оду к премудрой киргизкайсацкой царевне Фелице» Державин написал еще в прошлом году, но ее вольный тон и насмешливые намеки на сильнейших вельмож — даже на Потемкина — показались опасны самому автору. Львов и Капнист были того же мнения. Решено было оду прятать, но пронырливый Козодавлев, живя с Державиным в одном доме, однажды увидел ее на столе, прочел несколько строк и упросил показать полностью. Потом, под страшными клятвами, взял списать для некоей госпожи Пушкиной, любительницы поэзии, а через несколько дней ода уже очутилась у И. И. Шувалова,— разумеется, по секрету. Шувалов в застольной беседе прочел ее нескольким господам — опять-таки по секрету. Они по секрету пересказали ее Потемкину — Потемкин ее затребовал от Шувалова. Тот в страхе вызвал Державина и спросил, как быть: посылать целиком или выбросить строфы, относящиеся к Потемкину? Постановили послать целиком, чтобы не возбуждать лишних подозрений. Тут только узнал Державин, какую огласку получили его стихи. Он поехал домой «с крайним прискорбием». Все это могло кончиться для него плохо.

Несколько месяцев ждал он последствий и томился неизвестностию. Меж тем к весне 1783 года княгиня Дашкова, будучи директором Академии наук, задумала издавать журнал. Козодавлев в ту пору при ней состоял советником. Опять ничего не сказав Державину, он принес Дашковой «Фелицу» — и 20 мая, в субботу, ода внезапно появилась в первой книжке «Собеседника любителей российского слова». Теперь она должна была дойти до императрицы; Державин жил в страшном волнении, не зная, чего ожидать. В день обеда у Вяземских приход почтальона разрешил все,— страхи сменились великой радостью.

К тому, что писали о ней в стихах и в прозе, Екатерина была любопытна. Прежние похвалы Державина, в сущности, более громкие и глубокие, нежели те, которые заключались в «Фелице», она, вероятно, тоже читала. Но они даже не запомнились — потонули в хоре привычной лести. А над «Фелицей» она несколько раз принималась плакать. «Как дура, плачу»,— сказала Дашковой. Почему же она была так растрогана?

Она не слишком любила стихи, не много в них понимала и самого вещества поэзии не чувствовала. Вопросы чистой поэзии не занимали ее. При всей любви к литературным упражнениям, она не умела составить ни одного стиха и сама в том признавалась; даже легонькие куплеты для своих комедий заказывала другим. Чем выше парило стихотворение, чем было высокопарнее (вернем этому слову его прекрасный первоначальный смысл), тем слабее оно доходило до ее слуха, тем менее было способно затронуть в ней чувства.

«Фелица» должна была прийтись ей по вкусу и пониманию — именно теми особыми свойствами, которые снижали это произведение как собственно оду: своей сатирической стороной, своим легким, шутливым тоном, своим бытовым, приближенным к обыденности материалом, наконец — самим слогом, который Державин так метко назвал «забавным», с его «низким» словарем и обильными заимствованиями из повседневной речи. Эти же качества вызвали бурный успех «Фелицы» и у большинства тогдашних читателей (в том числе у многих стихотворцев), и у потомства. Не должно, однако, смотреть на «Фелицу», как на преобразование оды. На самом деле то было не преобразование, а разрушение. Конечно, значение «Фелицы» в истории русской литературы огромно: с нее (или почти с нее) пошел русский реалистический жанр, этим она способствовала даже развитию русского романа; но ода, как таковая, в ней не преобразована, потому что она сама переставала уже быть одой: до такой степени в ней нарушена одическая традиция русско-французского классицизма.

Но вернемся к Екатерине. Конечно, не литературными свойствами «Фелицы» были вызваны ее слезы; эти литературные свойства только открыли императрице доступ к пониманию оды, сняли печать со слуха.

Чувствительность не была ей чужда; знавала она и сильные увлечения; случалось, что приступы горя или гнева овладевали ею; но при всем том здравый смысл покидал ее разве лишь на мгновения. В частности, она очень трезво и просто смотрела на собственную особу. Дальше всего она была от того, чтобы считать себя каким-нибудь сверхъестественным существом. Когда ее изображали богиней, она принимала это, как должное, но не узнавала себя в этих изображениях. Шлем Минервы был ей велик, одежды Фелицы пришлись как раз впору. Державин думал, что внешняя шутливость тут искупается внутренним благоговением. В глазах же Екатерины это было как раз такое изображение, которому она могла, наконец, поверить. То, что казалось Державину почти дерзостью с его стороны, нечаянно обернулось лестью, проникшей Екатерине в самое сердце. В «Фелице» она увидала себя прекрасной, добродетельной, мудрой, но и прекрасной, и мудрой, и добродетельной в пределах, человеку доступных. А сколько внимания было проявлено автором не только к ее государственным трудам, но и просто к привычкам, обычаям, склонностим, сколько подмечено верных и простых черт, даже обиходных мелочей и пристрастий! Словом, при всей идеальности, портрет и на самом деле был очень схож. Екатерина считала, что безымянный автор разгадал ее всю — от больших добродетелей до маленьких слабостей. «Кто бы меня так хорошо знал?» — в слезах спрашивала она у Дашковой.

Даже такая, в сущности, мелочь, как выгодное сравнение с окружающими вельможами, доставила ей удовольствие. Это сравнение было вполне в ее духе: она не хотела быть выше сравнений. Она довольно суетливо принялась рассылать оттиски «Фелицы» Потемкину, Панину, Орлову — всем, кто задет был автором: императрица и самодержица всероссийская любила разыгрывать с приближенными забавные witz'ы в духе доброго, старого ангальт-цербстского захолустья. Табакерка с червонцами, посланная «мурзе Державину» от имени киргизской царевны, конечно, принадлежала сюда же. Но она разом ставила Державина очень высоко, как бы вводила его в круг людей, с которыми императрица шутит.

В тот майский вечер, с табакеркой Фелицы в кармане, Державин уходил от Вяземского новою знаменитостью. Последующие дни принесли ему такую шумную литературную славу, какой Россия до тех пор не видывала. В поэтическом отношении эта слава была бы справедливее, если бы последовала тотчас за стихами на смерть Мещерского. Но были общественные причины ей прийти именно теперь. Дух «Фелицы» стал духом «Собеседника». Журнал сделался прибежищем смелой общественной критики. Похвалы Екатерине в нем сочетались с острой полемикой по поводу таких предметов, о каких прежде молчали. Екатерина собственными писаниями тому способствовала, пока не пришлось ей полемику прекратить, ибо языки развязались слишком.

* * *

Екатерина любила давать прозвища; Вяземского она звала Брюзгой. Был он человек желчный. У него не было оснований *завидовать* Державину, но его раздражало, зачем отличают Державина не через его посредство. Когда же отличие выпало за стихи, генерал-прокурор вышел из себя. После «Фелицы» он уже «равнодушно с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог: привязываясь во всяком случае к нему, не токмо насмехался, но и почти ругал, проповедуя, что стихотворцы неспособны ни к какому делу». Следует, впрочем, и пожалеть его: судьба была немилосердна к этому человеку, имевшему мужество ненавидеть поэзию открыто: чуть не все его подчиненные были стихотворцами.

Как ни упоен был Державин милостию

императрицы, он по мере сил сдерживался, пока дело не шло дальше насмешек и происков, направленных лично против него. С Вяземским он то ссорился, то мирился (мирили по обыкновению жены). Коса все же нашла на камень, когда задеты были его гражданские чувства, его преданность делу и долгу.

В 1783 году была закончена последняя так называемая ревизия, которая, ввиду увеличения оброка с казенных и частновладельческих крестьян, должна была дать государству заметное повышение доходов. Полученные от губернаторов ведомости об ожидаемых поступлениях предстояло принять во внимание при составлении доходной табели на предстоящий год. Вдруг Вяземский, ссылаясь на неясность и неполноту этих новых ведомостей, потребовал, чтобы табель составили на основании старых. На деле это должно было привести к тому, что доходы будут показаны значительно ниже тех, которые поступят в действительности. Против такой утайки восстал Державин: он не мог допустить, чтобы государыня была обманута.

Замечательно, что поведение генерал-прокурора он себе объяснял довольно еще невинно. Предполагал он, во-первых, что Вяземский, воюя за власть с губернаторами, хочет под них подкопаться, изображая их нерадивость; во-вторых же — что Вяземский, зная расточительность Екатерины, скрывает от нее часть доходов, чтобы в подходящую минуту, «будто особым своим изобретением и радением», найти для нее лишние деньги и тем выслужиться. Державин не знал, что сокрытие доходов не Вяземским было придумано и практиковалось еще при Елисавете Петровне генерал-прокурором Глебовым ради обыкновенного воровства. Едва вступив на престол, Екатерина проверила счета и открыла целых двенадцать миллионов утайки. Вяземский был не доблестней своего предшественника.

Как бы то ни было, после тяжелых сцен с генерал-прокурором, Державин забрал ведомости домой, сказался больным и через две недели представил собранию экспедиции новую, свою табель. Сколько ни придирались к ней, были вынуждены признать, что доходу может быть показано по крайней мере на восемь миллионов более, чем в прошлом году. «Нельзя изобразить, какая фурия представилась на лице начальника».

Победа все-таки обошлась Державину дорого. Дальнейшая служба при Вяземском стала невозможна, он подал в отставку, и определением Сената был уволен в чине действительного статского советника. Конфирмуя доклад об его увольнении, императрица сказала Безбородке: «Скажите ему, что я его имею на замечании. Пусть теперь отдохнет, а как надобно будет, то я его позову». Всю историю с сокрытием доходов она знала в точности. О преследованиях, которым Державин подвергался со стороны Вяземского, Фонвизин прозрачно намекал на страницах «Собеседника», и смысл этих намеков, конечно, известен был государыне. Но Вяземский не услыхал от нее ни одного упрека.

Если б Державин надо всем этим задумался, он, может быть, уже теперь понял бы то, что ему пришлось понять много позже.

* * *

Был слух, что казанский губернатор уходит в отставку. Державин стал метить на его место. Предстояли об этом хлопоты, но Державин решил наперед, что поедет в Казань при всяком исходе: либо губернатором, либо просто отдыхать и хозяйствовать года на два. Как раз в это время мать написала ему, что тяжело больна, не надеется выжить и просит приехать проститься с нею. (Шесть лет они не видались.)

В феврале 1784 г., покуда стоил санный путь, Державин отправил в Казань весь домашний скарб, но сам с женою задержался еще в Петербурге. Губернаторство в общем было обещано, однако дело нужно было подталкивать. И вот, посреди хлопот, стараний, подчас унижений и забеганий пред сильными сего мира, стало его тревожить беспокойство вовсе иного рода.

Года четыре тому назад, во время пасхальной заутрени в Зимнем дворце, посетило его вдохновение; приехав домой, он в горячности положил на бумагу первые строки оды:

> О Ты, пространством бесконечный,
> Живый в движеньи вещества,
> Теченьем времени предвечный,
> Без лиц, в трех лицах Божества!
> Дух, всюду сущий и единый...

Но порыв миновался, мышцы душевные ослабели. Отвлекаемый службой и светскими суетами, сколько ни принимался он — продолжать не мог. Про себя постоянно, однако же, возвращался к начатой оде, в глубине памяти копил мысли и образы, то собственные, то извлеченные из чтений. За четыре года все это в нем, наконец, дозрело и стало проситься наружу. Теперь, на свободе, он опять взялся за перо, но все-таки суета житейская, городская мешала ему. Сердце хотело уединения, он решил бежать. Вдруг объявил жене, что едет осматривать белорусские свои земли, в которых никогда не был, хоть владел ими семь лет. Стояла самая распутица, о дальней дороге нечего было думать. Жена удивилась, но он ей не дал опомниться. Доскакал до Нарвы, повозку и слуг бросил на постоялом дворе, снял

захудалый покойчик у старой немки и заперся в нем.

Он писал, пока сон не валил его на постель, а проснувшись, вновь брался за работу. Старуха носила ему пищу. Он работал в таком же диком уединении, в таком же неистовом напряжении телесных и душевных сил, в каких Челлини отливал некогда своего Персея. Так продолжалось несколько дней.

То была вновь *высокая* ода. Державин сам с замиранием сердца ощущал высоту своего парения. Образы и слова он вновь громоздил, точно скалы, и, сталкивая звуки, сам упивался звуком их столкновений.

Он написал немного — около ста строк всего. Из них не все сделаны из одинаково драгоценного материала, но все равновесны и одинаково наполнены. В этих стихах нетрудно узнать автора Читалагайских од. Но там все-таки был перед нами отчаянный подмастерье, работавший наугад, знавший замечательные удачи, но местами лишь портивший материал; теперь это полный мастер. Нетрудно узнать в нем и лаконического автора оды на смерть Мещерского. Но теперь его лаконизм перестал быть порывист и угловат. В «Боге» Державин привел в движение какие-то огромные массы; столь же огромна сила, на это затраченная, но ни единая частица ее не пропадает даром, и надсада, усилия мы нигде не видим. Таково на сей раз его господство над материалом, что с начала до конца все в оде движется стройно и плавно, несмотря на то, что в процессе работы он постепенно отходит от первоначального замысла. Вдохновение владеет им, но материалом владеет он.

Его первою целью было вообразить величество Божие. Взор его устремлен был к Богу. Но по мере того, как предмет ему открывался, его охватывало изумление перед собственною способностью к подобному постижению. Смотря на собственное отражение в оде, видел он отражение Бога в себе самом — и все более поражался:

> Ничто! — Но Ты во мне сияешь
> Величеством Твоих доброт,
> Во мне себя изображаешь,
> Как солнце в малой капле вод.
> Ничто! — Но жизнь я ощущаю,
> Несытым некаким летаю
> Всегда пареньем с высоты;
> Тебя душа моя быть чает,
> Вникает, мыслит, разсуждает:
> Я есмь — конечно есь и Ты!
>
> Ты есь! Природы чин вещает,
> Гласит мое мне сердце то,
> Меня мой разум уверяет:
> Ты есь — и я уж не ничто!
> Частица целой я вселенной,
> Поставлен, мнится мне, в почтенной
> Средине естества я той,
> Где кончил тварей Ты телесных,
> Где начал Ты духов небесных
> И цепь существ связал всех мной.

С этого стиха ода Богу стала одой божественному сыновству человека:

> Я связь миров повсюду сущих,
> Я крайня степень вещества,
> Я средоточие живущих,
> Черта начальна Божества.
> Я телом в прахе истлеваю,
> Умом громам повелеваю,
> Я царь — я раб, я червь — я Бог!
> Но будучи я столь чудесен,
> Отколе происшел? — безвестен,
> А сам собой я быть не мог.
>
> Твое созданье я, Создатель!
> Твоей премудрости я тварь,
> Источник жизни, благ податель,
> Душа души моей и царь!
> Твоей то правде нужно было,
> Чтоб смертну бездну преходило
> Мое безсмертно бытие,
> Чтоб дух мой в смертность облачился
> И чтоб чрез смерть я возвратился,
> Отец! в безсмертие твое.

Тут охватило его такое упоение величайшею гордостью и сладчайшим смирением, открытыми человеку, такое невыразимое счастие пребывании в Боге, что далее уж писать он не мог. Было то уже ночью, незадолго до рассвета. Силы его покинули, он уснул и увидел во сне, что блещет свет в глазах его. Он проснулся, и в самом деле воображение так было разгорячено, что казалось ему — вокруг стен бегает свет. И он заплакал — от благодарности и любви к Богу. Он зажег масляную лампу и написал последнюю строфу, окончив тем, что в самом деле проливал благодарные слезы за те понятия, которые были ему даны:

> Неизъясвимый, Непостижный!
> Я знаю, что души моей
> Воображения безсильны
> И тени начертать Твоей;
> Но если славословить должно,
> То слабым смертвым невозможно
> Тебя ничем иным почтить,
> Как им к Тебе лишь возвышаться,
> В безмерной разности теряться
> И благодарны слезы лить.

Когда он кончил, был день.

V

Хлопоты о губернаторстве затянулись до самого лета и кончились не совсем так, как мечтал Державин: его назначили не в Казанскую, а в Олонецкую губернию. Казанская была бы ему не в пример удобнее: он знал местные нужды и обстоятельства, имел знакомства в городе и в губернии, а главное — под боком были его деревни, которые требовали хозяйского глаза. Но такова была воля императрицы.

Олонецкая губерния принадлежала к числу тех, которые только что учрежда-

лись. Ее открытие предстояло лишь в декабре, указ же о назначении Державина состоялся в мае. Поэтому Державин взял отпуск и поехал с женою в Казань. Там его ожидало горе: Фекла Андреевна скончалась за три дня до его приезда. Впоследствии он всю жизнь каялся, что так долго откладывал эту поездку. Но что делать? Оплакав мать и побывав в деревнях, где им так и не суждено было похозяйничать, Державины возвратились в столицу. Весь домашний скарб, перед тем понапрасну отправленный в Казань, теперь они привезли обратно.

Приготовления к переезду в Олонецкую губернию отняли много времени и труда. Надо было расплачиваться с долгами и многим обзаводиться. К тому же Державин, погорячившись, взвалил на себя расход вовсе лишний и непосильный: видя, что на оборудование губернаторского дома и будущих присутственных мест казна дает мало денег, вздумал он чуть не все оборудовать на свой счет и закупить груду мебели. Ради этого влез он в новые долги да еще заложил женины серьги; заветная табакерка, подарок Фелицы, тоже пошла к процентщику.

Наконец, все было улажено, вещи и мебель отправлены водою вперед, а в начале октября, откланявшись государыне у нее в кабинете, тронулся в путь и Державин. Он ехал целым обозом, везя с собою не только слуг, но и набранных в Петербурге чиновников, в том числе секретаря Грибовского. Узнав об его отъезде, Вяземский произнес пророчество, столь же странное по форме, сколь и по содержанию мрачное:

— Скорее черви полезут по моему носу,— сказал он,— нежели Державин долго просидит губернатором.

* * *

Губернаторство, хотя бы Олонецкое, имело в себе много привлекательного для Державина. По службе то было несомненное повышение; деятельность оно сулило живую, разнообразную; наконец — открывало доступ к тому, что Державин считал как бы своим призванием: к прямому насаждению законности там, где доныне о законности имели всего менее понятия. Работы предстояло много, но труд никогда его не отпугивал. По сравнению же с Петербургом, где жил он слишком пестро, где волнения сменялись волнениями,— глушь олонецкая рисовалась ему местом отдыха. Одиннадцать лет тому назад поскакал он на усмирение Пугачева — и с тех пор не видал ни единого дня покоя (да и раньше покоя было немного). Он мечтал о жизни патриархальной, отданной трудам служебным и поэтическим.

Что до глуши, расчет оказался верен. За восемьдесят лет до того, при впадении реки Лососинки в Онежское озеро был построен Петром Великим артиллерийский завод. Постепенно оброс он домишками; образовалось селение, у которого поначалу даже имени своего не было: так оно и звалось Петровским заводом. Только в 1777 году оно было объявлено уездным городом Петрозаводском, а теперь превращалось в губернский город новоучрежденной Олонецкой губернии. Населяли его купцы, мещане да разночинцы, а всего жителей обоего полу считалось три тысячи. Вокруг, на огромном пространстве, до самого Белого моря,— дремучие леса, да скалы, поросшие соснами, да непроходимые болота и тундры. Зимой здесь почти не бывает дня, летом — ночи. По тундрам текут прозрачные, светловодные реки; порою они образуют озера или кипучими водопадами свергаются со скал вниз. Реки обильны рыбою, а леса зверьем. Летом над тундрою тучами носится мошкара. Зато людей мало: на 136 000 квадратных верст — всего 206 000 жителей: лапландцев, карелов, русских (по большей части раскольников). Это выходит по полтора человека на квадратную версту. Селения редки, а уездных городов и всего четыре: Олонец, Вытегра, Каргополь да Повенец. Дорог большею частью нет никаких: по болотам и тундрам летом проезду нет вовсе; ездят только зимою, и то гусем.

Несколько зданий в Петрозаводске именовались каменными; на самом деле были они деревянные и лишь снаружи обложены кирпичом. Все они принадлежали казне. В одном из них Державин и поселился. То было одноэтажное, длинное, плоское, как пирог, строение с одиннадцатью окнами по фасаду; по бокам, несколько отступя в глубину, стояли два флигеля. Все это было обнесено палисадником и выходило на широкую, немощеную улицу, похожую на площадь. Перед домом стоял фонарь, окруженный заборчиком, и две коновязи. Больше никаких монументов в городе не было.

В другом подобном же здании жил генерал-губернатор. Нужно принять во внимание, что в ту пору губернии были соединяемы по две и по три в так называемые наместничества. Во главе наместничеств стояли наместники (или генерал-губернаторы), которым было подчинено соответствующее число правителей наместничества (иначе — губернаторов просто). В состав Олонецкого наместничества вошли две губернии: Олонецкая и Архангельская. Одновременно с назначением Державина в Олонецкую губернию, некий Ливен был назначен губернатором в Архангельскую, а генерал-губернатором над ними обоими поставлен Тимофей Иванович Тутолмин. Резиденцию свою он имел в Петрозаводске и к приезду Державина уже находился там.

Тутолмин был немногим старше Державина. Некогда он служил в военной службе, но лет девять тому назад перешел в штатскую, имея, впрочем, Георгиевский крест за лихую кавалерийскую атаку против турок. Он не лишен был способностей, но несчастие его характера составляли транжирство и фанфаронство почти безумные. Отсюда проистекали какие-то осложнения, заставившие его покинуть полк (был он сумским гусаром). Покровительство Румянцова привело его в Тверь, сперва вице-губернатором, а потом губернатором. Он что-то перетранжирил. Его перевели на место «не столь видное и дорогое, как Тверь» — в Екатеринославль. После пятилетнего пребывания в Екатеринославле он был назначен Олонецким наместником.

В северной глуши, средь забытого Богом и людьми, частию полудикого населения, привыкшего круглый год питаться рыбкою ряпушкой да зловонной соленой пальей, Тутолмин вообразил себя не только представителем императрицы, но как бы и вовсе императором. Он окружил себя почестями, едва ли не царскими. При выездах его сопровождали отряды сформированной им кавалерии. С собою привез он целую свиту из офицеров, которые ослепляли лапландцев великолепием своего убранства. По петрозаводским улицам засновали их щегольские кареты, хотя в четверть часа можно было пешком пересечь город из конца в конец. По вечерам генерал-губернаторский дом сиял светом и гремел музыкой — Тутолмин устраивал балы с придворною церемонией. В главной зале он воздвиг императорский трон; в табельные дни, когда приглашенные к обеду сидели за большими столами, Тутолмин обедал отдельно — у подножия трона (хорошо еще — не на троне).

Державину это все показалось просто *дурачеством*, но отношения между ним и наместником сложились хорошие; ежедневно они посещали друг друга с женами. Поскольку встречались они «не в должности», Державин добродушно сносил «почти несносную гордость и превозношение» Тутолмина.

Когда настала пора открывать губернию, Тутолмин растянул торжества на целую неделю. Были молебны, проповеди, колокольный звон, пушечная пальба; наместник устраивал пиршества и произносил речи с высоты трона. Состоялось даже народное угощение на площади. Наконец, 17 декабря были открыты новые учреждения и произведены выборы из дворян, городских жителей и крестьян в члены губернских и уездных присутственных мест. Олонецкая губерния стала быть. Но первый день губернии стал последним днем мира.

* * *

Пределы власти не были в точности разграничены между губернатором и наместником; их служебные отношения не были определены ясно. Ответственность по управлению губернией лежала на губернаторе, который в действиях своих отчитывался перед высшим правительством. Казалось бы, при таком построении власти существование наместника излишне. Меж тем, ему вверен был общий надзор за административными и выборными учреждениями. Оказывалось даже, что из этих учреждений одни как будто более подчинены наместнику, другие же — губернатору. В конце концов, и те, и другие зависели от каждого в отдельности и от обоих вместе.

В самый день открытия губернии Тутолмин прислал губернатору «новый канцелярский обряд», то есть постановление о производстве дел во всех учреждениях. «Обряд» настолько затрагивал соотношение учреждений и даже существо дел, что сам собой превращался в книгу законов, изданных наместником и императорской властью не утвержденных. Эту книгу Тутолмин составил еще в Екатеринославле. В ней попадались распоряжения дельные, но были и незаконные, и просто нелепые. Например, директору экономии предписывалось подавать годичные ведомости о насаждении лесов: для Екатеринославской губернии это было хорошо, но в Олонецкой леса и без того были непроходимы. Державин, впрочем, не стал особенно разбираться: большинство тутолминских распоряжений клонилось к превращению административной власти в судебную и законодательную. Это был именно тот произвол, который Державин почитал величайшей российской язвой и которого искоренение ставил себе целью. Часу не медля, он кинулся на дом к Тутолмину и, что называется, ткнул ему в нос екатерининский указ 1780 года о том, чтобы никто из генерал-губернаторов «не делал от себя собственно никаких установлений, но всю власть звания своего ограничивал в охранении Наших постановлений».

Тутолмин «затрясся и побледнел». Вероятно, таков же стоял перед ним и Державин. В ту минуту поняли они оба все отчаяние своего положения: Державин увидел, что несчастием его губернаторства будет борьба с самоуправством наместника, Тутолмину же открылось, что Державин отравит ему все упоение властью.

Война началась. Державин вначале одержал две победы. Первую — когда сам Вяземский принужден был элегически написать наместнику: «Чего, любезный друг, в законах нет, того исполнить неможно». Вторую — когда Тутолмин ездил

в Петербург жаловаться на Державина Вяземскому — и вернулся ни с чем, потому что Державин успел через Безбородку пожаловаться самой государыне. Каждый раз после боя наступала краткая передышка. Во время второй Тутолмин вздумал переменить тактику и оружие.

Чиновничье население Петрозаводска было, можно сказать, вполне классическое. Все эти советники, прокуроры, заседатели, экзекуторы, судьи были предками тех, коим суждено было через пятьдесят лет явиться в творениях Гоголя. Державин со своими гражданскими добродетелями был им непонятен, а то и смешон. Видя рознь между Тутолминым и Державиным, они очень скоро перестали его бояться; знали, что чем крепче досадят губернатору, тем вернее найдут защиту и покровительство у наместника. Они и совсем потеряли к нему уважение, будучи изо дня в день свидетелями придирок, привязок и оскорбительных выходок, которые разрешал себе Тутолмин «даже и при купечестве». Дошло до того, что некоторые присутственные места отложились от губернатора и признали над собой единственно власть наместника. Совершилось это не сразу и не открыто, а постепенно, путем мелочного противодействия по каждому отдельному поводу. Державин не мог каждый раз прибегать к защите Сената, в котором к тому же сидел Вяземский. Таким образом, учреждения, сохранившие верность Державину, были как бы парализованы. Борьба наместника с губернатором перешла в борьбу между учреждениями, и чиновный Петрозаводск оказался разделен на два лагеря. Впрочем, даже и в своем собственном Державин не чувствовал себя вполне господином, ибо Тутолмин, путем разных изворотов, присвоил себе исключительное право перемещения чиновников и представления их к наградам: понятно, что после этого сердца склонились к наместнику. Державину оставались верны лишь немногие. Он был окружен врагами, тем более опасными, что они действовали приказными каверзами, увертками, *ерихонскими крючками*, каких его прямой ум не мог да и не хотел предвидеть: гнушался ими.

Борьба с каждым днем становилась противнее и подлее. На Державина наседали. Каждое слово его, каждое приказание вызывали то грубое противодействие, то уклончивую волокиту, подвох, клевету, сплетню. Одна история не успевала кончиться — начиналась другая. Покуда Державин вел бесконечную прю с губернским прокурором Грейцем, одним из бесчисленных подлипал наместника,— уже секретарь Сафонов донес о каких-то неблагопристойных поступках советника губернского правления Соколова. Соколов обозлился и перестал ходить в должность. Державин велел его освидетельствовать, потому что он ссылался на болезнь. Штаб-лекарь Рач, по научном исследовании, определил у Соколова геморрой и зубную боль, но советник казенной палаты Шишков в собрании чуть не всего городского общества стал божиться, будто на соколовском теле найдены синяки от побоев, нанесенных Державиным. Сам Соколов, наконец, заявил, что никаким побоям не подвергался, но ему уж никто не верил.

По каждому поводу слухи, суды и пересуды, цепляясь один за другой, перевирались и размножались по городу. Нельзя уже было разобрать, что ложь, а что правда. Настало лето. В душные белые ночи Державин томился бессонницей и тяжелыми мыслями. Зато жизнь дневная казалась противным сном наяву. Воздух наполнился болотною мошкарой. Наконец, как водится в страшных снах, из толпы человечьих призраков высунулась косматая морда зверя. Медведь появился.

Он появился в верхнем земском суде: сидел в председательских креслах и лапу, обмакнутую в чернила, прикладывал к листу белой бумаги, которую подносил ему секретарь дли скрепы. То есть, быть может, лапу и не прикладывал, и секретаря тут не было. Может быть, даже и медведя не было, а был маленький медвежонок, но в городе говорили, будто большой медведь, и сам губернатор посадил его в кресла. Разобраться тут не легко, но вот что во всяком случае достоверно.

10 мая, на Фоминой неделе, заседатель верховного земского суда, бывший артиллерии поручик Молчин поутру шел в должность. Присутствия в тот день не было, а председатель суда Тутолмин (двоюродный брат наместника) находился в отпуску. Молчин поэтому шел не спеша. Поравнявшись с губернаторским домом, увидел он (в палисаднике, вероятно) знакомого медвежонка, который принадлежал асессору Аверьянову, жившему у губернатора во флигеле. Зверь был ручной, узнал Молчина и пошел аа ним. Поручику это показалось забавно. Придя в суд, объявил он чиновникам о прибытии нового члена, *Михайлы Ивановича Медведева,*— и впустил медвежонка в комнату. Шутка успеха не имела. Гости прогнали палкою.

Тем бы делу и кончиться. Но семейство Тутолминых вернулось из отпуска, и молва тотчас известила их о событии. Уверяли, что по приказанию Державина медведь был посажен на председательское место и прикладывал лапу свою к бумагам. Младший Тутолмин, «худо грамоте знавший», усмотрел в этом намек, пасквиль и персональное себе оскорбление. Заварилось дело, полетели бумаги от наместника к губернатору и обратно...

8 июля Державин, вконец измученный, писал Безбородке: «От всех нелепых привязок у меня голова вскружилась. Тимофей Иванович дневными своими предложениями в наместническое правление произвел не токмо ко мне от всех отвращение, но можно сказать благопристойный бунт... Только и знаю, что делаю отражения, не выходя из пристойности. Но сколько-нибудь в отдохновение еду на будущей неделе осматривать губернию и елико можно далее в лопские погосты. Изведите из темницы душу мою!»

* * *

Он выехал 19 июля в сопровождении секретаря Грибовского и экзекутора Николая Феодоровича Эмина. (Это был молодой человек не без способностей, склонный к поэтическим упражнениям, но чрезвычайно обидчивый и непрестанно занятый обереганием своего достоинства.)

План путешествии был намечен лишь в общих чертах. Предполагалось посетить берега Онежского озера и местности, лежащие от него к востоку, в направлении Пудожа, Каргополя и Вытегры. Тронулись в путь водою, причаливая к пустынным рыбачьим островам или подымаясь по речкам, которыми изобилуют северные, глубоко изрезанные берега озера. Местами из лодок пересаживались на коней и ехали верхами. Так посетили Кончезерские заводы. Потом, на третий день путешествия, пробравшись к деревне Вороновой, стали от нее подыматься вверх по течению Суны. Река мелка и порожиста. Ехали в маленьких лодочках, среди скалистых, изменчивых берегов. Проплыв версты три, увидели, что река покрывается пеной. Лес в этом месте подходит к самой воде, и под зыбким сводом нависших над нею сосен Суна течет не спеша, вся белая. Чем дальше плыли, тем обильнее становилась пена; окаймляя берег, она целыми шапками оседала на его камнях. По этой млечной реке плыли версты две, потом услышали вдалеке гул и грохот, а справа, над берегом, увидели как бы дым. По мере приближения он сгущался, а шум становился громче. Проплыли еще с версту и там, где река круто сворачивала направо, причалили. Выйдя на берег, поднялись в гору, пересекли небольшую луку и увидели водопад.

Зажатый в ущелье, меж черных отвесных скал, *Кивач* тремя хаотическими уступами падает на четвертый, откуда всем изобилием своих вод низвергается еще раз с восьмисаженной высоты. От удара вода разбивается в брызги, в пену и столпами стеклянной пыли бьет ввысь. Солнечные лучи играют в ней радугой. Гигантские сосны, растущие возле берега, до самых вершин ею увлажнены. Эмин важно записал в путевом журнале: «Чернота гор и седина бьющей с шумом и пенящейся воды наводят некий приятный ужас»... Державин велел на вершине срубить сосну и бросить ее в водопад. Через несколько минут выплыли из жерла одни обломки и щепы. Державин ушел от Кивача потрясенный. Снова сели в лодки, тем же путем пустились обратно, и водопад еще долго провожал их стихающим ревом; потом только белизною пены; потом, замедляя бег, исчезла и пена. По тихой, прозрачной реке выплыли в светлый простор Онеги.

В душе Державина петрозаводские дрязги уже уступали место иным, более возвышенным впечатлениям, но козни Тутолмина преследовали его по пятам. Когда, осмотрев славные мраморные ломки на реке Тивдии, путники переплыли Онежское озеро и прибыли в Пудож, их там ожидало приказание наместника ехать на крайний север губернии, чтобы открыть город Кемь. В летние месяцы проникнуть туда сухим путем невозможно: окружающие болота вовсе непроходимы. Надобно забирать восточнее, на Сумский острог, и оттуда плыть Белым морем. Но в июле и в августе, когда уже начинается сильный ветер, никто при тогдашнем состоинии судоходства на такое путешествие не отваживался. Тутолмин рассчитывал, что Державин откажется от поездки, и его можно будет лишний раз обвинить в неповиновении.

Но Державин поехал. По Онежскому озеру и его берегам добрались до самого Повенца. Дорогою посетили древний монастырь на острове Полье, побывали во многих скитнях раскольников-беспоповцев, видели замечательные свидетельства разврата, обмана и беззакония, так же, как прямой веры и великого подвижничества. Тут, между прочим, Державин издал секретное распоряжение «о недопущении раскольников сжигать самих себи, как часто то они из бесповерия чинили».

Отдохнув в Повенце, двинулись дальше к северу, то в маленьких челноках, то верхами. Пробирались лесными чащами, где стоял грибной дух и бродили медведи, олени, лоси. Пересекали болота, поросшие вереском, клюквой, морошкою. Перевалив гору Мосельгу, стали спускаться к Белому морю. Переплыли Выг-озеро, на котором дважды настигла их буря, и, наконец, прибыли в Сумы.

19 августа, на шестивесельных лодках, управляемых лопарями, пустились по морю. От Сум до Кеми 95 верст. Плыли, держась берегов, как делали древние мореплаватели. В Кеми, по уверениям Тутолмина, были уже заготовлены присутственные места и канцелярские служители. Державин ничего этого не нашел. Насилу-то удалось отыскать священника: его привезли с какого-то острова, где он косил сено. Обошли селение, окропили его святой водой и послали в Сенат и Си-

нод донесения об открытии города Кеми.

Соловецкие острова лежат против Кеми в 60 верстах. Державин задумал их посетить, но попал в полосу бури и едва не погиб. Эмин и Грибовский уже лежали без чувств на дне лодки. Гребцы выбились из сил и пали духом. Наконец, лодку чудом выбросило на голую скалу посреди моря. Тут путники провели ночь и утром вернулись обратно, не побывавши на Соловках.

От Кеми началось возвращение в Петрозаводск. Описали большую дугу на Каргополь и Вытегру, проезжали деревни и села, где иконы и женские одеяния унизаны речным жемчугом, где справляются еще древние языческие обряды, где поются былины про Микулу Селяниновича. 13 сентября Державин вернулся домой, ознакомившись с краем и освежив душу.

* * *

В Петрозаводске все было по-прежнему. Тутолмин сумасбродил, город утопал в дрязгах. Дело о медведе оказалось доведено до Сената, в общем собрании которого Вяземский кричал не своим голосом:

— Вот, милостивцы, как действует наш умница стихотворец: он делает медведей председателями!

Целый месяц Державин писал в Петербург объяснения и рапорты, оспаривая наместника и умоляя прекратить дело, которое «может только быть поводом к смеху целой империи». Сенат, несмотря на Вяземского, положил дело под сукно. Тутолмин между тем не сдавался и слал в Петербург донос за доносом. Они доводили Державина до отчаяния, которого он не умел скрывать. Тутолминская партия (а к ней принадлежал почти весь город) чувствовала, что одолевает, что Державин вот-вот погубит себя какой-нибудь выходкой. Вдруг обнаружилась в нем непонятная перемена: он стал спокоен и словно чему-то легонечко улыбался.

Улыбаться, однако же, было как будто нечему. Как раз в конце октября он узнал, что в приказе общественного призрения, где Грибовский исполнял должность казначея, не хватает тысячи рублей наличными да сверх того нет расписок в получении купцами семи тысяч, которые были им розданы заимообразно. Канцелярская сторона была так обставлена, что при желании можно было и самого Державина обвинять в соучастии. Кто бы усомнился, что как только истории обнаружится, тутолминская партия сумеет ею воспользоваться?

Державин потребовал от Грибовского объяснений. Тот покаялся, что, выдавая ссуды купцам, не брал с них расписок, при условии, что они распишутся после, когда будут возвращать деньги. Ссуды таким образом становились как бы бессрочными. За это Грибовский получал взятки. Что же касается тысячи, им лично растраченной, то Грибовский признался, что проиграл ее в карты, ведя игру с вице-губернатором, губернским прокурором и председателем уголовной палаты.

При других обстоятельствах Державин, конечно, отдал бы казначея под суд. Но теперь ему было некогда ждать судебной развязки. Все, что случалось в Петрозаводске, представлялось ему дурным сном, и, исходя из этого, он придумал закончить дело особым и странным образом.

Он заставил Грибовского тут же, не сходя с места, письменно изложить все признание, с поименным перечнем, что и кому проиграно. Это было 27 октября, в седьмом часу вечера. Отпустив Грибовского, Державин тотчас вызвал к себе вице-губернатора. Тот явился. С самым дружеским видом Державин поведал ему о растрате и просил совета, как поступить. Вице-губернатор стал важно читать Державину наставления, бранил Грибовского и требовал, чтобы поступлено было по всей строгости закона. Тогда Державин дал ему прочитать признание Грибовского. Увидя имя свое между игроками, вице-губернатор «сначала взбесился, потом обробел и в крайнем замешательстве уехал домой».

Затем был призван председатель уголовной палаты, и с ним все повторилось точь-в-точь, как с вице-губернатором. До губернского прокурора очередь дошла уже ночью. Но прокурор был не так-то прост. Он не испугался, а заявил, что даст делу ход, да с тем и уехал.

Наутро Державин отправился в приказ общественного призрения, велел привести купцов и, грозя немедленною тюрьмой, заставил их выдать расписки на все семь тысяч. Документы были приведены в порядок, а недостающую тысячу Державин внес из своих денег. Вернувшись к себе в правление, он уже там застал прокурора; тот явился с формальным протестом против действий губернатора, призвавшего его ночью и пугавшего бумагой, в которой он был облыжно замешан в картежное дело.

Но тут, вероятно, прокурору показалось, что губернатор сходит с ума: Державин решительно объявил, что никогда его ночью не вызывал, никакие деньги не пропадали, и все это, очевидно, прокурору приснилось. Если же он сомневается, то может побывать в приказе общественного призрения и лично во всем убедиться, освидетельствовав казну и книги. Прокурор помчался в приказ и вернулся оттуда в крайнем смущении: теперь уж ему казалось, что сходит с ума он сам.

Тем временем собрались чиновники губернского правления. Державин при всех вернул прокурору его бумагу и еще раз подтвердил, что все бывшее — только *«сонная греза»*, которая всем привиделась. Потом, приказавши подать шампанского, он наполнил бокалы и попросил присутствующих пожелать ему счастливого пути. Шампанское выпили, и губернатор с супругою в тот же день отбыл из города для обозрения двух уездов, которые ранее не были им осмотрены.

Вслед за тем произошло событие чрезвычайное. Олонецкий губернатор, действительный статский советник Державин, отбыв для осмотра губернии, исчез и не возвращался более. Никто не знал, где он и что с ним. Повергнув в крайнее недоумение самого наместника, и все чиновничество, и все общество петрозаводское, губернатор растаял, *«как сонная греза»*.

* * *

В последнее время он был потому так спокоен, что, тайно исхлопотав себе отпуск, решил отправиться не в уезды, а в Петербург,— и уж больше не возвращаться. Заканчивая дела, он уже представлял себе, каково будет всеобщее изумление, когда он исчезнет. В этой необычайной затее было, конечно, много не только юмора, но и поэтического воображения. Лишь поэту могло прийти в голову разыграть олонецкую действительность, как венецианскую комедию, и превратить отъезд губернатора в исчезновение волшебника.

Должно, однако, взглянуть на дело и с другой стороны. Предсказание Вяземского сбылось: Державин и году не просидел губернатором. Вяземский не умом (которого у него было мало), но просто хитростию и опытом (которых у него было вдоволь) предугадал очень верно, что при взглядах Державина и при его характере на губернаторстве ему предстоит неизбежная борьба и столь же неизбежное поражение. Это не потому, что Державину предстояло столкнуться именно с Тутолминым. Будь на месте Тутолмина кто угодно из тогдашних администраторов — все равно и самое столкновение, и его исход были предрешены. Так и вышло. Державин, выражаясь его же слогом, «донкишотствовал собой» десять месяцев и оказался не только побежден, но и смешон, потому что его волшебный отлет из Петрозаводска при переводе на язык прозаический был не что иное, как бегство.

Конечно, Державин боролся во имя закона, и закон всегда (или почти всегда) был за него. Потому-то в открытых боях с Тутолминым он и не был разбит ни разу. Но его взяли измором. Силы его иссякли и не могли не иссякнуть, ибо на его стороне была правда, а на стороне противников — вся грубая сила тогдашнего российского быта. В борьбе за закон у Державина не было опоры ни в обществе, ни в самом правительстве. Законы писались даже усиленно, но как-то само собою подразумевалось, что исполняться они должны лишь до известной степени и по мере надобности (преимущественно дворянской). Не отрицалось, что законы гораздо лучше исполнять, нежели не исполнять. Но одному лишь Державину их неисполнение казалось чем-то чудовищным. Нарушителей закона никто прямо не поощрял, но и карать их у власти охоты не было. Державин этого не хотел взять в толк. Кидаясь на борьбу с нарушителями закона, он всякий раз был уверен, что «щит Екатерины» делает его неуязвимым. Отчасти оно так и было. Но — тот же щит покрывал и его врагов. Выходило, что Минерва Российская равно благоволит и к правым, и к виноватым, и к добрым, и к алым. Почему? Вот загадка, которой Державин не только еще не решил, но и не поставил перед собой открыто.

Кажется, он не отваживался об этом думать. Однако негодование порою душило его, и он давал волю чувствам. В одну из таких минут (уже лет пять тому назад) он переложил в стихи 81-й псалом. Писал, далеко отступая от подлинника, подражая, а не переводя. Пьесу тогда же он отдал в «С.-Петербургский Вестник». Ее было напечатали, но тотчас же и вырезали из книжки — издатели испугались. Теперь Державин все написал сызнова, но не смягчая, а напротив — усиливая. Пять лет не даром прошли: вместе с силою поэтической возросла в нем и ярость. Тогда он более сетовал, теперь обличал:

Возстал Всевышний Бог, да судит
Земных богов во сонме их.
«Доколе», рек: «доколь вам будет
Щадить неправедных и злых?

«Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

«Ваш долг — спасать от бед невинных,
Несчастным подавать покров;
От сильных защищать безсильных,
Исторгнуть бедных из оков».

Не внемлют! — видят и не знают!
Покрыты мглою очеса:
Злодейства землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Цари! — я мнил: вы боги властны,
Никто над вами не судья;
Но вы, как я, подобно страстны
И так же смертны, как и я.

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:

Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!

Державин добился того, что эти стихи, которых не решались печатать в их прежнем виде, были напечатаны в новом, более резком. Ссылка на подражание псалму могла бы служить надежным прикрытием, но Державин зачеркнул старое заглавие «Псалом 81» и сделал новое, свое собственное: «Властителям и судиям». Такова была его примота: он знал, что пьеса возникла, в сущности, не из чтения Библии, но из созерцания России. Дело все в том, однако, что эти стихи выражали не всю полноту и не самую глубину его чувств. Глубже гнева и вопреки самой логике, равно неподвластная доводам чувства, как и рассудка, в нем по-прежнему коренилась упрямая вера в Екатерину — добродетельную монархиню, окруженную злыми сановниками. Эта вера и оставалась главным двигателем его поступков. В Петербурге он стал добиваться нового губернаторства — и добился.

* * *

Поэт, посетивший Тамбов мимоездом ровно через пятьдесят лет, нашел, что

В нем есть три улицы прямые,
И фонари, и мостовые...
В нем зданье лучшее острог.

В марте 1786 года, когда прибыл туда Державин, ни острога, ни мостовых еще не было. Город, расположенный в котловине и окруженный болотами, утопал в грязи. Строения были самые жалкие, сплошь деревянные. Большую часть жителей составляли однодворцы. В отношении торговом Тамбов, хоть и губернский город, стоял ниже окружающих его уездных. Но все же население его было втрое больше, чем в Петрозаводске, карелы да чудь не бродили по его улицам. В окрестностях были недурные поместия.

Губерния существовала всего шесть лет, но губернаторы в ней то и дело сменялись. Державин был уже пятый. Дела находились в крайнем неустройстве. Предстояло все старое привести в порядок и учредить много нового. Державин ревностно принялся за работу. Наместник Гудович имел пребывание в Рязани, и отчасти благодаря атому Державин сразу почувствовал ту свободу, которая нужна была его рвению. Несколько поосмотревшись на новом месте, Екатерина Яковлевна писала Капнисту: «Начальник очень хорош; кажется, без затей, не криводушничает, дал волю Ганюшке хозяйничать; теперь совершенный губернатор, а не пономарь». Державин радовался и сам: «Я здесь против Петрозаводска душевно и телесно воскрес».

Всего Державину суждено было прожить в Тамбове с марта 1786-го по конец 1788 года, то есть три года без малого. Из них первые полтора ознаменованы трудами разносторонними и успешными. Не имея правильной подготовки, он обнаружил за это время несомненный административный дар, желание вникнуть в местные нужды и обстоятельства, умение действовать смело и широко, но обдуманно. Теперь он доказал, что причиной его олонецкого бездействия были препятствия, чинимые Тутолминым.

Путем привлечения опытных чиновников из столицы было ускорено и налажено делопроизводство присутственных мест; с тою же целью открыта губернская типография; из Петербурга выписаны печатные экземпляры указов и прочих узаконений. (По этому поводу Державин писал одному знакомому: «В здешней губернии великий недостаток в законах; безызвестно, были ли они когда здесь в употреблении».) По части финансовой он добился исправности в сборе податей и недоимок; искоренил во многих местах беспорядочное хранение казны; увеличил доходы прикааа общественного призрения. В губернии были проложены дороги, наведены мосты и приняты меры к развитию судоходства по реке Цне. В городе были исправлены старые казенные постройки и возведен ряд новых, отчасти даже кирпичных. Наконец, движимый своим постоянным, не показным, но деятельным человеколюбием, Державин озаботился устройством таких учреждений, самая мысль о которых не приходила в голову его предшественникам: положено было начало сиротскому дому, богадельне, больнице, дому для умалишенных. Тюремные здания, где преступники содержались бесчеловечно, были улучшены, а ужасное положение колодников облегчено (за это начальство выразило Державину «род некоторого неудовольствия»).

Но всего более забот и усилий Державин затратил на постановку учебного дела. Два рассадника просвещения существовали в Тамбове: духовная семинария — для детей духовенства, а для всех прочих сословий — гарнизонная школа, выпускавшая круглых неучей. Открытие училища было давно предположено правительством; существовала лачуга, для того предназначенная; существовал даже гарнизонный школьник Севастьян Петров, уже два года получавший пособие в качестве будущего преподавателя. Но дальше этого дело не двигалось. Державин быстро добился того, что четырехклассное училище, с обширной и по тому времени, хорошо составленной программой, было открыто; для него куплен дом и выписаны учебные пособия: книги, тетради, прописи, ландкарты, аспидные доски, грифели, карандаши, даже физические приборы. Подысканы были учителя. (Петрова, по проверке его познаний, пришлось зачислить учеником, а не учителем.) Наконец, кроме губернского училища, были открыты еще и уездные — в Козлове, Лебедяни, Шацке, Елатьме и Моршанске.

Высшее общество тамбовское не чуждалось просвещения, хотя, разумеется, Простаковы и в нем преобладали над Стародумами. Державины завели знакомства и зажили на широкую ногу. Их дом, обставленный новой сафьянной мебелью, фортепьянами, биллиардом, стал в Тамбове самым блистательным. В нем устраивались приемы, балы и обеды с симфонической музыкой (в городе нашлись два крепостных оркестра). Из Малороссии целыми пудами Державиным слали варенья и конфеты, из Петербурга — партии вин. 28 июня 1786 года, в день восшествия на престол и по случаю приезда наместника, был устроен праздник. Сперва шло сочиненное Державиным аллегорическое представление — род искусства, ныне забытый и нам уже непонятный; люди XVIII столетия умели в нем находить пищу не только для глаз, но и для ума. Сцена собою представляла храм, являлись разные лучезарные Фебы и Гении, были гирлянды, шествия, юноши с венками и девы с цветочными корзинами — все совершенно так, как в древних Афинах. Представление было разыграно местною благородною молодежью и закончилось балом с иллюминацией. Отсюда пошло начало театра, устроенного Державиным в губернаторском доме. Под руководством Екатерины Яковлевны девицы из общества шили и расписывали костюмы, разучивали свои роли. Ставились французские оперы и комедии, также трагедии Сумарокова, «Недоросль». Спектакли имели такой успех, что спустя год Державин приступил к постройке особого здания для театра. По воскресеньям у губернатора были танцовальные вечера, по четвергам — концерты. Сверх того для детей два раза в неделю происходил танцкласс: выписан был танцмейстер.

Приятно распределяя время между трудами и удовольствиями, Державины благоденствовали. Несколько огорчала их только разлука с былыми друзьями. Вспоминались далекие дни петербургского поэтического содружества. Львов по-прежнему жил в столице; добрый, бедный Хемницер тому назад года два умер, то ли от лихорадки, то ли от меланхолии, в чуждой, далекой Смирне, куда послан был генеральным консулом (это место выхлопотал ему счастливый Львов); Капнист давно бросил службу, жил в своей Малороссии, на живописных берегах Псла, мечтал, хозяйничал и рожал детей со своею Сашенькой. Екатерина Яковлевна писала им: «Милые наши Копиньки. Давно мы уже об вас ничего не знаем, а сами в Тамбове поживаем веселым-веселехонько. Кабы да вы к нам приехали: теперь близехонько; то-то бы навеселились — не Петрозаводску чета; если нельзя вместе с Александрой Алексеевной, то хотя бы один приехал. Апропо, вспомнила я, что я к вам послала еще в декабре месяце прекрасную корзиночку своей работы и с нашими силуэтами, которые в ней были в медальонах... Утешь, батюшка, приезжай к нам ради Бога».

Петрозаводск неспроста здесь помянут: Державины не могли нарадоваться, что оттуда выраались. Вот и теперь жена одного чиновника тамошнего писала Екатерине Яковлевне: «Не вытерплю, чтоб не сказать, что у нас вышло в самую в заутреню праздника. После торжественных выстрелов директорша в церкви прибила кулкчом и зажгла свечою штаб-лекаршу, и, вышед из церкви, ругала подлым образом и, по улице ехав, также ругала во всю мочь; причина же вины бедной и хворой штаб-лекарши та, что стала несколько впереди ее... Штаб-лекарь так огорчен, что хочет идти в отставку. Эта история получше медведя, так что у нас, матушка, страшно ездить и в церковь».

После Петрозаводска Тамбов мог и впрямь показатьсн вторыми Афинами, — однако же до поры до времени.

* * *

Подобно Тутолмину, Гудович был человек военный. Военные заслуги за ним и числились, гражданских же не было, но, в отличие от Тутолмина, Гудович за ними не гнался. Этому роду деятельности придавал он не много значения и, очутившись во главе наместничества, объединявшего Рязанскую и Тамбовскую губернии, не то, чтобы вовсе ничего не делал, но старался делать как можно меньше. Предоставляя Державину свободу действий, он ничем не жертвовал; напротив, ему именно нужен был такой губернатор, на которого без опаски можно свалить работу. Отсюда и возникло то взаимное удовольствие, коим ознаменована первая половина державинского пребывания в Тамбове. Представляя Державина к ордену, наместник свидетельствовал, что Державин «всю губернию привел в порядок». И это была правда. Державин со своей стороны называл Гудоаича благорасположенным, справедливым и честным начальником.

Гудович не испытывал того сладострастия власти, которое обуревало Тутолмина; однако ж, как все тогдашние администраторы, и он порою не мог устоять против искушения: радости самодурства были ведомы и ему, хотя, может быть, даже менее, чем другим. К закону он относился вполне терпимо и даже доброжелательно. По тем временам один Державин мог требовать большего.

Но, не пылая рвением к службе и охотно вверяя бразды правления другим (в том числе Державину), он легко поддавался влияниям. А так как из влиятельных лиц не все хотели, подобно Державину, сиять добродетелью, то в Тамбовской губернии можно было обманывать казну, как во всякой другой. Постепенно Державин в том убедился.

Когда он приехал из Петрозаводска в Петербург и стал просить нового губернаторства, за него, при посредстве Львова, хлопотали очень сильные люди: граф А. Р. Воронцов, Безбородко (теперь уже тоже граф), тогдашний фаворит Ермолов и отчасти даже Потемкин. При таких покровителях можно было добиться и не того. Екатерина согласилась. Державин по простодушию своему увидел в ее согласии знак нарочитого одобрения и доверия. Это еще более придало ему стойкости (или упрямства).

Тамбовский купец Бородин был плут. С помощью вице-губернатора Ушакова и генерал-губернаторского секретаря Лабы он сперва обманул казну при поставке кирпича, а потом получил винный откуп на таких условиях, что казне предстояли убытки в полмиллиона рублей. Державин тщетно указывал Гудовичу на бородинские плутни: зная или не зная истинную подоплеку дела, Гудович во всяком случае стал на сторону своих приближенных. Вскоре узналось, что путем ложного банкротства Бородин собирается учинить новое мошенничество. Не надеясь на силу доводов и боясь упустить время, Державин в обеспечение казенного интереса собственной властию наложил арест на бородинское имущество. Покрывая Бородина, Ушаков склонил Гудовича жаловаться в Сенат. В Сенате Вяземский рад был насолить давнему недругу, и на наместническое правление (то есть на Державина) был наложен штраф в 17 000 рублей.

Не успело кончиться это дело, как возникло еще одно. В августе 1787 года Турция объявила войну России. Главнокомандующий Потемкин прислал в Тамбовскую губернию своего комиссионера Гарденина — закупать провиант. Казенная палата должна была снабдить комиссионера деньгами, но Ушаков, в ведении которого она состояла, в выдаче сумм отказал, имея в том свою выгоду. Этот отказ грозил снабжению армии замедлением, а казне убытками. Гарденин обратился за помощью к Державину, из чего и поднялась буря. Подробности этой истории чрезвычайно сложны. Суть в том, что Державин, видя беззаконные приемы Ушакова, не удержался и сам отчасти прибег к тому же оружию. Будучи по существу прав, но по форме бессилен перед увертливым противником, он кое в чем позволил себе нарушить канцелярский обряд и даже, быть может, несколько превысил свою власть. Этим тотчас воспользовались. Гудович, по обычаю покрывая вице-губернатора и будучи лично задет властными действиями Державина, уже 7 апреля 1788 года писал Воронцову и просил «развода» с Державиным, яко причиняющим «беспокойство в делах и замешательство вместо должной по службе помощи». (Свою недавнюю аттестацию он уже забыл.) Соответствующие рапорты были посланы и в Сенат. 22 июня Сенат объявил Державину выговор.

С этих пор провиантское дело отошло как бы на задний план, и началась просто борьба между губернатором и наместником. Обе стороны искали изобличить друг друга в упущениях и проступках. Все канцелярии были пущены в ход, и, как прежде в Петрозаводске, в борьбу оказались вовлечены многие лица и учреждения. Город разделился на два лагеря — преобладали сторонники Гудовича и Ушакова. С тех пор, как положение Державина пошатнулось, его хлебосольство было забыто вместе с театрами и концертами. Глазам тамбовского общества губернатор представился странным, беспокойным, а может быть, и опасным человеком, который во всем берет сторону бедных против богатых, заботится о колодниках и умалишенных, а с начальством ссорится. Державиных стали травить. Некая госпожа Чичерина, встретив Екатерину Яковлевну в гостях у помещика Арапова, наговорила ей колкостей. Отвечая ей, Екатерина Яковлевна сделала неловкое движение и нечаянно задела противницу опахалом. На другой день весь Тамбов говорил о побоях, нанесенных губернаторшею почтенной даме. Поднялся такой шум, что предания об этой истории не умирали в Тамбове сто лет без малого. Ушаков, Лаба и еще кое-кто из чиновников подстрекнули Чичериных жаловаться императрице. Жалобу сочиняли впятером, просидев над ней целый вечер.

Гудович тем временем продолжал наступление на Державина. Нельзя отрицать, что последний, обороняясь, действовал заносчиво и давал поводы к новым обвинениям. Петербургские друзья, которым дело было виднее, предупреждали его, но он стоял на своем, видя в борьбе с Гудовичем исполнение своего долга и по обычаю уповая на конечную справедливость Екатерины. В одном из тогдашних писем он говорит: «Иногда не безнужно иметь и врагов, чтобы лучше не сбиваться с пути законов». В ту пору написал он на смерть старой графини Румянцовой оду, которую закончил такими словами:

> Меня ж ничто вредить не может:
> Я злобу твердостью сотру;
> Моих врагов червь кости сгложет,
> А я пиит — и не умру.

Как пиит он и остался бессмертен. Но как губернатора дни его были сочтены. На основании рапортов Гудовича и под давлением Вяземского Сенат представил императрице «мнение» об отрешении Державина от должности и о предании суду. Доклад еще не был утвержден, когда весть о нем дошла до Тамбова. Положение Державина стало невыносимо. Он был, по собственному выражению, «загнан и презрен» всем городом. Одно слово императрицы могло бы изменить его положение. Он просил дозволения приехать в столицу — ему было приказано «проситься по команде», то есть через наместника. Гудович, конечно, не выпустил его из Тамбова. 18 декабря роковой доклад был конфирмован. Губернаторство кончилось.

* * *

В ста пятидесяти верстах от Тамбова, на берегу Хопра, лежало красивое и богатое поместие по имени Зубриловка. Державины там не раз гостили у радушных и гостеприимных хозяев — князя и княгини Голицыных. Осенью 1788 года князь Сергей Федорович находился в армии, осаждавшей Очаков. От него долго не было вестей, княгиня тревожилась, и Державин, как ни поглощен был своими делами, послал ей в ободрение стихи: «Осень во время осады Очакова». Они не принадлежат к его лучшим созданиям; их видимое воодушевление таит следы принужденности: Державину было не до стихов. При отрешении от должности с него взяли подписку о безвыездном пребывании в Москве впредь до окончания дела, которого рассмотрение было поручено московскому Сенату. Покинув Тамбов в самом начале 1789 года, Державин направился в Москву, но наперед заехал в Зубриловку и там оставил жену. Разлука в столь горестную минуту была тяжела для обоих, но она имела свои основания.

Предстоящий суд очень страшил Державина. В конечном счете он почитал себя правым (да и был прав), но за ним имелись кое-какие вины — следствия раздражения и горячности. Придраться было к чему, а кроме того, он понимал, что приговор суда зависит не от одной правды, но еще более от того, чье влияние пересилит в Петербурге.

Главный сыр-бор загорелся из-за потемкинского комиссионера. Естественно было Державину искать защиты у того же Потемкина, к которому он и обращался по этому поводу еще до отрешения от должности. Перед лицом Потемкина было у него несколько ходатаев: во-первых — Попов, потемкинский делопроизводитель и наперсник, с которым Державин давно был в хороших отношениях; во-вторых — тот самый Грибовский, которого спас он в Петрозаводске: Грибовский теперь состоял при светлейшем и рад был помочь своему благодетелю. Были еще и другие пути, но особливые надежды возлагались на княгиню Голицыну: она приходилась Потемкину родною племянницей. Вот и жила теперь у нее Екатерина Яковлевна — соломенною вдовою и как бы живым напоминанием о деле. Впрочем, княгиня, женщина несколько экспансивная, старалась и без того, даже сверх всякой меры, так, что однажды чуть было не повредила Державину. К Пленире она была чрезвычайно ласкова, но та мучилась и томилась: все думалось ей, что Державин в Москве не довольно усердствует по своим делам. «Не знаю, куда ты ездишь,— писала она,— где что с тобою приключалось; я думаю, что не грешно бы было каждый вечер прибавить строчку или две твоего похождения; я бы была как будто не розно с тобою, но теперь очень чувствую мое уединение... Я думаю, что ты ленишься своими выездами, мой друг: теперь надо быть не ленииу и стараться быть тут, где тебе нужно... Я не живу праздно у княгини и прилежание мое за шитьем беспредельно, ибо я, работая, размышляю о тебе и не вижу, как от того поспешно идет моя работа; я почти вышила уже камзол князю Сергию Федоровичу, который кажется очень хорош вышился... Княгинин курьер еще не бывал от светлейшего; она его ждет с нетерпеливостию, так как и я, верный твой друг, твоих писем и твоей к себе доверенности, и чтобы ты отнял у меня право тебе пенять. Сего желает твоя *Катюха*».

Потемкин пообещал сделать все возможное, но лишь когда вернется из армии. Поэтому Державин старался в Москве оттянуть дело. Меж тем, княгиня Голицына, взяв с собою Екатерину Яковлевну, отправилась в Петербург. Потемкин приехал туда в феврале. Просьбами о Державине ему прожужжали уши, но был слух, что он скоро опять уедет в армию. Теперь уже приходилось торопить дело, чтобы враги не воспользовались отсутствием светлейшего. Наконец, 16 апреля суд начался, а 31 мая закончился. Видно, Потемкин сдержал обещание — Державин был по всем пунктам оправдан.

Гроза миновалась. Теперь было самое время Державину поразмыслить, можно ль и должно ль ему пытаться служить и *словом*, и *делом*. Иногда он хотел бросить службу. Задумывался даже о том, уместен ли он вообще среди того общества, которому судьба обрекла его. Недаром он год спустя писал государыне: «Ежели бы не царствовала Екатерина Вторая, прозорливостию своею в свете несравненная, которая меня спасает и животворит и на которую я одну всю мою надежду возлагаю, то, как Богу, Вашему Императорскому Величеству исповедую, что должен бы я давно оставить мое отечество».

VI

Екатерина смотрела на вещи трезво. За поэзией Державина она еще могла допустить какие-то высшие побуждения, но за службой, конечно, нет. «Несравненная прозорливостию» немало бы удивилась, если бы вдруг ей сказали, что служба Державина вдохновлена тою же мыслию, что и поэзия. Еще более она была бы изумлена, когда бы узнала, что, буйствуя в службе, Державин своею союзницей почитает ее — добродетельную монархиню, провозгласительницу Наказа. Об этих буйствах императрица была наслышана. Их вдохновительницей почитала она — такова насмешка судьбы — не кого иного, как Матрену Дмитриевну Бастидонову! Подписывая сенатский указ и предавая Державина суду, Екатерина сказала:

— Он стихотворец, и легко его воображение может быть управляемо женою, коей мать злобна и ни к чему не годна.

Она, впрочем, была довольна, когда суд оправдал Державина. По этому случаю перечла «Фелицу» и велела сказать Державину, что «ее величеству трудно обвинять автора оды к Фелице»:

— Cela le consolera.

И кроме того:

— On peut lui trouver une place.

Утвердив приговор, она приказала гофмаршалу представить Державина. Тот явился в Царское. Екатерина дала ему поцеловать руку и с улыбкой сказала присутствующим:

— Это мой собственный автор, которого притесняли.

Такие фразы предназначены передаваться из уст в уста. Все были восхищены, но и *притеснители* не могли пожаловаться: они не услышали ни одного упрека и сохранили места свои, а Державин как был отстранен от должности, так и остался. Правда, придворные политики предсказывали ему «нечто хорошее», но он не очень надеялся. На сердце у него было смутно. «Возвращаясь в Петербург, размышлял он сам в себе, что он такое — виноват или не виноват? в службе или не в службе?» Ему перестали выплачивать жалованье: дело не в деньгах, но это был худой знак. Больше всего его мучило, что сенатский приговор касался почти только его служебных сношений с Гудовичем, он же «хотел доказать императрице и государству, что он способен к делам, неповинен руками, чист сердцем и верен в возложенных на него должностях». Поэтому он решился просить особой аудиенции по делам Тамбовской губернии.

Александр Васильевич Храповицкий делал карьер свой умно и спокойно. Теперь он уже состоял при императрице «по собственным ее делам и у принятия прошений». Каждый вечер, кратко, но дельно записывал он в дневнике, чему был свидетель в минувший день. 1 августа, в середу, в 9 часов утра Державин приехал в Царское. Под мышкою нес он огромную переплетенную книгу — всю переписку с Гудовичем и другие бумаги. Храповицкий провел его в Лионскую залу. Здесь оробел Державин и рассудил за благо оставить на столе свою книгу. Затем камердинер ввел его в Китайскую комнату.

Государыня дала ему руку. Поцеловав, благодарил он за правосудие и просил дозволения изъясниться по делам губернии. Она спросила, почему этих объяснений он не представил Сенату.

— Было бы против законов: о том меня не спрашивали.

— Для чего же ты прежде о том мне не писал?

— Я писал; мне объявлено генерал-прокурором, чтобы я просился чрез генерал-губернатора, а как он мне неприятель, то не мог сего сделать.

— Но не имеете ли в нраве вашем чего-нибудь строптивого, что ни с кем не уживаетесь?

— Я служил с самого простого солдатства и потому, знать, умел повиноваться, когда дошел до такого чина.

— Но для чего,— подхватила императрица,— не поладили вы с Тутолминым?

— Он издал свои законы, а я присягал исполнять только ваши.

— Для чего же не ужился с Вяземским?

— Государыня! Вам известно, что я написал оду Фелице. Его сиятельству она не понравилась. Он зачал насмехаться надо мною явно, ругать и гнать, придираться ко всякой безделице; то я ничего другого не сделал, как просил о увольнении из службы и по милости вашей отставлен.

— А для чего же не поладил с Гудовичем?

— Интерес Вашего Величества, о чем я беру дерзновение объяснить Вашему Величеству, и ежели угодно, то сейчас представлю целую книгу, которую я оставил там.

Тут он собрался отправиться в соседнюю комнату, но Екатерина остановила его:

— Хорошо, после.

Он догадался подать ей краткую записку по делам Тамбовской губернии. Она его отпустила, вновь пожаловав руку и пообещав дать место.

Вечером Храповицкий записал в дневнике: «Провел Державина в Китайскую и ждал в Лионской». И далее — слова императрицы: «Я ему сказала, что чин чина почитает. В третьем месте не мог ужиться; надобно искать причину в самом себе. Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи. Il ne doit pas être trop content de ma conversation».

* * *

Ласкательство, лживая лесть, низменное потворство, считались предосудительными. Но искать *покровительства*, не прибегая к ласкательству, было в порядке вещей. Никакого стыда в том не видели. Когда при дворе появлялся новый любимец, искать его покровительства было даже выражением некоей благонамеренности.

Державин по воскресениям ездил на выходы во дворец. «Но как не было у него никакого предстателя, который бы напомянул императрице об обещанном месте, то и стал он как бы забвенным. В таком случае не оставалось ему ничего другого делать, как искать входу к любимцу Государыни... В то время, по отставке Мамонова, вступил на его место молодой конной гвардии офицер Платон Александрович Зубов... Как трудно доступить до фаворита! Сколько ни заходил к нему в комнаты, всегда придворные лакеи, бывшие у него на дежурстве, отказывали, сказывая, что он или почивает, или ушел прогуляться, или у Императрицы... Не оставалось другого средства, как прибегнуть к своему таланту». Державин не стал писать оды в честь Зубова, но мог, не кривя душой, написать «Изображение Фелицы». Через Эмина, бывшего спутника по олонецким путешествиям, ода была вручена Зубову, тот, конечно, показал ее государыне, а государыня, «прочетши оную, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать его в свою беседу». Общество Державина она, очевидно, считала полезным для маленького чернобрового шалуна; она вообще заботилась об образовании своих любимцев: читала с Ланским Альгаротти, с Зубовым — Плутарха... Но дело не в том: выходило, что легче найти дорогу через императрицу к Зубову, нежели через Зубова к императрице. Таков был странный круг отношений. Знакомство, как бы то ни было, завязалось. Но время шло, а места, которого ждал Державин, все не было.

Поэтические досуги, о которых мечтал он, отправляясь в Олонецкую губернию, не состоялись. Все эти годы он почти не писал — во всяком случае не создал ничего замечательного. Зато теперь выходило досуга больше, чем он хотел бы. Постепенно он занялся стихами, и таково было его поэтическое здоровье, что, несмотря на все потрясения, он, как ни в чем не бывало, вернулся к «Видению мурзы», на котором остановился шесть лет назад. Теперь оно было закончено; для него вновь обрел он замысловатый лад и крепкий задор тех счастливых дней, когда табакерка Фелицы еще лежала в закладе; что же до пылкого поклонения Екатерине — оно устояло против всех испытаний:

Как солнце, как луну поставлю
Твой образ будущим векам;
Превознесу тебя, прославлю,
Тобой безсмертен буду сам.

Можно было бы ожидать, что за годы, потерянные на губернаторстве, слава его убудет. Но она возросла. Его читали и перечитывали. В его поэзии, начиная с Читалагайских од, открывали новшества и достоинства, не оцененные ранее. Теперь, к сорока семи годам, он очутился если не вожаком, то знаменем новой литературы. Шум, происшедший вокруг его имени, тяжкая опала и внезапное возвышение («это мой собственный автор») — все это подогревало общее к нему любопытство. Его дом вновь наполнился. Помимо анакреонтического Львова, помимо порой приезжавшего из деревни Капниста (с неизменным Горацием на устах и в кармане), явились тут и маститые авторы, сверстники Державина, уже пережившие свою славу: мечтательный, томный и как бы совсем невесомый Богданович (творец «Душеньки» писал теперь скучные комедии вперемешку с нежною, но поверхностной лирикой); обрюзглый Фонвизин, полуразбитый параличом и раздавленный немилостию императрицы. Были и литераторы, только еще подающие надежду: Иван Семенович Захаров, один из многочисленных переводчиков неизбежной «Телемахиды», уже, впрочем, не юноша; Алексей Николаевич Оленин, крошечный человечек с огромным горбатым носом, истинный кладезь всевозможных познаний, особенно в языках. Был и Дмитрий Иванович Хвостов, плодовитейший стихотворец (впрочем, надежд он как будто не подавал).

Однажды утром Державин, в атласном голубом халате и в колпаке (у него стали сильно лезть волосы) что-то писал у себя в кабинете, стоя перед высоким налоем; Пленира, в утреннем белом платье, сидела в кресле посреди комнаты; парикмахер ее завивал. В сей неурочный час явился представиться знаменитому певцу высокий и сухощавый семеновский офицер; то был двадцатидевятилетний поэт Иван Иванович Дмитриев, родом из-под Симбирска; он робел и косил глаза на конец длинного, тонкого своего носа. Поговорив о словесности, о войне, он хотел откланяться. Хозяева стали его унимать к обеду. После кофия он опять поднялся, но еще был упрошен до чая,— а потом в две недели стал своим человеком в доме. Имел он суждение здравое, разговор острый, стих легкий.

Спустя несколько месяцев, в сентябре 1790 года, он просил дозволения привести к обеду своего земляка и друга, который ненадолго в Петербурге — проездом в Москву из чужих краев — и будучи литератор, хотел бы свидетельствовать Гавриле Романовичу свое почтение. Литератор



был зван к обеду. В тот день у Державиных обедал также петербургский вице-губернатор Новосильцев с женою. Новый знакомец, почти еще юноша, одетый во фрак по последней моде, сделал на всех отличное впечатление. По имени-отчеству звали его Николай Михайлович, по фамилии — Карамзин. Сидя за столом подле Екатерины Яковлевны, он рассказывал о недавно виденных странах — особенно о Париже. В его разговоре были приятно смешаны важное и забавное, ум и чувствительность. Он говорил о парижских театрах, для коих не находил довольно похвал; о физиогномии Мармонтеля; об уличных цветочницах; о прекрасной Версалии, о сельских красотах Трианона; об академиях и о том, что вино в деревеньке Auteuil, некогда славное, ныне уж никуда не годится; о том, что в придворной церкви он видел короля и королеву (король был в фиолетовом кафтане; королева подобна розе, на которую веют холодные ветры); дофина видел он в Тюльери — младенец прыгал и веселился, прекрасная Ламбаль вела его за руку; после 14 июля во Франции все твердят об аристократах и демократах, о нации; революция была неизбежна, еще Рабле предсказал ее в LVIII главе «Gargantua»; земля освободится от сего бедствия не иначе, как упившись кровью...

Но тут рассказчику показалось, что молодая и прекрасная хозяйка коснулась ногою его ноги. Потом еще и еще, сомнения быть не могло. Не смея себе изъяснить сие чрезвычайное обстоятельство, он смешался, красноречие его покинуло... После стола хозяйка отвела его в сторону и объяснила, что госпожа Новосильцева — племянница Марьи Савишны Перекусихиной, и неосторожные речи молодого путешественника нынче же могут дойти до императрицы.

В Москве Карамзин тотчас приступил к изданию журнала. Объявляя о том в «Московских Ведомостях», он писал: «Первый наш поэт — нужно ли именовать его? — обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей Музы. Кто не узнает певца мудрой Фелицы? Я получил от него некоторые новые песни» и проч.

* * *

С мечтой о победе над Турцией Потемкин связывал замыслы титанические. Победа, однако же, не давалась, и затянувшаяся война становилась крайне обременительна. Екатерина писала «любезному другу» ласковые письма, но до него уже доходили дурные вести о происшедшей перемене в расположении государыни, о фаворе Зубова. 11 декабря 1790 года Суворов взял Измаил и вскоре уехал в Петербург, где, «как человек со слабостьми, из честолюбия ли, из зависти, или из истинной ревности к благу отечества, но только приметно было, что шел тайно против неискусного своего фельдмаршала». Дочь Суворова была кстати замужем за братом нового фаворита. Для Потемкина дело шло не только о личном его фаворе. На карте стояла вся европейская политика России, а с нею — либо головокружительное завершение, либо бессмысленное крушение всех его замыслов, в которых эгоизм государственный давно сросся с личным. Мучимый подозрениями, Потемкин рвался в столицу, но Екатерина удерживала его при армии. Видя наконец, что и взятием Измаила сопротивление турок еще не сломлено и что впереди предстоит новая кампания, 28 февраля он прискакал в Петербург.

Уезжая из армии, он сказал, что нездоров и едет в Петербург *зубы дергать*. Но *зубы* сидели крепко. Потемкин вскоре увидел, что петербургское поражение может перевесить измаильскую победу. На скорую отставку Зубова надежды не было. Впору было стараться о том, чтобы сохранить собственное положение и выиграть время. С болью в душе побежденный стал играть роль триумфатора — что могло быть тяжелее для его гордости? В честь государыни он решился дать небывалый праздник, чтобы обществу, двору, ей самой, всей Европе и, может быть, самому себе внушить мысль, будто все остается по-прежнему; чтобы изумить Екатерину беспредельной приверженностью; чтобы напомнить ей об их *общей* славе; чтобы — как знать? — может быть, вернуть себе ее сердце.

К 28 апреля вся местность поблизости от Конногвардейских казарм изменила свой вид. Недостроенный дом князя Таврического был достроен со сказочной быстротой. Тысячи работников, художников, обойщиков трудились денно и нощно. Позади дома разбили сад с расчисленными холмами, храмами, павильонами; «прямым путем протекавшей речке дали течение извилистое и выпудили из ней низвергающийся водопад, который упадал в мраморный водоем». Построены мосты из железа и мрамора, поставлены истуканы. Деревянные строения перед дворцом снесены. На возникшей площади выстроены качели, расставлены столы с угощением для народа, кадки с медом, квасом и сбитнем; построены лавки торговые, из которых назначено было раздавать подарки: платья, кафтаны, кушаки, шляпы, сапоги, лапти, а также снедь, вареную и невареную.

С трех часов дня стали съезжаться гости. Раздача подарков должна была начаться в пять, по прибытии государыни. Уже приехал наследник с супругой и малым двором, но а к семи часам государыни еще не было. Народ, собравшийся здесь с утра и продрогший (погода была ненастная), начал терять терпение. Вдруг, как бывает в подобных случаях, произошло какое-то замешательство. Задние ряды поднаперли, толпа с криком *ура* ринулась к выставленным подаркам, и во мгновение ока все было растаскано. Полицейские и казаки бросились разгонять народ. Многие были ушиблены и помяты в давке. В разгар побоища прибыла государыня. Карета ее была вынуждена остановиться в отдалении. Высунувшись в окно, Екатерина подозвала обер-полицеймейстера Рылеева:

— В этом прекрасном порядке,— сказала она,— я совершенно узнаю вас.

— Радуюсь, что имел счастие заслужить удовольствие вашего императорского величества,— отвечал Рылеев.

Павел Петрович с женою встретили государыню на крыльце. Потемкин при-

нял ее из кареты. На нем был малиновый бархатный фрак и черный кружевной плащ. Пуговицы, каблуки, пряжки сверкали бриллиантами. «Шляпа его была оными столько обременена, что трудно стало ему держать оную в руке. Один из адъютантов его должен был сию шляпу за ним носить». Праздник начался. История России не знает ему подобного. Сам Державин был привлечен к его изобретению и сочинил хоры.

Три тысячи гостей (одного лишь Суворова не было в их числе) размещены были в пышных ложах колонного зала, озаренного шестью тысячами свеч. Императрица вошла. Восьмилетний мальчик Васенька Жуковский, побочный сын тульского помещика и пленной турчанки, на всю жизнь запомнил минуту, когда хор из трехсот музыкантов и голосов при громе литавр впервые грянул:

Гром победы, раздавайся!
Веселися, храбрый Росс!
Звучной славой украшайся:
Магомета ты потрес.
Славься сим, Екатерина,
Славьси, нежная к вам мать!
Воды быстрыи Дувая
Уж в руках теперь у нас;
Храбрость Россов почитая,
Тавр под вами и Кавказ.
Славься сим, Екатерина,
Славься, нежная к нам мать!..

Этот хор сопутствовал появлению первой кадрили, розовой, составленной из двенадцати пар знатнейшей петербургской молодежи. Великий князь Александр Павлович вел ее. За розовой, предводимая Константином, шла голубая под звуки второго хора:

В лаврах мы теперь ликуем,
Исторженных у врагов;
Вам, Россиянки, даруем
Храбрых ваших плод боев.
Разделяйте с нами славу;
Честь, утехи и забаву
Разделяйте; ободрийте
И вперед к победам нас;
Жар в сердца вы нам влввайте:
Ваш над нами силен глас;
За один ваш взгляд любови
Лить мы рады токи крови...

Кадрили, соединясь, протанцевали балет — сочинение знаменитого Пика, который и сам при сем случае «отличил себя солом». Затем хозяин повел государыню в другой зал, куда последовала и часть гостей — сколько дозволяло пространство. Здесь, после пантомимы и хора, вновь славившего Екатерину, представлены были две французские комедии. Представление было нарочно замедлено, и тем временем зал колонный преобразился. Вернувшись в него, Екатерина спросила: «Неужели мы там, где прежде были?» В зале и в примыкающих покоях горело сто сорок тысяч цветных лампад и двадцать тысяч восковых свеч. «Тут играет яркий и живой луч, и как бы зноем африканского лета притупляются взоры. Там, как бы в пасмурный день, разливается блеск тонкий и умеренный... Окна окружены звездами. Горящие полосы звезд по высоте стен простираются. Рубины, изумруды, яхонты, топазы блещут. Разноогненные, с живыми цветами и зеленью переплетенные венцы и цепи висят между столпами; тенистые радуги бегают по пространству»... В одном покое «любящие музыку, пение и пляску найдут себе место для увеселения». В другом «пленящиеся живописью могут заниматься творениями Рафаэля, Гвидо-Рени и иных славнейших художников всея Италии... Там азиятской пышности мягкие софы и диваны манят к сладкой неге; здесь европейские драгоценные ковры и ткани внимание на себя обращают. Там уединенные покои тишиною своею призывают в себя людей государственных беседовать о делах». Императрица вошла в зимний сад, где не слышно музыки, где под густыми ветвями в тихих водах плавают золотые и серебряные рыбы, а в темной зелени поют соловьи. На дорожках сада и на дерновых холмиках высятся постаменты, украшенные мраморными вазами и фигурами Гениев. Местами раскинуты небольшие лесочки; их окружают решетки, увитые розами и жасмином. Огромные зеркала, искусно расставленные среди зелени, повторяют сад во множестве раз и уводят взор в ложные отдаления. Посреди сада возвышается храм; восемь колонн из белого мрамора поддерживают его купол; серые мраморные ступени ведут к жертвеннику, служащему подножием статуе, изображающей государыню в царской мантии, с рогом изобилия. Потемкин бросается на колени пред алтарем с изображением своей благодетельницы. Екатерина сама его поднимает и целует в лоб.

Стемнело. На дворе идет мелкий дождь, но все вокруг дома сияет иллюминацией. Народ толпится. На прудах плавают флотилии, разукрашенные фонарями и флагами. С них раздается песня гребцов и роговая музыка. Во дворце государыня, отдыхая, играет в карты с великой княгиней, а в большой зале гости танцуют. Меж тем, по данному от хозяина знаку, театр уничтожен. На месте его и в других покоях накрыты столы. «Где были театральное действие и зрители, там через несколько минут открылись горы серебра с разным кушаньем, вокруг с золотыми подсвечниками». Начался ужин. Стол государыни и наследника стоял на месте оркестра, прочие столы — амфитеатром вокруг него. Все гости сидели лицом к государыне. Потемкин стоял за креслом ее, пока она не велела ему сесть. «Казалось, что вся империя пришла со всем своим великолепием и изобилием на угощение своей владычицы и теснилась даже на высотах, чтоб насладиться ее лицезрением», говорит Державин и продолжает стихами:

Богатая Сибирь, наклонишись над столами,
Рассыпала по них и злато, и сребро;
Восточный, западный, седые океаны,
Трясяся челами, держали редких рыб;
Чернокудрявый лес и беловласы степи,
Украйна, Холмогор несли тельцов и дичь;
Веичанна класами, хлеб Волга подавала,
С плодами сладкими принес кошницу Тавр;
Рифей, вагнувшиси, в топазвы, аметистны
Лил кубки мед златый, древ искрометый сок,
И с Дона сладкия в крымски вкусны ввна;
Прекрасная Нева, прияв от Бельта с рук
В фарфоре, кристале чужия питья, снеди,
Носила по гостям, как будто бы стыдясь,
Что потчевать должна так прихоть поневоле.
Обилье тучное всем простирало длань.

Хор гремит. Кончается ужин. Второй час ночи. Гости еще веселятся, но Екатерина отбывает. Карета ее отъезжает в сумрак. На крыльце, озаренный факелами, в алом фраке и черном плаще, Потемкин глядел ей вослед, воздев руки к небу.

* * *

К началу июня было готово описание праздника, составленное Державиным в стихах и прозе (была мода печатать подобные описания отдельными книжками). Державин явился в Летний дворец к Потемкину. Князь принял его как нельзя любезнее, просил остаться к обеду, а сам, взяв тетрадь, довольно объемистую, погрузился в чтение. Державин тем временем пошел в канцелярию — побеседовать с давним другом своим Поповым. Внезапно Потемкин «с фурией выскочил из своей спальни, приказал подать коляску и, несмотря на шедшую бурю, гром и молнию, ускакал Бог знает куды. Все пришли в смятение, столы разобрали — и обед исчез». Долго потом Державин с Дмитриевым ломали головы, отгадывали, что могло оскорбить Потемкина. Все их предположения были неосновательны; в державинском описании нет никаких неловкостей, ни тем паче обид Потемкину. Случись то или другое — на неловкости он указал бы автору, не приходя в бешенство, а прямых обид никогда не простил бы. Он же, напротив, спустя несколько дней, сам старался загладить обиду, нанесенную им Державину.

Причина вспышки была иная. Праздник не достиг цели и тем самым превратился для Потемкина в лишнее унижение. Державин невольно ему напомнил об этом. Разница между торжествующим и счастливым Потемкиным, представленным в описании, и тем глубоко несчастным, который его читал, была нестерпима. Он не вынес и не сдержался, потому что вообще давно отвык сдерживаться. «Князю при дворе тогда очень было плохо», — говорит сам Державин. Зубов усиливался. Репнин, с согласия императрицы, вел с турками переговоры о мире, который должен был положить конец всем потемкинским замыслам. Потемкин метался. В те дни причудам и странностям его не было меры. Он жил с пышностью, неслыханною в Европе. При встрече народ кланялся ему с благоговением. На гуляниях он являлся, окруженный пленными генералами, офицерами и пашами. Но он знал, что подо всем этим — бездна, конец. Он пьянствовал и не находил себе места. Иногда, вырвавшись из дому, носился по городу, заезжал к малознакомым женщинам, ища утехи; открывал душу пред кем попало; слушателям казалось, что он бормочет нелепицу и сходит с ума. Потом силы его покинули — он изумлял окружающих необычайною кротостью, но ехать к армии все еще не решался: знал, что враги без него восторжествуют окончательно. Императрица сама наконец явилась к нему и велела ехать (ни друзья, ни враги не брали на себя передать сие повеление). 24 июля он выехал в Яссы. Там горячка и горе его терзали. 4 октября Попов написал под его диктовку: «Матушка, всемилостивейшая государыня! Нет сил более переносить мне мучения; одно спасение остается оставить сей город, и я велел себя везти к Николаеву. Не знаю, что будет со мною. Вернейший и благодарнейший подданный». Внизу он сам приписал нетвердым почерком: «Одно спасение уехать». На другой день, в полдень, между Яссами и Николаевом, остановил он коляску:

— Будет теперь, некуда ехать, я умираю, выньте меня из коляски, я хочу умереть на поле.

Его положили на траву, намочили голову спиртом. Зевнув раза три, он «так покойно умер, как будто свеча, которая вдруг погаснет без малейшего ветра». «Гусар, бывший за ним, положил на глаза его две денежки, чтоб они закрылись». Через неделю в Петербурге узнали о смерти Потемкина. Державин начал «Водопад». Эту оду он писал долго, почти три года, составляя ее по частям. Может быть, она оттого несколько потеряла в стройности и в единстве тона, но, кажется, выиграла в широте. Опорною точкой для «Водопада» послужили примерно те же мысли и чувства, которыми некогда была подсказана ода на смерть Мещерского. Державин сам подчеркнул эту связь в строфе, прямо намекающей на начало стихов о Мещерском:

Не зрим ли всякий день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной?
Не слышим ли в бою часов
Глас смерти, двери скрып подземной?
Не упадает ли в сей зев
С престола царь и друг царев?

Но контраст, пленивший Державина, был на сей раз иного оттенка. Мало того, что Потемкин был вырван смертью из сказочного великолепия, пред которым богатства Мещерского — ничто: смерти Мещерского не предшествовала и не сопутствовала та личная трагедия, которой отмечена смерть Потемкина и на которую Державин мог только намекнуть — что, в свою очередь, придало его строфам тайную силу, которой они насквозь пропитаны:

Чей труп, как на распутьи мгла,
Лежит на темном лоне нощи?
Простое рубище чресла,
Два лепта покрывают очи,
Прижаты к хладной груди персты,
Уста безмолвствуют отверзты!

Чей одр — земля; кров — воздух синь;
Чертоги — вкруг пустынны виды?
Не ты ли, Счастьи, Славы сын,
Великолепный князь Тавриды?
Не ты ли с высоты честей
Незапно пал среди степей?

Именно потому, что Мещерский был личностью малозначащей, его смерть давала удобный повод для философствований о смерти вообще. Кончина Потемкина должна была повести вдохновение в сторону истории. За Потемкиным открывалась его эпоха, которая была в то же время эпохой Екатерины и самого Державина. Императрица, безжалостная к бывшему любимцу в последние месяцы его жизни, долго еще не могла без слез вспоминать о нем. То были не просто нервические слезы сентиментальной, но жестокой женщины. Вспоминая Потемкина, Екатерина оплакивала тот невозвратный государственный пафос, который связал ее с Потемкиным в славнейшие годы царствования. Что поделаешь — Зубову приходилось утирать эти слезы. Точно так и Державин, не боясь Зубова, писал «Водопад». Вызывая призрак Потемкина, он в то же время обозревал собственное свое прошлое. Он начал с описания Кивача, олонецкого водопада, и в этом описании потаенно связал личную свою жизнь с предметом стихотворения. Далее, в сущности, не покидая области воспоминаний, он обратился к тому, чем была оживлена его лира в потемкинскую эпоху. «Водопад» потому и писался частями, что Державин в нем произвел как бы смотр излюбленным своим темам: об игре случая; об олицетворенном в Екатерине государственном эгоизме России, в который все личные судьбы и подвиги впадают, как водопадные реки в озеро, и, наконец — о всеобщем мире, в котором должны исчезнуть отдельные государственные эгоизмы. Не удивительно, что при замысле столь обширном Державин на сей раз двинул в бой и все лучшие силы своей поэтики. Словом, «Водопад» стал итогом пройденного пути. Недаром писался он с 1791-го по 1794 год, в ту именно пору, когда екатерининская эпоха близилась к своему естественному концу и надвигался перелом в личной жизни самого Державина. Накануне этих событий суждено было разрешиться и тому недоумению, которое долгие годы управляло его судьбой. Екатерина и Державин встретились, наконец, лицом к лицу.

* * *

Общеизвестно стремление Екатерины к ограничению власти Сената. Во второй половине 1791 года ей представился случай подчинить действия Сената ближайшему своему контролю. Обнаружилось, что 2-й департамент допускает перенос нерешенных дел из одной губернии в другую. Екатерине это показалось незаконно. Желая себя проверить, она поручила Зубову изучить вопрос. Неопытный в делах Зубов частным образом обратился за помощью к Державину, как не раз делал и прежде. Державин дал заключение, совпавшее со взглядом императрицы. Увидя из этого, что Державин не склонен отстаивать интересы Сената, императрица решила поручить ему просмотр всех сенатских мемории и составление особых замечаний о найденных нарушениях закона. Если бы во главе Сената по-прежнему стоял Вяземский, он, может быть, сумел бы предотвратить появление Державина в новой должности. Но Вяземский уже два года лежал в параличе; его заменял Колокольцов, обер-прокурор того самого 2-го департамента, в котором открылись непорядки. Екатерина накричала на Колокольцова, тот растерялся, и назначение Державина состоялось. Официально он был назначен таким же кабинетским секретарем, как Безбородко и Храповицкий. 13 декабря 1791 года последовал высочайший указ Сенату: «Всемилостивейше повелеваем действительному статскому советнику Гавриилу Державину быть при нас у принятия прошений». По этому поводу было много шуму. В иностранных газетах даже писали, будто Екатерина *отдала Сенат во власть Державину*. Это, конечно, был вздор. Властвовать над Сенатом она собиралась сама. Что же касается Державина, то выбор пал на него довольно случайно. Обратись Зубов к кому-нибудь другому — Екатерина взяла бы другого.

Таковы были обстоятельства, при которых певец Фелицы стал ее секретарем. Во дворце отвели ему комнату для занятий — рядом с комнатой Храповицкого.

В частной жизни Державин был прям, подчас грубоват (мужицкой, солдатскою грубостью), но добр, благодушен, особенно с людьми бедными или ниже его стоящими. Но лишь только дело касалось службы или того, что считал он гражданским долгом,— благодушие тотчас покидало его. Изредка он, пожалуй, и в службе мог быть снисходителен, но не иначе, как с подчиненными: Грибовского в свое время вынул он из петли. Зато чем выше стоял человек, тем взыскательней был Державин, тем менее соглашался ему прощать. К императрице он был беспощаден. От той, которая некогда, хоть неведомо для себя, была его первой наставницею в науке гражданских доблестей, он требовал совершенства.

На руках у Екатерины было огромнейшее хозяйство, а за плечами — тридцатилетний государственный опыт. Круг забот у нее был не тот, что был у Державина с его сенатскими мемориями да еще некоторыми делами — по большей части не первой важности. Будучи точен, трудолюбив, исполнителен, он каждое дело изучал насквозь и вместо того, чтобы изложить только суть, каждый раз хотел все свои познания полностью передать государыне. Высокий, жилистый, узколицый, шагом солдатским, а не придворным проходил он по залам в ее причудливые покои. По делу иркутского наместника Якоби, обвиненного Сенатом, он явился докладывать с целой шеренгою гайдуков и лакеев, которые несли превеликие кипы бумаг. Екатерина с досадою приказала все это унести, но Державин не сдался: он заставил ее каждый день после обеда по два часа заниматься делом Якоби. В низких пуховых креслах (она любила такие) Екатерина вязала иль занималась плетением из бечевок. Он сидел перед ней на стуле и читал голосом ровным и бесстрастным, как сам закон. Если меж ними возникало противоречие, он делался несговорчив. Она теряла терпение и прогоняла его. На другой день, в положенный час, он являлся. Однажды, в зимний метельный день, она заперлась у себя и велела лакею Тюльпину передать Державину ее именем:

— Удивляюсь, как такая стужа вам гортань не захватит.

Державин понял намек, но не дал Фелице уклониться от долга: занятия продолжались. При начале сутерландова дела (о нем речь еще впереди), императрица нашла у себя на столике связку бумаг в салфетке. Вспыхнув, она велела позвать Храповицкого и спросила, что за бумаги. Храповицкий сказал, что не знает, но принес их Державин.

— Державин! — вскричала она. — Так он меня еще хочет столько же мучить, как и якобиевским делом!

Гораздо прежде, нежели Державин впервые прочел Наказ (это собрание аксиом, способных разрушить стены, по насмешливому выражению Никиты Панина) — сама Екатерина успела уже отказаться от философических и неисполнимых мечтаний юности. Причины были неотразимые: если б она упорствовала, то давно бы лишилась трона — примерно так, как упорный Державин дважды лишался своего губернаторства. Наказ был отложен в сторону вместе с прочими сувенирами, и Екатерина очень бывала довольна, когда кое-что из этих возвышенных замыслов удавалось осуществить хотя бы в урезанном виде: потому так любила она свое «Положение о губерниях». Отказавшись от *должного*, она научилась ограничиваться *возможным*,— и была права. Таким образом, она не сделалась идеальной монархиней: удовольствовалась тем, что стала великой. Теперь, к шестидесяти трем годам, это была в высшей степени умная женщина, тонко знающая жизнь и в совершенстве постигшая трудное ремесло государей. Прежде всего, она поняла, что нельзя царствовать в одиночестве — ей во всяком случае; потом, что корысть не последний двигатель даже и лучших государственных людей. Ваятель Шубин простодушно изобразил ее с рогом изобилия, из которого сыплются звезды и ордена. Так и было: она щедро сыпала на людей чины, ордена, почести, деньги, земли. Властию и Россией делилась она с вельможами, полководцами, временщиками. Отсюда рождалось соревнование и развязывалась предприимчивость. Державин думал, что государству полезна одна только безупречная добродетель. Екатерина же научилась пользоваться слабостями человеческими, и самими пороками. Противный ветер она превращала в попутный. Корыстолюбцы не забывали себя, но зато и Россия имела от того свою пользу: кряхтела, но созидалась.

Созидая мощь государства из человеческих слабостей, Екатерина должна была быть в высшей степени снисходительна. Она такой и была, частию по нужде, частию же по склонности. Она не любила бывать обманутой, но против обманщиков не имела злобы в душе. Людей самых обыкновенных, подверженных искушениям, понимала она и умом, и сердцем — и сама старалась быть им понятной: хотела иметь большинство голосов на своей стороне.

Такую-то монархиню вздумал Державин оберегать не только от плутов, казнокрадов, взяточников, но и просто от людей корыстолюбивых, ибо и тень корысти в деле общественном он уже считал преступлением. В крайности он был готов разогнать всех и остаться сам-друг с Фелицей — идеальным слугою при идеальной монархине. Вот это и не годилось; вот потому-то и прежде, когда не на жизнь, а на смерть боролся он с Вяземским, с Тутолминым, с Гудовичем, Екатерина не давала его задушить, но и не давала ему явно торжествовать: она хранила для

своего хозяйства и правых, и виноватых. Обидней того: не виня виноватых, она не вполне верила и в правоту правых. Считала, что все сделаны примерно из одного теста — в том числе и Державин. Однажды возникло подозрение, что он получил взятку. «Товарищи его хотя и не говорили явно, но ужимками своими дали ему то знать. Он сим обиделся, просил государыню, чтобы приказала исследовать. Она, помолчав, с некоторым родом неуважения сказала: — Ну что следовать? Ведь это и везде водится.— Державина сие поразило, и он на тот раз снес сей холодный, обидный ответ».

Зато сам он не мог допустить, чтобы божество в чем-либо погрешило. Она же не мнила себя божеством и к собственным слабостям так же была снисходительна, как к чужим. Имела пристрастия, предубеждения. Однажды в гневе спросила, что побуждает его ей перечить. Он ответил с твердостию:

— Справедливость и ваша слава, государыня, чтоб не погрешили чем в правосудии.

Она же «не всегда держалась священной справедливости». Державин не упускал случая указать ей на это; может быть, он даже мечтал восхитить ее прямотой своей. Но она, на словах требуя прямоты, про себя более уважала хитрость. Вряд ли Державин казался ей очень умным.

Так называемый придворный банкир Сутерланд был посредником русского правительства при заключении заграничных займов и прочих сделок. На руках у него бывали большие суммы казенных денег, из которых подчас он ссужал разных лиц, особенно из высокопоставленных. Однажды, осенью 1791 года, понадобилось перевести в Англию два миллиона рублей, но денег не оказалось. Куда девались? Сутерланд признался, что часть истратил он на свои нужды, но значительно больше роздал взаймы, а назад получить не может; граф Безбородко и князь Вяземский свои долги отдали, но другие не отдают. Кончилось это трагически — Сутерланд отравился. Императрица приказала расследовать дело, и Державину приходилось не раз по нему докладывать. На докладах Екатерина нервничала, он тоже. Споры так были горячи, что однажды Державин накричал на нее, выбранил и, схватив за конец мантильи, дернул. Государыня позвонила. Вошел Попов (бывший потемкинский секретарь).

— Побудь здесь, Василий Степанович,— сказала она,— а то этот господин много дает воли рукам своим.

Верная себе, на другой день она первая извинилась, примолвя:

— Ты и сам горяч, все споришь со мною.

— О чем мне, государыня, спорить? Я только читаю, что в деле есть, и я не виноват, что такие неприятные дела вам должен докладывать.

— Ну, полно, не сердись, прости меня. Читай, что ты принес.

Он начал читать реестр, кем сколько казенных денег взято у Сутерланда. Первым стоял Потемкин, забравший восемьсот тысяч. Екатерина сказала, что у Потемкина много было расходов по службе, и велела отнести долг за счет казначейства. Из прочих долгов одни приказала взыскать, другие простить. Но когда очередь дошла до великого князя, она вновь пришла в раздражение. Стала жаловаться, что Павел мотает и «строит такие беспрестанно строения, в которых нужды нет». Тут разумела она, конечно, казармы, в которых Павел держал гатчинские свои войска; подозревая мать в самых черных замыслах, Павел все время эти войска увеличивал; Екатерина в ответ усиливала охрану Царского, Павел вновь укреплял Гатчину и так далее: мать с сыном вооружались друг против друга.

— Не знаю, что с ним делать,— сказала Екатерина и, дав волю словам, стала жаловаться на великого князя. Она говорила с жаром, но умолкала порою — как бы ждала согласия. Державин сидел, опустив глаза.

— Что же ты молчишь? — спросила она наконец.

Тогда он тихо проговорил, что наследника с императрицей судить не может,— и закрыл бумагу. Худшего суда, более тяжкого осуждения он не мог бы придумать. Екатерина вспыхнула, закраснелась и закричала в бешенстве.

— Поди вон!

Это странное секретарство длилось почти два года. Они ссорились и мирились. Если ей нужно было его смягчить и чего-нибудь от него добиться, она нарочно при всех отличала его, зная, что ему это льстит: «в публичных собраниях, в саду, иногда сажая его подле себя на канапе, шептала на ухо ничего не значащие слова, показывая, будто говорит о каких важных делах... Часто рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить; но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит; зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить и тому подобное, ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в иступлении сказал: — Боже мой! кто может устоять против этой женщины? Государыня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, чтоб после вчерашнего ничего с вами не говорить; но вы протива воли моей делаете из меня, что хотите.— Она засмеялась и сказала: — Неужто это правда?»

Он научился находить в ней обаяние, которого не знал прежде: обаяние ума, ласки, легкости, мягкости. Научился ценить ее доброту и великодушие. Но все это было человеческое. Той богини, которую создал мечтою и воспевал двадцать лет, во имя которой стоило и прославиться, и страдать, он в ней не нашел.

Ходила молва, что поэты льстят королям. Но в ту пору поэзия была еще голосом славы, и короли тоже льстили поэтам. Прочитав оду на взятие Измаила, Екатерина вновь прислала Державину табакерку, осыпанную бриллиантами, и сказала ему при встрече:

— Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна.

Во время его секретарства она не раз «так сказать прашивала его» писать *вроде Фелицы*. «Хотя дал он ей в том свое слово, но не мог оного сдержать по причине разных придворных кавера, коими его беспрестанно раздражали: не мог воспламенить так своего духа, чтоб поддержать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями. Сколько раз ни принимался, сидя по неделе, для того запершись в своем кабинете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен; все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства». Должно быть, в одно из таких сидений написал он язвительное четверостишие:

Поймали птичку голосисту,
И ну сжимать ее рукой:
Пищит бедняжка, вместо свисту,—
А ей твердят: Пой, птичка, пой!

Итак, он молчал, а Екатерина досадовала: он оказался столь же непокладистым поэтом, как и секретарем. Все кончилось так, как и должно было кончиться. 15 июля 1793 года вечер в Царском Селе был тихий, погожий, меланхолический. Большим обществом вышли в сад, но беседа не ладилась. Государыня была «нечто скучна». Наконец, завели горелки — Екатерина любила смотреть на эту игру. Запели «Гори, гори ясно». Державину с его парою довелось ловить великого князя Александра Павловича. Тот, проворный и легкий, убежал далеко по скользкой росистой лужайке, покатой к пруду. Державин, гонясь за ним, упал, ударился оземь и едва не лишился чувств. Его подняли, в руке оказался вывих. Шесть недель оставался он дома. За это время Екатерину сумели восстановить против него. «Будучи всем ревностию и правдою своей неприятен или, лучше сказать, опасен, наскучил императрице и остудился в ее мыслях».

2 сентября, при праздновании Ясского мира, он был отставлен от секретарства и назначен сенатором. При унижении, до которого был доведен сенат, это было знаком немилости, особенно для Державина, который и сам тому унижению способствовал. В таких обстоятельствах орден Владимира 2-й степени и чин тайного советника были утешением слабым. Уязвленный Державин просил Зубова передать государыне его благодарность. Зубов весьма удивился:

— Неужто доволен?

— Как же,— ответил Державин,— не быть довольну сей монаршей милостию бедному дворянину, без всякого покровительства служившему с самого солдатства, что он посажен на стул сенаторский Российской Империи? Что еще мне более? Ежели ж мои сочлены почитаются, может быть, кем ничтожными, то я себе уважение всемерно сыщу.

В Сенате он принялся обучать сочленов труду, беспристрастию, независимости, знанию законов. Заседания стали сплошными бурями. В ту пору Читалагайскую оду «На знатность» он переделал в «Вельможу». Сенаторы справедливо приняли на свой счет строки самые оскорбительные:

Калигула! твой конь в сенате
Не мог сиять, сияя в злате:
Сияют добрыя дела.
Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
О! тщетно Счастия рука,
Против естественного чина,
Безумца рядит в господина
Или в шумиху дурака.

* * *

В ту пору, когда близостию к престолу стяжались огромные состояния, Державин не приобрел ничего. Семнадцать тысяч штрафу, наложенного по тамбовским делам, насилу с него скостили после бесчисленных просьб. Однако ж, он изворачивался, как изворачивалась покойная мать: земли свои закладывал, перезакладывал, то частию продавал их, то прикупал новые; торговал хлебом, заводил фабрики. Летом 1791 года он купил дом на Фонтанке у Измайловского моста. На отделку и перестройку ушло несколько месяцев. Екатерина Яковлевна, хоть прихварывала, была в больших хлопотах. Дом обставили не роскошно, однако со вкусом; в картинах, в мебели и тому подобном Державины знали толк. По последнему слову моды стены были покрыты *соломенными обоями:* по соломенной плетенке шелками и шерстью вышивались узоры из цветов, фруктов, листьев,

а для больших простенков целые виды и сцены. Вышивала сама Пленира, жена Львова ей помогала. Особенность дома составила диванная комната или просто *диван*, как ее называли; она вся была затянута серпянкой; с потолка, на манер палатки, спускались широкие пологи; в складках материи размещены были зеркала; тут же стояли бюсты хозяина и хозяйки — работа «хитрого каменосечца Рашета». В диване принимали гостей, водили беседы, а иногда и спали:

Сядь, милый гость, здесь на пуховом
Диване мягком, отдохни;
В сем тонком пологу перловом,
И в зеркалах вокруг, усни;
Вздремли после стола немножко:
Приятно часик похрапеть.

Державинские обеды были обильны и превосходны. Между прочим, к одному из них, по просьбе Дмитриева, зван был Фонвизин, которого Дмитриев никогда не видел. То было 30 ноября 1792 года. Фонвизин приехал, или, лучше сказать, его привезли. Он владел лишь одною рукой; одна нога также одеревенела. Два молодых офицера ввели его под руки, усадили. Он говорил диким, охриплым голосом, язык плохо повиновался ему. Однако ж он тотчас завладел беседой и пять часов кряду говорил почти что один — о самом себе, о своих комедиях, о своих путешествиях, о своей славе. В одиннадцать часов его увезли. Наутро он умер.

В общем, бывали у Державиных те же все лица — Дмитриев чаще других, Капнисты, Львовы, Оленин. Подчас из деревни приезжала свояченица Капниста и Львова — Даша, которую видели мы когда-то подростком. Теперь ей минуло двадцать семь лет — она все еще была в девушках, несмотря на свою красоту (все сестры Дьяковы были хороши собой). Высокая и прямая, в обращении жесткая, замкнутая, она поступала во всем расчетливо и умно, играла на арфе правильно и бездушно. При изрядных нравственных качествах, она была лишена обаяния. Ей грозила судьба старой девы, она тайно была влюблена в Державина. Пленира вздумала сватать ее за Дмитриева. Даша сказала:

— Нет, найдите мне такого жениха, как ваш Гавриил Романович, то я пойду за него и надеюсь, что буду с ним счастлива.

Посмеялись и начали другой разговор. Впрочем, миру, который царил в семействе Державиных, не трудно было и позавидовать. За шестнадцать лет произошла между ними, кажется, лишь одна размолвка. Она случилась летом 1793 года. Памятником ее осталось письмо, посланное в Петербург из Царского Села, где Державин в ту пору жил по должности кабинетского секретаря: «Мне очень скучно, друг мой Катинька, вчерась было; а особливо как была гроза и тебя подле меня не было. Ты прежде хотела в таковых случаях со мной умереть; но ныне, я думаю, рада, ежели б меня убило и ты бы осталась без меня.— Нет между нами основательной причины, которая бы должна была нас разделить: то что такое, что ты ко мне не едешь? — Самонравие и гордость. Не хочешь по случившейся размолвке унизиться перед мужем. Изрядно... Стало, ты любишь, или любила меня не для меня, но только для себя, когда малейшая неприятность выводит тебя из себя и рождает в голове твоей химеры, которые (Боже избави!) меня и тебя могут сделать несчастливыми. Подумай-ка об этом хорошенько и, сравнив с собою Фурсову и ей подобных, увидишь, что я говорю правду. Итак, забудь, душа моя, прошедшую ссору; вспомни, что уже целую неделю я тебя не видал и что в середу Ганюшка твой именинник. Приеажай в объятия верного твоего друга».

К несчастию, здоровье Екатерины Яковлевны было плохо. Еще в Тамбове, стоящем среди болот, схватила она лихорадку и в самую тяжкую пору тамошних неприятностей, после ссоры с Чичериною, слегла. Когда переехали в Петербург, болезнь то усиливалась, то ослабевала, но никогда не исчезала совсем. Уже в 1792 году Державин порой падал духом:

Неизбежным уже роком
Разстаешься ты со мной.
Во стенании жестоком
Я прощаюся с тобой.

Обливаюся слезами,
Скорби не могу свести;
Не могу сказать словами —
Сердцем говорю: прости!

Руки, грудь, уста и очи
Я целую у тебя.
Не имею больше мочи
Разделить с тобой себя.

Лобызаю, обмираю,
Тебе душу отдаю,
Иль из уст твоих желаю
Выпить душу я твою.

Однако ж, она поправилась. В апреле 1794 года случился опять сильный приступ болезни, Екатерина Яковлевна совсем была при смерти, но затем стало ей лучше, и Державин возблагодарил Провидение:

Ты возвратило мне Плениру.

На сей раз надежда обольстила его напрасно: Екатерина Яковлевна слегла снова, и дело пошло к развязке. Она умирала в кротости и смирении, как прожила всю прекрасную свою жизнь. Дня за два до кончины она упрашивала Державина съездить в Царское — похлопотать за одного их знакомого:

— Бог милостив,— сказала она,— может, я проживу столько, что дождусь с тобою проститься.

15 июля 1794 года, тридцати трех лет от роду, Пленира отдала Богу душу. Державин ее проводил на кладбище Александро-Невской лавры и написал Дмитриеву в Москву: «Ну, мой друг Иван Иванович, радость твоя о выздоровлении Екатерины Яковлевны была напрасна. Я лишился ее 15-го числа сего месяца. Погружен в совершенную горесть и отчаяние. Не знаю, что с собою делать. Не стало любезной моей Плениры! Оплачьте, музы, мою милую, прекрасную, добродетельную Плениру, которая только для меня была на свете, которая все мне в нем составляла. Теперь для меня сей свет совершенная пустыня»...

И вот — ровно через полгода женился он на другой. Казалось бы, это должно удивить неприятно: неужели другою мог так легко заменить ту, которую так боялся утратить, что обмирал при единой мысли об этом? Ту, без которой еще так недавно сей свет был ему совершенной пустыней? Наконец, зачем же так скоро? Уже самая эта поспешность могла показаться предосудительна в человеке вовсе не молодом — Державину шел пятьдесят второй год. Однако никто не осудил его — ни даже щепетильный Дмитриев, ни чувствительный Карамзин.

Бурный и вспыльчивый по природе, Державин пережил смерть Екатерины Яковлевны тоже бурно и вспыльчиво. Его охватило неистовое отчаяние, в котором минуты тихого, сосредоточенного горя были сравнительно светлыми промежутками. Тогда ему чудилось: тень Плениры витает возле. Он пытался писать к ней стихи — они не давались, не складывались: мысль подавлена была чувством. Но такие состояния бывали не долги. В одиночестве он сумел бы спокойнее и возвышеннее пережить свое горе и тем обрести покой. Он и сам подумывал об отставке и отъезде в деревню, но это было неисполнимо.

За несколько месяцев до того Державин был назначен президентом коммерц-коллегии. Должность была временная, так как коллегию предполагалось вскоре уничтожить. Но Державин принялся за дело рьяно и вскоре обнаружил злоупотребления. Екатерина таких открытий не любила и велела передать Державину, чтоб он отныне лишь числился в должности, «ни во что не мешаясь». Оскорбленный Державин написал Зубову неистовое письмо, в котором коснулся вообще своего положения в службе и прямо высказал разочарование в Екатерине: «Не зальют мне глотки вином,— писал он,— не закормят фруктами, не задарят драгоценностями и никакими алтынами не купят моей верности к моей монархине... Что делать? Ежели я выдался урод такой, дурак, который, ни на что не смотря, жертвовал жизнию, временем, здоровьем, имуществом службе и личной приверженностию обожаемой мною государыне, животворился ее славою и полагал всю мою на нее надежду, а теперь так со мною поступают, то пусть меня уволят в уединении оплакивать мою глупость и ту суетную мечту, что будто какого-либо государя слово твердо, ежели Екатерина Великая, обнадежив меня, чтоб я ничего не боялся, и не токмо не доказав меня в вине моей, но и не объясня ее, благоволила снять с меня покровительствующую свою руку? Имея столько врагов за ее пользы, куда я гожуся, какую я отправлять в состоянии должность?» Не получив ответа, он написал письмо самой императрице — такое, что передать его не решались ни Зубов, ни Безбородко. Тогда Державин передал его через камер-лакея. Прочтя, государыня «вышла из себя, и ей было сделалось очень дурно. Поскакали в Петербург за каплями, за лучшими докторами, хотя и были тут дежурные». Державин в испуге не остался в Царском Селе, а «уехал потихоньку в Петербург» — ждать решения своей участи. Екатерина уничтожила коммерц-коллегию, но отставки Державину не дала. Нечего было думать о ней и теперь. Приходилось с болью в душе кипеть в самой гуще сенатских и придворных дел. Со всеми боярами был он в ссоре, деятельной, полной интриг, препирательств и раздражений. Для элегии в душе не было места. В свободные часы предавался он злобной тоске — а размыкать ее было не с кем: Капнист в деревне, Львов в разъездах, Дмитриев по большей части в Москве. Убегая из дому, Державин «шатался по площади», не находил себе места и действительно не знал, что с собою делать. Тогда он вздумал жениться — «чтоб от скуки не уклониться в какой разврат». (Развратом он звал всякие отклонения от правил доброго общежительства; «шатания по площади» сюда включались). Это решение принял он не потому, что забыл Плениру, но именно потому, что не мог забыть.

Мысль его очень скоро остановилась на Даше Дьяковой, что довольно понятно. Незадолго до Рождества она приехала в Петербург с сестрою, графиней Стейнбок. Державин «по обыкновению, как знакомым дамам, сделал посещение» и принят был весьма ласково. На другой день он послал им записочку, «в которой просил их к себе откушать и дать приказание повару, какие блюда оне прикажут для себя изготовить. Сим он думал дать разуметь, что делает хозяйкою одну из званых им прекрасных гостей, разумеется, девицу, к которой записка была надписана. Она с улыбкою ответствовала, что обедать оне с сестрою будут, а какое

кушанье приказать приготовить, в его состоит воле». Обед прошел очень приятно. Через день Державин, «зайдя посетить их и нашед случай с одной невестой говорить, открылся ей в своем намерении». Благоразумная Даша ответила, что принимает оное себе за честь, но подумает, «можно ли решиться в рассуждении прожитка». Она оказалась даже не прочь рассмотреть его приходные и расходные книги, дабы узнать, «может ли она содержать дом сообразно с чином и летами». Книги она продержала у себя две недели, после чего дала волю нежному чувству и объявила свое согласие. Державин стал любезным и исполнительным женихом. К невесте, которую звал то Дашенькой, то Миленой, ездил он каждодневно, а если не мог — присылал записочки:

«Извини меня, мой милый друг, что тебя сегодня не увижу. К обеду не мог быть для того, что нужда была быть у Васильева, а вечеру кое-кто заехали, а между тем признаюсь, что готова баня, то уже не попаду к вам. Между тем целую тебя в мыслях» и проч.

Или — другая: «Посылаю вам, матушка Дарья Алексеевна, ту материю, о которой вам я вчерась говорил. Я не знаю, увижу ли вас сегодня».

Или еще — в самый день Рождества: «Поздравляю тебя, милый мой друг Дашенька, с праздником, прошу поздравить от меня матушку и всех своих. Извини, что у вас вечеру не был вчерась, не очень что-то был здоров, но сегодня, слава Богу, хоть куды. Поеду во дворец. Думаю обедать дома; а на вечер буду к Николаю Александровичу, где и тебя моя увижу милая, или надобно к тебе приехать? уведомь меня; затем так рано к тебе и посылаю. Между тем целую тебя бессчетно».

Он старался не подать виду, но на душе у него было не легко: память Плениры тревожила его совесть. Ища себе оправдания, он написал замечательные стихи — «Призывание и явление Плениры». Глубокая личная правда здесь выражена сквозь нарядную куплетную форму, подсказанную поэтикой XVIII века:

Приди ко мне, Пленира,
В блистании луны,
В дыхании зефира,
Во мраке тишины!
Приди в подобьи тени,
В мечте иль легком сне
И, седши на колени,
Прижмися к сердцу мне;
Движения исчисли,
Вздыхания измерь
И все мои ты мысли
Проникни и поверь:
Хоть острый серп судьбины
Моих не косит дней,
Но нет уж половины
Во мне души моей.

Я вижу: ты в тумане
Течешь ко мне рекой,
Пленира на диване
Простерлась надо мной,—
И легким осязаньем
Уст сладостных твоих
Как ветерок дыханьем,
В объятиях своих
Меня ты утешаешь
И шепчешь нежно в слух:
«Почто так сокрушаешь
Себя, мой милый друг?
Нельзя смягчить судьбину,
Ты сколько слез ни лей;
Миленой половину
Займи души твоей».

31 января 1795 года Державин ввел новую хозяйку в дом свой. Но воспоминание о Пленире не оставляло его. Часто за приятельскими обедами, которые он так любил, средь шумной беседы иль спора, внезапно Державин задумается и станет чертить вилкою по тарелке драгоценные буквы — К. Д. Дарья Алексеевна, заметив это, строгим голосом выведет его из мечтания:

— Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?

— Так, ничего, матушка! — обыкновенно с торопливостию отвечал он, потирая глаза и лоб, как будто спросонья.

Продолжение следует

НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК СССР

ЕВСЕЙ ЕВСЕЕВИЧ МОИСЕЕНКО

Новые произведения



ДЕВУШКА С БАНТАМИ



ВЕЧЕРОМ НА БАЛКОНЕ. ИСПАНИЯ



ЦЫГАНКА И ПУШКИН



СПАРТАК



ПОРТРЕТ ДАМЫ В БЕЛОЙ ШАПКЕ



В КОЛХОЗ



Владимир АДМОНИ

СТИХИ ТРИДЦАТЫХ, СТИХИ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

1

Иногда становится ясно:
Это — чисто, а это — грязно.

Мы боимся таких минут.

1930

2

Игру страстей оставим Мельпомене
И Мнемозине — память о былом.
А мы живем, не зная изменений —
Ведь только так мы дышим и живем.

1938

3

Но мы не виноваты,
Что мы не автоматы.
Мы мятые, мы жатые,
Но мы не виноватые.
Мы только тварь живая
У барского крыльца.
И ржавые трамваи
Везут нас до кольца.

1938

4

Она все та же — тайная свобода!
Как путь ее нелегок и далек.
С ней Пушкин свыкся,
с ней сдружился Блок.
Когда его настигла непогода.

Все те же камни тех же городов.
Все тот же вереск северного края.
И силу сердца удесятеряя,
К моей свободе я опять готов.

1938

5

Вьется ветер в ветвях.
Вьется ветер на небе.
Облака всех оттенков
и тучи различных цветов
С синевой вперемежку
свое совершают кочевье
Над дорогою долгой
до самых до дальних лесов.
А с изведанным нам
не дано распрощаться, пожалуй.
И у самого устья
яснее далекий исток.
И деревья шумит,
как когда-то судьба бушевала.
Бьется ветер о ветер.
И темен намокший песок.

1984

6

А пепельные старики
Стоят в фойе и смотрят в оба.
Не выпуская из руки
Истасканные номерки
Разобранного гардероба.

1984

7

Не выбирают — себя.
Но изменяют — себе.
Если ты скажешь: «Судьба!» —
Ты подчинился судьбе.

1986

8

Я не был сослан и я не был зэком.
Я просто жил на острие ножа,
Своею жизнью мало дорожа.
И, кажется, остался человеком.

1981

9. ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АННЕ АХМАТОВОЙ

**Я помню бормотанье строк,
Слагающихся за стеною.**

**И неба синего клочок
Над нами раннею весною.**

**И зеркальце у Вас в руках —
И Вы порой в него глядитесь.**

**А слов непорванные нити
Остались навсегда в веках.**

1987

10

Олегу Чухонцеву

**Не мучимся мы, сочиняя стихи —
Мы в искусе древнем полета.
Но мы за свои и чужие грехи
В ответе всегда отчего-то.**

**И с лет изначальных всегда и везде
Тебе состраданье знакомо
И к зимней синице, и к дальней звезде,
И к нашему прежнему дому.**

**И чувствуешь хрупкость существ
и вещей,
Всю их неизбывную бренность,
Стараясь продлить их строкою своей,
В их сути продлить сокровенной.**

1985

11

**Но если не я, то кто же?
Не сбоку — хата. Моя.
И люди из многих множеств
Вспомнят, может быть, тоже:
Кто же, если не я?**

1987

АРТУР КЁСТЛЕР И ЕГО РОМАН

Имя автора «Слепящей тьмы» было когда-то знакомо советским читателям. Летом 1937 года издательство «Молодая гвардия» выпустило в свет его книгу «Беспримерные жертвы», повествующую о зверствах франкистов на захваченной ими территории Испании в первые месяцы фашистского мятежа. В издательском предисловии говорилось, что Кёстлер, будучи корреспондентом английской левобуржуазной газеты «Ньюс кроникл», заслужил почетную ненависть франкистов своими яркими антифашистскими публикациями. Попав в руки фашистов после захвата ими Малаги (это случилось в феврале 1937 года), он был приговорен к расстрелу и избежал казни только благодаря вмешательству иностранных дипломатов и протестам международной общественности. К этому можно было бы добавить, что Кестлер был тогда коммунистом, имел богатейший журналистский опыт, успел побывать и в Советском Союзе. Годом позже журнал «Интернациональная литература» сообщил о выходе в Лондоне новой антифашистской книги Кестлера «Испанское завещание».

Но завязавшийся было диалог Кестлера с советским читателем вскоре прервался. Объяснялось это появлением в 1940 году того самого романа, к печатанию которого приступает сейчас «Нева». Коль скоро в романе «Слепящая тьма» речь шла о беззакониях, порожденных культом личности Сталина, он и его автор были отнесены к разряду антисоветской литературы и тем самым изъяты из нашей духовной жизни. А то, что роман завоевал широкую популярность и был переведен на тридцать языков, делало его особенно вредным в глазах управителей наших идеологических ведомств. С тех пор имя Кестлера, как правило, замалчивалось, а если и упоминалось в той или иной книге или статье, то исключительно в негативном и «разоблачительном» контексте.

Не буду касаться общей оценки сложного и многостороннего литературного и научного наследия Кестлера (он был не только писателем, но и философом, психологом, биологом), тем более что оно еще ждет у нас объективного исследования. Но возьму на себя смелость утверждать, что, по крайней мере, такое его произведение, как роман «Слепящая тьма», заслуживает того, чтобы войти наконец в круг чтения советских людей.

Только нечистая совесть Сталина и его приспешников и догматическая близорукость их духовных наследников могли счесть это выдающееся по своим художественным достоинствам произведение антисоветским. Ибо продиктовано оно было вовсе не враждебностью к Советскому Союзу, вовсе не желанием возбудить к нему ненависть и отвращение, а совсем иными чувствами. Болью, состраданием, отчаянием. И страстным желанием понять, что и почему произошло в стране социалистической революции, так восхищавшей Кестлера ранее. Непосредственной причиной его духовной драмы (а именно так, по моему мнению, следует назвать то, что пережил Кестлер в конце 30-х годов и что побудило его написать этот роман) были московские процессы 1936—1938 годов. Процессы же эти являлись только вершиной гигантской пирамиды репрессий, масштабы и направленность которых казались столь же чудовищными, сколь бессмысленными. Необъяснимым казалось рвение, с которым жертвы процессов, старые заслуженные революционеры, ближайшие и многолетние сподвижники Ленина, обливали себя грязью, признаваясь в диких преступлениях, якобы ими совершенных. Характер судилищ ставил в тупик многих представителей прогрессивной зарубежной общественности, включая и коммунистов (как, естественно, и многих советских людей).

Но представим себе то время. Ощущаемое почти физически приближение новой войны. Наглая агрессивность фашистских держав. Лихорадочные попытки создать боевой союз всех антифашистских сил. И вера в то, что именно СССР — самый надежный, если вообще не единственный, оплот в борьбе против фашизма. В этой обстановке тревожные и непонятные вести, приходившие из Москвы, ставили друзей Советского Союза перед убийственной дилеммой. Нужно было либо просто принять на веру официальную версию о шпионах и врагах народа, проникших во все клетки советского организма, или, на худой конец, отложив на время свои сомнения, опять-таки защищать эту версию, либо, выступая против нее, волей-неволей порывать с прежними единомышленниками и товарищами по борьбе. Других вариантов не существовало. Ведь в те времена любые критические замечания по адресу Советского Союза воспринимались у нас согласно известному и очень навредившему нам лозунгу «Кто не с нами, тот против нас» как враждебные акции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы сами отталкивали и зачисляли в стан врагов даже доброжелательных критиков.

Из названных двух вариантов Кестлер выбрал второй. В итоге он навсегда разошелся с коммунистами и логикой вещей был отброшен в либерально-буржуазный лагерь. Можно

сожалеть о том, что мы лишились талантливого соратника (и, к несчастью, не только его), но едва ли стоит сейчас осуждать или, наоборот, оправдывать его действия. Потрясение оказалось для него слишком сильным, и никакие соображения практической пользы не могли это потрясение нейтрализовать. Художник-мыслитель был в нем сильнее политика-прагматика. А поверить в невероятное было выше его сил. Быть может, эти особенности его индивидуальности и решили его судьбу.

Стремясь добраться до сути потрясших его событий, Кестлер уже полвека назад, по горячим следам, дал убедительную художественную версию обстоятельств, которые привели некоторых представителей старой большевистской гвардии к аресту, самооговору и казни. Именно это стремление и делает его книгу интересной, ценной и нужной нам сегодня. Мы ведь тоже стараемся постичь смысл противоречивого, героического и трагического в одно и то же время, исторического развития нашей страны, исследовать неизведанное, разобраться в том, что пока еще не понято, раскрыть то, что долгие годы было потаенным. В стремлении к постижению истины такие книги, как «Слепящая тьма», могут оказать нам помощь.

Не беда, что перед нами не исторический трактат, а художественное произведение. Раздающиеся сейчас то и дело стенания или возгласы негодования по поводу того, что нетерпеливые писатели, не дожидаясь медлительных историков, узурпировали право освещать наше недавнее прошлое и при этом что-то там искажают и путают,— эти стенания и возгласы, если они вполне добросовестны и не прикрывают задних мыслей, основываются на недоразумении. На непонимании того, что наука и искусство имеют равное право на постижение действительности, все равно, сегодняшней, вчерашней или позавчерашней. Здесь не может быть монополии, как не может быть и соперничества. Наука и искусство дополняют друг друга. И в каких-то сферах, прежде всего в анализе психологии людей, искусство способно дать больше, чем наука. Казалось бы, это — аксиома. Так о чем же спор?

Я не собираюсь заниматься развернутым разбором романа «Слепящая тьма». Пусть он сначала дойдет до читателя. А там, если нужно, появятся и критические разборы. Материала для этого достаточно.

Ограничусь лишь несколькими вступительными замечаниями.

Хотелось бы прежде всего обратиться к тем, кто требует от художественных произведений той же абсолютной точности в фактах и деталях, какими должны отличаться сочинения научные. В романе «Слепящая тьма» такой точности искать не следует. Разумеется, всем с самого начала ясно, где происходят описываемые события. Персонажи носят русские фамилии (или такие, какие автор считает русскими). Но, конечно, Кестлер не случайно нигде точно не обозначает место действия, не называет прямо по имени ни страну, ни город, ни исторических деятелей. В ссылках на исторические события он сознательно допускает много вольностей. Не было, например, того многократно упоминаемого в романе Первого съезда партии, где присутствовали и были запечатлены на фотографии все ее основатели, в том числе и тот, кто впоследствии захватил власть и начал уничтожать своих бывших соратников. Придуманы автором и те поручения, которые якобы выполнял герой романа за границей, изгоняя из партийных рядов разного рода «уклонистов». Вымышлены подробности тюремного быта, следствия и прочее. Наконец, в реальной жизни не было человека с биографией, которой писатель наделил своего героя Николая Рубашова. Конечно, создавая его образ, он придал ему кое-какие черты внешнего и внутреннего облика некоторых лично знакомых ему старых большевиков. Но в целом Рубашов — образ вымышленный и собирательный, искать его прототип бесполезно. То же относится и к другим персонажам романа.

Следовательно, тот, кто вознамерится найти в романе описание реального хода исторического процесса, неминуемо попадет впросак. Приходится предупреждать об этом потому, что реакция отдельных читателей — именитых и рядовых — на романы и пьесы о нашей недавней истории заставляет опасаться, что и тут несогласие с антисталинским, антикультовым пафосом писателя будет прикрываться придирками к «неточностям» и «фактическим ошибкам». Для придания роману большей силы обобщения Кестлер, прекрасно знавший исторические факты, намеренно прибегал к домыслам, упрощениям, «неточностям». На то он и художник.

Но дело не только в фактах. Столь же неправомерно было бы принимать за аутентичное отображение реальности все содержащиеся в романе рассуждения о предпосылках и причинах утверждения личной диктатуры и о подоплеке репрессий. В этих рассуждениях немало глубоких и тонких мыслей, порой предвосхищающих сегодняшнее понимание этих проблем. Но при чтении романа ни на минуту нельзя упускать из виду, что на его страницах рассуждает человек, убеждающий (и в конце концов убедивший) себя в том, что он обязан выполнить «последнее партийное поручение», оклеветать самого себя и умереть как ненавидимый и презираемый всеми «враг народа». Чтобы убедить себя в необходимости такой жуткой смерти, он должен признать неизбежность того, что случилось в партии и стране. Он должен стать на позицию исторического фатализма. И потому не может обойтись без софизмов и передержек. По-видимому, к сходным заключениям, хотя и из других побуждений, пришел и сам автор романа. В этом, повторяю, основа его личной духовной драмы. Сходные фаталистические заключения привели героя романа к смерти, а писателя — к разочарованию в марксизме. Но вступать с ним сейчас в полемику значило бы ломиться в открытую дверь.

Думается, мы, несмотря ни на что, окажемся способными осознать, что наличие объективной почвы для какого-либо явления (в данном случае — культа личности и всего, что с ним связано) отнюдь не тождественно с отсутствием альтернативы, с невозможностью выбора, и что строительство социализма, даже в отсталой стране, отнюдь не предопределяло обязательность и неизбежность победы сталинщины с ее зловещими методами управления и с идолопоклонническим образом мыслей.

Если принять во внимание все то, о чем сказано выше, можно по достоинству оценить непреходящую ценность романа Кестлера: могучее художественное воссоздание гнетущей и губительной атмосферы периода культа личности, калечившей человеческие души, порождавшей взаимную подозрительность, недоверие, «охоту на ведьм», разрушавшей нормальные человеческие связи, насаждавшей произвол и беззаконие. Атмосферы, тысячекратно воспроизводившей ситуацию, при которой лучшие люди страны гибли оклеветанные и ошельмованные на полевка вперед. То, что своим чутьем художника угадал и показал Кестлер,— лишь часть огромной, написанной кровью и слезами, картины. Может быть, даже ве наиболее гуманная, если здесь вообще уместно употреблять это слово, часть. То, что он показал — лишь один — и притом не самый жестокий — из дьявольских способов морального и физического разрушения человеческой личности, практиковавшихся во времена сталинского террора.

Но ведь давно известно, что в части отражается целое.

В. ЧУБИНСКИЙ,
доктор исторических наук, профессор

Артур **КЁСТЛЕР**



Все персонажи этой книги вымышлены автором. Исторические обстоятельства, определившие их поступки, взяты из жизни. Судьба Н. З. Рубашова вобрала в себя судьбы нескольких человек, которые стали жертвами так называемых Московских процессов. Кое-кого из них автор знал лично. Их памяти он и посвящает эту книгу.

Париж, октябрь 1938 — апрель 1940

Диктатор, не убивший Брута, в учредитель республики, не убивший сыновей Брута, обречены править временно.

Маккиавелли, «Беседы»

Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели.

Достоевский, «Преступление и наказание»

ДОПРОС ПЕРВЫЙ

Всякий правитель обагрен кровью.

Сен-Жюст

1

Дверь камеры, лязгнув, захлопнулась.

Рубашов привалился к двери спиной, постоял так несколько секунд и закурил. Справа от него, на узкой койке, лежали два застиранных одеяла и набитый свежей соломой тюфяк. Слева торчал водопроводный кран, железную раковину изъела ржавчина. Возле раковины стояла параша, ее совсем недавно дезинфицировали: он по-

чувствовал запах хлорки. Кирпичные стены глушили звук, но зато по штукатурке у труб отопления перестукиваться было, наверное, можно, да и трубы, разумеется, были звукопроводными. Окно начиналось на уровне глаз, и он мог выглянуть в тюремный двор, не подтягиваясь вверх на прутьях решетки. Все нормально, заключил он.

Рубашов зевнул, снял пальто, свернул его и пристроил в головах койки. Потом внимательно оглядел двор. Подсвеченный лучами фонарей и луны, снег отливал синеватой желтизной. Вдоль стен тянулась расчищенная тропка — значит, здесь разрешались прогулки. До рассвета было еще далеко; звезды, несмотря на блеск фонарей, льдисто и ясно сверкали в небе. По узкому проходу на внешней стене, которая возвышалась против его камеры, вышагивал, словно на параде, часовой — сто шагов вперед и сто назад. Временами желтый свет фонарей взблескивал на штыке его винтовки.

Не отходя от окна, он снял башмаки. Потом устало опустился на койку, положил у ее изножия окурок и несколько минут просидел не шевелясь. А потом еще раз подошел к окну. Тюремный двор был тих и безлюден; часовой начинал очередной поворот; вверху, над зубцами сторожевой башни, серебрился ручеек Млечного Пути.

Наконец он лег, вытянул ноги и плотно укутался верхним одеялом. Его часы показывали пять, и вряд ли здесь подымали заключенных раньше семи, особенно зимой. Он проваливался в сонное забытье и подумал, что его не вызовут на допрос по крайней мере дня три или четыре. Сняв пенсне, он положил его на пол, мимолетно улыбнулся и закрыл глаза. Ему было тепло и удивительно покойно, первый раз за многие месяцы он засыпал без страха перед снами.

Когда надзиратель, не входя в камеру, выключил свет и заглянул в очко, Рубашов, бывший Народный Комиссар, спал, повернувшись спиной к стене и положив голову на левую руку,— рука окостенело протянулась над полом, и только безвольно опущенная ладонь слегка подергивалась.

2

А за час до этого, когда два работника Народного Комиссариата внутренних дел стучались к Рубашову, чтобы арестовать его, ему снилось, что его арестовывают.

Стук стал громче, и Рубашов напрягся, стараясь прогнать привычный сон. Он умел выдираться из ночных кошмаров, потому что сон о его первом аресте возвращался к нему с неизменным постоянством и раскручивался с неумолимостью часовой пружины. Иногда яростным усилием воли он останавливал ход часов, но сейчас из этого ничего не вышло: в последние недели он очень устал, и теперь его тело покрывала испарина, сон душил его, он дышал с трудом, а часы все стучали, и сновидение длилось.

Ему снилось, как обычно, что в дверь барабанят и что на лестнице стоят три человека, которые собираются его арестовать. Он ясно видел их сквозь запертую дверь — и слышал сотрясающий стены грохот. На них была новая, с иголочки, форма — мундиры преторианцев Третьей империи, а околыши фуражек и нарукавные нашивки украшала эмблема молодой Диктатуры — хищный паукообразный крест; в руках они держали огромные пистолеты, а их сапоги, ремни и портупеи удушающе пахли свежей кожей. И вот они уже здесь, в его комнате: двое долговязых крестьянских парней с рыбьими глазами и приземистый толстяк. Они стояли у изголовья кровати, он чувствовал на лице их учащенное дыхание и слышал астматическую одышку толстяка, необычайно громкую в притихшей квартире. Внезапно на одном из верхних этажей кто-то спустил воду в уборной, и трубы наполнились клокочущим гулом.

Часы остановились; стук стал громче; двое людей, пришедших за Рубашовым, попеременно барабанили кулаками в дверь и дыханием согревали окоченевшие пальцы. Но Рубашов не мог пересилить сон, хотя знал, что начинается самое страшное: они уже стояли вплотную к кровати, а он все пытался надеть халат. Но рукав, как нарочно, был вывернут наизнанку, и руке не удавалось его нащупать. Рубашов сделал последнее усилие — напрасно, и на него вдруг напал столбняк: он не мог пошевелиться, с ужасом понимая, что ему необходимо — жизненно важно — вовреми найти этот проклятый рукав. Бредовая беспомощность нескончаемо длилась — Рубашов стонал, метался в кровати, на висках у него выступил холодный пот, а стук в дверь слышался ему, словно приглушенная барабанная дробь; его рука дергалась под подушкой, лихорадочно нашаривая рукав халата,— и наконец сокрушительный удар по голове избавил его от мучительного кошмара.

С привычным ощущением, испытанным и пережитым сотни раз за последние годы,— ощущением удара по уху пистолетом, после чего он и стал глуховатым — Рубашов обычно открывал глаза. Однако дрожь унималась не сразу, и рука продолжала дергаться под подушкой, пытаясь найти рукав халата, потому что, прежде чем окончательно проснуться, он должен был пройти последнее испытание: уверенность, что он пробудился во сне, а наяву снова окажется в камере, на сыром и холодном каменном полу, с парашей у ног и кувшином воды да черствыми крошками хлеба в изголовье.

Вот и сейчас тоскливый страх далеко не сразу отпустил Рубашова, потому что он никак не мог угадать, коснется ли его ладонь кувшина или выключателя лампы на тумбочке. Загорелась лампа, и страх развеялся. Он несколько раз глубоко вздохнул, как бы смакуя воздух свободы, вытер платком вспотевший лоб, промокнул небольшую лысину на макушке и с возвратившейся к нему иронией подмигнул цветной литографии Первого — она висела над кроватью Рубашова, так же как она неизменно висела над кроватями, буфетами или комодами во всех квартирах рубашовского дома, во всех комнатах и квартирах его города, во всех городах его необъятной родины, потребовавшей от него в свое время героических подвигов и тяжких страданий, а сейчас опять распростершей над ним необъятное крыло своего покровительства. Теперь Рубашов проснулся окончательно — но стук в дверь слышался по-прежнему.

3

Двое, которые пришли за Рубашовым, совещались на темной лестничной площадке. Дворник Василий, взятый понятым, стоял у открытых дверей лифта и хрипло, с трудом дышал от страха. Это был худой, тщедушный старик; его задубевшую жилистую шею над разодранным воротом старой шинели, накинутой на рубаху, в которой он спал, прорезал широкий желтоватый шрам, придававший ему золотушный вид. Он был ранен на Гражданской войне, сражаясь в знаменитой рубашовской бригаде. Потом Рубашова послали за границу, и Василий узнавал о нем только из газеты, которую вечерами читала ему дочь. Речи Рубашова на съездах партии были длинные и малопонятные, а главное, Василий не слышал в них голоса своего бородатенького командира бригады, который умел так здорово материться, что даже Казанская Божия Матерь наверняка одобрительно улыбалась на небе. Обычно Василия смаривал сон уже к середине рубашовской речи, и просыпался он только, когда его дочь торжественно зачитывала последние фразы, неизменно покрываемые громом аплодисментов. Ко всякому завершающему речь заклинанию — «Да здравствует Партия! Да здравствует Революция! Да здравствует наш вождь и учитель Первый!» — Василий от души добавлял «Аминь», но так, чтобы дочь не могла услышать; потом он снимал свой старый пиджак, тайком крестился и лез в постель. Со стены на Василия поглядывал Первый, а рядом с ним, приколотая кнопкой, висела старая пожелтевшая фотография командира бригады Николая Рубашова. Если увидят эту фотографию, его, пожалуй, тоже заберут.

На лестничной площадке перед квартирой Рубашова было тихо, темно и холодно. Один из работников Народного Комиссариата — тот, который был помоложе,— предложил пару раз пальнуть в замок. Василий, в сапогах на босу ногу, бессильно прислонился к двери лифта; когда его разбудили, он так испугался, что даже не смог намотать портянки. Старший работник был против стрельбы: арест следовало произвести без шума. Они подышали на замерзшие пальцы и снова принялись ломиться в дверь, молодой стучал рукоятью пистолета. Где-то внизу вдруг завопила женщина. «Уйми ее»,— сказал молодой Василию. «Эй, там,— заорал Василий,— это из органов!» Крик оборвался. Молодой забухал в дверь сапогом. Удары раскатились по всему подъезду. Наконец сломанная дверь распахнулась.

Трое людей сгрудились у кровати: молодой держал в руке пистолет; тот, что постарше, стоял навытяжку, как будто он застыл в положении «смирно»; Василий, чуть сзади, прислонился к стене. Рубашов вытирал вспотевший лоб и, близоруко щурясь, смотрел на вошедших. «Гражданин Николай Залманович Рубашов,— громко сказал молодой работник,— именем Революции вы арестованы!» Рубашов нащупал под подушкой пенсне, вытащил его и приподнялся на постели. Теперь, когда он надел пенсне, он стал похож на того Рубашова, которого Василий и старший работник знали по газетным фотографиям и портретам. Старший еще больше подобрался и вытянулся; молодой, выросший при новых героях, сделал решительный шаг к постели — и Василий, и Рубашов, и старший из работников видели, что он был готов сказать — а то и совершить — неоправданную грубость: его не устраивало возникшее замешательство.

— А ну-ка, уберите вашу пушку, товарищ,— проговорил Рубашов,— и объясните, в чем дело.

— Вы что, не слышали? Вы арестованы,— сказал молодой.— Давайте, одевайтесь.

— У вас есть ордер? — спросил Рубашов.

Старший вынул из кармана бумагу, протянул Рубашову и снова застыл.

Рубашов внимательно прочитал документ.

— Что ж, ладно,— проговорил он.— На чужих ошибках не научишься, мать его...

— Одевайтесь, живо,— сказал молодой. Его грубость вовсе не была искусственной — она составляла основу его характера. «Да, славную мы вырастили смену»,— подумал Рубашов. Он припомнил плакаты, на которых юность всегда улыбалась. «Передайте-ка мне халат,— сказал он,— и хватит вам петушиться тут с вашим пистолетом». Юнец побагровел, но ничего не ответил. Старший передал Рубашову халат,

и тот просунул руку в рукав. «Получилось»,— сказал он с напряженной улыбкой. Остальные не поняли и угрюмо промолчали. Рубашов медленно поднялся с кровати и собрал свою разбросанную одежду. В доме — после оборвавшегося вопля — опять воцарилась глубокая тишина, но у всех четверых было странное ощущение, что жители не спят и, лежа в постелях, стараются даже как бы и не дышать. Потом на одном из верхних этажей кто-то спустил воду в уборной, и трубы наполнились клокочущим гулом.

4

Внизу у подъезда стояла машина — новейшей американской модели. Улица была совершенно темной; обитатели окрестных домов спали — или старательно притворялись, что спят; шофер включил яркие фары, и они поодиночке влезли в машину: сначала работник, что был помоложе, потом Рубашов, потом старший. Шофер, тоже в форме Комиссариата, завел мотор и включил передачу. За углом асфальтовое покрытие кончилось, и, хотя они ехали через центр города — вокруг возвышались современные дома в восемь, девять или десять этажей,— мощенную разбитым булыжником мостовую рассекали глубокие неровные колеи, подернутые льдом и присыпанные снегом. Шофер ехал со скоростью пешехода, однако прекрасно подрессоренная машина скрипела и стонала, как старая телега.

— Давай-ка побыстрей,— сказал молодой, не выдержав повисшей в машине тишины.

Шофер, не оборачиваясь, пожал плечами. Когда Рубашов забирался в машину, тот глянул на него с равнодушной неприязнью. Однажды Рубашову вдруг стало плохо, и водитель вызванной «скорой помощи» бросил на него такой же взгляд. Тряскую, нереально медленную езду по безлюдным, словно бы вымершим улицам, освещаемым дрожащими лучами фар, было мучительно трудно переносить. «Долго нам ехать?» — спросил Рубашов, глядя вперед на разбитую мостовую. Он чуть не добавил «до вашей больницы». «Минут тридцать проедем»,— ответил старший. Рубашов вынул из кармана папиросы, вытряс одну папироску для себя и машинально протянул пачку сопровождающим. Молодой резко мотнул головой, старший вытащил две папиросы и одну передал вперед, шоферу. Тот прикоснулся к козырьку фуражки и, придерживая баранку одной рукой, протянул назад зажженную спичку. У Рубашова немного отлегло от сердца, а потом он ощутил едкий стыд. «Ах, как трогательно»,— подумалось ему. И все же он не смог побороть искушения — опять заговорил, чтоб растопить отчужденность, заморозившую всех четверых.

— Жалко машину,— сказал он негромко.— Мы платим за иностранные автомобили золотом и доканываем их — по нашим-то дорогам — в несколько месяцев.

— Это уж точно. С дорогами у нас пока плоховато,— отозвался тот, что был постарше. По его тону было понятно, что он заметил рубашовскую растерянность. Рубашов ощутил себя бездомной собакой, которой из жалости бросили кость, и тотчас же решил не продолжать разговора. Однако молодой враждебно спросил:

— У капиталистов дороги лучше, что ли?

Рубашов помимо воли улыбнулся.

— А вы когда-нибудь бывали за границей?

— Я и так знаю, что у них делается. На меня-то буржуазная пропаганда не действует.

— Интересно, за кого вы меня все-таки принимаете? — спросил его Рубашов совершенно спокойно. И сразу же, не в силах удержаться, добавил: — Вам следует подучить историю Партии.

Молодой ничего на это не ответил и упрямо уставился в спину шофера. Больше никто не произнес ни слова. Двигатель опять, в третий раз, заглох, и шофер, чертыхаясь, завел его снова. Машина запрыгала по улицам окраины — дорога, впрочем, нисколько не изменилась. Вокруг теснились деревянные домишки, над их покосившимися горбатыми крышами висела холодная бледная луна.

5

В коридорах недавно построенной тюрьмы ярко горели мощные лампы. Безжизненный, ослепительно ровный свет заливал голые беленые стены, двери камер с картонными табличками, на которых были напечатаны фамилии, черные зрачки смотровых глазков и железные галереи второго яруса. Этот жесткий бесцветный блеск и отрывистый, без эха, стук шагов по выложенному каменной плиткой полу казались Рубашову настолько знакомыми, что иллюзия длящегося ночного кошмара не покидала его несколько секунд. Он всячески пытался внушить себе веру в зыбкую нереальность происходящего. «Если я поверю, что сплю,— думал он,— все это, и правда, окажется

сном». Он убеждал себя так напряженно, что у него на миг закружилась голова — и ему стало нестерпимо стыдно. «Назвался спасителем — неси свой крест,— подумал он.— До самого конца». Вскоре надзиратель остановился у двери камеры номер четыреста четыре. Над очком висела белая табличка: «Николай Залманович Рубашов». «Четко работают»,— подумал он; вид заранее приготовленной камеры с именем на двери почти потряс его. Он собирался попросить надзирателя, чтобы тот принес еще одно одеяло, но дверь камеры, лязгнув, захлопнулась.

6

Надзиратель регулярно заглядывал в глазок. Рубашов неподвижно лежал на койке, и только свесившаяся к полу ладонь слегка подергивалась; у изножия койки лежали окурок папиросы и пенсне.

В семь — через два часа после того, как Рубашова привезли и водворили в камеру,— он был разбужен протяжным гудком. Его не мучили обычные сны, и он проснулся хорошо отдохнувшим. Сигнал подъема повторился трижды. Когда отзвуки третьего гудка умерли, камеру затопила тяжелая тишина.

Зимний день только начинался, очертания параши и раковины с краном размывала серая рассветная муть. Черная решетка казалась впечатанной в тусклый прямоугольник окна; слева, вверху, разбитое стекло кто-то заткнул комком газеты. Рубашов поднял пенсне и окурок, а потом опять вытянулся на койке. Надев пенсне, он чиркнул спичкой. Камеру по-прежнему наполняла тишина. Во всех выбеленных известкой сотах этого огромного каменного улья разбуженные люди одновременно подымались и с проклятьями вступали в новое утро. Но обитатели одиночек ничего не слышали — кроме шагов надзирателя в коридоре. Рубашов знал, что одиночная камера будет его домом до самого расстрела. Лежа на спине, он попыхивал папиросой и теребил коротку клиновидную бородку.

«Значит, расстрел»,— думал Рубашов. Помаргивая, он молча смотрел на пальцы своей вертикально стоящей ступни. Ему было тепло, уютно и покойно; он очень устал и хотел задремать, чтобы соскользнуть в смерть, как в сон, не выползая из-под этого тюремного одеяла. «Значит, тебя собираются расстрелять»,— мысленно сказал себе Рубашов. Он медленно подвигал пальцами на ногах, и ему неожиданно припомнились стихи, в которых ноги Иисуса Христа сравнивались с белыми косулями в чаще. Он снял пенсне и потер его о рукав — всем его ученикам и последователям был преносходно знаком этот жест. Он ощущал почти полное счастье, и его страшило только сознание, что когда-нибудь ему придется встать. «Значит, тебя собираются уничтожить»,— пробормотал он и закурил папиросу, хотя их оставалось всего четыре. Первые затяжки на голодный желудок всегда немного пьянили его, а сейчас он и так уже чувствовал экзальтацию, неизменно подымавшуюся в нем всякий раз, когда он заглядывал в глаза смерти. Партия считала это чувство предосудительным, и даже больше — совершенно недопустимым, но ему не хотелось думать о Партии. Он глянул на обтянутые носками пальцы торчащих вертикально вверх ступней и подвигал ими. Потом улыбнулся. Теплая благодарность к своему телу, о котором он никогда не вспоминал, захлестнула Рубашова, а неминуемая гибель наполнила его самовлюбленной горечью. «Старым гвардейцам неведом страх,— негромко, нараспев продекламировал он.— ...Но над ними сомкнулась завеса тьмы... Мы остались последними; скоро и мы... будем втоптаны в прах». Он хотел пропеть заключительную строку, но наполовину забыл мелодию песни. «Скоро и мы»,— повторил он, пытаясь припомнить лица людей, про которых говорили «старая гвардия». В памяти всплыли очень немногие. У первого председателя Интернационала, давно казненного за измену родине, из-под клетчатой жилетки выпирало брюшко — черты его лица Рубашов позабыл. Вместо подтяжек тот носил ремень. Председатель Совета Народных Комиссаров, второй по счету и тоже казненный, грыз в минуту опасности ногти. «История оправдает вас»,— сказал Рубашов, однако он не был в этом убежден. Действительно, ну какое дело Истории до обкусанных в минуту опасности ногтей? Он попыхивал папиросой, вспоминая мертвых и те воистину бесчисленные унижения, через которые они прошли перед смертью. И все же Первый не вызывал в нем ненависти — хотя, без сомнения, должен был вызывать. Он часто смотрел на литографический портрет, неизменно висевший над его кроватью, пытаясь вызвать в себе это чувство. Они давали ему много прозвищ, но утвердилось окончательно одно — Первый. Ужас, который внушал им Первый, укреплялся прежде всего потому, что он, весьма вероятно, был прав, и всем, кого он обрекал на смерть, приходилось признавать, даже с пулей в затылке, что он может оказаться прав. Однако никто в этом не был уверен, а двусмысленные прорицания старухи Пифии, которую они называли Историей, станут понятными только тогда, когда осужденные истлеют в прах.

Рубашов вдруг почувствовал чей-то взгляд и понял, что если он посмотрит в очко, то увидит живой человеческий глаз; вскоре послышался металлический скрип — в двер-

ной замок вставляли ключ. Через несколько секунд дверь открылась. Надзиратель, старик в стоптанных валенках, не входя, спросил:

— Вы почему не встали?

— Я заболел,— ответил Рубашов.

— До завтра вам к врачу обращаться не положено. А что у вас?

— Зуб,— сказал Рубашов.

— Зуб? — удивленно протянул надзиратель, ушел в коридор и захлопнул дверь.

«Вот теперь можно спокойно полежать»,— подумал Рубашов, но покой ушел. Затхлое тепло тюремного одеяла внезапно показалось ему тошнотворным. Он откинул одеяло и, шевеля пальцами, опять посмотрел на свои ноги — от этого ему стало еще тошней. Сквозь дыры в носках виднелись пятки. Он хотел подняться и заштопать носки, но, вспомнив, что надо стучать в дверь и выпрашивать у надзирателя иголку с ниткой, решил пока обойтись без ремонта; да иголку ему бы наверняка и не дали. Его вдруг обуяла тоска по газете. Он так яростно жаждал узнать новости, что услышал шелестящий шорох страниц и ощутил запах типографской краски. Возможно, разразилась новая Революция; возможно, убит какой-нибудь президент; возможно, американцы нашли способ преодолевать силу земного притяжения... Нет, о себе он ничего не узнает: некоторое время внутри страны его арест будет храниться в тайне, но за рубеж известие вскоре просочится, и там, вытащив из газетных архивов его фотографию десятилетней давности, напечатают массу дурацких предположений, почему Первый совершил этот акт. Ему уже расхотелось читать газету; теперь он яростно жаждал узнать, о чем действительно думает Первый, что происходит у него в голове. Он ясно помнил — почти что видел,— как Первый диктует своей стенографистке: приземистый торс неподвижно застыл, вытянутые руки покоятся на столе, губы неспешно формуют слова. Когда диктуют обыкновенные люди, они шагают по своему кабинету, или в задумчивости играют линейкой, или, глубоко затянувшись папиросой, пускают к потолку колечки дыма. Первый не выдувал дымных колец, не играл линейкой, не ходил по кабинету... И тут Рубашов неожиданно заметил, что он-то шагает по своей камере: он встал с койки минут пять назад. К нему вернулась старая привычка — не наступать на швы между плитками пола, и он уже запомнил их расположение. Но его мыслями владел Первый, незаметно превратившийся в свой известный портрет, который висел над каждой кроватью во всех городах и деревнях страны, прицеливаясь в людей неподвижным взглядом.

Рубашов расхаживал взад и вперед между парашей у раковины и койкой — шесть с половиной шагов к окну и шесть с половиной шагов к двери. У окна он, по старой тюремной привычке, поворачивал налево, а у двери — направо: если не менять направления поворота, неминуемо начинает кружиться голова. О чем же все-таки думает Первый? Что происходит в его мозгу? Рубашов мысленно представил себе вскрытый череп вождя и учителя — перед ним возник поперечный срез, прорисованный серой акварельной краской на плотном листе ватманской бумаги, прикрепленной кнопками к чертежной доске. Серые извилины сплетались, как змеи, взбухали, словно бесконечные кишки, выцветали, бледнели и закручивались спиралями, подобно туманностям астрономических карт. Что творилось в этих туманностях? Люди подробно изучили Вселенную и ничего не узнали о собственном разуме. Возможно, поэтому земные историки так и остались до сих пор прорицателями. Возможно, позже, гораздо позже, история с помощью статистических таблиц и анатомических схем станет наукой. Тогда преподаватель, записав на доске строго лаконичное математическое уравнение, выражающее условия жизни масс определенной нации в определенный период, уверенно скажет своим ученикам: «Итак, мы видим объективные факторы, обусловившие данный исторический процесс». Потом, указав на серый чертеж, представившийся Рубашову, добавит: «А это их субъективное отражение, благодаря которому над Восточной Европой первой половины двадцатого века властвовал тоталитарный режим». Пока история не превратится в науку, политика будет кровавым любительством, дурным шаманством и лживой волшбой...

Тишину нарушили мерные шаги. Рубашова обожгла мысль: пытки. Резко остановившись, он замер и прислушался. Возле одной из соседних камер шаги оборвались, звякнули ключи, и раздалась какая-то невнятная команда. Потом снова наступила тишина.

Рубашов, не двигаясь и затаив дыхание, готовил себя к первому воплю. Он помнил, что именно первый вопль, в котором больше страха, чем муки, обычно кажется самым ужасным. Когда истязуемый кричит от боли, к этому привыкаешь довольно быстро, а потом начинаешь даже угадывать, какую сейчас применяют пытку,— по тону, громкости и периодичности воплей. К концу пытки почти все люди, как бы они ни отличались друг от друга, ведут себя примерно одинаково: вопли становятся тише, слабее и постепенно превращаются в хриплые стоны. Вскоре после этого лязгает дверь, снова раздается звон ключей, и очередная жертва заходится в крике еще до того, как начинается истязание,— просто при появлении истязателей в дверях.

Рубашов стоял посредине камеры и напряженно ждал первого вопля. Он медленно потер пенсне о рукав и дал себе слово, что и на этот раз скажет лишь то, что найдет нужным. Он ждал, но тишину ничто не нарушало. Потом послышался перезвон ключей, какие-то слова и стук двери. Шаги приблизились, стали громче.

Он пригнулся и глянул в очко. Напротив, у Четыреста седьмой камеры, стояли два вооруженных охранника, один из которых был очень высоким, три баландера, явно из заключенных — двое держали бачок с чаем, третий нес хлебную корзину,— и старик-надзиратель в стоптанных валенках. Пыток не намечалось: разносили завтрак.

Четыреста седьмой получал хлеб. Его самого Рубашов не видел. Наверное, он, как предписывала инструкция, стоял, отступив на шаг от двери, и молча протягивал вперед руки — они, словно две иссохшие щепки, торчали над порогом затемненной камеры. Ладони были сложены горстью. Получив пайку, арестант схватил ее, и руки исчезли. Дверь захлопнулась.

Рубашов оторвал взгляд от глазка. Машинально потерев пенсне о рукав, он надел его, облегченно вздохнул и потом, в ожидании первого завтрака, снова принялся шагать по камере, негромко насвистывая какую-то мелодию. Бледные ладони Четыреста седьмого вызвали у Рубашова смутное беспокойство. Очертания этих протянутых рук и даже синеватые тени на них были ему вроде бы знакомы — знакомы, словно полузабытый мотив или запах узенькой улочки, наполненной гулом близкого порта.

7

Двери камер открывались и закрывались, но к нему пока что никто не входил. Он нагнулся и заглянул в очко, с нетерпением думая о горячем чае. Когда кормили Четыреста седьмого, Рубашов видел белесый пар, подымавшийся вверх над бачком без крышки, и полупрозрачные ломтики лимона. Он снял пенсне и приник к глазку. Ему было видно четыре камеры — от Четыреста первой до Четыреста седьмой. Над дверьми тянулись металлические перила и за ними — камеры второго яруса. Справа опять появились баландеры — оказывается, они раздавали завтрак сначала заключенным нечетных камер, а теперь шли по его стороне. Настала очередь Четыреста восьмого, но Рубашов видел только спины охранников с пистолетными кобурами на поясных ремнях; баландеры и надзиратели стояли чуть дальше. Лязгнула дверь, теперь процессия приближалась к Четыреста шестой камере. Рубашов опять увидел баландеров, пар над чаем и корзину с хлебом. Они миновали Четыреста шестую — значит, камера была пустой; прошли не останавливаясь, мимо Рубашова и двинулись дальше, к Четыреста второй.

Рубашов забарабанил в дверь кулаками. Баландеры, несущие чай, обернулись и нерешительно глянули друг на друга. Надзиратель сосредоточенно возился с замком и делал вид, что ничего не слышит. Охранники стояли к Рубашову спиной. Четыреста второй получил хлеб, и все шестеро явно собрались уходить. Рубашов застучал что было сил, потом сорвал с ноги ботинок и начал барабанить в дверь каблуком.

Высокий охранник не спеша оглянулся и безо всякого выражения посмотрел назад. Надзиратель захлопнул дверь камеры. Баландеры с чаем на секунду замешкались. Охранник дал приказание надзирателю, тот безразлично пожал плечами и медленно двинулся к рубашовской камере. Баландеры с чаем пошли за ним, третий баландер пригнулся к очку и что-то сказал Четыреста второму.

Рубашов отступил на шаг от двери, но ему внезапно расхотелось завтракать. Бачок с чаем уже не парил, а лимонные дольки в бледно-желтой жиже казались вконец раскисшими и осклизлыми.

В замочной скважине заскрежетал ключ, к очку приник человеческий глаз и сразу же исчез. Дверь открылась. Рубашов тем временем сел на койку и сейчас надевал снятый башмак. Надзиратель широко распахнул дверь, и высокий охранник шагнул в камеру. У него был круглый выбритый череп и пустой, ничего не выражающий взгляд. Сапоги и форменные ремни скрипели; Рубашову показалось, что он ощутил удушливый запах свежей кожи. Охранник остановился возле параши и не торопясь оглядел камеру, которая сразу сделалась меньше — просто от присутствия этого человека.

— Камера не убрана,— сказал охранник,— а вам наверняка известны инструкции.

— На каком основании я лишен завтрака? — Рубашов сквозь пенсне посмотрел на охранника и увидел по петлицам, что это следователь.

— Если вы хотите обратиться с просьбой, встаньте,— негромко проговорил следователь.

— У меня нет ни малейшего желания ни разговаривать с вами, ни обращаться к вам с просьбой,— ответил Рубашов, зашнуровывая ботинок.

— Тогда больше не стучите в дверь, иначе к вам будут применены обычные в таких случаях дисциплинарные меры.— Следователь снова оглядел камеру.— У заключенного нет тряпки для уборки,— проговорил он, обращаясь к надзирателю.

Надзиратель подозвал баландера с корзиной, что-то негромко ему приказал, и тот рысцой побежал по коридору. Подошли баландеры, разносившие чай, и, не скрывая любопытства, уставились на Рубашова. Второй охранник, тоже, видимо, следователь, так и не повернулся к рубашовской камере.

— У заключенного нет, между прочим, и завтрака,— сказал Рубашов, завязывая шнурок.— Ему не понадобится объявлять голодовку. Что ж, у вас гуманнейшие методы.

— Вы ошибаетесь,— проговорил следователь ровным, ничего не выражающим голосом. На его круглом выбритом черепе Рубашов увидел широкий шрам, а на груди — ленточку Ордена Революции. «Выходит, и ты участвовал в гражданской войне»,— с невольным уважением подумал Рубашов. А впрочем, все это было давно и не имеет теперь никакого значения.

— Вы ошибаетесь. Больным заключенным питание назначается после осмотра врача.

— У него зуб,— уточнил надзиратель. Он стоял, прислонившись к двери, в своих стоптанных набок валенках и заляпанной жирными пятнами форме.

— Понятно,— сказал Рубашов, сдерживаясь. У него вертелся на языке вопрос, давно ли передовая революционная медицина изобрела способ лечить больных принудительным голодом,— но он промолчал. Ему было тошно от этого разговора.

В камеру вбежал запыхавшийся баландер и подал надзирателю заскорузлую тряпку. Тот взял ее и бросил к параше.

— Есть у вас еще какие-нибудь просьбы? — безо всякой иронии спросил следователь.

— Есть,— устало ответил Рубашов.— Избавьте меня от вашего присутствия.— Следователь двинулся к выходу из камеры. Надзиратель звякнул связкой ключей. Рубашов отвернулся и подошел к окну. Когда дверь, лязгнув, захлопнулась, он вспомнил, что о самом-то главном забыл, и, рванувшись к двери, застучал по ней кулаками.

— Бумагу и карандаш! — заорал он, приставив губы к смотровому глазку. Потом торопливо сдернул пенсне и посмотрел, остановились они или нет. Но, хотя кричал он изо всех сил, никто, видимо, его не услышал. Последнее, что он разглядел в очко, была спина высокого следователя с пистолетной кобурой на поясном ремне.

8

Рубашов размеренно ходил по камере — шесть с половиной шагов к окну, шесть с половиной шагов обратно. Его растревожил разговор со следователем, и теперь, потирая пенсне о рукав, он припоминал каждое слово. Следователь вызвал в нем вспышку ненависти, и он хотел сохранить это чувство: оно помогло бы ему бороться. Однако застарелая пагубная привычка становиться на место своего противника принуждала его разглядывать себя глазами только что ушедшего следователя. Вот он сидел тут, этот бывший — наглый, самонадеянный бородатый человечишка,— и с вызывающим видом натягивал ботинок, демонстрируя драные вонючие носки. Да, у него были заслуги в прошлом, но тот, уважаемый всеми Рубашов, произносивший с трибун пламенные речи, очень уж отличался от этого, в камере. «Так вот он какой, легендарный Рубашов,— думал Рубашов за следователя со шрамом.— Хнычет, как школьник, что его не накормили. А в камере грязь. На носках — дырки. Типичный мягкотелый интеллигентишка-нытик. Принципиальный или нанятый — разницы-то нету — враг установленных законом порядков. Нет, не для таких мы делали Революцию. Он нам помог ее делать, верно — в те времена он был бойцом,— но сейчас эту самовлюбленную развалину, этого заговорщика пора ликвидировать. А может, и раньше он только представлялся — сколько их вспенилось, мыльных пузырей, которые потом с треском полопались. Да разве уважающий себя человек будет сидеть в неубранной камере?»

Рубашов подумал, не вымыть ли пол. Несколько секунд он стоял в нерешительности, потом потер пенсне о рукав, надел его и медленно подошел к окну.

Сероватый, по-зимнему неяркий свет смягчил зловещую желтизну фонарей; казалось, что днем выпадет снежок. Было около восьми утра, значит, Рубашов вступил в эту камеру всего-навсего три часа назад. Двор окружали тюремные корпуса; тускло чернели зарешеченные окна; вероятно, за ними стояли заключенные и так же, как он, смотрели во двор; но ему не удавалось их разглядеть. Снег во дворе серебрился настом, под ногами он стал бы весело похрустывать. По обеим сторонам узкой тропы, которая огибала заснеженный двор примерно в десяти шагах от стен, возвышались белые холмистые насыпи. На сторожевой дорожке внешней стены шагал туда и обратно часовой. Один раз, поворачивая назад, он плюнул — плевок описал дугу, и часовой с любопытством посмотрел вниз.

«Пагубная болезнь,— думал Рубашов.— Революционер не может считаться с тем, как другие воспринимают мир».

Или — может? И даже должен?

Да, но отождествляя себя с другими, он не сможет изменить мир.

Или — только тогда и сможет?

Тот, кто понимает других — и прощает,— может ли он решительно действовать?

Или — не может никто другой?

«Значит, расстрел,— думал Рубашов.— Мои побуждения никого не интересуют». Он прислонился лбом к окну. Двор внизу был безмолвным и белым.

Несколько минут он стоял неподвижно, бездумно прижимаясь к льдистому стеклу. А потом до его сознания дошло, что он слышит негромкий, но настойчивый стук.

Он оглянулся и напряженно прислушался. Постукивание было таким осторожным, что сначала ему не удавалось понять, справа или слева оно рождается. А пока он соображал, постукивание стихло. Тогда он начал стучать сам — в стенку у параши, Четыреста шестому, но не получил никакого ответа. Он подошел к противоположной стене, отделяющей его от Четыреста второго, и, перегнувшись через койку, тихонько постучал. Четыреста второй сразу же откликнулся. Рубашов удобно устроился на койке — так, чтобы все время видеть очко,— и с бьющимся сердцем принялся слушать. Он всегда волновался при первых контактах.

Четыреста второй явно вызывал его: три удара — небольшая пауза, опять три удара — снова пауза, и опять три удара с короткими интервалами. Рубашов аккуратно повторил всю серию, давая понять, что сигнал принят. Ему не терпелось поскорее выяснить, знает ли сосед «квадратическую азбуку»,— если она была ему не знакома, обучение продлилось бы довольно долго. Массивная стена глушила звук, и Рубашову, для того чтобы слышать соседа, приходилось прижиматься к ней головой, да при этом внимательно следить за глазком. Четыреста второй был явно ветераном: он отстукивал буквы неторопливо и четко, каким-то нетяжелым, но твердым предметом, скорее всего огрызком карандаша. Рубашов практиковался очень давно и сейчас, считая размеренные удары, старался представить себе всю азбуку, расчерченную на шесть горизонтальных прямоугольников с шестью буквами в каждом из них. Четыреста второй стукнул два раза: второй прямоугольник — от Е до К; потом, после короткой паузы, шесть: шестая буква в ряду — К. Пауза подлиннее, четыре удара, то есть прямоугольник от С до Ц; короткая пауза, и два удара: вторая буква в ряду — Т. Длинная пауза, и три удара: третий прямоугольник, от Л до Р; короткая пауза, и четыре удара, то есть четвертая буква — О. Четыреста второй замолчал.

кто

«Практичный человек,— подумал Рубашов,— узнает, с кем он имеет дело». Правда, по законам революционной этики разговор начинался с программного лозунга, представлявшего политическую платформу собеседника, потом сообщались последние новости, потом — сведения о еде и куреве, и только потом, через несколько дней — да и то не всегда — арестанты знакомились. Впрочем, все это случалось в странах, где Партия, как правило, была нелегальной и уж во всяком случае не стояла у власти,— так что ее члены, ради конспирации, знали друг друга только по кличкам. Здесь обстоятельства были иными, и Рубашов не знал, как ему поступить. Четыреста второй потерял терпение:

кто, снова простучал он.

А зачем скрывать, подумал Рубашов. Он медленно отстукал свое полное имя: **николай залманович рубашов** и стал с интересом ждать результата.

Пауза тянулась довольно долго. Рубашов улыбнулся — он представил себе, как огорошен его сосед. Минута молчания, две, три; Рубашов пожал плечами и встал. Он снова начал шагать по камере, но при каждом повороте на секунду замирал — и слушал. Стена упорно молчала. Тогда он потер пенсне о рукав, устало подошел к смотровому глазку и выглянул в коридор.

Безлюдье и тишина. Мертвый электрический блеск. Ни звука. Почему же Четыреста второй замолчал?

Почему? Да, наверное, просто от страха — ведь Рубашов мог его скомпрометировать. Тихий беспартийный инженер или врач, панически сторонившийся всякой политики. У него не было политического опыта, иначе он не спросил бы фамилии. А взят по мелкому делу о саботаже. Впрочем, взят-то, видимо, давно — перестукиваться он научился мастерски — и вот до сих пор надеется доказать свою полнейшую непричастность к саботажу. Все еще наивно, по-обывательски верит, что виновность или невиновность личности может серьезно приниматься во внимание, когда решаются судьбы мира. По всей вероятности, он сидит на койке, сочиняя сотое заявление прокурору, которое никто не удосужится прочитать, или сотое письмо жене, которого она никогда не получит; он давно перестал бриться, оброс бородой, черной и неопрятной, обкусал до мяса нечистые ногти, а полубезумные эротические видения томят его и ночью и днем. В тюрьме сознание своей невиновности очень пагубно влияет на человека — оно не даст ему притерпеться к обстоятельствам и подрывает моральную стойкость... Внезапно стук раздался снова.

Рубашов сел на койку и вслушался, но он уже пропустил две первые буквы. Четы-

реста второй стучал торопливо и не так отчетливо, как в первый раз,— ему мешало крайнее возбуждение.

...вно пора

«Давно пора»? Этого Рубашов никак не ожидал. Четыреста второй оказался ортодоксом. Он добропорядочно ненавидел оппозицию и верил, как предписывалось, что поезд истории неудержимо движется по верному пути, который гениально указал Первый. Он верил, что и его собственный арест, и все бедствия — от Испании до Китая, от зверского истребления старой гвардии до голода, погубившего миллионы людей,— результат случайных ошибок на местах или дьявольски искусных диверсий, совершенных Рубашовым и его приверженцами. Черная неопрятная борода исчезла: верноподанническое лицо Четыреста второго было выбрито, камера убрана — строго в соответствии с тюремными предписаниями. Переубеждать его не имело смысла: он принадлежал к породе твердолобых. Но обрывать единственную — а возможно, и последнюю — связь с миром тоже не хотелось, и Рубашов старательно простучал:

кто

Ответ прозвучал торопливо и неразборчиво:

а это не твое собачье дело

вам видней, ответил Рубашов и, поднявшись, снова зашагал по камере, резонно считая, что разговор окончен. Однако стук послышался снова, на этот раз громкий и четкий — видимо, взволнованный Четыреста второй, для придания большего веса словам, стучал снятым с ноги ботинком:

да здравствует его величество император

Вот это да, изумился Рубашов. Так значит, Первый не всегда их выдумывал, чтобы прикрывать свои вечные промахи. Воплощением его горячечных фантазий за стеной сидел контрреволюционер и, как ему и полагалось, рычал: «Да здравствует Его Величество Император!».

аминь, улыбаясь, отстукал Рубашов. Ответ прозвучал немедленно:

мерзавец

— и, пожалуй, даже громче величания.

Рубашов забавлялся. Он снял пенсне и, для того чтобы резко изменить тон, простучал в стенку металлической дужкой — нарочито медленно и очень отчетливо:

я мли его величество император

Четыреста второго душило бешенство. Он начал выстукивать **собака,** сбился, но потом его ярость неожиданно схлынула, и он простучал:

за что вас взяли

«Трогательная наивность»,— подумал Рубашов. Лицо соседа опять изменилось. Теперь он выглядел юным поручиком — хорошеньким и глупым. В глазу — монокль. Рубашов отстукал дужкой пенсне:

политический уклон

Короткая пауза. Офицер искал саркастическую реплику. Она не замедлила явиться:

браво волки начали пожирать друг друга

Рубашов не ответил. Хватит, надоело; он встал и принялся шагать по камере. Но Четыреста второй вошел во вкус. Он простучал:

послушайте рубашов

А это уже граничило с фамильярностью. Рубашов коротко ответил:

да

Видимо, Четыреста второй колебался, но все же он отстукал длинную фразу;

когда вы последний раз провели ночь с женщиной

Да, он наверняка носит монокль; возможно, им-то он и стучал, причем его оголенный глаз нервно, в такт ударам, подергивался. Однако Рубашов не почувствовал отвращения. По крайней мере, человек открылся — и перестал кликушески прославлять монарха. Он ответил:

три недели назад

Четыреста второй нетерпеливо простучал:

расскажите

Это уж было чересчур. Рубашов решил прекратить разговор, но понял, что тогда оборвется связь с Четырехсотым и другими заключенными. Ведь Четыреста шестая камера пустовала. Поначалу он не нашелся с ответом. А потом вспомнил довоенную песенку, которую слышал еще студентом,— она сопровождала французский канкан, исполняемый девицами в черных чулочках:

груди что чаши с пенным шампанским

Он надеялся, что соседу понравится. Так и случилось — тот простучал:

валяйте дальше побольше подробностей

Он, без сомнения, сидел на койке и нервно пощипывал офицерские усики. У него обязательно были усики с лихо закрученными вверх концами. Вот невезение — этот чертов поручик связывает его с другими заключенными, так что ему придется угождать. О чем говорили между собой офицеры? О женщинах. Ну, и конечно, о лошадях. Рубашов потер пенсне о рукав, потом добросовестно отстукал продолжение:

бедра как у дикой степной кобылицы

И замолчал: его фантазия истощилась. Больше он ничего придумать не смог. Но Четыреста второй был явно счастлив.

великоле... невнятно простучал он. Он, без сомнения, радостно ржал — и поэтому не смог закончить слово; но в рубашовской камере стояла тишина. Без сомнения, он хлопал себя по коленкам и весело теребил офицерские усики, но Рубашов видел лишь голую стену — мерзко непристойную в своей наготе.

валяйте дальше, попросил поручик.

Однако рубашовская изобретательность иссякла.

хватит, холодно простучал он — и тут же пожалел о своей резкости. Ведь это связной — его нельзя оскорблять. К счастью, Четыреста второй не оскорбился.

прошу вас, лихорадочно отстукал он. Рубашов больше не считал удары: они автоматически превращались в слова. Он как бы слышал голос соседа, умолявший его об эротическом вдохновении. Мольба продолжалась:

дальше прошу вас

Да, он был еще очень молоденьким — скорее всего сын эмигрантов, посланный на родину с фальшивым паспортом,— и теперь он, видимо, ужасно страдал. Он вставил в глаз свой глупенький монокль, нервно пощипывал офицерские усики, обреченно смотрел на беленую стену...

прошу вас

...беленую голую стену — и вот уже пятна сырости на известке приобрели очертания обнаженной женщины с бедрами, как у дикой степной кобылицы, и грудями, что чаши с пенным шампанским.

прошу вас дальше прошу вас прошу вас

Возможно, он стал коленями на койку и протянул руки — как Четыреста седьмой, когда он тянулся за пайкой хлеба.

И сейчас Рубашов наконец-то вспомнил, где он видел этот молящий жест худых протянутых рук... П и е т а!

9

Пиета... Северогерманский город, картинная галерея; понедельник, утро. В зале ни души, только он, Рубашов, да молодой партиец, пришедший на встречу,— они сидели на круглом диванчике, окруженные тоннами женской плоти, когда-то вдохновлявшей фламандских живописцев. Страна замерла в тисках террора 1933 года; вскоре после встречи Рубашова арестовали. Движение в Германии было разгромлено, объявленных вне закона партийцев выслеживали, ловили и безжалостно убивали. Партия распалась: она походила на тысячеголовое умирающее животное — бессильное, затравленное, истекающее кровью. И как у смертельно раненного животного бессмысленно, в конвульсиях, дергаются конечности, так отдельные ячейки Партии корчились судорогами последнего сопротивления. По всей стране были рассеяны группки, чудом уцелевшие во время катастрофы, и вспышки подпольной борьбы продолжались. Партийцы встречались в лесах и подвалах, на станциях метро, вокзалах и полустанках, в музеях, пивных и спортивных клубах. Они постоянно меняли квартиры и знали друг друга только по кличкам. Каждый зависел от своих товарищей, и никто никому ни на грош не верил. Они тайно печатали листовки, пытаясь убедить себя и других, что борьба продолжается, что они еще живы. Они прокрадывались в улочки предместий и писали на стенах старые лозунги, пытаясь доказать, что они еще живы. Они карабкались на фабричные трубы и вывешивали наверху свои старые флаги, пытаясь доказать, что они еще живы. Немногие решались читать листовки — ведь это были послания мертвецов; лозунги стирали, флаги срывали, но и те и другие появлялись снова. Потому что во всех районах страны оставались разрозненные группки людей, метко называвших себя «предсмертниками», которые посвятили остаток своей жизни доказательству того, что они еще живы.

У этих группок не было связи — Партия агонизировала,— но они действовали. И их конвульсиями пытались управлять. Из-за границы прибывали респектабельные дельцы с фальшивыми паспортами и тайными инструкциями — Курьеры. Их ловили и убивали. Вместо убитых приезжали новые. Остановить агонию было невозможно, но лидеры Движения, сидевшие за границей, целенаправленно гальванизировали Партию, чтоб не пропали даром ее предсмертные судороги.

П и е т а... Рубашов расхаживал по камере, забыв о существовании Четыреста второго,— он перенесся в картинную галерею с запахом пыли и паркетной мастики. Он приехал на встречу прямо с вокзала — за несколько минут до условленного срока. Он был уверен, что не привел «хвоста». Свой чемоданчик с образцами продукции датской фирмы зубоврачебных инструментов он оставил в камере хранения. Сидя на круглом

плюшевом диванчике, он рассматривал сквозь пенсне холсты, заполненные женскими телесами,— и ждал.

Молодой человек, известный как Рихард, возглавлявший партийную группку города, опаздывал уже на несколько минут. Он никогда не видел Рубашова — так же как Рубашов не видел его. Опознавательным знаком служила книга, которую Рубашов держал на коленях,— карманное издание гетевского «Фауста». Наконец молодой человек пришел: он увидел книгу, пугливо огляделся и присел на край плюшевого диванчика — примерно в двух шагах от Рубашова; свою фуражку он положил на колени. Молодой человек работал слесарем, но сейчас он надел воскресный костюм, потому что посетитель в рабочем комбинезоне неминуемо привлек бы к себе внимание.

— Я не мог прийти в назначенное время,— проговорил молодой человек,— извините.

— Ладно, неважно,— ответил Рубашов.— Давайте начнем с состава группы. Вы захватили список людей?

Молодой человек, известный как Рихард, покачал головой:

— Какие там списки! Адреса и фамилии я знаю на память.

— Ладно, неважно,— сказал Рубашов.— Хотя и вас ведь могут арестовать.

— Список-то есть,— ответил Рихард.— Я отдал его на хранение Анни. Она моя жена, вот какое дело.

Рихард умолк и сглотнул слюну, резко дернулся его острый кадык. Потом он поднял глаза на Рубашова — в первый раз с тех пор, как пришел,— воспаленные, немного навыкате глаза с белками в сетке розоватых прожилок. Его худые щеки и подбородок покрывала невыбритая утром щетина.

— Они ее забрали, сегодня ночью, вот какое дело,— проговорил Рихард, по-прежнему глядя в глаза Рубашову, и Рубашов прочел в этом взгляде надежду, что он, Курьер Центрального Комитета, совершит чудо и спасет Анни.

Рубашов потер пенсне о рукав.

— Вот как? И список попал в полицию?

— Да нет,— ответил Рихард,— не попал. Когда они пришли ее забирать, в квартире была еще моя свояченица, и Анни успела передать ей список, вот какое дело. Свояченица — наша; зато у ней муж служит в полиции, вот какое дело; ее не тронут.

— Ладно, неважно,— сказал Рубашов.— А вы что делали во время ареста?

— Меня там не было,— ответил Рихард,— я уже три месяца не живу дома, вот какое дело. У меня есть друг; ну и вот, а работает он киномехаником, и, когда вечерние сеансы кончаются, я пробираюсь спать в его будку. Я залезаю туда со двора, по пожарной лестнице... И кино бесплатно.— Он умолк и сглотнул слюну.— Мой друг и Анни давал билеты, бесплатно; а она, как потушат свет, все оборачивалась и смотрела назад. Меня-то она разглядеть не могла, зато я иногда видел ее лицо — если на экране было много света, вот какое дело...

Рихард умолк. Напротив них висела картина, изображающая сцену Страшного Суда,— кудрявые херувимы с жирными задами выдували из труб грозовые вихри. Слева виднелся рисунок пером какого-то старого немецкого мастера, но он был закрыт головой Рихарда и спинкой зеленого плюшевого диванчика; Рубашов рассмотрел только руки Мадонны — худые, протянутые вперед руки с чуть согнутыми, сложенными горстью ладонями да кусочек пустого заштрихованного неба. Рихард все время сидел неподвижно, немного склонив обветренную шею.

— Вот как? А сколько ей лет, вашей жене?

— Семнадцать.

— Вот как? А вам?

— Девятнадцать.

— И дети есть? — Рубашов чуть вытянул шею, пытаясь получше рассмотреть рисунок, однако это ему не удалось.

— Анни беременная,— ответил Рихард.— Это наш первый.— Он сидел неподвижно, напоминая отлитую из свинца статуэтку.

Они помолчали, потом Рубашов попросил продиктовать ему список партийцев. Рихард назвал человек тридцать. Рубашов задал пару вопросов и внес несколько фамилий с адресами в книгу заказчиков датской фирмы, делавшей инструменты для зубных врачей. У него был заранее заготовленный перечень городских дантистов с пропущенными строчками,— их-то он теперь и заполнил. Немного переждав, Рихард сказал:

— А теперь я отчитаюсь в нашей работе.

— Ладно, давайте,— согласился Рубашов.

Рихард сделал подробный доклад. Он сидел совершенно неподвижно, немного ссутулившись и наклонившись вперед, а его красные рабочие руки тяжело и устало покоились на коленях. Он рассказывал о флагах и лозунгах, о листовках, расклеенных в заводских уборных,— монотонно и тускло, словно счетовод. Напротив него толстозадые ангелы недвижимо плавали в грозовых вихрях, которые они сами же и выдували; слева, скрытая диванной спинкой, протягивала худые руки Мадонна, и со всех сторон

их окружала плоть — мясистые ляжки, мощные бедра и огромные груди фламандских женщин.

«Груди, что чаши с пенным шампанским»,— вспомнилось Рубашову. Он остановился — на третьей черной плитке от окна — и прислушался. Четыреста второй молчал. Рубашов подошел к дверному глазку и выглянул — туда, где Четыреста седьмой протягивал за хлебом худые руки. Он увидел черный зрачок очка и стальную дверь запертой камеры. Коридор тонул в глухом безмолвии и бесцветном блеске электрических ламп; было почти невозможно поверить, что за дверьми камер живут люди.

Рубашов терпеливо слушал Рихарда. Из тридцати партийцев, переживших катастрофу, в группке осталось семнадцать человек. Двое — рабочий и его жена — догадавшись, что их пришли забирать, выбросились из окна и разбились. Один дезертировал — уехал, исчез. Двоих считали агентами полиции, но точно никто ничего не знал. Трое сами вышли из Партии, выразив свой категорический протест против политики Центрального Комитета. Четверых и жену Рихарда, Анни, взяли накануне рубашовского приезда; причем двоих сразу же убили. Семнадцать оставшихся расклеивали листовки, вывешивали флаги и писали лозунги.

Рихард рассказывал очень подробно — так, чтобы Курьер Центрального Комитета понял структуру связей в группе и причины наиболее важных акций; он не знал, что у Центрального Комитета имелся свой осведомитель в группе, который ввел Рубашова в курс дела. Он не знал, что этим осведомителем был его друг, киномеханик, давно уже спавший с его женой. Рихард не знал, но Рубашов знал. Партия как организация умерла, выжил единственный партийный орган — Комитет Контроля и Контрразведки — и возглавлял его именно Рубашов. Этого Рихард тоже не знал — он знал, что его Анни арестована, но лозунги и листовки должны появляться, что товарищу из Центрального Комитета Партии следует доверять, как родному отцу, но открыто показывать свою веру нельзя, так же как нельзя проявлять слабость. Потому что чувствительные и слабые люди не годились для борьбы за всеобщее счастье: их безжалостно сметали с пути — в одиночество и тьму беспартийного мира.

Коридор наполнился стуком шагов. Рубашов быстро подошел к двери и, сняв пенсне, заглянул в очко. Двое охранников с кобурами на ремнях вели по коридору деревенского парня; следом за ними шагал надзиратель, негромко позвякивая связкой ключей. Один глаз у парня заплыл, на верхней губе запеклась кровь; проходя мимо рубашовской камеры, он вытер кровоточащий нос; лицо его было тупо терпеливым. Процессия скрылась, потом в отдалении отворилась и с лязгом захлопнулась дверь. Надзиратель и охранники прошли обратно.

Рубашов принялся шагать по камере, и память снова унесла его в прошлое: над ним сомкнулась тишина музея — Рихард закончил свой длинный доклад. Он сидел неподвижно, в двух шагах от Рубашова, положив руки на колени, и ждал. Казалось, он только что закончил исповедь и готовился принять благословение исповедника. Рубашов довольно долго молчал. Потом негромко спросил:

— Все?

Рихард кивнул, его кадык дернулся.

— Кое-что мне в докладе не совсем ясно,— сказал Рубашов,— давайте уточним. Вы упоминали о своих листовках. Их неоднократно и резко критиковали. Там имеется несколько положений, которые не могут быть одобрены Партией.

Рихард испуганно посмотрел на Рубашова. На щеках у него выступили красные пятна; прожилки, испещрившие белки глаз, обозначились еще отчетливей и резче.

— С другой стороны,— продолжал Рубашов,— мы постоянно посылали вам материалы, специально предназначенные для раздачи населению; среди них были пропагандистские брошюры, изданные Центральным Комитетом Партии. Вы получали эти издания?

Рихард кивнул. Его лицо горело.

— Вы не распространяли наши материалы, а сейчас ни словом о них не обмолвились. Вы предпочли распространять свои — не только не одобренные, но осужденные Партией.

— У н-н-нас же н-н-не было д-другого в-выхода,— выговорил Рихард с большим трудом. Рубашов внимательно посмотрел на него; он не замечал, что парень заикается. Вот ведь странно, пришло ему в голову, третий случай за две недели. Интересно, обстоятельства так на них подействовали или само Движение привлекает дефективных?

— В-в-вы сами д-д-должны п-понять, т-товарищ,— продолжал Рихард с возрастающим отчаянием,— у в-в-вашей п-пропаганды н-неправильный тон...

— Успокойтесь,— резко сказал Рубашов.— Говорите тише и не смотрите на дверь.

У входа в зал появилась пара — высокий юнец из преторианской гвардии и с ним дебелая юная блондинка; он обнимал девушку за талию, а она положила ему руку на плечо. Они остановились у картины с херувимами, спиной к Рубашову и его собеседнику.

— Продолжайте говорить,— приказал Рубашов тихим, но совершенно спокойным

голосом и машинально вынул из кармана папиросы. Потом, вспомнив, что здесь не курят, опять положил пачку в карман. Рихард, словно разбитый параличом, завороженно смотрел на вошедших.— Вы давно заикаетесь? — спросил Рубашов и жестким шепотом прошипел: — Отвечайте! И сейчас же прекратите на них таращиться!

— С-с-с-с д-детства, в-временами,— ответил Рихард.

Пара медленно продвигалась к диванчику. Она задержалась у пышной женщины, лежащей без одежды на атласной кушетке, с головой, повернутой в зал, к зрителю. Преторианец сказал что-то смешное, потому что девушка негромко хихикнула, мимолетно оглянувшись на Рубашова и Рихарда. Потом они прошли чуть дальше, к натюрморту с фруктами и мертвым фазаном.

— Может, уйдем? — прошипел Рихард.

— Сидите,— коротко сказал Рубашов. Он боялся, что Рихард, встав, чем-нибудь обязательно себя выдаст.— Мы сидим против света, наших лиц не видно. Вздохните, да поглубже. Это помогает.

Девушка все еще продолжала хихикать, и пара медленно двигалась вперед. Проходя, они посмотрели на сидящих. Потом вроде бы собрались уходить, но девушка показала пальцем на Пиету, и оба остановились около рисунка.

— Это очень мешает, когда я заикаюсь? — спросил Рихард, опустив голову.

— Владейте собой,— ответил Рубашов. Он не хотел, чтобы их разговор приобрел оттенок дружеской беседы.

— Ничего, через пару минут пройдет,— пообещал Рихард, и его кадык дернулся.— Анни тоже потешалась надо мной, когда я заикался, вот какое дело.

Пока пара оставалась в их зале, Рубашов не мог направлять разговор. Спина преторианца в черной форме прочно пригвоздила его к диванчику. Но угроза, нависшая над ними обоими, помогла Рихарду преодолеть неловкость: он даже пересел поближе к Рубашову.

— Ну, а все-таки она меня любила,— добавил он шепотом и почти не заикаясь.— Хотя я никогда ее не понимал. Она не хотела, чтоб у нас был ребенок, да только с абортом ничего не получилось. И может, теперь, раз она беременная, они ничего ей плохого не сделают? Правда, сейчас еще не очень заметно, вот какое дело, но понять можно. Неужели они и беременных бьют?

Кивком головы он указал на юнца, а тот в это время посмотрел назад. Их взгляды встретились. Рихард замер. Потом преторианец наклонился к блондинке и что-то шепнул ей, она оглянулась. Рубашов опустил руку в карман и судорожно сжал пачку папирос. Девушка тихо ответила спутнику и решительно потянула его вперед. Он подчинился, но с явной неохотой. Они медленно вышли из зала, еще раз послышалось приглушенное хихиканье, и их шаги заглохли в отдалении.

Рихард повернулся и проводил их взглядом. Теперь, когда он изменил позу, Рубашов лучше рассмотрел рисунок — бесплотные руки девы Марии с мольбой тянулись к невидимому кресту.

Рубашов мельком глянул на часы. Рихард непроизвольно отодвинулся подальше.

— Итак,— негромко сказал Рубашов,— если я вас правильно понял, вы сознательно скрывали материалы, рекомендованные Партией для распространения, потому что не соглашались с их содержанием. А мы в свою очередь решительно не согласны с содержанием печатавшихся вами листовок. Выводы напрашиваются сами собой.

Рихард поднял на него глаза — воспаленные, иссеченные розоватыми жилками.

— Вы же сами понимаете, товарищ, что в ваших брошюрах понаписаны глупости.— Голос Рихарда звучал безжизненно. Однако заикаться он совсем перестал.

— Нет, этого я не понимаю,— спокойно и сухо возразил Рубашов.

— Ваши брошюры написаны так, как будто с нами ничего не случилось,— бесцветным голосом настаивал Рихард.— Нам устроили кровавую бойню, а вы толкуете про жестокие битвы да про нашу несгибаемую волю к победе — то же самое писали в газетах перед самым концом Мировой войны... Люди прочтут и станут плеваться. Да вы ведь и сами это понимаете.

Рубашов искоса глянул на Рихарда — тот сидел, пригнувшись вперед, утвердив на коленях острые локти и подперев подбородок красными кулаками. Рубашов все так же сухо сказал:

— Вы пытаетесь — во второй уже раз — приписать мне ваше понимание событий. Прошу вас больше этого не делать.

Рихард поднял на него взгляд — в его покрасневших и воспаленных глазах светилось недоверие. А Рубашов продолжал:

— Партия ведет жестокую битву. Хотя другие революционные партии вели битвы и пострашнее этой. Решающим фактором в подобных битвах является несгибаемая воля к победе. Слабовольным, нестойким и чувствительным людям не место в рядах партийных бойцов. Тот, кто пытается сеять панику, объективно играет на руку врагам. Каковы его субъективные побуждения, не играет решительно никакой роли. Он приносит вред Партии, и к нему будут относиться соответственно.

Рихард, опираясь подбородком на кулак, неподвижно смотрел в глаза Рубашову.

— Я приношу вред Партии? Я играю на руку врагам? Так, может, я им, по-вашему, продался? Я или, например, моя Анни?

— В ваших листовках,— продолжал Рубашов все тем же сухим и официальным тоном,— которые, как вы сами же и признали, сочинены вами, говорится следующее: «Мы потерпели полное поражение, мы разбиты, Партия уничтожена; и теперь, чтобы начать сначала, нам надо круто изменить политику...» — А мы называем это пораженчеством. Такие настроения деморализуют Партию и подрывают ее боевой дух.

— Я знаю одно,— сказал Рихард,— людям надо говорить правду. Тем более когда она всем известна. Тут уж скрывать ее и вовсе глупо.

— На недавно закончившемся Съезде Партии,— не меняя тона, продолжал Рубашов,— принята резолюция о тактическом отступлении. Цель маневра — избежать поражения. Съезд отметил, что в настоящее время нецелесообразно менять стратегию.

— Да ведь это же все вранье,— сказал Рихард.

— В таком тоне,— оборвал его Рубашов,— я не могу продолжать разговор.

Рихард не ответил. В зале темнело, очертания херувимов и женских тел становились расплывчатыми и блекло-серыми.

— Простите,— после паузы выговорил Рихард.— Я хотел сказать, что это ошибка. Вы толкуете о «тактическом отступлении», а большинство наших лучших людей уничтожено; вы толкуете о правильной стратегии, а те, кто выжил, так испугались, что толпами переходят на сторону врагов. От ваших резолюций — там, за границей — здесь никому легче не становится.

Сумерки смазали черты его лица. Он помолчал и потом добавил:

— По-вашему, Анни тоже «отступила»? Пожалуйста, товарищ, должны же вы понять — нас тут травят, как диких зверей...

Рубашов не прерывал его. Но Рихард умолк. Сумерки сгустились в тяжелый сумрак. Рубашов потер пенсне о рукав.

— Партия не ошибается,— сказал он спокойно.— У отдельных людей — у вас, у меня — бывают ошибки. У Партии — никогда. Потому что Партия, дорогой товарищ, это не просто группа людей. Партия — это живое воплощение революционной идеи в процессе истории. Неизменно косная в своей неукоснительности, она стремится к определенной цели. И на каждом повороте ее пути остаются трупы заблудившихся и отставших. История безошибочна и неостановима. Только безусловная вера в Историю дает право пребывать в Партии.

Рихард молчал; опершись на кулаки, он не отводил взгляда от Рубашова. Немного переждав, Рубашов закончил:

— Вы скрывали наши материалы, вы зажимали Партии рот. В ваших листовках каждое слово — неверно, а значит, вредоносно и пагубно. Вы писали: «Движение разгромлено, поэтому сейчас все враги тирании должны объединиться».— Это заблуждение. Партия не может объединяться с умеренными. Они неоднократно предавали Движение — и будут предавать его неизменно. Тот, кто заключает с ними союз, хоронит Революцию. Вы говорили: «Когда в доме начинается пожар, с огнем должны бороться все; если мы будем спорить о методах, дом сгорит».— Это заблуждение. Мы заливаем пожар водой, другие подливают в огонь масла. Поэтому, раньше чем объединяться, надо решить, чей метод правилен. Пожарным нужен холодный ум. Ярость и отчаяние — плохие советчики. Партийный курс определен точно — он, как тропа среди горных ущелий. Тот, кто сделает неверный шаг — вправо или влево,— сорвется в пропасть. На пожаре и в горах необходима устойчивость: закружилась голова — и человек погиб.

Вечерний сумрак еще уплотнился, Рубашов не видел рук Мадонны. Дважды продребезжал хриплый звонок — через четверть часа музей закрывался. Рубашов глянул на свои часы; ему оставалось произнести приговор, и на этом встреча будет закончена. Рихард, упершись локтями в колени, молча и неподвижно смотрел на Рубашова.

— Да,— сказал он после долгой паузы,— тут мне с вами спорить не приходится.— Его голос был усталым и тусклым.— Тут вы правы, что и говорить. И про узкую дорожку в горах — тоже... Только мы-то все равно разбиты. А тот, кто остался живой,— дезертирует. Может, потому, что на нашей тропке, в горах-то, было очень уж холодно. Другие — у них и музыка, и знамена, и яркие костры по ночам, чтоб погреться. Может, поэтому они и победили. А мы, хоть и на правильной дороге, да угробились.

Рубашов молчал. Он хотел узнать, не скажет ли Рихард чего-нибудь еще, а уж потом объявить окончательный приговор. Правда, приговор был заранее предрешен — и все же Рубашов терпеливо ждал.

Темнота скрадывала мощную фигуру отодвинувшегося еще дальше Рихарда; он сидел совершенно неподвижно, его широкие плечи ссутулились, локти твердо упирались в колени, а ладони почти закрывали лицо. Рубашов не шевелился и молча ждал.

У него немного ломило челюсть — видимо, разбаливался глазной зуб. Немного погодя Рихард спросил:

— Ну и что же со мной теперь будет?

Рубашов прикоснулся к зубу языком. Ему хотелось потрогать его пальцем, но он сдержался и бесстрастно сказал:

— Мне поручено сообщить вам, Рихард, что Центральный Комитет вынес постановление отныне не считать вас членом Партии.

Рихард не шевельнулся, Рубашов тоже; однако через пару минут он поднялся. Рихард вскинул голову и спросил:

— Значит, для этого-то вы и приехали?

— В основном, да,— ответил Рубашов. Ему давно было пора уйти, но он все стоял у диванчика и ждал.

— Так что со мной будет? — повторил Рихард. Рубашов промолчал, и Рихард спросил:

— В кинобудке мне больше нельзя ночевать?

Рубашов, немного поколебавшись, ответил:

— Да, лучше не надо, Рихард.

И почти сразу же пожалел о сказанном, притом он вовсе не был уверен, что Рихард правильно его поймет. Посмотрев вниз, на ссутуленную фигуру, он закончил:

— Что ж, пора. Выйдем порознь. Всего хорошего.

Рихард выпрямился, но не встал. В темноте Рубашов мог только угадывать, какие чувства выражал взгляд воспаленных, немного навыкате глаз; однако этот отчаявшийся рабочий, окутанный тяжелым вечерним сумраком, отпечатался в его сознании навсегда.

Рубашов вышел из фламандского зала; миновал следующий, такой же темный; под ногами тонко поскрипывал паркет. Пиету он так и не удосужился рассмотреть: худые протянутые руки Марии — вот и все, что ему запомнилось.

У выхода он на минуту остановился. Было зябко, побаливал зуб. Он поплотнее обмотал вокруг шеи выцветший от времени шерстяной шарф. На улицах уже зажглись фонари; просторная площадь перед зданием музея казалась огромной и совершенно безлюдной; вдоль улицы, обсаженной старыми вязами, громыхая и позванивая, катился трамвай. «Интересно, найду ли я здесь такси»,— подумал Рубашов, спускаясь к тротуару.

На последней ступеньке запыхавшийся Рихард догнал его и робко пошел с ним рядом. Рубашов, как бы не замечая спутника, спокойно и размеренно двигался вперед. Рихард был выше и мощнее Рубашова, но сейчас, для того чтобы казаться меньше, он нарочно горбился и укорачивал шаги. Собравшись с духом, он задал вопрос:

— Скажите, это было предупреждение, когда я спросил про моего друга, можно ли мне у него ночевать, а вы ответили, что «лучше не надо»?

Рубашов заметил свободное такси и, свернув, подошел к краю тротуара. Рихард остановился возле него.

— Я сообщил вам все, что мог,— сказал Рубашов и поднял руку.

— В-в-вы об-б-бъявите меня в-врагом? Т-товарищ, т-так же н-нельзя, т-т-товарищ!..— Такси начало понемногу притормаживать — до него оставалось метров пятнадцать. Рихард заглядывал Рубашову в лицо, он горбился и крепко держал его за рукав. Рубашов чувствовал на своем лбу горячее и влажное дыхание Рихарда.

— Они же с-сожрут меня, эти в-волки, я же не в-враг П-а-партии, т-товарищ!

Машина затормозила; было очевидно, что шофер слышал последнее слово. Отсылать его не имело смысла: впереди, как раз по ходу движения и совсем недалеко, стоял полицейский. Таксист, старик в кожаном пальто, смотрел на Рубашова без всякого интереса.

— На вокзал, пожалуйста,— сказал Рубашов. Шофер перегнулся через спинку сиденья и захлопнул за Рубашовым заднюю дверь. Рихард стоял у края тротуара; он до сих пор не надел фуражку; его кадык судорожно дергался. Машина тронулась, набрала скорость, поравнялась с полицейским, проехала мимо. Рубашов не оглядывался, но он знал, что Рихард стоит у края тротуара и с тоской смотрит на огоньки машины.

Они ехали по центральным улицам; шофер поднял правую руку и повернул зеркальце заднего вида — чтобы все время видеть пассажира. Рубашов плохо ориентировался в городе и не мог понять, куда они едут. Вскоре замелькали окраинные улицы; потом показалось большое здание с освещенным циферблатом часов — вокзал.

Здесь у такси не было счетчиков, Рубашов неторопливо вылез из машины и спросил шофера:

— Сколько я вам должен?

— Нисколько не должны,— ответил шофер. У него было старое морщинистое лицо: он вытащил из кармана красную тряпку и тщательно, с трубным гулом высморкался.

Рубашов посмотрел сквозь пенсне на шофера. Они никогда раньше не встречались — в этом он был совершенно уверен. Шофер спрятал тряпицу в карман.

— Таких, как вы, мы возим бесплатно.— Он твердо взялся за ручной тормоз. Потом вдруг протянул Рубашову руку — старческую руку с набухшими венами и грязными, давно не стриженными ногтями.— Желаю удачи,— проговорил он, смущенно улыбаясь. И тихо добавил: — А если вашему молодому другу понадобится какая-нибудь помощь,— запомните: моя всегдашняя стоянка у музея. Для верности скажите ему мой номер.

Рубашов видел, что справа, у столба, стоит, поглядывая на них, носильщик. Он не пожал протянутую руку, а, сунув в нее какую-то монету, молча зашагал к зданию вокзала.

Его поезд отходил через час. Он выпил в буфете дрянного кофе; очень сильно болел зуб. В поезде он довольно быстро уснул, и ему приснилось, что он бежит, а за ним по пятам гонится паровоз. Паровозом управляли таксист и Рихард: они хотели его раздавить, потому что он не расплатился с ними. Колеса громыхали, паровоз приближался, а ноги отказывались служить Рубашову. Когда он проснулся, его мутило; лоб был покрыт холодной испариной; пассажиры поглядывали на него с удивлением. Поезд мчался по вражеской стране; за окном расстилалась глухая ночь; судьба Рихарда ожидала решения; зуб отчаянно, невыносимо болел. Через неделю Рубашова арестовали.

10

Рубашов прижался лбом к стеклу и посмотрел вниз, на тюремный двор. У него, от хождения взад-вперед, гудели ноги и кружилась голова. Часы показывали без четверти двенадцать, а Пиету он вспомнил около восьми — четыре часа беспрерывной ходьбы. Но это нисколько его не удивило: он знал о дневных видениях одиночников и гипнотической отраве беленых стен. Молодой партиец, ученик парикмахера, однажды рассказывал Рубашову о том, как на втором году одиночного заключения, показавшимся ему особенно тяжким, он грезил наяву семь часов подряд и прошел без передышки двадцать восемь километров по камере всего в пять шагов длиной; при этом он стер себе ноги до крови, но ничего не замечал, пока не опомнился.

«Да, рановато»,— подумал Рубашов, прежде у него начинались видения только через несколько недель одиночки. Он заметил и еще одну странность: ему почему-то привиделось прошлое; насколько он знал, узников одиночки одолевают видения их будущей жизни, а если они и вспоминают прошлое, то всегда — каким оно могло бы быть, и никогда — каким оно действительно было. Интересно, много ли еще неожиданностей готовит ему его собственный рассудок? Он знал по опыту, что близкая смерть неминуемо перестраивает психику человека и толкает его на странные поступки,— подобно тому, как близкий Полюс сводит с ума компасную стрелку.

Низкое небо предвещало снегопад; во дворе по узкой расчищенной тропке ходили в паре двое заключенных. Один посматривал на окно Рубашова — видимо, весть о его аресте уже распространилась по всей тюрьме. Вот он опять посмотрел вверх — изможденный человек с желтоватым лицом и рассеченной, «заячьей», верхней губой; он зябко кутался в летний плащ. Второй заключенный, немного постарше, вышел на прогулку в тюремном одеяле. Заключенные явно не разговаривали друг с другом; минут через десять прогулка кончилась; охранник с пистолетной кобурой на ремне увел их как раз в тот самый корпус, который возвышался напротив Рубашова, и, прежде чем дверь корпуса захлопнулась, изможденный арестант с заячьей губой еще раз глянул на рубашовское окно. Самого Рубашова он увидеть не мог — со двора окна тюремных камер наверняка казались совершенно черными,— но взгляд арестанта был странно пристальным. «Я тебя вижу,— подумал Рубашов,— но не знаю, а ты меня не видишь, но знаешь...» Он сел на койку и негромко простучал Четыреста второму:

кто на прогулке

Правда, он боялся, что тот оскорбился и теперь не захочет ему отвечать, но Четыреста второй не был обидчивым:

политические, сразу же откликнулся он.

Рубашов удивился: Заячья Губа больше напоминал бытовика-уголовника.

как вы, спросил он Четыреста второго.

нет как вы, ответил тот — и наверняка ехидно ухмыльнулся. Вторая фраза прозвучала громче — возможно, офицер отстукал ее моноклем: **заячья губа мой сосед четырехсотый его вчера опять пытали.**

Рубашов потер пенсне о рукав, хотя и не собирался его надевать. Он немного подумал и вместо **«за что»** простучал:

как

паровая ванна, ответил Четыреста второй и умолк.

Рубашова избивали не один раз — в частности, во время последнего ареста,— но про нынешние методы он только слышал. Он знал, что любые *ожидаемые* мучения сильный человек способен вытерпеть; их, например, можно перенести, как хирургиче-

скую операцию без наркоза,— удаляют же людям больные зубы. Нестерпимы только непредвиденные муки, когда к ним нельзя заранее подготовиться, чтобы без ошибки рассчитать свои силы. А хуже всего — леденящий страх, что скажешь или сделаешь нечто непоправимое.

какое обвинение

политический уклон, насмешливо ответил Четыреста второй.

Рубашов потер пенсне о рукав, надел его и вынул пачку папирос. Их оставалось всего две штуки.

а у вас как дела, спросил он соседа.

неплохо, простучал поручик и смолк.

Рубашов пожал плечами и встал, потом закурил предпоследнюю папиросу и опять начал шагать по камере. То, что ему предстояло перенести, сейчас, как ни странно, взбодрило его. Угрюмая подавленность неожиданно развеялась, голова стала ясной, нервы успокоились. Он вымыл руки, лицо и шею, прополоскал рот и вытерся платком. Попытался насвистеть какую-то мелодию, оборвал, закашлялся и весело рассмеялся: слух у него всегда был чудовищный. «Если бы Первый любил музыку,— сказал ему недавно один из друзей,— он бы непременно тебя расстрелял».

«А он и расстреляет»,— пробормотал Рубашов, но сейчас в это не очень-то верилось.

Он закурил последнюю папиросу и принялся обдумывать грядущие допросы — чтобы выработать линию поведения. Он чувствовал ту же взволнованную уверенность, какую ощущал в студенческие годы перед особенно трудным экзаменом. Он попытался припомнить все, что слышал о пытке «паровой ванной». Мысленно представил себе — в подробностях — связанные с нею физические муки: ведь ничего сверхъестественного в них не будет. Главное, чтоб его не застали врасплох. Но он успеет приготовиться и здесь — как когда-то успел приготовиться т а м,— его ни в чем не заставят признаться: он скажет лишь то, что найдет нужным. Только скорей бы уж все началось.

Ему вдруг опять припомнился сон — о том, как старый таксист и Рихард гнались за ним на грохочущем паровозе, потому что он не расплатился с ними.

«Теперь-то уж я расплачусь за все»,— подумал он, криво улыбнувшись.

Папироса незаметно догорела до бумаги — он закашлялся и бросил окурок. Хотел раздавить его ногой, но раздумал и, подняв, приставил тлеющий огонь к тыльной стороне своей левой кисти, между двумя голубеющими жилками. Спокойно прижимая огонь к руке, он смотрел на секундную стрелку: операция длилась тридцать секунд. Он остался доволен собой — его рука ни разу не дрогнула, бросил окурок на каменный пол и снова принялся шагать по камере.

Глаз, прижимавшийся в коридоре к очку и внимательно следивший за ним, исчез.

11

Баландеры разносили одиночникам обед, рубашовскую камеру опять пропустили. Смотреть в глазок было бы унизительно, поэтому Рубашов так и не узнал, чем здесь днем кормят заключенных; но запах еды проник в его камеру — и показался ему весьма аппетитным.

Ему до тошноты хотелось курить. Добыть курево было необходимо: иначе он не сможет серьезно сосредоточиться; табак был ему нужнее еды. Минут через тридцать после обеда Рубашов начал барабанить в дверь. Старик-надзиратель не очень спешил: он пришел через четверть часа.

— Чего надо? — спросил он угрюмо, открыв дверь, но не входя в камеру.

— Я хочу купить папирос.

— А у вас есть тюремные талоны?

— У меня есть деньги, но их изъяли.

— В положенное время вам выдадут талоны.

— И сколько же на это полагается времени в вашем образцово-показательном заведении?

— Можете подать официальную жалобу.

— Вам известно не хуже, чем мне, что у меня нет ни бумаги, ни ручки.

— Для приобретения письменных принадлежностей надо иметь тюремные талоны.

В Рубашове подымалось злобное раздражение — дыхание участилось, стало затрудненным — но он сейчас же овладел собой. Надзиратель заметил, что зрачки заключенного жестко блеснули за стеклами пенсне, и ему вспомнилось, что совсем недавно от этих глаз нельзя было спрятаться: портреты арестанта висели повсюду; надзиратель презрительно, по-стариковски усмехнулся и начал не спеша закрывать дверь.

— Старый пердун,— процедил Рубашов, отвернулся от надзирателя и подошел к окну.

— Я подам рапорт,— проскрипел надзиратель,— что вы оскорбляли при исполнении обязанностей.— Дверь камеры, лязгнув, захлопнулась.

Рубашов потер пенсне о рукав и подождал, пока восстановится дыхание. Да, без папирос ему здесь крышка. Немного погодя, он сел на койку и простучал соседу:

у вас курево есть

Четыреста второй откликнулся не сразу. Потом отстукал:

не про вашу честь

Рубашов медленно подошел к окну. Ему представился этот поручик с офицерскими усиками и моноклем в глазу — глаз был водянистый, веко воспаленное; поручик смотрел на беленую стену, разделявшую узников, и глупо ухмылялся. Что творилось у него в голове? Возможно, он думал: «Что — получил?» И еще: «А сколько моих друзей получили от тебя свинцовую пулю?» Рубашов глянул на массивную стену; он чувствовал — там, за этой стеной, лицом к нему стоит офицер, он почти ощущал его дыхание... Сколько офицеров убил Рубашов? Он уже не мог как следует вспомнить. Это ведь было давным-давно, во время Гражданской войны... Так скольких? Десятков семь, а может, и сотню. Тогда-то он был абсолютно прав — не то что в этой истории с Рихардом,— он и сейчас поступил бы так же. Даже если бы заранее знал, что потом Революцию оседлает Первый? Да, даже и тогда — так же.

С тобой — Рубашов посмотрел на стену, за которой стоял Четыреста второй и, возможно, лениво пускал в нее дым,— с тобой я давно расплатился. Сполна. Тут мои счета оплачены Революцией... Ну, что тебе снова неймется?

В камере опять раздавалось постукивание. Рубашов подошел поближе к койке.

...шлаю курево, разобрал он. Потом сосед забарабанил в дверь.

Рубашов замер, затаил дыхание. Через несколько минут послышалось шарканье — к соседней камере подходил надзиратель. Но он не стал открывать дверь.

— Чего надо? — спросил он в очко.

Ответа Рубашов уловить не смог, хотя ему очень хотелось узнать, какой голос у Четыреста второго. Зато он услышал голос надзирателя — тот проговорил намеренно громко:

— Не положено.

Опять недолгая тишина — и скрипучие слова:

— Я подам рапорт, что вы оскорбляли при исполнении обязанностей.

Потом — глохнущее шарканье валенок.

Немного погодя офицер простучал:

они вам устроили особую бдительность

Рубашов не стал отвечать соседу. Ощущая сосущую тоску по куреву, он принялся мерять шагами камеру. Четыреста второй проявил благородство. «Но я и сейчас поступил бы так же,— сказал Рубашов самому себе.— Тогда я был абсолютно прав. А может, я не расплатился и с ним? Может, приходится платить по счетам, даже если ты абсолютно прав?»

Сосущая жажда никотина усилилась, в висках тяжело стучала кровь; Рубашов беспокойно шагал по камере, и вскоре его губы начали шевелиться.

Наступает ли расплата за правое дело? Он был уверен в своей правоте — эту уверенность утверждал в нем разум, есть ли на свете иное мерило?

А может, по тому, иному, мерилу именно уверенность в своей правоте заставляет человека расплачиваться вдвойне — за себя и за тех, кто не знал, что творит?

Внезапно Рубашов опомнился и замер — на третьей черной плитке от окна.

Что это? Приступ религиозного помешательства? Он сообразил, что говорит вслух. Сообразил — однако остановиться не смог.

«Я расплачусь за все»,— сказал он.

И тут — впервые после ареста — его охватил настоящий страх. Он машинально полез в карман, собираясь закурить. Папирос не было. Стена у койки опять ожила:

заячья губа шлет вам привет, внятно отстукал Четыреста второй.

В сознании всплыло запрокинутое вверх желтоватое лицо с рассеченной губой. Страх сменился холодком беспокойства.

как его фамилия, спросил Рубашов.

он не назвался он шлет вам привет, ответил Четыреста второй и смолк.

12

Рубашов чувствовал себя все хуже. Его прохватывала знобкая дрожь. Верхнюю челюсть устойчиво ломило — болел правый глазной зуб, как-то связанный с нервами глаза. Рубашова еще ни разу не кормили, но ему совсем не хотелось есть. Он попытался собраться с мыслями, но сосущая тошнота, дрожь озноба и тяжелые толчки крови в висках разрушали непрочные цепочки логики. В голове крутились всего две фразы: «надо обязательно достать курева» и «теперь-то уж я за все расплачусь».

Его по-прежнему душили воспоминания — глухие голоса и полустертые лица

кружились гудящим мутным хороводом; когда он силился остановить хоровод, задержать в уме какой-нибудь образ, тот оказывался тупо-болезненным; все его прошлое представлялось ему нагноившейся, но кровоточащей раной. Создание Партии, развитие Движения — другого прошлого у него не было; его настоящее, так же как и будущее, было неотделимо от Партии, от Движения; но его прошлое воплощалось в них. А сейчас оно вдруг стало сомнительным. Живую, любимую плоть Партии покрывали отвратительные кровавые язвы. Порочная святыня — возможно ли это? Где и когда к высоким целям шли такими низменными путями? Если они действительно правы и Партия творит волю Истории, значит, сама История — порочна.

Рубашов огляделся — на белых стенах желтоватыми пятнами выступала сырость. Он взял одеяло и укутал им плечи, ускорил шаги; у окна и двери резко поворачивал. Дрожь не унималась. В голове гудело; звучали голоса; он не мог понять, слышит ли он их или у него начались галлюцинации. «Это от зуба,— сказал он себе,— завтра надо обратиться к врачу». Сейчас у него просто не было времени: следовало как можно быстрее выявить истоки порочного курса Партии. Наши принципы, безусловно, верны — почему же Партия зашла в тупик? Общество поразил жестокий недуг. Применяя точнейшие научные методы, мы установили сущность недуга и способ лечения: хирургическое вмешательство. И однако наш целительный скальпель постоянно вызывает все новые язвы. Наши побуждения чисты и ясны — нас должны любить. Но нас ненавидят. Почему к нам относятся со злобой и страхом?

Почему, когда мы говорим правду, она неизменно звучит как ложь? Почему возвещенную нами свободу заглушают немые проклятия заключенных? Почему, провозглашая новую жизнь, мы усеиваем землю трупами? Почему разговоры о светлом будущем мы всегда перемежаем угрозами?

Он задрожал, охваченный ознобом. Ему представилась старая фотография: делегаты Первого съезда Партии. Они сидели за длинным столом: одни — упершись в столешницу локтями, другие — положив руки на колени,— неподвижные, бородатые, истово серьезные,— и глядели в объектив фотоаппарата. Над головой у каждого виднелся кружок, в котором была напечатана цифра, соответствующая номеру фамилии внизу. Все казались непроницаемо важными, и только Председатель, лысоватый человек, которого уже тогда называли Стариком, таил хитровато-довольную ухмылку в прищуренных, по-татарски узких глазах. Справа от него сидел Рубашов. Первый, квадратно-массивный и грузный, терялся в дальнем конце стола. Они напоминали провинциальных интеллигентов — и готовили величайшую в истории Революцию. Их было мало — горстка мыслителей новой разновидности: философы-заговорщики. Они знали европейские тюрьмы, как матерые коммерсанты знают отели. Они мечтали добиться власти, чтобы уничтожить власть навсегда; они мечтали подчинить себе мир, чтобы отучить людей подчиняться. Все их помыслы претворились в дела, все мечты превратились в реальность. Так где же они, эти новые философы? Их мудрые мозги, изменившие мир, получили в награду заряд свинца. Иные застрелились, иных расстреляли. Живы двое или трое изгнанников, бездомных и бессильных. Да Первый; да он.

Его мучила тоска по куреву, одолевала мелкая знобкая дрожь. Постепенно, сам того не замечая, он перенесся в бельгийский город, увидел веселого Малютку Леви с искривленной спиной и трубкой в зубах, почувствовал близость морского порта — запах бензина и гниющих водорослей, прошелся по узким извилистым улочкам с домами, у которых верхние этажи нависали над тротуарами, а из окон мансард свешивалось постиранное утром белье вернувшихся с промысла портовых проституток.

Рубашов приехал в этот городок через два года после встречи с Рихардом. Они ничего не смогли доказать. Во время ареста он почти оглох, на допросах ему повыбивали зубы, он едва не ослеп, потому что однажды не сдернул пенсне,— но ни в чем не признался. Он молчал или лгал — умно, осмотрительно. Он мерил шагами одиночную камеру и корчился от боли в камере пыток; он смертельно боялся и все отрицал; он терял сознание, приходил в себя — для этого его обливали водой,— просил закурить и продолжал лгать. Его не удивляла ненависть истязателей — ее природа была понятной. Правосудие Диктатуры буксовало на месте: от него не добились никаких признаний в решительно ничего не смогли доказать. По недостатку улик его отпустили; потом он был посажен в самолет и привезен на Родину Победившей Революции — домой; его встречали с оркестром. Он принимал многочисленные поздравления, участвовал в митингах, присутствовал на парадах. Изредка, при особо торжественных церемониях, рядом с ним появлялся Первый.

Он жил на чужбине долгие годы и, вернувшись, обнаружил много перемен. Не было половины бородатых философов, запечатленных когда-то групповой фотографией. Даже их фамилии стали запретными и упоминались теперь только для проклятий; один лишь Старик с татарским прищуром, умерший вовремя, избежал этой участи. Его нарекли Богом-Отцом, чтобы объявить Первого Сыном; однако ходили упорные слухи, что Первый подделал завещание Старика. Выжившие философы с групповой фотографии неузнаваемо изменились: сбрили бороды, одряхлели, преисполнились грустного

цинизма. Но Первый не спускал с них орлиного взгляда и временами выхватывал очередную жертву. Остальные сокрушенно били себя в грудь и громким хором каялись в грехах. Не прожив дома и двух недель, Рубашов попросил, чтобы ему поручили какое-нибудь новое задание за границей. «Быстро вы собрались»,— сказал ему Первый, окутанный клубами табачного дыма. Они лет двадцать руководили Партией, но по-прежнему обращались друг к другу на вы. Над Первым висел портрет Старика; когда-то рядом помещалась фотография бородатых философов; теперь ее не было. Они разговаривали очень недолго, зато, когда Рубашов уходил, Первый встал и пожал ему руку — со странной и какой-то нарочитой торжественностью. Впоследствии Рубашов часто размышлял, что же означало это рукопожатие — и усмешливая, сатанински-мудрая ирония, промелькнувшая на прощание в глазах Первого... Рубашов — он все еще ходил на костылях — тяжело заковылял к двери кабинета; Первый не стал его провожать. Наутро Рубашов уехал в Бельгию.

Сев на пароход, он немного успокоился и тщательно обдумал новое задание. В порту его встретил Малютка Леви, председатель партийной ячейки докеров, понравившийся ему с первого взгляда. Он показывал Рубашову порт и узкие кривые улочки города с такой гордостью, словно сам их создал. Его здесь знали везде и всюду — докеры, матросы, портовые проститутки,— все хотели пропустить с ним стаканчик, а он, подымая трубочку к уху, торжественно отвечал на каждое приветствие. Когда они вышли на рыночную площадь, полицейский весело ему подмигнул; моряки, не знавшие французского языка, дружески хлопали его по плечам; Рубашову все это казалось чудом. Ни о какой ненависти не было и речи: Малютку Леви уважали и любили. Ячейка докеров в этом городке представлялась Рубашову идеально организованной, более монолитной и сплоченной группы он, пожалуй, нигде и не видел.

Вечером Малютка Леви с Рубашовым завернули в один из портовых кабачков. К ним присоединился некто Поль, секретарь партийной ячейки докеров, ушедший из спорта борец-профессионал с лысым черепом, оттопыренными ушами и лицом, изрытым рябинами оспы. Его лысину прикрывал котелок, а пиджак был надет на матросский свитер. Секретарь умел шевелить ушами — при этом его котелок подымался, а потом опять плюхался вниз. Другой партиец, бывший матрос, когда-то написал морской роман, мимолетно прогремевший и сразу забытый; товарищи звали романиста Биллом, он сотрудничал в партийной прессе. Собралось несколько докеров-партийцев — медлительных, крепко пьющих, молчаливых. Появлялись еще какие-то люди; иногда они садились за стол, иногда стоя заказывали выпивку — на всех,— выпивали и молча уходили. Толстяк-хозяин, улучив минутку, тоже подсаживался к их компании. Он играл на губной гармонике. Было довольно много пьяных.

Малютка Леви представил Рубашова как «Товарища Оттуда», без дальнейших объяснений. Он один знал, кто такой Рубашов. Видя, что «Товарищ Оттуда» помалкивает, докеры не лезли к Рубашову с расспросами — лишь изредка кто-нибудь спрашивал его о материальных условиях жизни Там, о зарплате рабочих, распределении земли или успехах тяжелой промышленности. Вскоре Рубашов с удивлением обнаружил, что, зная массу бытовых подробностей, они не имеют ни малейшего представления об общей политической атмосфере в стране. Их волновали тонны угля, как детей волнуют точные размеры одной виноградины в Земле Обетованной. Пожилой докер, стоявший в сторонке, пока Леви его не окликнул, сказал, пожимая Рубашову руку: «Вы здорово похожи на старину Рубашова».— «Да, мне говорили»,— ответил Рубашов. «Старина Рубашов,— воскликнул докер,— вот это парень!» — и радостно выпил. Рубашова освободили месяц назад; а за две недели до освобождения он еще не знал, что останется жив. Хозяин сыграл на губной гармонике. Рубашов закурил и заказал выпивку. Все выпили за его здоровье, за здоровье рабочих, живущих Там; секретарь Поль подвигал ушами — котелок вздернулся и съехал вниз.

Потом Рубашов и Малютка Леви долго сидели в кабачке вдвоем. Хозяин опустил железные жалюзи, положил стулья вверх ножками на столы, ушел за стойку и сейчас же уснул, а Леви рассказал Рубашову свою жизнь. Рубашов вовсе не просил его об этом и с тревогой подумал о завтрашнем дне — товарищи, куда бы он ни приехал, старались рассказать ему о своей жизни. Он собирался встать и уйти, но вдруг почувствовал смертельную усталость — видимо, он переоценил свои силы,— поэтому он сидел и слушал Леви.

Оказалось, что Малютка Леви не бельгиец, хотя он говорил без всякого акцента и горожане считали его своим. Он был выходцем из Южной Германии — работал там плотником, поигрывал на гитаре да почитывал молодежи лекции про Дарвина. Когда Диктатура набирала силы, а Партия собирала оружие для борьбы, в том городке, где жил Леви, разыгрался отчаянно смелый спектакль: из полицейского участка в самом центре города однажды вывезли два легких пулемета, двадцать пистолетов и пятьдесят винтовок. К участку подкатил мебельный фургон с двумя полицейскими в полной форме, дежурному предъявили официальный приказ, и он сам помогал грузить оружие. Позднее, при обыске у одного партийца, оно обнаружилось в другом городе —

партиец прятал его в гараже. Участников акции так и не нашли, а Малютка Леви ушел в подполье. Партийное руководство гарантировало ему, что он получит выездную визу и надежный паспорт на чужую фамилию, однако он ничего не получил, потому что Курьер с деньгами и документами так и не появился в условленном месте.

— Это ведь у нас обычное дело,— заметил Леви. Рубашов промолчал.

В конце концов он прорвался к границе, хотя был объявлен государственным преступником и его небольшую размноженную фотографию с бросающимся в глаза искалеченным плечом послали в каждый полицейский участок. Он пробирался несколько месяцев. Когда ему пообещали помощь и он отправился на встречу с Курьером, денег у него оставалось дня на три. «Раньше я думал,— рассказывал Леви,— что люди питаются древесной корой только в книгах у плохих писателей. На молодых деревьях она ничего». Память заставила его вскочить, и он принес порцию сосисок. Рубашов вспомнил голодовки протеста, вспомнил жидкую тюремную баланду и съел одну из принесенных сосисок.

Леви перешел французскую границу. У него не было ни денег, ни паспорта, поэтому его немедленно задержали, велели убираться из страны и отпустили. «Убираться,— задумчиво повторил Леви.— А убраться я мог разве что на луну». Он обратился за помощью к Партии, но у него здесь не было знакомых партийцев, и о нем принялись наводить справки через партийную секцию Германии. А Малютка Леви продолжал бедствовать; вскоре его опять задержали и на три месяца посадили в тюрьму. Отсиживая срок, он сдружился с бродягой, который был его соседом по камере; Леви растолковал ему смысл решений, принятых на последнем партийном Съезде, а сосед в награду рассказал Леви, как он добывает себе пропитание — он убивал кошек и продавал их шкурки. Когда срок заключения кончился, Леви среди ночи вывезли в лес. Дав ему хлеба, сыра и сигарет, жандармы сказали: «Вон там Бельгия. Если идти все прямо и не сворачивать, через полчаса будешь за границей. А попадешься снова — пеняй на себя».

Недели две он скитался по Бельгии. На просьбу о помощи бельгийские партийцы ответили ему так же, как и французы. Когда его стало тошнить от коры, он решил заняться кошачьим промыслом. За хорошую шкурку молодой кошки он выручал на буханку хлеба и горсть табаку для своей трубки. Однако между поимкой кошки и продажей шкурки лежала операция, на которую не так-то легко решиться. Для того чтобы быстро прикончить кошку, надо было взять ее за уши и хвост, а потом переломить ей хребет об колено. «Сначала меня мутило и рвало, но н привык»,— рассказывал Леви. К несчастью, его опять задержали, потому что в Бельгии, как и во Франции, считалось необходимым иметь документы. Все повторилось — совет убираться, второй арест, тюремное заключение. После трехмесячной тюремной отсидки бельгийские жандармы привезли его в лес. Дав ему хлеба, сыра и сигарет, они сказали: «Вон там Франция. Если идти все прямо и не сворачивать, через полчаса будешь за границей. А попадешься снова — пеняй на себя».

В течение года Малютку Леви гоняли через эту границу трижды — то бельгийские, то французские жандармы. И таких, как он, тут были сотни. Его все время мучила мысль, что он никак не помогает Движению,— он снова и снова взывал к Партии. «Ваша организация еще не сообщила, что вы направлены в наше распоряжение,— отвечали ему руководящие товарищи.— Если вы член Партии, ждите. Надо подчиняться партийной дисциплине». Кошки обеспечивали Леви пропитание; жандармы гоняли его через границу. Прошел год; Леви слабел; по ночам ему снились убитые кошки; вскоре он начал харкать кровью. Его преследовал кошачий запах: табак, трубка, еда, одежда и даже каморки престарелых проституток, дававших ему иногда приют,— все, казалось, провоняло кошками. «Ваша организация еще не сообщила, что вы направлены в наше распоряжение»,— отвечали ему руководящие товарищи. Так прошел еще один год; из немецких партийцев, знавших Леви, не осталось никого: одних убили, других надолго посадили в тюрьму, третьи исчезли неизвестно куда. «С вами вопрос остается открытым,— говорили ему руководящие товарищи.— Вам не следовало уезжать из страны без официального направления Партии. Ведь мы ничего о вас не знаем. Может быть, вы агент-провокатор. Шпионы и провокаторы из кожи вон лезут, пытаясь проникнуть в наши ряды. Бдительность — вот оружие Партии».

— Зачем вы все это мне рассказываете? — спросил Рубашов. Он жалел, что остался.

Малютка Леви подошел к стойке, неторопливо нацедил себе кружку пива и поднял к уху матросскую трубочку.

— А затем, что это очень поучительно,— ответил он.— Поучительно и типично. Таких, как я, были сотни и сотни. Да что там я! — за последние годы погибли самые боевые партийцы. Партия превратилась в дряхлую старуху. В дряхлую, подозрительную и злобную старуху. С такой Партией революции не сделаешь.

«А ведь ты еще очень многого не знаешь»,— подумал Рубашов, но ничего не сказал.

Однако история Малютки Леви неожиданно увенчалась счастливым концом. Когда он сел в очередной раз, его напарником по тюремной камере оказался бывший борец Поль. До отсидки Поль работал докером; во время забастовки, при стычке с полицией, он вспомнил свои борцовские навыки и применил к одному из полицейских прием, называемый в спорте «двойным нельсоном». Двойной нельсон заключается в том, что борец, оказавшийся за спиной у противника, просовывает руки ему под мышки и потом, сомкнув их у него на затылке, пригибает ему голову вперед до тех пор, пока у него не затрещит позвоночник. Применяя этот прием на ковре, Поль неизменно добивался победы, но в классовой борьбе, как он убедился, были совсем другие правила. Леви и Поль сделались друзьями. Бывший борец работал секретарем городской партийной ячейки докеров; когда срок заключения истек, он достал для Леви документы, помог ему устроиться на работу и добился его восстановления в Партии. Леви опять как ни в чем не бывало почитывал докерам лекции про Дарвина и подробно разъяснял им смысл решений, принятых на последнем Съезде Партии. Он был счастлив, забыл о кошках и в душе простил партийных бюрократов. Через полгода он стал председателем городской партийной ячейки докеров. Все хорошо, что хорошо кончается.

И Рубашов желал от всего сердца, измученного борьбой за правое дело, чтобы жизнь Леви никак не изменилась. Но он знал, зачем он приехал, а обманывать себя до сих пор не научился, хотя понимал, что революционер должен обладать и этим умением. Он пристально смотрел на Малютку Леви. Тот, не понимая рубашовского взгляда, смущенно поднял свою кружку с пивом — дескать, пью за ваше здоровье. Рубашов пристально смотрел на Леви, думая о кошках с перебитыми хребтами. «Уйми свои фантазии»,— приказал он себе; вероятно, он выпил больше, чем нужно: ему не удавалось отделаться от мысли, что его прислали в этот городок с заданием переломать Леви хребет,— одной рукой надо взять его за ноги, другой за уши и хрястнуть об колено. Он чувствовал себя совершенно больным и встал, чтоб идти; Леви проводил его; он видел, что Товарищу Оттуда нездоровится, и всю дорогу молчал. Через неделю Леви повесился.

Этому предшествовало собрание Комитета городской партийной ячейки докеров. Собрание проходило в будничной обстановке; обсуждалась одна простенькая сделка.

А за два года до собрания Комитета Партия призвала европейских трудящихся к бойкоту молодой хищной Диктатуры, выросшей в самом центре Европы. Следовало во что бы то ни стало перекрыть пути ввоза и вывоза товаров поспешно вооружавшейся враждебной страны. Партийные секции европейских государств поддержали решение Центрального Комитета. Докеры маленького бельгийского порта наотрез отказывались обслуживать корабли, хоть как-то связанные с этой страной. Профсоюз докеров утвердил бойкот. Вскоре начались столкновения с полицией, появились раненые и даже убитые. Исход борьбы еще не был ясен, когда в порт прибыла странная флотилия из пяти черных грузовых кораблей. Над каждым развевался флаг Революции; борта грузовозов украшали имена пяти прославленных вождей Движения, написанные странными, «тамошними», буквами. Докеры радостно прервали забастовку и немедленно принялись разгружать корабли. Через несколько часов, однако, выяснилось, что груз — руда редкого металла — предназначен для военной промышленности страны, которую Партия призывала бойкотировать.

Собрался Комитет ячейки докеров, дебаты закончились яростной дракой. Дискуссия захлестнула всех партийцев, всех участников Движения в стране. Реакционная пресса глумилась над Революцией. Полиция не вмешивалась, предоставив докерам самим решать, что теперь делать. ЦК бельгийской партийной секции объявил об успешном завершении забастовки и дал приказ разгружать корабли. Политика Страны Победившей Революции искусно разъяснялась в партийной газете, но большинство партийцев не поняло разъяснений и вышло из Партии; секция распалась. Многие месяцы она существовала только в умах ее руководителей, однако новый экономический застой снова пополнил ее ряды. Партия опять обрела силу.

Без особых происшествий прошло два года. Затем новая хищная Диктатура, быстро выросшая на юге Европы, начала грабительскую войну в Африке. Партия призвала трудящихся к бойкоту. Призыв был подхвачен с огромным энтузиазмом. Теперь многие европейские правительства решили безоговорочно присоединиться к бойкоту, чтобы лишить агрессора сырья.

Без сырьевых ресурсов и особенно без нефти Диктатура неминуемо проиграла бы войну. И снова странная черная флотилия из пяти грузовозов вышла в море. На бортах самого большого корабля было выведено имя человека, выступившего против войны и убитого; на мачте реял флаг Революции; флотилия везла нефть агрессору. До ее прибытия в бельгийский порт оставалось всего сорок восемь часов, но Малютка Леви и его товарищи, конечно же, ничего об этом не знали. Рубашову предстояло их подготовить.

В первый день он ничего не сказал — только слушал и прощупывал почву. На другое утро в Комнате заседаний собрался Комитет ячейки докеров.

Комната — большая, обшарпанная и голая — показалась Рубашову странно знакомой: в любом городе, в любой стране все партийные Комнаты заседаний были казенно

однообразными. Происходило это отчасти по бедности, но главным образом из-за мрачной традиции, возводившей казенный аскетизм в норму. На стенах висели старые плакаты, лозунги к давно законченным выборам и желтые машинописные объявления. В одном углу громоздились кипы посеревших от пыли брошюр и листовок; в другом — тюки поношенной одежды, предназначенной семьям бастующих рабочих; в третьем стоял допотопный гектограф. Середину комнаты занимал стол — две положенные на козлы доски. Окна, словно в общественной уборной, были густо замазаны известкой. С потолка свисала голая лампочка; рядом болталась клейкая мухоловка. У стола сидели три Комитетчика, имен которых Рубашов не знал, Малютка Леви с изувеченным плечом, борец Поль и писатель Билл.

Рубашов сказал вступительное слово. Казенная обшарпанность Комнаты заседаний настроила его на деловой лад: он почувствовал себя как дома. Важность заседания стала очевидной — ему было совершенно непонятно, в чем он мог сомневаться накануне. Он объективно осветил обстановку, но пока не сказал, зачем приехал. Бойкот, объявленный агрессору, провалился — из-за продажности европейских правительств. Некоторые еще поддерживают бойкот — на словах, другие не делают и этого. Агрессор остро нуждается в сырье. Раньше Страна Победившей Революции продавала ему излишки нефти. Если она прекратит поставки, то теперь, когда блокада прорвана, буржуазные государства воспользуются случаем и вытеснят ее с мирового рынка — для этого они и нарушили бойкот. В такой обстановке романтические жесты помешают развитию промышленности Там и дальнейшему углублению Мировой Революции. Выводы напрашиваются сами собой.

Поль и трое Комитетчиков кивали: они были природными тугодумами; все, что Товарищ Оттуда рассказывал, звучало научно и очень убедительно; он читал теоретическую лекцию, практических действий от них не требовалось. Они не чувствовали, куда он клонит,— потому что ничего не знали о флотилии. Однако Малютка Леви и писатель обменялись быстрым тревожным взглядом. Это не укрылось от внимания Рубашова. Он закончил — несколько суше:

— Такова принципиальная обстановка в мире. Долг каждого честного партийца — свято выполнять директивы Партии, а вы призваны объяснять товарищам, которые слабо разбираются в политике, внутреннюю сущность этих директив. Вот все, что я хотел сообщить.

Несколько минут Комитетчики молчали. Рубашов надел пенсне и закурил. Малютка Леви подвел итог:

— Товарищ закончил. Вопросы есть?

Вопросов не было. Немного погодя один из докеров, запинаясь, сказал:

— А чего спрашивать... и так ясно. Товарищи Там, они понимают. Ну и за нами дело не станет. Мы уж тут постараемся для бойкота. У нас эти свиньи ничего не погрузят.— Двое других докеров закивали. Поль подтвердил: «У нас не погрузят»,— скорчил невероятно воинственную гримасу и для пущей убедительности подвигал ушами.

На секунду Рубашов всерьез поверил, что ему дают организованный отпор; однако, подумав, он сообразил, что докеры просто его не поняли. Он посмотрел на Малютку Леви в надежде, что тот объяснит им ошибку. Но Леви молча глядел в пол. Лицо Билла передернула судорога, и он выкрикнул:

— Опять мы? Неужели же вашу новую сделку нельзя провернуть в другом порту?

Докеры глянули на него с изумлением: их поразило слово «сделка»; мысль о маленькой черной флотилии никому из них не приходила в голову. Рубашов подготовился к этому вопросу.

— Данное место,— ответил он,— наиболее приемлемо для будущей операции как географически, так и политически. Отсюда — вплоть до конечного пункта — груз пойдет по железной дороге. Нам, разумеется, нечего скрывать, однако реакционная буржуазная пресса любит раздувать грошовые сенсации — не следует давать ей подобных возможностей.

Билл опять переглянулся с Леви. Лица докеров выражали непонимание и очень медленную работу мысли. Внезапно Поль хрипло спросил:

— Это о чем же вы тут толкуете?

Все обернулись и посмотрели на Поля. У него набухли вены на шее, а белки глаз сделались красными. Леви сказал:

— Понял, наконец?

Рубашов перевел взгляд на Леви и спокойно продолжил:

— А теперь о деталях. Завтра утром в вашем порту — если не случится ничего непредвиденного — должны ошвартоваться пять кораблей Народного Комиссариата Внешней Торговли.

И все же потребовалось несколько минут, чтобы докеры осмыслили сказанное. Никто не проронил ни единого слова. Все молча смотрели на Рубашова. Потом Поль

встал из-за стола и, швырнув шапку на пол, ушел. Трое докеров проводили его взглядами. В комнате повисла напряженная тишина. Кашлянув, Малютка Леви сказал:

— Товарищ объяснил, почему это нужно: если не они, то кто-нибудь другой. Прошу высказать ваши соображения.

Докер, обещавший постараться для бойкота, угрюмо выговорил:

— Старая песня. Мол, если я не сделаю работу, все равно сделает кто-нибудь другой. Такие песни поют штрейкбрехеры.

Снова наступила тяжелая тишина. Поль хлопнул дверью подъезда. Немного помолчав, Рубашов сказал:

— Товарищи, Страна Победившей Революции должна развивать свою промышленность, помочь ей в этом — наш святой долг. Сейчас абстрактное прекраснодушие играет на руку врагам Партии. Прошу Вас обдумать мои слова.

Докер выдвинул вперед челюсть и твердо ответил:

— А мы уже думали. И слова такие уже слышали. Это у вас должны бы подумать. Ваша страна должна быть честной. Вы толкуете о солидарности рабочих и о разных там жертвах и железной дисциплине, а сами посылаете штрейкбрехерский флот.

Малютка Леви вдруг вскинул голову — его лицо было очень бледным, поднял к уху матросскую трубочку и негромко, но быстро и внятно сказал:

— Я присоединяюсь к этому мнению. Кто еще хочет высказаться? Никто? Тогда объявляю собрание закрытым.

Рубашов, тяжело опираясь на костыли, побрел к двери и вышел из комнаты. Дальнейшие события развивались по плану, и ничто не могло этот план нарушить. Пока флотилия приближалась к порту, Рубашов обменялся парой телеграмм с компетентными партийными товарищами Там. Через три дня шестеро Комитетчиков были официально исключены из Партии, а в партийной газете появилась статья, разоблачившая агента-провокатора Леви. Еще через три дня он повесился.

13

Ночь вконец измучила Рубашова. Ему не удавалось заснуть до рассвета. Постоянно повторялись приступы озноба, зуб дергала нарывная боль, мозги разъедала отрава воспоминаний — глухие голоса и неясные образы терзали его воспаленное сознание. Рихард в черном воскресном костюме смотрел на него красноватыми глазами. «Они же сожрут меня, эти волки»,— мучительно заикаясь, говорил он. Малютка Леви с искалеченным плечом спрашивал: «Кто еще хочет высказаться?» Высказаться хотели тысячи людей — волна Движения глушила разговоры: она катилась к намеченной цели, смывая на своем извилистом пути шаткие преграды нравственных сомнений и выкидывая на берег трупы усомнившихся. Извилистый, с крутыми поворотами путь диктовался внутренней природой Движения. И на всех поворотах оставались трупы — такова была природа Движения. Отдельные люди не принимались в расчет. Совесть, разум и побуждения личности ничего не значили в процессе Истории. Существовал один-единственный грех — отклонение от принятого Партией курса; и одна-единственная кара — смерть. Смерть не была для Партии таинством — она наиболее естественно пресекала любое отклонение от партийного курса, то есть любой политический уклон.

Рубашов забылся только под утро. Его разбудил сигнал подъема, возвестивший новый тюремный день; вскоре дверь камеры отворилась — надзиратель и два вооруженных охранника повели Рубашова на врачебный осмотр.

Он надеялся, что сумеет прочитать фамилии офицера и Заячьей Губы, но его повели в противоположную сторону. Четыреста шестая камера пустовала; она была последней в ряду; коридор замыкала бетонная дверь, старик-надзиратель с трудом открыл ее. Они пошли по другому коридору — впереди надзиратель, за ним Рубашов, сзади оба вооруженных охранника. Здесь на каждой картонной табличке было написано по нескольку фамилий, за дверьми слышались разговоры и смех; в некоторых камерах даже пели: тут содержались мелкие преступники. Показалась открытая дверь парикмахерской; двоих заключенных крестьянского вида стригли наголо, третьего брили — под хлопьями пены проступало лицо с лисьими чертами матерого жулика; заключенные проводили любопытными взглядами арестанта, сопровождаемого в тюрьме охранниками. Потом Рубашов увидел дверь с намалеванным на ней красным крестом. Надзиратель негромко и уважительно постучался; он вошел вместе с Рубашовым, охранники остались ждать в коридоре.

Санчасть оказалась маленькой комнатой с тяжелым, прочно устоявшимся запахом остывшего табачного дыма и карболки. В ведре и двух железных лоханях лежали использованные ватные тампоны, куски марли и грязные бинты. Врач, сидевший спиной к двери, жевал большой бутерброд с салом и лениво просматривал свежую газету. Газета лежала на его столе поверх груды медицинских инструментов. Когда заскрипела открываемая дверь, врач не спеша повернулся к вошедшим. На его несте-

ственно маленьком черепе рос редкий белесый пух, придававший ему сходство со страусом.
— Он заявил, что у него зуб,— доложил врачу старик-надзиратель.
— Зуб? — Врач не смотрел на Рубашова.— Открывай рот... Да не чешись, живо.
Рубашов сквозь пенсне оглядел врача.
— Я должен заметить,—сказал он негромко,— что я являюсь политзаключенным, и прошу относиться ко мне соответственно.
Врач повернул голову к надзирателю.
— Что это за птица? — удивился он.
Надзиратель назвал рубашовскую фамилию. Рубашов заметил, что страусиные глазки изучающе обшарили его лицо.
— У вас флюс. Откройте рот,— через несколько секунд проговорил врач.
Сейчас зуб почти не болел. Рубашов спокойно открыл рот.
— Первый глазной полностью разрушен.— Врач нащупывал зуб пальцем. Внезапно Рубашова пронзила боль, он побледнел и прислонился к стене.
— Ну да, так оно и есть,— сказал врач.— Абсцесс на корне глазного зуба.
Рубашов с трудом перевел дух. Нестерпимая боль протыкала голову — от верхней челюсти, сквозь глаз и в мозг. Как будто кто-то через равные промежутки вонзал ему в голову кривую иглу. Врач уже снова развернул газету и взялся за свой недоеденный бутерброд.
— Если хотите, я удалю вам корень,— сказал он Рубашову, пережевывая сало.— Наркоз при удалении мы не применяем. Операция продлится полчаса — час.
Рубашов стоял, привалившись к стене, и тяжело дышал; в голове гудело, слова врача рассыпались и глохли. «Пока не стóит»,— пробормотал он. Ему послышалось, что в стену стучат: «Паровая ванна»,— вдруг вспомнил он; всплыло лицо Заячьей Губы, потом вспыхнул огонек папиросы, прижатый к коже,— смехотворный спектакль. «Плохо дело»,— подумал Рубашов.
Придя в камеру, он рухнул на койку, и его сейчас же охватило забытье.
В полдень, когда разносили баланду, его не пропустили, и он поел; видимо, ему выписали довольствие. Мучившая его боль утихла; он надеялся, что абсцесс созреет и вскроется сам, без хирургического вмешательства.
Через три дня его вызвали на допрос.

14

В одиннадцать утра дверь распахнулась. По торжественно-серьезному лицу надзирателя Рубашов понял, куда его поведут. Как и обычно в минуты опасности, он ощутил ясное спокойствие — ничем не заслуженный дар судьбы.
Они вышли из Одиночного блока, и бетонная дверь тяжело захлопнулась. «До чего же быстро человек привыкает к любой обстановке»,— подумал Рубашов; ему казалось, что он дышал спертым воздухом этих коридоров по крайней мере уже несколько лет, словно здесь сгустилась атмосфера всех тюрем, где он побывал.
Они миновали комнату парикмахерской, показалась закрытая дверь санчасти, перед ней под охраной сонного надзирателя стояли в очереди трое заключенных.
Дальше Рубашова еще не водили. Они подошли к спиральной лестнице. Куда она вела — в кабинеты следователей или в подвал с камерами пыток? Рубашов призвал на помощь свой опыт. Эта узкая железная лестница внушала ему скверные предчувствия.
Они спустились во внутренний двор, зажатый высокими, без окон, стенами, пересекли его и вошли в следующий корпус; лампы здесь были прикрыты плафонами, на деревянных — а не железных — дверях по обеим сторонам широкого коридора мягко поблескивали медные ручки; из комнаты в комнату сновали следователи; за одной из дверей слышалось радио, за другой стрекотала пишущая машинка. Словом, это был Следственный корпус.
Они остановились у последней двери; надзиратель, сопровождающий Рубашова, постучал. В кабинете кто-то говорил по телефону; он сказал немного погромче: «Минуту»,— и, видимо, продолжил разговор; из-за двери слышались приглушенные реплики: «Да... Конечно... Совершенно верно...». Голос показался Рубашову знакомым, но ему не удавалось вспомнить, чей он. Приятный, чуть хриплый мужской голос; да, Рубашов его явно слышал. «Войдите»,— сказал хозяин кабинета; надзиратель открыл деревянную дверь, Рубашов вошел, и дверь захлопнулась. Он увидел большой письменный стол; за столом сидел его старый товарищ, бывший командир полка Иванов; опуская на рычаг телефонную трубку, он с улыбкой рассматривал Рубашова.
— Вот мы и встретились,—сказал Иванов.
Рубашов все еще стоял у двери.
— Приятная встреча,— ответил он сухо.
Иванов медленно поднялся с кресла — он был гораздо выше Рубашова.
— Присаживайся,— радушно предложил он, с улыбкой глядя на бывшего командира. Они сели; их разделял стол; они в упор рассматривали друг друга: Иванов, по-прежнему дружески улыбаясь, Рубашов — выжидающе, сосредоточенно, сдержанно. Потом его взгляд скользнул под стол, Иванов притопнул правой ногой.
— С этим порядок,— сказал он.— Автоматический протез на хромированном каркасе. Могу плавать, ездить верхом, водить машину и плясать... Закурим?
Иванов через стол протянул Рубашову деревянный, наполненный папиросами портсигар.
Рубашов мельком глянул на папиросы и вспомнил, как он приехал в госпиталь, когда Иванову ампутировали ногу. Иванов умолял принести ему веронала, и в споре, который длился до вечера, пытался доказать, что каждый человек имеет право на самоубийство. Наконец Рубашов согласился обдумать просьбу своего командира полка, но тою же ночью был переброшен на какой-то другой участок фронта. Они встретились через много лет.
Рубашов внимательно заглянул в портсигар. Иванов сам набивал гильзы — светлым, видимо, американским табаком.
— Если у нас неофициальный разговор, то я не возражаю,— ответил Рубашов,— а если ты в начале допроса всем подследственным предлагаешь закурить, то убери портсигар. Давай уж по старинке — мы у тюремщиков никогда не одалживались.
— Брось дурить,— сказал Иванов.
— Ладно,— сказал Рубашов и закурил.— Ну, а как твой ревматизм — прошел?
— Вроде, прошел,— ответил Иванов.— А как твой ожог — не очень болит? — Он улыбнулся и с простодушным видом показал на левую рубашовскую кисть. Там, между двумя голубеющими жилками, виднелся довольно большой волдырь. С минуту оба смотрели на ожог. «Откуда он знает? — подумал Рубашов.— Значит, за мной все время следили?» Но он ощутил не гнев, а стыд; последний раз глубоко затянувшись, он бросил окурок папиросы в пепельницу.
— Давай-ка считать,— проговорил он,— неофициальную часть нашей встречи законченной.
Иванов выдувал колечки дыма и смотрел на Рубашова с добродушной насмешкой.
— А ты не торопись,— посоветовал он.
— А я, между прочим, к тебе и не торопился.— Рубашов твердо глянул на Иванова.— Я и вообще-то сюда не приехал бы, если б вы не привезли меня силой.
— Верно, тебя немного поторопили. Зато теперь тебе спешить некуда.— Иванов ткнул свой окурок в пепельницу и, сразу же закурив новую папиросу, опять протянул портсигар Рубашову; однако тот остался неподвижным.— Да ё...лочки зеленые,— сказал Иванов,— помнишь, как я у тебя клянчил веронал? — Он пригнулся поближе к Рубашову и дунул дымом ему в лицо.— Я не хочу, чтобы ты спешил... под расстрел,— с расстановкой произнес он и снова откинулся на спинку кресла.
— Спасибо за заботу,— сказал Рубашов.— А почему вы решили меня расстрелять?
Несколько секунд Иванов молчал. Он неторопливо попыхивал папиросой и что-то рисовал на листке бумаги. Видимо, ему хотелось найти как можно более точные слова.
— Слушай, Рубашов,— сказал он раздумчиво,— я вот заметил характерную подробность. Ты уже дважды сказал *вы*, имея в виду Партию и Правительство — ты, Николай Залманович Рубашов, противопоставил им свое *я*. Теоретически, чтобы когонибудь обвинить, нужен, конечно, судебный процесс. Но для нас того, что я сейчас сказал, совершенно достаточно. Тебе понятно?
Разумеется, Рубашову было понятно, и однако он был застигнут врасплох. Ему показалось, что зазвучал камертон, по которому настраивали его сознание. Все, чему он учил других, во что верил и за что боролся в течение последних тридцати лет, откликнулось камертону волной памяти... Партия — это всеобъемлющий абсолют, отдельно взятая личность — ничто; лист, оторвавшийся от ветки, гибнет... Рубашов потер пенсне о рукав. Иванов сидел совершенно прямо, попыхивал папиросой и больше не улыбался. Рубашов обвел взглядом кабинет — и вдруг увидел светлый прямоугольник, резко выделявшийся на серых обоях. Ну, конечно же, здесь ее тоже сняли — групповую фотографию бородатых философов. Иванов проследил за взглядом Рубашова, но его лицо осталось бесстрастным.
— Устаревшие доводы,— сказал Рубашов.— Когда-то и мне коллективное *мы* казалось привычней личного *я*. Ты не изменил своих старых привычек; у меня, как видишь, появились новые. Ты и сегодня говоришь *мы*... но давай уточним — от чьего лица?
— Совершенно правильно,— подхватил Иванов,— в этом и заключается сущность дела; я рад, что ты меня наконец понял. Значит, ты утверждаешь, что мы — то есть народ, Партия и Правительство — больше не служим интересам Революции?
— Давай-ка не будем говорить о народе.
— С каких это пор,— спросил Иванов,— ты проникся презрением к народу? Не с тех ли пор, как коллективное *мы* ты заменил своим личным *я*?
Иванов опять пригнулся к столу и смотрел на Рубашова с добродушной насмешкой.

Его голова закрыла прямоугольник, оставшийся от снятой групповой фотографии, и Рубашову внезапно вспомнился Рихард, заслонивший протянутые руки Мадонны. Неожиданно толчок нестерпимой боли — от верхней челюсти, сквозь глаз и в затылок — заставил его крепко зажмуриться. «Вот она, расплата»,— подумал он... или ему показалось, что подумал.

— Ты это о чем? — спросил Иванов насмешливым и немного удивленным голосом.

Боль утихла, сознание прояснилось.

— Давай не будем говорить о народе,— спокойно и мирно повторил Рубашов.— Ты ведь ничего о народе не знаешь. Возможно, теперь уже не знаю и я. Когда у нас было великое право говорить *мы*,— мы его знали, знали, как никто другой на земле. Мы сами были сердцевиной народа и поэтому могли вершить Историю.

Машинально он взял из портсигара папиросу; Иванов, наклонившись, дал ему прикурить.

— В те времена,— продолжал Рубашов,— мы назывались Партией Масс. Мы познали сущность Истории. Ее смерчи, водовороты и бури неизменно ставили ученых в тупик — потому что их взгляд скользил по поверхности. Мы проникли в глубины Истории, стали сердцем и разумом масс, а ведь именно массы творят Историю; мы — первые на нашей планете — поняли законы исторического развития, вскрыли процессы накопления энергии и причины ее взрывного высвобождения. В этом — наша великая сила. Якобинцы руководствовались абстрактной моралью, мы — научно-историческим опытом. В глубинных пластах человеческой Истории нам открывались ее закономерности. Мы в совершенстве изучили человечество — и наша Революция увенчалась успехом. А вы выступаете как ее могильщики.

Иванов, откинувшись на спинку кресла, молча разрисовывал лист бумаги.

— Продолжай, я слушаю,— проговорил он.— И пока не понимаю, куда ты клонишь.

— Как видишь, я уже наговорил на расстрел.— Он молча скользнул взглядом по стене, где раньше висела групповая фотография, однако Иванов не повернул головы.— А впрочем, семь бед — один ответ. Так вот, вы похоронили Революцию, когда истребили старую гвардию — с ее мудростью, планами и надеждами. Вы уничтожили коллективное *мы*. Неужели вам и сейчас еще кажется, что народ действительно идет за вами? Между прочим, все европейские диктаторы властвуют от имени своих народов — и примерно с таким же правом, как вы.

Рубашов взял еще одну папиросу и на этот раз прикурил сам, потому что Иванов сидел неподвижно.

— Прости уж меня за высокий стиль,— продолжал он,— но ваше диктаторство, творимое именем народа, кощунственно. Массы подчиняются вашей власти покорно и немо, но она чужда им — так же, как в любом буржуазном государстве. Народ опять погрузился в спячку: этот великий Икс истории сейчас подобен сонному океану, равнодушно несущему ваш корабль. Прожекторы освещают его поверхность, но глубины остаются немыми и темными. Когда-то мы их осветили и оживили, но то время кануло в прошлое. Короче говоря,— Рубашов помолчал, потер пенсне о рукав и надел его,— когда-то мы творили Историю, а вы сейчас просто делаете политику. Вот основная разница между нами.

Иванов откинулся на спинку кресла и выпустил несколько дымных колец.

— Что-то я не совсем понимаю,— сказал он.— Постарайся попроще.

— Поясню на примере,— ответил Рубашов.— Какой-то математик однажды сказал, что алгебра — это наука для лентяев: она оперирует неизвестной величиной — Иксом,— словно обычным числом. В нашем случае неизвестное — Икс — представляет собой народные массы. Политик постоянно пользуется Иксом — не расшифровывая его природы,— чтобы решать частные задачи. Творец Истории определяет Неизвестное и составляет принципиально новые уравнения.

— Что ж, изящно,— сказал Иванов,— но для наших целей слишком отвлеченно. Давай-ка попробуем спуститься на землю: значит, ты утверждаешь, что мы — иными словами, Партия и Правительство — переродились и предали Революцию?

— Именно,— подтвердил Рубашов с улыбкой. Иванов не улыбнулся ему в ответ.

— И когда ты пришел к этому заключению?

— В течение нескольких последних лет — очень постепенно.

— А если точнее? Год назад? Два? Три? Четыре?

— Наивный вопрос,— ответил Рубашов.— Когда ты стал взрослым? В семнадцать лет? В восемнадцать? В девятнадцать? В девятнадцать с половиной?

— Это ты пытаешься прикинуться наивным. Каждый этап в духовном развитии есть результат определенных обстоятельств. Могу сказать совершенно точно: я стал взрослым в семнадцать лет, когда меня первый раз сослали.

— В те времена,— заметил Рубашов,— ты был вполне приличным человеком. Сейчас тебе лучше об этом забыть.— Он посмотрел на светлый прямоугольник и положил окурок папиросы в пепельницу.

— Повторяю вопрос,— проговорил Иванов, слегка пригнувшись над столом к Рубашову.— Сколько лет ты принадлежишь к антипартийной группировке?

Зазвонил телефон. Подняв трубку, Иванов сказал: «Я занят»,— и снова положил ее на рычаг. Потом выпрямился, вытянул ноги и выжидающе глянул на Рубашова.

— Ты прекрасно знаешь,— ответил тот,— что я никогда не поддерживал оппозицию.

— Видимо, придется мне стать бюрократом,— сказал Иванов.— Он выдвинул ящик и вынул из него пачку бумаг.— Давай начнем с тридцать третьего года.— Он разложил перед собой бумаги.— Установление Диктатуры и разгром Движения в стране, где победа казалась очевидной. Тебя посылают в эту страну с заданием провести чистку Партии и затем реорганизовать ее ряды...

Рубашоа, откинувшись на спинку стула, внимательно слушал свою биографию. Он вспомнил Пиету, ссутулившегося Рихарда, площадь перед зданием музея, таксиста.

— Через три месяца — провал и арест. Потом — два года тюрьмы, следствие. Никаких доказательств — ты держишься образцово. Тебя выпускают за недостатком улик, и ты с триумфом возвращаешься домой...

Иванов замолчал, поднял голову, мимолетно глянул на Рубашова и продолжал:

— Тебя чествуют как народного героя. В те времена мы с тобой не встречались - наверно, ты был чересчур занят. Меня это, кстати, нисколько не оскорбило. Чтобы повидаться со всеми друзьями, никакого, пожалуй, и времени не хватит. Но я-то тебя раза два видел — в почетных президиумах торжественных митингов. Ты тогда все еще ходил на костылях, и вид у тебя был предельно измученный. Казалось бы — прямой тебе путь в санаторий, а потом на ответственный государственный пост: ведь ты выполнил важнейшее поручение и четыре года рисковал жизнью. Так нет же — ты обращаешься к Правительству с просьбой отправить тебя за границу...

Иванов резко пригнулся вперед и твердо посмотрел в глаза Рубашову.

— Почему? — Впервые с начала разговора голос Иванова прозвучал жестко.— Может, тебе что-нибудь не понравилось? За время твоего четырехлетнего отсутствия у нас произошли определенные перемены — может, они-то тебе и не понравились?..

Он замолчал в ожидании ответа, однако Рубашов тоже молчал и спокойно потирал пенсне о рукав.

— Как раз незадолго до твоего приезда закончился Первый процесс над оппозицией, среди осужденных и ликвидированных уклонистов были твои ближайшие друзья. Когда в газетах появились отчеты обо всех совершенных ими злодеяниях, по стране прокатилась волна возмущения. Ты промолчал и уехал за рубеж — хотя не мог обходиться без костылей.

Рубашову вспомнился маленький порт, запах бензина и гниющих водорослей, оттопыренные уши борца Поля, матросская трубочка Малютки Леви... Он повесился в своей мансарде, привязав веревку к потолочной балке... Когда по улице проезжал грузовик, немного подгнившая балка дрожала, и тело Леви медленно вращалось; товарищи, пришедшие утром к Леви, подумали, что он еще не задохнулся,— так потом передавали Рубашову...

— Задание Партии ты успешно выполнил, и через некоторое время тебя назначили Руководителем Торговой Миссии в Б. Ты безукоризненно справился с поручением. Новый торговый договор с Б.— это, безусловно, блестящий успех... Если говорить о внешних проявлениях, то твоя биография ничем не запятнана. Но вот после полугода работы двух ответственных сотрудников Миссии — один из них Арлова, твой секретарь — Партия вынуждена отозвать из Б. по подозрению в принадлежности к оппозиции. На следствии их виновность подтверждается. От тебя ждут публичного осуждения предателей Партии. Но ты молчишь... Через шесть месяцев отзывают и тебя. В стране полным ходом идет подготовка ко Второму процессу над уклонистами. На следствии фигурирует твое имя; Арлова надеется — и не скрывает этого,— что ты выступишь в ее защиту. При таких обстоятельствах «нейтральное» молчание просто подтвердило бы твою виновность. И все же ты продолжаешь молчать; Партия посылает тебе ультиматум. Только под угрозой неминуемой гибели ты снисходишь до публичного выступления и осуждаешь антипартийную группу, что автоматически топит Арлову. Ее участь тебе известна...

Рубашов молча слушал Иванова; зуб опять начинало дергать. Да, ему была известна их участь. Участь Арловой. Участь Рихарда. Участь Леви... И собственная участь... Он посмотрел на светлый прямоугольник — больше от них ничего не осталось, от бородатых философов с групповой фотографии. Их участь тоже была ему известна. Однажды, на крутом перевале Истории, им открылась великая картина: будущее счастье всего человечества, перевал остался далеко позади. Так к чему все эти разговоры и формальности? Если что-нибудь в человеческом существе может пережить физическую смерть, значит, Арлова и сейчас еще смотрит — откуда-то из глубин мирового пространства — прекрасными и покорными коровьими глазами на Товарища Рубашова, своего идола, который обрек ее на расстрел... Челюсть ломило все сильней и сильней.

— Прочитать твое публичное заявление? — спросил Иванов, роясь в бумагах.
— Спасибо, не стоит,— ответил Рубашов, неожиданно для себя осипшим голосом.
— Как ты помнишь, в конце заявления — которое можно назвать и признанием — ты категорически осудил оппозицию и поклялся впредь безусловно поддерживать генеральную линию, намеченную Партией, и лично ее вождя, Первого.
— Хватит,— устало сказал Рубашов.— Ты же знаешь не хуже меня, как у нас стряпают такие заявления. А не знаешь — так тебе просто повезло. Прошу тебя — хватит ломать комедию.
— Да мы уж кончаем,— сказал Иванов.— Только вот разберем два последних года. Тебя назначают Народным Комиссаром — в твоем ведении легкие металлы. Год назад, на Третьем процессе, который разгромил остатки оппозиции, руководитель группы разоблаченных уклонистов постоянно упоминал твою фамилию — но очень неясно и неопределенно. Ничего существенного доказано не было, однако в широких рядах Партии к тебе росло глухое недоверие. Ты снова сделал публичное заявление, провозгласив безусловную преданность Партии во главе с ее учителем Первым и еще резче осудил оппозицию. Это было шесть месяцев назад. А сегодня ты спокойно признаешься, что в течение нескольких последних лет считал генеральную линию неправильной, а вождя Партии — предателем Революции...
Иванов замолчал и сел поудобней.
— Таким образом, твои заявления о преданности Партии были уловкой. Ты не подумай, что я морализирую. Мы воспитаны в одних понятиях и смотрим на вещи совершенно одинаково. Ты был уверен, что наши убеждения пагубны и порочны, а твои — верны. Объявив об этом прямо и откровенно, ты бы сейчас же вылетел из Партии, а значит, тебе не удалось бы бороться за твои, по-твоему, верные идеи. И вот ты начинаешь сбрасывать балласт — чтобы уцелеть и продолжить борьбу. Мне очевидно, что на твоем месте я поступил бы в точности так же. Пока что все совершенно логично.
— И что же дальше? — спросил Рубашов.
— А вот дальше все абсолютно нелогично. Ты откровенно признаешь тот факт, что в течение нескольких последних лет считал нас могильщиками Революции,— верно? И тут же на одном дыхании утверждаешь, что никогда не поддерживал оппозиционные группировки. Ты, значит, пытаешься меня уверить, что сидел сложа руки и спокойно смотрел, как мы — по твоему глубокому убеждению — ведем страну и Партию к гибели?
Рубашов неопределенно пожал плечами.
— Может быть, я одряхлел и выдохся. А впрочем, верь во что тебе хочется.
Иванов закурил новую папиросу. Его голос сделался мягким и вкрадчивым.
— Неужели ты хочешь меня уверить, что предал Арлову и отрекся от этих,— кивком головы он показал на стену, где когда-то висела групповая фотография,— только для того, чтобы спасти свою шкуру?
Рубашов не ответил. Пауза затянулась. Иванов еще ближе пригнулся к Рубашову.
— Нет, не понимаю я тебя,— сказал он.— То ты громишь генеральную линию — да такими словами, что любого из них больше чем достаточно для немедленного расстрела. И тут же, вопреки элементарной логике, утверждаешь, что никогда не участвовал в оппозиции... вопреки логике и неопровержимым доказательствам.
— Неопровержимым доказательствам? — переспросил Рубашов.— А тогда зачем вам мое признание? И о чем свидетельствуют ваши доказательства?
— В частности, о том,— сказал Иванов медленно, негромко и нарочито внятно,— что ты подготавливал убийство Первого.
Кабинет снова затопила тишина.
— Можно задать тебе один вопрос? — проговорил Рубашов, надев пенсне.— Ты, и правда, веришь этой чепухе или только притворяешься, что веришь?
Глаза Иванова искрились ухмылкой.
— Я же сказал: у нас есть доказательства. Могу сказать точнее: признание. Могу сказать даже еще точнее: признание человека, который готовился — по твоему наущению — убить Первого.
— Поздравляю, у вас действенные методы. И как его фамилия?
Иванов улыбнулся.
— А вот это уже некорректный вопрос.
— Могу я прочитать его признание? Или потребовать очной ставки?
Иванов улыбался. Он раскурил папиросу и выпустил дым в лицо Рубашову — с добродушной насмешкой, без желания оскорбить. Рубашов подавил неприязнь и не отстранился.
— Ты помнишь,— медленно сказал Иванов,— как я клянчил у тебя веронал? Ах да, я уже об этом спрашивал. Так вот — теперь мы поменялись ролями: ты просишь, чтобы я помог тебе угробиться. И я объявляю наперед: не допросишься. Ты убедил меня, что самоубийство является мелкобуржуазным пережитком. Вот я и присмотрю, чтоб ты не совершил его. Тогда мы будем с тобой квиты.

Рубашов молчал. Он старался понять, лжет Иванов или говорит искренне,— и одновременно подавлял в себе желание дотронуться до светлого прямоугольника на стене. «Навязчивые идеи... Ступать исключительно на черные плитки, бормотать ничего не значащие фразы, машинально потирать пенсне о рукав — возвращаются все тюремные привычки. Да, нервы»,— подумал он.
— Интересно узнать,— сказал он вслух,— как ты думаешь меня спасти? Мне-то, должен признаться, кажется, что ты стараешься меня угробить.
Иванов открыто и весело улыбнулся.
— Старый ты дурень,— проговорил он и, перегнувшись через стол поближе к Рубашову, ухватил его за пуговицу пиджака.— Мне хотелось заставить тебя побушевать — чтоб ты не разбушевался в неподходящее время. Я вон даже и стенографистку не вызвал.— Он вынул из портсигара еще одну папиросу и насильно вставил ее Рубашову в рот, по-прежнему держа его за пиджачную пуговицу.— Ты же не юноша! Не какой-нибудь там романтик! Мы вот сейчас состряпаем признаньице — и все дела... на сегодня. Понял?
Рубашову наконец удалось вырваться. Он посмотрел сквозь пенсне на Иванова.
— И что же я должен признать? — спросил он.
Иванов продолжал лучезарно улыбаться.
— Что ты — с такого-то и такого-то года — состоял в такой-то оппозиционной группе, но что ты категорически и решительно отвергаешь свое участие в организации покушения; мало того — ты порвал с оппозицией, узнав об ее преступных планах.
В первый раз с начала разговора Рубашов позволил себе усмехнуться.
— Если тебе больше нечего добавить, то давай кончать,— предложил он.
— Не торопись,— мирно сказал Иванов.— Я ведь понимаю, почему ты уперся. Вот и давай спокойно обсудим нравственную сторону этого дела. Тебе не придется никого предавать. Группа уклонистов была арестована гораздо раньше, чем взяли тебя; половину из них уже ликвидировали — ты и сам это прекрасно знаешь. От оставшихся мы можем получить признания поважнее твоей невинной писульки... да что там темнить — любые признания. Как видишь, я говорю откровенно — надеюсь, ты меня правильно понимаешь,— разве это тебя не убеждает?
— Иными словами,— уточнил Рубашов,— ты-то не веришь, что готовилось покушение. Почему ж ты не устроишь мне очную ставку с этим таинственным агентом оппозиции, которого я, по его признанию, якобы подбивал на убийство Первого?
— А подумай сам,— сказал Иванов.— Представь, что мы снова поменялись ролями — у нас, как ты знаешь, все может быть,— и постарайся ответить за меня. Идет?
Рубашов обдумал слова Иванова.
— Ты получил инструкции сверху, каким образом вести мое дело?
Иванов улыбнулся.
— Не совсем так. Фактически, сейчас решается вопрос о категории — П или Т — твоего дела. Ты понимаешь, о чем идет речь?
Рубашов кивнул. Он знал, о чем речь.
— Ну вот, кажется, ты начал понимать. П означает Публичный процесс; Т — это Трибунал, то есть Тройка. Политические дела разбирает Тройка: считается, что они не принесут пользы, если их вынести на открытый процесс. У Трибунала особый штат следователей — твое дело у меня отнимут. Суд закрытый... и довольно скорый — никаких тебе очных ставок. Ты помнишь...— Иванов назвал несколько фамилий и мельком посмотрел на светлый прямоугольник. Когда он опять повернулся к Рубашову, у него было усталое, осунувшееся лицо и слепой, устремленный в себя взгляд.
Иванов повторил, почти неслышно, имена их старых товарищей по Партии.
— ...Но пойми,— сказал он немного погромче,— мы убеждены, что ваши идеи приведут страну и Революцию к гибели — так же, как вы убеждены в обратном. Это — суть. А наше поведение диктуется логикой и здравым смыслом. Мы не можем позволить, чтобы нас запутали в юридических тонкостях и хитросплетениях. Разве ты поступал иначе — в прежние времена?
Рубашов не ответил.
— Самое главное,— продолжал Иванов,— чтобы ты попал в категорию П, тогда твое дело поручат мне. Ты ведь знаешь, как подбирают дела для вынесения на открытые процессы? Я должен представить веские доказательства, что ты согласен с нами сотрудничать. Тебе необходимо написать заявление с частичным признанием своей вины. Если же ты будешь продолжать упираться и корчить из себя романтического героя, то тебя прикончат на основании показаний, которые дал предполагаемый убийца. С другой стороны, твое признание потребует более детального расследования. Мы проведем очную ставку, отвергнем главные пункты обвинения, потом признаем тебя виновным в наименее тяжких грехах оппозиции. Даже и тогда ты получишь лет двадцать — на мягкий приговор рассчитывать не приходится, но года через три объявят

амнистию, и таким образом через пять лет ты уже снова будешь в седле. Советую тебе проявить благоразумие и тщательно обдумать окончательный ответ.

— Я уже обдумал,— сказал Рубашов,— мне не подходит твое предложение. Логически ты, вероятно, прав. Но с меня достаточно подобной логики. Я от нее смертельно устал — мне уже пора уходить со сцены. Отправь меня, пожалуйста, обратно в камеру.

— Что ж, пожалуйста,— сказал Иванов.— Я и не рассчитывал на быструю победу. Такие разговоры срабатывают не сразу. В твоем распоряжении две недели. Когда ты все как следует обдумаешь, заяви, чтоб тебя доставили ко мне — или пошли мне письменное признание. Я-то уверен, что ты его напишешь.

Рубашов поднялся, Иванов тоже; теперь опять было ясно видно, что он гораздо выше Рубашова. Он нажал на кнопку звонка. Пока они ждали прихода охранников, Иванов, стоя у стола, сказал:

— В одной из своих последних статей, напечатанной пару месяцев назад, ты писал, что грядущее десятилетие окончательно решит судьбу человечества. Тебе не хочется в этом участвовать? — Он, сверху вниз, улыбнулся Рубашову.

Послышались шаги, дверь отворилась. В кабинет, по форме поприветствовав Иванова, вошли два вооруженных охранника. Рубашов молча встал между ними, они повели его обратно в камеру. Тюремные коридоры заполняла тишина, за дверьми приглушенно храпели заключенные, их храп походил на придушенный хрип. Мертво светили электрические лампы.

ДОПРОС ВТОРОЙ

Когда Церкви угрожают враги ее, она освобождается от велений морали. Великая цель будущего единения освящает любые средства, которые применяет она в борьбе с врагами своими, вплоть до коварства, предательства, подкупа, насилия и убийства. И отдельного человека приносит она в жертву всеобщему благу людскому.

Дитрих фон Нигейм, Епископ Верденский.
«Третья книга о расколе», 1411 г.

1

Из дневника Н. З. Рубашова. Пятый день заключения

Пока абсолютная цель не достигнута, путь к ней, даже перед самым концом, зачастую представляется абсолютно бесцельным. Борец за правое дело может доказать, что выбрал правильный путь, только завершив его.

Чей же путь правилен? Это определит будущее. А сейчас нам приходится действовать на свой страх и риск: мы закладываем душу дьяволу в надежде выкупить ее после победы.

Говорят, что «Государь» Макиавелли — настольная книга Первого. Так и должно быть: с тех пор о законах политической морали не написано ничего более серьезного. Либеральную болтовню XIX столетия о «честной борьбе» мы заменили революционной моралью XX века. И мы были, безусловно, правы: в революционных боях невозможно придерживаться условных правил спортивной борьбы. Политическая деятельность может быть сравнительно честной в тихих заводях Истории; на ее крутых поворотах уместен лишь старый закон о цели, оправдывающей любые средства. Мы возрождали макиавеллизм на новом этапе Истории; европейские диктаторы рабски копировали его. Мы стали неомакиавеллистами во имя всеобщей справедливости, и это наше величайшее завоевание; они подражали Макиавелли ради узко национальных интересов, скатываясь на задворки Истории. Вот почему История оправдает нас и жестоко накажет их...

Но сейчас мы действуем на свой страх и риск. Мы выбросили за борт балласт буржуазных предрассудков и правил «честной борьбы», а поэтому вынуждены руководствоваться одним-единственным мерилом — последовательной логикой. На нас лежит тяжкая необходимость додумывать каждую мысль до ее логического конца и поступать в соответствии со сделанными выводами. Мы плывем без балласта, и за каждым поворотом руля неминуемо следует либо очередная победа, либо смерть.

Совсем недавно наш ведущий агробиолог В. был расстрелян — вместе с тридцатью своими приспешниками — за предпочтение азотных удобрений калийным. Первый отстаивал калийные, поэтому В. и всех его единомышленников следовало ликвидировать как вредителей. В национализированном сельском хозяйстве подобная альтернатива приобретает исключительно громадное значение: в конечном итоге от ее решения зависит исход будущей войны. Если Первый был прав, История оправдает его, и расстрел тридцати одного человека окажется сущей безделицей. Если же он был неправ...

Фактически только это и имеет значение — кто объективно прав. Сторонников «честной борьбы» занимает совсем другая проблема: субъективная честность. По их мнению, бесчестного человека надо расстрелять, даже если он объективно прав. А вот если В. исходил из честных побуждений, хотя и был неправ, его, как им кажется, следовало не только оправдать, но и предоставить ему возможность пропагандировать азотные удобрения, даже при условии гибельных для страны последствий...

Это, безусловно, полнейшая чепуха. Для нас субъективная честность не имеет значения. Того, кто неправ, ожидает расплата; тот, кто прав, будет оправдан. Таковы законы исторически оправданного риска, таковы наши законы.

История учит нас, что ложь служит ей значительно успешней, чем правда, ибо человек слаб и к каждому этапу в своем развитии должен быть подведен насильно — через сорокалетние скитания по пустыне. К этим скитаниям его приходится принуждать угрозами и посулами, мнимыми наградами и воображаемыми карами — чтобы он не остановился преждевременно, ибо, остановившись на отдых, он снова начнет поклоняться золотому тельцу.

Мы изучили исторический процесс гораздо глубже, чем наши враги. Нас отличала от них прежде всего последовательная логичность. Мы выявили, что добродетель ничего не значит для Истории, а преступления остаются безнаказанными; но зато ничтожнейшая ошибка приводит к чудовищным последствиям и мстит за себя совершившим ее до седьмого колена.

Поэтому мы пресекали малейшую возможность какой бы то ни было ошибки. Никогда еще столь малая группа людей не сосредотачивала в своих руках такой полной власти над будущим человечества. Каждая неверная идея, которой мы следовали, превращалась в страшное преступление перед грядущими поколениями. Поэтому нам приходилось карать за порочные идеи, как за тягчайшие преступления — то есть смертью. Нас считали маньяками, ибо мы доводили каждую мысль до ее логического конца и поступали согласно сделанным выводам. Нас сравнивали с Инквизицией, ибо мы постоянно ощущали на себе бремя ответственности за спасение человечества. Подобно инквизиторам, мы искореняли семена зла не только в людских деяниях, но и в помыслах.

Для нас не существовало права личности на собственное мнение: личное дело каждого человека мы считали нашим общим делом. Нам приходилось доводить все наши начинания до их логического завершения. Наши нервы были напряжены до предела, и каждый конфликт, каждый спор между нами кончался коротким замыканием со смертельным исходом. Таким образом мы были обречены на взаимоуничтожение.

Я был частицей этого коллективного МЫ. Я мыслил и действовал по нашим законам: уничтожал людей, которых ставил высоко, и помогал возвыситься низким, когда они были объективно правы. История требовала, чтобы я шел на риск; если я был прав, мне не о чем сожалеть; если неправ, меня ждет расплата.

Но как современники могут судить о том, что откроется лишь потомкам? Мы выполняли миссию пророков, не обладая их даром. Мы заменили предвидение логикой; однако, исходя из одних предпосылок, делали различные выводы. Доказательства опровергались доказательствами, и в конце концов мы вернулись к вере, которая вообще не нуждается в доказательствах: каждый из нас уверовал в непогрешимость своих суждений. Это был поворотный момент. Мы выбросили за борт последний балласт: теперь нас удерживал только якорь веры в самих себя. Геометрия является чистым воплощением человеческой логики, но изначальные аксиомы Евклида необходимо принимать на веру. Если в них усомниться, распадется все Евклидово здание.

Первый верит в свою непогрешимость яростно, фанатично, неудержимо и слепо. У его якоря мертвая хватка. А вот мой бессильно царапает дно, и меня несет по течению...

Факт прост: я перестал верить в безошибочность своих суждений. Вот почему я здесь.

2

Следователи Комиссариата Иванов и Глеткин, только что поужинав, сидели в столовой; накануне был допрошен уклонист Рубашов. Иванов чувствовал гнетущую усталость, он расстегнул стоячий воротник и взгромоздил протез на подставленный стул. Разливая по стаканам дешевое вино, которым торговали с буфетного прилавка, он внимательно разглядывал Глеткина — тот сидел совершенно прямо, отутюженный, перетянутый скрипучими ремнями, даже не сняв кобуры с пистолетом, а ведь он устал не меньше Иванова. Глеткин выпил; широкий шрам, рассекающий его гладко выбритый череп, слегка порозовел, но лицо не изменилось. Столовая была почти что

пустой — только за одним из отдаленных столиков два следователя играли в шахматы, да третий наблюдал, как идет игра.

— Что с Рубашовым? — спросил Глеткин.

— Пока ничего,— ответил Иванов,— но он по-прежнему предельно логичен. Логика вынудит его капитулировать.

— Логика не вынудит,— сказал Глеткин.

— Не бойся, вынудит,— сказал Иванов.— Когда он осмыслит свое положение и сделает единственно возможные выводы, ему останется только капитулировать. Его сейчас не следует трогать. Бумага, карандаш, покой и курево — вот что заставит его признаться.

— Это не заставит,— сказал Глеткин.

— Я вижу, он тебя здорово разозлил.

Глеткин вспомнил, как старик в пенсне натягивал ботинок на драный носок.

— Не в нем дело,— ответил он.— Личность подследственного не имеет значения. Ты применяешь неверные методы. Они никогда на него не подействуют.

— От Рубашова можно добиться капитуляции только логикой,— сказал Иванов.— Жесткие методы тут не помогут. Он изготовлен из такого материала, который под давлением становится крепче.

— Все это разговоры,— сказал Глеткин.— Что-то мне еще не встречались люди, которые и правда могли бы выдержать любую дозу физического воздействия. Сопротивляемость нашей нервной системы строго ограничена законами природы.

— В твои руки лучше не попадаться,— с напряженной улыбкой сказал Иванов.— Да ведь ты-то выдержал. — Он поднял глаза и с секунду смотрел на глеткинский шрам.

История была хорошо известной. Однажды во время Гражданской войны Глеткина сумели захватить враги. Они выбрили ему наголо череп, обвязали голову свечным фитилем, зажгли его и стали требовать показаний. Через два часа народноармейцы неожиданно выбили врагов из деревни. Глеткин, с догоревшим до конца фитилем, был без сознания. Но он выдержал: враги ничего от него не добились.

Глеткин спокойно смотрел на Иванова — ровным, ничего не выражающим взглядом.

— А это тоже одни разговоры. Просто я вовремя потерял сознание. Еще через минуту я бы заговорил. Тут все дело в физической конституции.— Глеткин медленно допил вино; когда он ставил стакан на стол, форменные ремни пронзительно скрипнули.— Придя в себя, я и не сомневался, что рассказал им абсолютно все, но два пленных народноармейца доложили командиру, что я смолчал. За это меня наградили орденом. Тут все дело в физической конституции, и больше ничего. А остальное — сказки.

Иванов глотнул из своего стакана. Он уже очень много выпил.

— Интересно узнать, когда же ты создал свою гениальную теорию конституции. Раньше ведь не было жестких методов. Раньше у нас были только иллюзии. Общество, которое не мстит преступнику... Исправительные колонии с цветочками и лужайками... Надо же додуматься до такой херни!

— Все это будет,— сказал Глеткин.— Твое сознание отравлено цинизмом. А я вот уверен: через сотню лет мы выполним все, что когда-то задумали. Но сначала нам надо разгромить врага. Для этого хороши любые методы. У нас была лишь одна иллюзия — что все трудности уже позади. Когда меня сюда перевели, я тоже считал, что враг разгромлен. Да большинство из нас — почти весь Аппарат — думали в точности так же, как я. Мы мечтали о колониях с садами. И это была явная ошибка. Через сто лет мы добьемся возможности апеллировать к разуму правонарушителя. А сейчас мы боремся с классовым врагом, и у нас есть единственная возможность — использовать его физическую конституцию, чтобы, если возникнет необходимость, раздавить его физически и морально.

Иванов подумал, не пьян ли Глеткин. Но глядя в его по-всегдашнему спокойные, решительно ничего не выражающие глаза, понял, что тот совершенно трезв. Неопределенно улыбнувшись, Иванов спросил:

— И у тебя, значит, нет никаких сомнений, что я циник, а ты моралист?

Глеткин не ответил. Он сидел прямо, отутюженный, с кобурой на поясном ремне, от которого разило свежей кожей. Немного помолчав, он снова заговорил:

— Когда мы думали, что колонии с садами можно открывать, не разгромив врагов, доставили мне как-то на допрос крестьянина. Тогда мы всех допрашивали вежливо. Шло обобществление крестьянских хозяйств, а мой подследственный спрятал зерно. Я с ним строго придерживался инструкций: объяснил, что страна нуждается в хлебе — кормить рабочих и продавать на экспорт, за оборудование для нашей промышленности... так вот пусть он, пожалуйста, скажет, где он припрятал излишки зерна. Крестьянин, когда его ко мне доставили, думал, что его начнут избивать: знаю я таких, сам из деревни. А я вдруг начал вежливый разговор: стал убеждать, называл «гражданином» — и он решил, что следователь спятил. Или просто дурак, от природы. Я его убеждал, помню, минут тридцать. Он-то, конечно, и рта не раскрыл — ковырял пальцем то в носу, то в ушах. Ну, а я продолжал его уговаривать, хотя с самой первой минуты видел, что он считает меня дураком, а поэтому даже и слушать не хочет. Такие, как он, слов не понимают. А когда им было учиться понимать — во время многовековой спячки? И все же я придерживался инструкций: мне тогда и в голову не приходило, что бывают какие-то другие методы... Я допрашивал, без всякого толку, по двадцать и по тридцать крестьян в день. Другие мои товарищи — тоже. Жадность этих сонных скупердяев ставила под угрозу нашу Революцию. Рабочие в городах пухли с голоду, народноармейцы постоянно недоедали, без зерна никто не давал нам кредитов для создания своей военной индустрии, буржуазные государства готовились к интервенции. Крестьяне прятали по разным закутам миллионов на двести золотых денег и зарывали в землю половину урожаев. Мы уважительно говорили им «граждане», а они лениво лупали зенками и считали нас последними дураками... Третий допрос моего крестьянина был назначен на час ночи: тогда все наши следователи работали по восемнадцать часов в сутки и больше. Крестьянина разбудили; голова у него со сна, конечно, не работала; тут-то он у меня во всем и признался. Я стал допрашивать преступников ночью... Одна подследственная ждала до утра, пока я вызову ее на допрос: стульев у нас в коридоре не было, ей пришлось всю ночь простоять. И вот, когда ее ввели в кабинет, она просто-напросто рухнула на стул; посреди допроса она уснула. Я разбудил ее, задал вопрос, она ответила и опять уснула. Мне пришлось разбудить ее снова; тогда она быстро во всем призналась, не читая, подписала протокол допроса и таким образом заслужила сон. Ее муж, матерый бандит, припрятал в амбаре два пулемета и заставлял крестьян сжигать зерно; пулеметы подкрепляли его видения: ему регулярно являлся антихрист. Его жена всю ночь стояла из-за небрежности моего помощника; я начал поощрять такую небрежность; особенно упрямые дожидались допроса по сорок восемь часов подряд; простояв двое суток у дверей кабинета, они начинали понимать слова...

Игроки в шахматы смешали фигуры и сразу же начали вторую партию; третий следователь куда-то ушел. Иванов молча смотрел на Глеткина. Тот говорил спокойно и трезво, ровным, ничего не выражающим голосом.

— Мои товарищи тоже учились. Подследственные начали давать показания. Инструкции по-прежнему строго соблюдались: мы никогда не били заключенных. Но иногда они — так сказать, случайно — видели казни других заключенных. Это уже можно назвать воздействием — отчасти физическим, отчасти моральным. Другой пример: для поддержания гигиены заключенных предписывалось регулярно мыть. Бани, конечно, тогда не работали. Приходилось пользоваться старыми цистернами: мы наливали в них воду, как в ванны. Зимой трубы часто замерзали, заключенный мог выбраться из такой цистерны только с помощью рабочих «по бане», а им ведь временами надо и отлучиться. Иногда горячее водоснабжение было у нас даже слишком хорошим — это тоже зависело от рабочих. Рабочие были старыми партийцами, они не нуждались в детальных инструкциях...

— Разумеется, не нуждались,— сказал Иванов.

— Ты ведь хотел, чтобы я объяснил, как создавалась моя теория, я и объясняю,— сказал Глеткин.— Наши поступки диктуются нам строжайшей логической необходимостью; тот, кто действует из иных побуждений,— циник... Мне надо идти: поздно.

Иванов выпил и передвинул протез: его опять мучило ощущение ревматической боли в правой стопе. Он уже несколько раз пожалел, что затеял этот ненужный разговор.

Подошла официантка, Глеткин расплатился; когда она ушла, он бесстрастно спросил:

— Так как мы будем отрабатывать Рубашова?

— Я уже сказал: оставим в покое.

Глеткин встал, скрипнули ремни.

— Я признаю его прежние заслуги,— проговорил он, остановившись у стула, на который Иванов взгромоздил протез.— Но сейчас он объективно такой же вредитель, как те крестьяне. Только опасней.

Иванов снизу посмотрел на Глеткина, глеткинский взгляд ничего не выражал.

— Я дал ему две недели на раздумье,— сказал Иванов.— Пусть подумает.

В голосе Иванова прозвучал приказ. Следователь Глеткин был его подчиненным. Вскинув руку в официальном приветствии, он молча пошел к выходу из столовой; блестящие сапоги визгливо скрипели.

Иванов допил остатки вина, закурил папиросу; потом встал и, хромая, побрел к двум следователям, которые все еще играли в шахматы.

3

Сразу же после первого допроса жизнь Рубашова поразительно улучшилась. На следующее утро старик-надзиратель принес ему пачку бумаги и карандаш, мыло,

полотенце и тюремные талоны — на все изъятые при аресте деньги; надзиратель сказал, что в ларьке продаются «табачные изделия и пищевые продукты».

Рубашов заказал и папирос, и еды. Надзиратель, все такой же молчаливо-угрюмый, принес заказанное удивительно быстро. Рубашов решил было вызвать врача — не тюремного, а с «воли»,— но забыл об этом. Зуб прошел; он умылся, поел — и почувствовал себя почти хорошо.

Тюремный двор тщательно расчистили, многих заключенных выводили гулять. Видимо, прогулки прекратились из-за снега, но Заячья Губа и его напарник гуляли — десять минут в день — даже сразу после снегопада, возможно, по особому предписанию врача; всякий раз выходя во двор, Заячья Губа подымал голову и явно смотрел на рубашовское окно.

Рубашов ежедневно делал записи, а устав, ходил взад-вперед по камере или, прислонившись к оконному стеклу, рассматривал выпущенных во двор заключенных. Группа составлялась из двенадцати человек; пары на расстоянии десяти шагов медленно брели вдоль кирпичных стен. В середине стояли четыре охранника, следивших, чтобы заключенные молчали; они образовывали центр медлительной, немо кружащейся по двору карусели. Прогулка продолжалась двадцать минут, потом заключенных уводили в корпус — через правую дверь, а из двери слева во двор выходила новая партия.

В первые дни Рубашов отыскивал знакомые лица, но их не было. Это и к лучшему, решил он: воспоминания о внешнем мире неминуемо отвлекли бы его от работы. Ему следовало спокойно обдумать свое отношение к живым и мертвым, увязать прошлое с мыслями о будущем, чтобы прийти к однозначным выводам. Иванов назначил двухнедельный срок, он истекал через десять дней.

Рубашов мог целенаправленно думать, только занося мысли на бумагу, однако и писать ему было трудно; он работал часа два в день. Остальное время он шагал по камере, отдавшись потоку случайных ассоциаций.

Он всегда был решительно убежден, что прекрасно знает самого себя. Ему не мешали моральные предрассудки, и у него не было никаких иллюзий относительно природы «личного *Я*»: он просто верил, не ища доказательств, что этот осколок «коллективного *МЫ*» таит в себе такие особенности, которые человек не любит показывать. Теперь, размеренно шагая по камере или неожиданно прервав ходьбу — на третьей черной плитке от окна, или прижимаясь лбом к стеклу, он совершал странные открытия. Оказалось, что раздумье — мысленный монолог — это на самом-то деле диалог, в котором один собеседник молчит, а другой, вопреки грамматическим правилам, называет его не *ты*, а *я* — чтобы втереться к нему в доверие и разузнать самые сокровенные помыслы; но немой собеседник никогда не отвечает, больше того — он наотрез отказывается определить себя в пространстве и времени.

Но с некоторых пор, как чудилось Рубашову, этот обычно немой собеседник иногда, без всяких причин и поводов, вдруг обретал свой собственный голос; Рубашов, не узнавая, слушал его... и замечал, что шевелит губами. Впрочем, чуда никакого не было — Рубашов обогащался новым опытом, вполне конкретным и физически осязаемым: он постепенно все яснее ощущал реальную природу «личного *Я*», хранившего раньше упорное молчание.

Обретенный голос занимал Рубашова гораздо больше ивановских предложений. Он считал, что уже отверг их и таким образом вышел из игры, а значит — ограничил свое существование десятью оставшимися до срока днями; соответственно сузились и его интересы.

Он и не думал о дурацком обвинении, которым ему угрожал Иванов; а вот сам Иванов его интересовал. Уговаривая Рубашова, он упомянул, что они могли бы поменяться ролями — при несколько ином повороте событий; с этим Рубашов мысленно согласился. Они ведь были близнецами по Партии, не по рождению, а именно по Партии: одна и та же — партийная — среда формировала и выковывала их характеры в годы становления партийных принципов. Их породнила единая мораль, общая философия и тождественное мышление. Иванов сказал совершенно правильно: они могли бы поменяться местами. И, наверно, следователю Комиссариата Рубашову пришли бы в голову те же доводы, которыми пользовался сейчас Иванов.

Привычка думать от лица противника опять властно захватила Рубашова — теперь он сидел за ивановским столом и смотрел на себя глазами Иванова, вспоминая, как сам когда-то смотрел на осужденных Партией Леви и Рихарда. Вот он, развенчанный Народный Комиссар, отставной командир и бывший товарищ,— Рубашов, глядя глазами Иванова, ощутил его сочувственное презрение. Во время допроса он не мог догадаться, хитрил Иванов или был правдивым, загонял в ловушку или спасал. Поставив себя на место Иванова, он понял, что тот сочувствовал ему так же искренне или равнодушно, как он сочувствовал Леви и Рихарду.

Рубашов заметил, что его раздумья приняли характер привычного монолога: немой собеседник опять замолчал, и, хотя монолог был адресован ему, он не проявлял признаков жизни, оставаясь неодушевленной грамматической оболочкой первого лица единственного числа. Ни общие рассуждения, ни конкретные вопросы не могли разбудить немого собеседника. Он заговаривал без видимых причин, но, как правило, когда разбаливался зуб. Его заботили странные подробности — протянутые к кресту руки Богоматери, кошки Леви, мелодия песни с рефреном «Будем втоптаны в прах» или непонятная фраза Арловой, когда-то очень удивившая Рубашова. Да и проявлялся он тоже странно: заставлял потирать пенсне о рукав, побуждал коснуться прямоугольника на стене, где раньше висела групповая фотография, принуждал непроизвольно шевелить губами и бормотать явную бессмыслицу, вроде «теперь-то уж я расплачусь за все», насылал столбняк во время видений о прошлых, похороненных памятью событиях.

Неспешно шагая взад-вперед по камере, он старался исследовать как можно полнее свое новообретенное *Я*; с привычным — и всячески одобряемым Партией — нежеланием подчеркивать первое лицо он назвал его Немым Собеседником. Рубашову, по его глубокому убеждению, жить оставалось совсем недолго, и он спешил логически осмыслить внутреннюю сущность нового *Я*. Но когда оживал Немой Собеседник, умирала способность логически мыслить. Его сущность и заключалась в том, что он, обитая за пределами логики, насылал на человека мучительную боль, иногда физическую — например, зубную,— а иногда моральную: пытку памятью. Так Рубашов после первого допроса, на седьмой день своего заключения, снова пережил — в дневных видениях — историю отношений с расстрелянной Арловой.

Человек не способен сознательно зафиксировать то мгновение, в которое засыпает,— вот и Рубашов не мог припомнить, когда он поддался дневным видениям. Утром седьмого дня в тюрьме он работал над своими записями; потом, кажется, встал с табуретки, чтобы размять затекшие ноги; а потом услышал скрежет ключа и понял, что вот уже несколько часов он безостановочно шагает по камере. Его знобило; дергало зуб; на своих плечах он ощутил одеяло; видимо, озноб и зубная боль начались несколько часов назад. Он рассеянно выхлебал баланду — дверь открыли для выдачи обеда — и снова принялся шагать по камере. Надзиратель, заглядывая временами в очко, видел, что арестант непрерывно ходит, зябко сутулится и шевелит губами.

Рубашова окружала забытая обстановка его кабинета в Торговой Миссии — забытая обстановка и странно памятный запах крупного, хорошо сложенного, сонно-медлительного тела Арловой; он видел ее склоненную шею, высокую грудь и большие глаза, неизменно обращаемые в его сторону, когда, задумавшись над какой-нибудь фразой, он расхаживал по своему кабинету. Арлова носила белые блузки, похожие на блузки его сестер, с вышивкой по высокому воротничку-стойке, темные юбки и лакированные туфли на непропорционально высоких каблуках; дешевые, всегда одни и те же серьги перечеркивали — немного вкось — ее щеки, когда она склоняла голову над блокнотом. Медлительно-мягкая пассивность Арловой, удивительно подходившая к ее должности, чудотворно снимала нервное напряжение, каким бы усталым Рубашов ни был. Его назначили руководителем Миссии через полмесяца после смерти Леви, и он с головой ушел в работу, требовавшую только чиновничьего усердия. ЦК сделал для него исключение: обычно деятелей Интернационала не переводили в Дипломатический корпус. Вероятно, Первый связывал с Рубашовым какие-то свои особые планы, потому что интернациональцы и дипломаты почти никогда не встречались друг с другом — за этим следила специальная служба,— а порой проводили не только разную, но как бы прямо противоположную политику. Разумеется, Политическое Бюро Первого всегда координировало их работу: противоречия диктовались тактикой и вели к единой стратегической цели, но это было видно лишь сверху.

Рубашов с трудом привыкал к своей жизни: поначалу ему казалось удивительным, что у него есть законный, подлинный паспорт — не на чужое, а на собственное имя, что он участвует в дипломатических приемах, что его приветствуют постовые полицейские и что неприметно одетые люди следят за ним для его же охраны.

Сначала он чувствовал себя чужаком и в шикарных апартаментах Миссии; он понимал, что буржуазный мир ждет от него соблюдения условностей, присущих ритуальным дипломатическим действам; но ему казалось, что его подчиненные так самозабвенно выполняют ритуалы, как будто это и есть их жизнь. Когда Первый Секретарь Миссии,— подделывавший до Революции деньги, потому что Партия нуждалась в средствах,— привлек внимание Рубашова к необходимости резко изменить привычки, он, вместо товарищеской иронии, был преисполнен такой холуйской возвышенности, что Рубашову сделалось стыдно и пакостно.

У Рубашова было двенадцать подчиненных со строго определенными чинами и обязанностями: два — Первый и Второй — заместителя, два бухгалтера — Главный и Старший, Секретари Миссии и их Помощники. Рубашов замечал, что, по их разумению, он превратился в «народного героя», потому что был международным бандитом. Они его высокомерно терпели и подчеркнуто, с тайным презрением, уважали. Когда Первый Секретарь Миссии излагал суть очередного документа, он старался говорить

попроще — словно с ребенком или дикарем. Меньше всего ему действовала на нервы Арлова, его секретарь-стенографистка; только вот никак он не мог понять, зачем ей туфли с высоченными каблуками к белым блузкам и простеньким юбкам.

Он уже месяц проработал в Миссии, когда однажды, устав от диктовки и хождения взад-вперед по кабинету, вдруг заметил ее молчаливость.

— Товарищ Арлова,— спросил он ее,— а почему вы всегда так упорно молчите?

— Если хотите,— ответила она спокойным, даже чуть сонным голосом,— я всегда буду повторять то слово, которым вы заканчиваете фразу...

Она сидела за стенографическим столиком, склонившись к нему высокой грудью и согнув шею, так что ее серьги почти касались воротника блузки. Арлова не закидывала ногу на ногу, как его знакомые женщины-товарищи, но ее необычайно высокие каблуки все же немного раздражали Рубашова. Во время диктовки он шагал по кабинету и видел то профиль, то затылок Арловой, и вот больше всего ему запомнилась ее склоненная к блокноту шея с чистой, натянутой на позвонках кожей и тонкие завитки волос на затылке.

В юности он не интересовался женщинами: они прежде всего были товарищами, а так называемые любовные отношения возникали, как правило, после дискуссий, обычно затягивавшихся далеко за полночь,— любовь регламентировалась работой трамвая...

После неудачно начатого разговора незаметно прошло около двух недель. Первое время Арлова повторяла последнее слово законченной фразы, потом это ей, видимо, надоело, и, когда Рубашов прерывал диктовку, кабинет заполняла сонная тишина, насыщенная запахом арловских духов. Как-то под вечер неожиданно для себя Рубашов, оказавшись за стулом Арловой, легко положил руки ей на плечи и спросил, не хочет ли она с ним поужинать. Арлова не отстранилась, не повернула головы; она просто молча кивнула, соглашаясь. Рубашов не любил фривольных шуточек, но не смог удержаться и ночью сказал: «Знаешь, я было сначала подумал, что ты застенографируешь мое предложение». Очертания высокой полной груди казались ему такими знакомыми, словно та ночь не была первой. Только арловские длинные серьги непривычно плоско лежали на подушке. У Арловой не изменился ни взгляд, ни голос, когда она сказала странную фразу, запомнившуюся Рубашову навеки,— так же как протянутые руки Мадонны и запах гниющих водорослей в порту.

— Ты можешь сделать со мной что захочешь.

— Почему? — удивленно спросил Рубашов; ему даже стало как-то не по себе.

Она не ответила. Вероятно, уснула. Ее дыхания не было слышно — так же, как и днем, во время диктовки. Рубашов его никогда и не слышал. И никогда не видел — до первой ночи — лица Арловой с закрытыми глазами. Закрытые глаза, как ему показалось, делали ее лицо живее. Но опущенный к высокой груди подбородок придавал ей странное сходство с умершей. Странными были и темные тени под мышками — он их увидел впервые. Зато аромат ее сонного тела был давно и привычно знакомым.

С утра и днем, много дней подряд, она, склонившись к своему столику, записывала то, что диктовал Рубашов, а ночью — много ночей подряд — очертания ее высокой груди привычно прорисовывались под ее одеялом. Ее крупное спокойное тело было рядом и ночью и днем. За работой Арлова была все той же: тот же голос, те же глаза, ни надежд, ни иллюзий в чуть сонном взгляде. Изредка, устав шагать по кабинету, Рубашов останавливался за ее столом и легко опускал ей на плечи руки; он молчал, она не шевелилась; потом он находил нужную фразу, и прерванная на минуту диктовка возобновлялась.

Порой он довольно едко комментировал свои служебно-дипломатические сочинения; Арлова сейчас же переставала записывать и ждала, держа карандаш наготове, когда он снова вернется к работе; она не улыбалась его замечаниям — просто ждала с карандашом в руках; Рубашов так никогда и не узнал ее отношения к своему сарказму. Но однажды, после опаснейшей шутки о каких-то личных привычках Первого, Арлова, по-обычному неторопливо, откликнулась: «Такого нельзя говорить на людях, надо хоть чуточку себя беречь...» Однако при ней он все же злословил, особенно читая инструкции «сверху».

Готовился Второй процесс над оппозицией. В Миссии становилось трудно дышать. Незаметно исчезали старые портреты, о которых годами никто не вспоминал; но теперь светлые пятна на стенах постоянно и назойливо лезли в глаза. Подчиненные Рубашова, встречаясь друг с другом, вели нарочито деловые разговоры; в столовой, чтоб как-то нарушить молчание, произносили строго верноподданнические фразы, так что привычные обеденные просьбы «будьте любезны, дайте мне соль» или «передайте мне, пожалуйста, горчицу», сменяемые лозунгами последнего Съезда, приобретали пародийно-жутковатый оттенок. Частенько кто-нибудь из работников Миссии в страхе, что его неправильно поняли, восклицал: «Товарищи, прошу засвидетельствовать, я говорил только то-то и то-то!». Все это представлялось Рубашову смешным и вместе с тем страшным кукольным фарсом, в котором марионетки из плоти и крови дергались на крепких ниточках директив. Одна Арлова с ее сонным спокойствием казалась Рубашову живым человеком.

Так же как исчезали портреты со стен, пустели в библиотеке книжные полки. Очередная порция книг и брошюр изымалась, когда приходила почта. Рубашов во время работы с Арловой продолжал делать едкие замечания, она слушала их по-прежнему молча. Почти все фундаментальные труды, посвященные вопросам международной торговли, уже исчезли с библиотечных полок: их автор, Народный Комиссар финансов, был незадолго до этого арестован; из старых отчетов о Съездах Партии выстригали страницы его докладов. Исчезли книги по истории Революции и работы о предреволюционной борьбе; философские сочинения и юридические справочники, написанные учеными, примкнувшими к Революции; руководства по структуре Народной Армии; исследования о профессиональных союзах и праве трудящихся Народного государства объявлять мирные забастовки протеста; не осталось практически ни одной работы о политическом строении государства; и вот, наконец, опустели полки с изданной после Революции Энциклопедией — в очередном циркуляре было объявлено, что к печати готовится улучшенное издание.

Но пустующие полки быстро заполнялись новыми изданиями основоположников с множеством подстрочных примечаний и комментариев, новыми трудами по истории Революции, новыми мемуарами старых революционеров, которые, как всем было известно, умерли; Рубашов однажды заметил при Арловой, что скоро они, вероятно, получат старые газеты в новом издании.

А пока что пришла инструкция «сверху» назначить заведующего библиотекой с возложением на вышеупомянутого обязанности следить за политическим подбором книг. На новую должность назначили Арлову. Рубашов поговаривал о «всеобщем безумии» и считал новое назначение чепухой — пока на собрании партийной ячейки Арлову не начали вдруг изобличать. Партийцы — три или четыре человека и среди них Первый Секретарь Миссии — утверждали, что в их библиотеке нет наиболее важных речей Первого; что, с другой стороны, библиотечные полки просто ломятся от работ уклонистов; что книги видных политпредателей — платных агентов мирового капитализма — до недавнего времени хранились в библиотеке; и что все это очень похоже на провокацию. Выступающие говорили коротко и ясно; слова и фразы были тщательно выверены; казалось, что идет срежиссированный спектакль. Речи неизменно кончались утверждением, что бдительность — главное оружие Партии, а выявление всех и всяческих уклонов есть основная задача партийца. Когда на трибуну вызвали Арлову, она с обычной неторопливостью сказала, что не хотела сделать ничего плохого и строго придерживалась всех указаний; но в этот раз — впервые при сотрудниках — она не отрываясь смотрела на Рубашова... Партийное собрание вынесло резолюцию «строго предупредить товарища Арлову».

Рубашову, который прекрасно знал сущность новейших партийных методов, стало не по себе. Он догадывался, что над Арловой собирается мрачная гроза — и ощущал свою полнейшую беспомощность: опасность была совершенно безликой.

В Миссии дышалось все трудней и трудней. Теперь Рубашов, работая с Арловой, не делал никаких внеслужебных замечаний — и чувствовал себя странно виноватым. Внешне их отношения не изменились, но неопределенное чувство вины — за то, что иссякло его остроумие,— не давало ему подходить к ее стулу и в задумчивости класть ей руки на плечи. Через неделю Арлова не пришла к нему вечером; утром Рубашов ни о чем ее не спросил, вечером она опять не пришла; Рубашов заставил себя спросить ее, что случилось, лишь на третий день. Она сослалась на головную боль, и он не стал продолжать разговора. С тех пор они не встречались вечерами — вернее, встретились еще один раз. Это было через три недели после собрания партийной ячейки и спустя полмесяца после того, как Арлова впервые не пришла к нему вечером. И вот вдруг она снова пришла, ее поведение ничуть не изменилось, но Рубашова весь вечер не покидала уверенность, что она ждет решающего слова. Он сказал ей, что страшно устал и что очень радуется ее приходу,— все это было истинной правдой. Ночью, пока Рубашов не уснул, она лежала с открытыми глазами и молча, не мигая, глядела во тьму; его замучило чувство вины и давно не повторявшаяся зубная боль. Больше они по вечерам не встречались.

Утром, до прихода Арловой на работу, Первый Секретарь сообщил Рубашову — доверительным тоном и выверенными фразами, что брат Арловой и его жена арестованы Там неделю назад; невестка Арловой была иностранкой; и брат, и его жена-иностранка изобличены, как сказал Секретарь, в связях с ее буржуазной родиной для оказания помощи оппозиции.

Через несколько минут пришла Арлова. Она по-обычному сидела за столиком, пригнув голову к своему блокноту. Рубашов расхаживал позади ее стула — ему была видна склоненная шея с чистой, натянутой на позвонках кожей и тонкие завитки волос на затылке. Он не мог оторвать от них глаз; чувство вины тонуло в дурноте — физической дурноте. Рубашов помнил, что Там осужденным стреляют в затылок.

На следующем собрании партийной ячейки Арловой выразили политическое недоверие и по предложению Первого Секретаря сместили с должности заведующей библиотекой. Никаких иных предложений не было. Рубашова замучила зубная боль, и он не смог пойти на собрание. Через два дня после собрания ячейки Арлову и еще одного сотрудника отозвали. Никто о них не вспоминал. Рубашова отозвали через несколько месяцев, и все это время, до самого отъезда, он неизменно ощущал в своей комнате запах ее спокойного тела.

4

всавай проклятьем заклейменный

Рубашов услышал эту строку утром на десятый день заключения: ее передал Четыреста шестой. Рубашов попытался завязать разговор. Пока он задавал какой-нибудь вопрос, сосед слева терпеливо молчал; а потом разражался бессвязным стуком, в котором угадывались лишь отдельные буквы, и всегда заканчивал строкой гимна с одной и той же грамматической ошибкой:

всавай проклятьем заклейменный

Соседа привезли нынешней ночью: Рубашов слышал шаги конвоиров и скрежет замка Четыреста шестой. Наутро, сразу же после подъема, сосед искусно и быстро отстукал: **всавай проклятьем заклейменный.** Техника у него была виртуозной, и Рубашов решил, что грамматическая ошибка в любимой фразе Четыреста шестого, так же как невнятица остальных сообщений, говорит скорее об умственном расстройстве, чем о незнании квадратической азбуки. Видимо, сосед повредился в уме.

После завтрака сосед справа, молодой поручик, отстукал вызов. За последнее время между Рубашовым и узником Четыреста второй камеры укрепилась почти приятельская связь. Усатого офицерика с моноклем в глазу, вероятно, все время грызла тоска, и он был сердечно благодарен Рубашову за любой, самый короткий разговор. По пять, в то и по шесть раз в день он просил:

давайте поговорим

Рубашову редко хотелось разговаривать, да и не знал он, о чем толковать с офицером. Обычно Четыреста второй отстукивал анекдоты — старую офицерскую жеребятину. Когда очередной анекдот кончался, в камерах воцарялась угрюмая тишина. Рубашов представлял себе, как его сосед, дойдя до кульминации, беспомощно озирался в ожидании взрывов жеребячьего хохота и с тоской смотрел на немую стенку. Временами Рубашов из сочувствия к соседу громко отстукивал **ха-ха-ха-ха**, и офицер впадал в идиотическое блаженство: он вколачивал в стену бесчисленные **ха-ха** — по всей вероятности, и ногами, и кулаками — делая иногда короткие передышки, чтобы Рубашов тоже посмеялся. Если же Рубашов хранил молчание, сосед, охваченный унылой горечью, с упреком выстукивал: **вы не смеетесь...** А когда Рубашов, чтобы отвязаться, отвечал азбучной имитацией смеха, офицер потом неоднократно вспоминал:

эх и здорово же мы повеселились

Порой сосед оскорблял Рубашова. Порой, не получая от него ответа, выстукивал песни Гражданской войны, в которых офицеры гнусно поносили бойцов и командиров Народной Армии. Порой отстукивал старый гимн — Рубашов, отдавшийся дневным видениям или погруженный в череду своих мыслей, вполуха слушал Четыреста второго.

Но Четыреста второй был очень полезен. Он сидел уже больше двух лет, прекрасно разбирался в здешних порядках, поддерживал связь со многими заключенными и сразу узнавал все тюремные новости.

Когда появился Четыреста шестой и офицер начал утреннюю беседу, Рубашов спросил его, не знает ли он, кого привезли нынешней ночью. Офицер ответил:

рип ван винкля

Он очень любил говорить загадками — чтобы расцветить очередной разговор. Рубашов припомнил повесть о человеке, который, проспав двадцать лет, обнаружил, что реальный мир неузнаваемо изменился.

он потерял память, спросил Рубашов.

Четыреста второй, довольный своей шуткой, рассказал Рубашову то, что знал. Четыреста шестой был учителем истории в одной из стран юго-восточной Европы. После Мировой войны его страну захлестнула Революция, Четыреста шестой принимал в ней участие. Разумеется, была основана Коммуна, романтически правившая несколько недель и потом буднично утопленная в крови. Руководители Революции были дилетантами, но их судили как профессионалов: Четыреста шестого, с его пышным титулом Комиссара просвещения трудящихся масс, приговорили к смертной казни через повешение. Год он прождал исполнения приговора: потом суд заменил ему смерть пожизненным заключением в одиночной камере. С тех пор прошло два десятилетия.

Двадцать лет он просидел в одиночке, ничего не зная о внешнем мире. Да и внешний мир о нем позабыл. В этом юго-восточном государстве сохранились довольно патриархальные порядки: месяц назад там объявили амнистию, коснувшуюся всех политических заключенных; и вот современный Рип Ван Винкль, на двадцать лет оторванный от мира, был предоставлен самому себе.

В тот же день он сел в поезд и прибыл в страну своей давней мечты. Через две недели его арестовали. Возможно, двадцать лет одиночки сделали его чересчур болтливым. Возможно, он принялся рассказывать людям, какой ему виделась жизнь Там, когда он мечтал о ней в одиночке. Возможно, захотел узнать адреса своих партийных товарищей по движению — наемных агентов мировой буржуазии. Возможно, не туда возложил венок или решил нанести визит командиру знаменитой бригады Рубашову — своему нынешнему товарищу по тюрьме.

Теперь он мог бы задаться вопросом, что было лучше — два десятилетия во тьме одиночки или же две недели реальности в ярком свете осуществленной мечты. И, возможно, рассудок Рип Ван Винкля не выдержал такой непосильной нагрузки...

Вскоре зазвучала левая стенка: Рип Ван Винкль простукал раз шесть **всавай проклятьем заклейменный** и смолк. Рубашовскую камеру затопила тишина.

Рубашов лег и закрыл глаза. Неожиданно ожил Немой Собеседник — он не сказал ни одного слова, и тем не менее Рубашов понял.

За это тебе тоже придется расплачиваться: его мечту осуществлял ты.

Днем Рубашова повели стричься.

На этот раз его сопровождал только один вооруженный охранник: старик-надзиратель шел впереди, за ним Рубашов, за Рубашовым — охранник. Они миновали Четыреста шестую — на двери пока что не было таблички. В парикмахерской их ждал мастер из заключенных — один; другого куда-то услали; Рубашов понял, что существует приказ не допускать его встреч с другими заключенными.

Он сел; здесь было сравнительно чисто; висело зеркало; он снял пенсне и мельком глянул на свое лицо; оно обросло густой щетиной, никаких других перемен не было.

Парикмахер работал аккуратно и быстро. Дверь в коридор оставалась открытой; старик-надзиратель куда-то ушел, охранник, прислонившись к дверному косяку, наблюдал за работой; парикмахер молчал. Ощущение мыльной пены на щеках доставляло Рубашову огромное удовольствие; ему припомнилось, что в обыденной жизни есть множество мелких, но приятных радостей. Он очень охотно поболтал бы с парикмахером, но это, разумеется, было запрещено; Рубашов не хотел усложнять ему жизнь, тем более что его открытое лицо сразу внушило Рубашову симпатию. По облику он не походил на парикмахера: скорее — на механика или кузнеца. Начав брить, он спросил: «Не беспокоит?..— и негромко добавил: —...гражданин Рубашов».

Это была его первая фраза; несмотря на совершенно равнодушный тон, в ней прозвучала скрытая многозначительность. Охранник у двери закурил папиросу; парикмахер продолжал работать молча: точными, профессионально-скупыми движениями он подровнял рубашовскую эспаньолку, а потом принялся подстригать ему волосы. Глаза Рубашова на мгновение встретились с напряженным взглядом парикмахера-арестанта — и тотчас же парикмахер, как бы для того, чтобы подкоротить ему волосы на шее, просунул два пальца под ворот рубахи; когда он их вытащил, Рубашов почувствовал колкий комочек бумаги под рубахой. Через несколько минут стрижка закончилась, и Рубашова отвели обратно в камеру. Он сел на койку и, посматривая в очко, чтобы его не застали врасплох, вынул бумажку, развернул ее и прочел. В ней торопливо-неразборчивым почерком было написано:

«Умрите молча».

Рубашов бросил записку в парашу и задумался. Со дня своего ареста он был отрезан от всего мира — и вот получил первое послание. Сидя в тюрьмах враждебных стран, он нередко получал записки с призывом «возвысить голос протеста и швырнуть обвинения в лицо обвинителям». Интересно, случалось ли такое в Истории, чтобы для пользы революционного дела революционера призывали молчать? Чтобы от него требовалось одно — и только одно — умереть молча?

Мысли Рубашова прервал сосед, поручик: он начал стучать в стенку, едва Рубашов возвратился из парикмахерской. Ему не терпелось поскорее узнать, куда и зачем «дергали» Рубашова.

водили стричься, объяснил Рубашов.

боялся наихудшего, простучал сосед.

только после вас, ответил Рубашов.

Четыреста второй был благодарным собеседником.

ха-ха, с энтузиазмом отстукал он, **а вы чертовски мужественный парень.**

Странно, но этот старомодный комплимент показался Рубашову очень приятным.

Он завидовал Четыреста второму с его клановым кодексом чести, который указывал, как ему жить и как умирать... Завидная доля! У Рубашова и его товарищей по движению не было свода нравственных правил: все свои поступки они совершали, сообразуясь с единственным мерилом — рассудком.

Даже обдумывая собственную смерть, Рубашов полагался только на разум. Что честнее — умереть молча или пойти на великие унижения во имя борьбы за великие идеалы? Он принес в жертву жизнь Арловой, чтобы сохранить себя для Революции. Его жизнь была объективно нужнее, этот довод выдвигали и друзья: долг сохранить себя в резерве Партии был, по их — и его — мнению, важней велений буржуазной морали. Для тех, кто меняет облик Истории, нет никакого иного долга, кроме готовности идти вперед. «Ты можешь сделать со мной что захочешь»,— сказала Арлова, и, когда понадобилось, он сделал именно то, что хотел. Почему же он должен относиться к себе с большой бережностью, чем к покорной Арловой? «Грядущее десятилетие окончательно решит судьбу человечества»,— писал Рубашов. Имеет ли он право дезертировать из жизни ради гордости, покоя или славы? А что, если Первый все-таки прав? Что, если здесь, в кровавой грязи, во лжи и насилии, закладывается фундамент великого счастья всего человечества? История, этот неразборчивый строитель, всегда скрепляла здание Будущего раствором грязи, крови и лжи — она никогда не была человечной.

Умереть молча, уйти во тьму — красивые слова...

Рубашов замер — на третьей черной плитке от окна: он вдруг заметил, что твердит вслух слова записки *«умрите молча»*,— твердит неодобрительно-ироническим тоном, как бы подчеркивая их бессмысленность.

И он понял, что его решение пренебречь разумным советом Иванова было вовсе не таким уж окончательным. Сейчас ему даже казалось сомнительным, что он принял подобное решение, то есть решил умереть молча.

5

Жизнь Рубашова продолжала улучшаться. Утром на одиннадцатый день заключения ему первый раз разрешили прогулку.

Старик-надзиратель и тот самый охранник, который сопровождал его в парикмахерскую, пришли за ним сразу же после завтрака. Надзиратель официально объявил Рубашову, что ему разрешена ежедневная прогулка — двадцать минут в тюремном дворе. Рубашова приписали к первой партии. Надзиратель быстро отбарабанил инструкцию — разговоры на прогулке со своим напарником, а равно и с любым другим заключенным запрещены; запрещается обмениваться знаками или какой-либо иной информацией; шаг влево или шаг вправо из строя заключенных приравнивается к побегу; заключенный, нарушивший данную инструкцию, немедленно лишается права прогулки; серьезные нарушения влекут за собой содержание в карцере — до четырех недель... Затем Рубашова вывели в коридор. Поравнявшись с Четыреста шестой камерой, надзиратель открыл тяжелую дверь.

Рубашов, остановленный за несколько шагов, увидел ноги лежащего заключенного. На них были черные башмаки с пуговками и старые, обтрепанные внизу до бахромы, но трогательно опрятные клетчатые брюки. Брюки нерешительно сползли с койки, надзиратель снова прочитал инструкцию, и в дверях, помаргивая от яркого света, показался пожилой исхудалый человечек. Лицо его покрывала седая щетина, из-под черного пиджака виднелась жилетка. С пристойным любопытством оглядев Рубашова, человечек сдержанно, но приветливо кивнул ему, и они двинулись к выходу во двор: впереди надзиратель, за ним заключенные и сзади них вооруженный охранник. Рубашов ожидал встретить сумасшедшего, но Четыреста шестой не выглядел сумасшедшим. Несмотря на тик — у него дергалась бровь, скорее всего от лишений в одиночке,— глаза Рип Ван Винкля лучились дружелюбием, немного наивным, но вполне осмысленным. Он шел мелкими твердыми шажками, с каким-то едва уловимым напряжением и временами приветливо посматривал на Рубашова. Когда они начали спускаться по лестнице, он споткнулся и скатился бы вниз, если бы его не поддержал охранник. Рип Ван Винкль поблагодарил охранника — слов Рубашов расслышать не смог,— и тот расплылся в туповатой ухмылке. Вскоре они вышли на тюремный двор, где заключенных уже выстроили по два; один из охранников свистнул в свисток, и первая рубашовская прогулка началась.

Небо было чистым и выцветшим, воздух искрился звонким морозцем; Рубашов, забывший захватить одеяло, сразу ощутил ознобную дрожь. Рип Ван Винкль набросил на плечи вытертое до дыр старое одеяло, которое ему протянул надзиратель. Он молча шел рядом с Рубашовым твердыми, немного напряженными шажками и, прижмурившись, взглядывал в солнечное небо; серое, свисающее до колен одеяло покрывало его, словно мягкий колокол. Рубашов посмотрел на окно своей камеры; оно ничем не отличалось от других, слепых и тусклых, как глаза с бельмами; сквозь стекло ничего нельзя было увидеть. Он перевел взгляд на окно справа, за которым жил Четыреста второй,— тот же слепой решетчатый прямоугольник. Четыреста второго не выводили на прогулку; не водили его ни в парикмахерскую, ни к следователю; он никогда не покидал своей камеры.

Заключенные медленно кружили по двору. Губы Четыреста шестого шевелились, он беспрестанно что-то бормотал, но Рубашов не мог разобрать что; впрочем, вскоре он уловил мелодию гимна «Вставай, проклятьем заклейменный». Нет, Рип Ван Винкль не был сумасшедшим, но семь тысяч дней одиночного заключения сделали его несколько странным. Рубашов искоса оглядел напарника, пытаясь осмыслить чувства человека, просидевшего двадцать лет в одиночке. Когда его осудили, не было радио, автомобили казались экзотической редкостью, нынешних политиков никто не знал. Волна Движения сходила на нет; ни один революционер в то время не предвидел, на сколько потоков она разобъется, когда опять наберет силу,— так же как никто не мог предсказать изменений в структуре Революционного Государства и крутых поворотов на его пути; тогда все верили, что человеческий род подошел к воротам Земного рая...

Рубашов понял, что не может почувствовать состояния психики Рип Ван Винкля, хотя он очень хорошо умел «смотреть на мир глазами других». С Ивановым и Первым или даже с поручиком, отделенным от него кирпичной стеной, это удавалось ему без труда, а вот с Рип Ван Винклем никак не получалось. Рубашов искоса глянул на напарника, тот как раз повернул к нему голову: он улыбался и, придерживая одеяло, едва слышно напевал свой гимн.

Когда их привели обратно в корпус, Рип Ван Винкль на пороге камеры обернулся и опять кивнул Рубашову; его глаза изменили выражение: теперь в них мерцали безнадежность и страх; Рубашов ждал какой-нибудь реплики, но старик-надзиратель захлопнул дверь. Как только охранник и надзиратель ушли, Рубашов бросился к левой стенке.

Но Рип Ван Винкль ничего не передал ему и даже не откликнулся на его вызов.

А Четыреста второму не терпелось узнать малейшие подробности рубашовской прогулки — он ведь видел Рубашова в окно. Его интересовало буквально все: как пахнет воздух, очень ли морозно, встречался ли Рубашов в коридоре с заключенными, удалось ли ему поговорить с напарником... Рубашов терпеливо отвечал на вопросы, сравнивая себя с Четыреста вторым — того никогда не выпускали из камеры,— он чувствовал какую-то странную виновность, потому что был привилегированным узником; да и кроме всего прочего, он жалел поручика.

Назавтра и потом еще один раз, когда Рубашова выводили на прогулку, его напарником был Рип Ван Винкль. Они бок о бок кружили по двору, не разговаривая друг с другом и кутаясь в одеяла; Рубашов отдавался потоку мыслей, или внимательно разглядывал заключенных, или смотрел на зарешеченные окна; Рип Ван Винкль, маленький, седой, с приветливой, по-детски наивной улыбкой на заросшем серой щетиной лице, напевал свою извечную мелодию.

До их третьей совместной прогулки во дворе они не обменялись ни единым словом, хотя Рубашов замечал, что охрана почти не следит за соблюдением инструкции и другие заключенные постоянно разговаривают: они глядели прямо перед собой и старались поменьше шевелить губами — Рубашов хорошо знал эту тюремную технику.

В третий раз Рубашов захватил свою записную книжку и карандаш, книжка торчала из левого кармана. Минут через десять напарник увидел ее, его глаза радостно вспыхнули. Он украдкой посмотрел на охранников — те разговаривали между собой и очень небрежно следили за арестантами — выхватил книжку из рубашовского кармана, спрятал ее под свое одеяло и, видимо, сразу же начал писать. Потом бесшумно вырвал страницу, сложил ее и сунул Рубашову в руку; книжку с карандашом он оставил себе и снова принялся что-то писать. Охранники по-прежнему не следили за арестантами; Рубашов развернул сложенный листок. На нем ничего не было написано: напарник нарисовал географическую карту — причем нарисовал необычайно искусно — карту Страны Победившей Революции с главными городами, горами и реками; столицу страны он изобразил флагом, на котором красовался символ Революции.

Когда они прошли еще полкруга, напарник снова вырвал страничку и, сложив ее, сунул в рубашовскую ладонь. Это была та же самая карта. Четыреста шестой улыбнулся Рубашову, он явно ждал ответной реакции. Смущенный пристальным взглядом напарника, Рубашов пробормотал, что карта прекрасная. Напарник заговорщицки подмигнул Рубашову.

— Я могу нарисовать ее с закрытыми глазами.

Рубашов промолчал.

— Понимаю, вы не верите. Но я-то практиковался двадцать лет.

Напарник мимолетно глянул на охрану, закрыл глаза и, не изменив походки, стал разрисовывать третий листок под прикрытием свисающего до колен одеяла. Он шел, как привыкший к слепоте человек, немного вздернув вверх подбородок. Рубашов с беспокойством посмотрел на охранников — он боялся, что напарник споткнется и упадет или нарушит строй заключенных. Однако вскоре тот открыл глаза и передал Рубашову

еще одну карту, чуть менее четкую, но все же верную; разве что символ Революции на флаге оказался теперь непропорционально большим.

— Видите? — гордо прошептал напарник. Рубашов кивнул. В глазах напарника вдруг зажегся тот самый тоскливый страх, который Рубашов заметил накануне, когда их после прогулки разводили по камерам.

— Ничего не поделаешь,— шепнул старик.— Мне указали неверный поезд.

— В каком смысле? — спросил Рубашов.

— В прямом. Я сел не в тот поезд, когда они выпустили меня из тюрьмы. Они предполагали, что я не пойму. Не проговоритесь им, что я догадался.— Он скосил глаза в сторону охранников.

Рубашов кивнул. Через несколько минут один из охранников свистнул в свисток. Очередная прогулка была окончена.

При входе в корпус, незаметно для охраны, Четыреста шестой участливо спросил:

— Может, и с вами приключилось то же самое? — Его взгляд снова был дружелюбным и ясным.

Рубашов кивнул.

— Не теряйте надежды. Так или иначе мы туда проберемся.— Четыреста шестой указал на листочки, которые Рубашов держал в кулаке.

Потом он сунул книжку и карандаш Рубашову в карман; подымаясь по лестнице, он напевал свой извечный гимн.

6

Когда одиночникам разносили ужин, Рубашова охватила странная тревога. Наутро кончался двухнедельный срок, данный ему Ивановым на раздумье, но не это его сейчас тревожило — тревога была совершенно безотчетной. Ужин ничем не отличался от обычного, раздавали его в обычное время... и все же что-то неуловимо изменилось — то ли один из дежурных баландеров посмотрел на него чуть более внимательно, то ли в голосе старика-надзирателя прозвучали немного необычные ноты... Рубашов не мог определить, в чем дело, однако работать он тоже не мог, потому что ощущал глухое напряжение,— так ревматик предчувствует близкую грозу.

После отбоя он подкрался к двери и внимательно оглядел сквозь очко коридор — лампы горели только вполнакала; тускло поблескивал каменный пол; тишина, затопившая одиночный корпус, казалась особенно глухой и глубокой. Рубашов лег; потом опять встал; попытался снова вернуться к работе — написал в блокноте несколько фраз; потушил догоревший до бумаги окурок; сейчас же закурил новую папиросу; потом машинально подошел к окну и посмотрел во двор: начиналась оттепель; снег был рыхлым и грязно-желтым; небо затянули низкие облака; напротив привычно похаживал часовой. Рубашов опять глянул в коридор,— безлюдье, тишина, желтоватый свет.

Вопреки обыкновению не разговаривать ночью, Рубашов вызвал Четыреста второго:

вы спите, негромко простучал он.

Четыреста второй откликнулся не сразу. Спит, разочарованно заключил Рубашов. Однако Четыреста второй ответил — глуше и гораздо медленней, чем всегда:

нет

И, помолчав, отстукал вопрос:

вы значит тоже это почувствовали

что почувствовал, спросил Рубашов. Ему отчего-то стало трудно дышать. Он неподвижно лежал на койке и стучал в стену дужкой пенсне.

Четыреста второй явно колебался. Потом ответил — настолько глухо, что его стук напоминал шепот:

будет лучше если вы уснете

Да, стыдно, подумал Рубашов: офицерик старался его успокоить. Он, не шевелясь, лежал на спине и в темноте разглядывал свое пенсне. Тишина казалась такой тяжелой, что у него отчетливо звенело в ушах. Внезапно стена опять ожила:

удивительно что вы сразу почувствовали

что почувствовал, отстукал Рубашов. **объясните.** Он резко поднялся и сел.

Четыреста второй не торопился с ответом. Через пару минут Рубашов услышал:

сегодня заканчивается борьба с уклонистами

Рубашов понял. Он прислонился к стене и ждал продолжения. Но сосед молчал. Немного погодя Рубашов спросил:

ликвидации

да, ответил поручик.

откуда вы знаете, простучал Рубашов.

от заячьей губы

в котором часу

не знаю. Потом после паузы: **скоро**

фамилии

неизвестны, отстукал поручик. И добавил: **политические уклонисты как вы**

Рубашов лег, все было ясно. Через некоторое время он надел пенсне, подложил под голову руку и замер. Тишину в камере ничто не нарушало. Тьма немо заглатывала секунды.

Он никогда не присутствовал при казни, не считая почти состоявшейся собственной,— это было на Гражданской войне. Ему не удавалось представить себе, как это делается в мирное время, когда все происходит буднично и по плану. Он слышал, что казни совершаются ночью, в подвалах, что осужденным стреляют в затылок, но он не знал никаких подробностей. Для Партии смерть не была таинством, в ней не видели ничего романтического. Она являлась весомым фактором, который учитывали в логических построениях, и имела сугубо отвлеченный характер. Слово «смерть» употреблялось редко, точно так же, как и слово «казнь»; в партийных кругах говорили «ликвидация». Это понятие коротко выражало одну совершенно определенную мысль — прекращение активной политической деятельности. Смерть была технической деталью и сама по себе никого не интересовала; в этом компоненте логических выкладок не учитывался его физический смысл.

Рубашов смотрел сквозь пенсне во тьму. Приведен ли уже приговор в исполнение? Или приговоренные все еще живы? Он снял ботинки, стащил носки и снова неподвижно вытянулся на койке; пальцы ног чуть белели во тьме. Тишина стала совершенно мертвой, раздавила и стерла малейшие шорохи, которые обычно наполняли камеру. Безмолвие оглушало, как барабанный бой. Рубашов глянул на голые ноги и нарочито медленно пошевелил пальцами. Получилось жутковато: белесые пальцы словно бы жили собственной жизнью. Все его тело, от головы до ступней, напоминало о себе необычайно настойчиво: он одинаково остро ощущал и вялое прикосновение тепловатого одеяла, и твердость лежащего на руке затылка. В каком месте происходят ликвидации? Ему представлялось, что где-то внизу, куда вела винтовая лестница, которая начиналась за парикмахерской камерой. Он услышал скрип глеткинских ремней, вдохнул удушливый запах кожи. Что Глеткин говорил осужденному? «Повернитесь, пожалуйста, лицом к стене?» Или «пожалуйста» тут не уместно? Может, он говорил: «Не надо бояться. Вы не успеете ничего почувствовать...»? А может быть, он стрелял без предупреждения, идя за осужденным по длинному коридору,— но ведь тот наверняка постоянно оглядывался. Может, он прятал пистолет в рукаве, как дантист прячет от пациента щипцы? Может, при ликвидации присутствуют понятые? Кто они? И куда падает осужденный — вперед или назад? Молча или с криком? Возможно, расстрелянный умирает не сразу, и его приканчивают вторым выстрелом.

Рубашов курил и смотрел на ноги. Безмолвие было таким глубоким, что слышалось потрескивание горящего табака. Он затянулся и отшвырнул папиросу. Глупости все это. Грошовая романтика. Ликвидация есть всего лишь ликвидация: пресечение активной политической деятельности. Смерть — в особенности собственная смерть — является типичной логической абстракцией. Там, внизу, наверняка уже кончили, а в настоящем для прошлого места нет. Камеру заволакивала безмолвная тьма. Четыреста второй упорно молчал.

Ему хотелось что-нибудь услышать — хотя бы вопль или стон в коридоре,— лишь бы всколыхнулась эта черная тишина. Он вдруг понял, что уже несколько минут вдыхает запах расстрелянной Арловой — даже с дымом непогасшей папиросы. Арлова носила свой кожаный портсигар в сумочке, вместе с духами и пудрой... Рубашов пошевелился — скрипнула койка, подчеркнув плотное безмолвие камеры.

Он собирался встать и закурить, когда стена опять ожила.

они приближаются, передал поручик.

Рубашов прислушался. Но ничего не услышал, кроме биения крови в висках. Он подождал. Тишина уплотнялась. Сняв пенсне, он отстукал дужкой:

не слышу

Четыреста второй не ответил. А потом громко и отчетливо простучал:

триста восьмидесятый передайте дальше

Рубашов медленно опустился на койку. Трехсотвосьмидесятый — через одиннадцать камер — передал ему весть о своей смерти. Одиннадцать одиночников, сквозь тьму и безмолвие, донесли акустическую эстафету до Рубашова. Беспомощные, запертые в кирпичных клетках, они выражали солидарность приговоренному. Рубашов вскочил и как был, босиком, шагнув к параше у левой стены, торопливо сообщил Четыреста шестому:

внимание сейчас поведут на расстрел трехсотвосьмидесятого передайте дальше

И замер. Смрадно воняла параша. Ее тошнотворные и тяжкие испарения сразу же вытеснили запах Арловой. Четыреста шестой ничего не ответил. Рубашов поспешно вернулся к койке. На этот раз он отстукал вопрос не дужкой пенсне, а костяшками пальцев:

как его фамилия

Ответа не было. Рубашов понимал, что Четыреста второй мечется, как маятник, от стенки к стенке. В одиннадцати камерах босые заключенные бесшумно двигались взад и вперед... Ага, вернулся Четыреста второй:

читают приговор передайте дальше

Рубашов повторил:

как его фамилия

Но Четыреста второй опять не ответил — видимо, вернулся к правой стене. Рубашов понимал, что Рип Ван Винклю передавать сообщение не имеет смысла, однако он все же подошел к параше и отстукал то, что услышал сам,— из чувства долга, чтоб не прервать эстафету. От запаха параши его чуть не вырвало. Он снова вернулся к правой стене и сел на койку. Тишина нарастала. Четыреста второй глухо передал:

кричит помогите

Рубашов поднялся и отстукал над парашей:

кричит помогите

Потом прислушался. Тишина длилась. Рубашов боялся, что его стошнит, когда он снова подойдет к параше.

ведут вырывается зовет на помощь передайте... начал Четыреста второй.

как его фамилия, спросил Рубашов — раньше, чем сосед закончил сообщение. На этот раз он получил ответ:

богров уклонист передайте дальше

Ноги у Рубашова вдруг стали ватными. Но он поднялся, пересек камеру и, привалившись к правой стене, отстукал:

приговорен к расстрелу михаил богров матрос первого революционного броненосца первый кавалер ордена революции командующий восточно-океанским флотом

Рубашова вырвало в смрадную парашу. Он выпрямился, вытер со лба испарину и закончил сообщение Четыреста шестому:

его ведут передайте дальше

Рубашов давно не видел Богрова, но общий облик его он помнил — гигантскую, немного неуклюжую фигуру, свисающие чуть ли не до колен руки и курносое веснушчатое плоское лицо. Они вместе отбывали ссылку после неудавшейся Первой Революции; Рубашов учил Богрова грамоте и основам историко-революционного мышления; с тех пор, где бы Рубашов ни жил, он получал два раза в год написанное от руки письмо Богрова, которое неизменно кончалось словами: «Твой товарищ до скончания жизни».

приближаются, передал поручик громко,— Рубашов, все еще стоя у параши, явственно услышал его сообщение. **подойдите к очку барабаньте в дверь передайте дальше,** скомандовал поручик.

Рубашов одеревенел. Но пересилил себя и внятно простучал Четыреста шестому: **подойдите к очку барабаньте в дверь передайте дальше.** Шагнув во тьму, он неслышно приблизился к двери. Тишину коридора ничто не нарушало.

Рубашов ждал; через несколько секунд Четыреста второй простучал:

начинайте

Коридор наполнился глухим рокотом. Люди, стоявшие у дверных глазков, застыли, как солдаты почетного караула, и тусклую желтизну безмолвного коридора наполнил торжественно-мрачный гул, похожий на волны барабанного боя, доносимого издали порывами ветра. Рубашов, прижавшись виском к очку, начал постукивать обеими ладонями по массивной, обитой железом двери. К своему удивлению, он услыхал, что рокот не обрывается за его камерой: Рип Ван Винкль, видимо, понял и сейчас тоже барабанил в дверь. Потом до Рубашова донесся лязг — где-то открыли и закрыли камеру,— но он по-прежнему ничего не видел. Рокот слева сделался громче, и вот послышался стук шагов — шли двое — и скребущее шарканье. Волна рокота слева окрепла, налилась хоть и сдержанной, но мрачной силой. Коридор, от Четыреста первой камеры до Четыреста седьмой, оставался пустым; дальше Рубашов заглянуть не мог. Скребущее шарканье и мерный топот приблизились, теперь Рубашов различил стоны и как бы детское всхлипывание. Звуки слышались совершенно отчетливо; рокот слева, ближе к Рубашову, усиливался, но делался менее мощным: процессия приближалась, и те заключенные, мимо которых она прошла, один за другим переставали стучать.

Рубашов все бил ладонями в дверь. Он утратил чувство пространства и времени: шумели джунгли, рокотали тамтамы — или загнанные в клетки гориллы старались выломать стальные прутья,— он прижимался глазом к очку и колотил ладонями по массивной двери. Он видел лишь тусклое электрическое марево, каменный пол и четыре камеры, но волны рокота катились по коридору, а шарканье, стоны и шаги приближались. Внезапно три человеческие фигуры появились в дальнем конце коридора. Рубашов перестал стучать и вгляделся. Через несколько секунд коридор опустел.

Но картина, которую он увидел, резко отпечаталась у него в памяти. Два охранника, широко шагая, быстро прошли по тюремному коридору; в скудном освещении их темные фигуры казались огромными и тускло размытыми, между ними волоклась третья фигура. Человек, которого они волокли, держа его с обеих сторон под руки, бессильно провисал животом вниз, его голова свешивалась к полу, а ноги тащились по каменным плиткам; и вместе с тем во всем его теле угадывалась какая-то неживая оцепенелость. Носки ботинок скребли пол, иногда цепляясь за швы между плитками,— этот прерывистый скребущий шорох можно было принять за шарканье. Слипшиеся пряди серых волос свисали на покрытый испариной лоб и в стороны, к безвольно открытому рту. Изо рта тянулась струйка слюны. Когда охранники с осужденным скрылись, в коридоре некоторое время плавало детское хнычащее «у-а-о» и слабые, совсем не мужские стенания. Но прежде чем хлопнула бетонная дверь, замыкающая коридор одиночного блока, Богров два раза пронзительно вскрикнул, и Рубашов различил не только гласные — в отрывистых, распадающихся на слоги воплях он отчетливо услышал: «Рубашов, Рубашо-о-ов!»,— Богров обращался именно к нему.

Крики взломали тяжелое безмолвие и словно бы рассеяли желтое марево. Лампы загорелись полным накалом, где-то зазвучали шаги надзирателя, и Четыреста шестой простукал в стенку:

всавай проклятьем заклейменный

Рубашов неподвижно лежал на койке; он не помнил, как до нее добрался. Ему еще слышался мрачный рокот, но в камере уже установилась тишина — буднично спокойная тишина одиночки. Четыреста второй, наверное, спал. Земное существование Михаила Богрова было, по всей вероятности, закончено.

«Рубашо-о-ов!» — дважды повторенный вскрик все еще звучал в ушах Рубашова. Зрительный образ казался стертым; неживая, бессильно прогнувшаяся фигура, струйка слюны, взмокшее лицо и ноги, скребущие каменный пол,— это пятнадцатисекундное видение никак не совмещалось с Михаилом Богровым. Как им удалось такого добиться? Как им удалось довести Богрова, сильного и сурового моряка с броненосца, до слабеньких стенаний и детского хныканья? И Арлова... что же происходило с Арловой, когда ее волокли по тюремному коридору?

Рубашов стремительно сел на койке и прижался виском к холодной стене, за которой спал Четыреста второй; он боялся, что его опять сейчас вырвет. До нынешней ночи он не представлял себе смерти Арловой с такими подробностями. Смерть была отвлеченным понятием; и хоть Арлова вспоминалась с тяжелым чувством, Рубашов до сих пор ни разу не усомнился в логической оправданности своего поведения. А теперь вот, чувствуя во рту блевотину, взмокший, с прилипшей к спине рубахой, он видел безумие подобной логики. Хныканье Богрова заглушило доводы, которые доказывали его правоту. Жизнь Арловой входила в уравнение, и логически ею следовало пожертвовать, потому что иначе уравнение не решалось. И вот оно перестало существовать. Ноги Арловой, скребущие пол, стерли строгие логические символы. Малозначащий фактор стал вдруг важнейшим, единственно значимым, а детское хныканье и лишенный человеческих интонаций голос, которым Богров взывал к Рубашову, и прощальный угрюмо-торжественный рокот заглушили спокойный голос рассудка, как гром заглушает шелест листвы.

В конце концов Рубашов уснул — сидя на койке и привалившись к стене; над его плотно закрытыми глазами поблескивало так и не снятое пенсне.

Перевел с английского

Андрей КИСТЯКОВСКИЙ

Окончание следует



Иван ГОГОЛЕВ

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

▣ ▣ ▣

Человека унизить — запятнать свою совесть.
Научила меня этой истине мама.
Если искру унизишь, то сможешь и солнце,
если каплю, то долго ли до океана!

Те людишки, что так горячи в своем буйстве,
унижая других — непомерно мельчают.
Унижение друга — подлее убийства,
унижение слабого мир не прощает.

А иные, взобравшись на кочку иль крышу,
позабыв, что для всех и земля, и природа,
презирая, глядят на другие народы
так, как будто бы сами действительно выше.

Для меня нет народа крупней или мельче.
На планете велик светлый род человечий.

▣ ▣ ▣

Как печально ты, мама, жалела
всех убогих, всех слабых, больных.
Ты всегда вместе с ними скорбела,
даже тайно молилась за них.

Состраданью учился я с детства.
Много ль истин таких дорогих?
И досталось мне, видно, в наследство
сердце чуткое к боли других.

Наделенных тем солнечным даром
сострадания, я знаю теперь,
понимают и любят недаром
человек, и растенье, и зверь.

Люди, знайте, нет большей напасти,
чем жестокость и черствость у власти.

▣ ▣ ▣

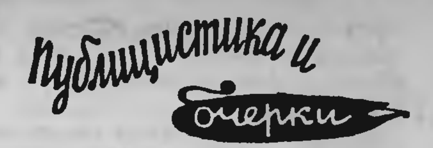
Мне подарила мать родной язык.
Он чистый и певучий, как родник.
Богатства большего, чем говорить и петь,
поверьте мне, я не хочу иметь.

Язык наш чище, крепче, чем кумыс,
как в древнем бубне звук, живет в нем мысль:
простой водой он станет для глупца,
водой живою — лишь для мудреца.

Любя язык свой, становлюсь мудрей,
сильней, богаче всех земных царей,
И никому богатства не отнять,
язык родной мне подарила мать.

Бью в колокол родного языка —
Пусть прозвучит набат сквозь все века.

Перевела с якутского
Нелли ЗАКУСИНА



Осип СПАСОВ

ОКНО в бетонной стене

ДОМА ПЛЮС—МИНУС ДЕРЕВЬЯ

Когда-то, лет тридцать назад, родители каждое лето «вывозили» меня на дачу. Увозили от амальгамы выхлопных газов, выносливых птиц, бетона и газонов, хитросплетения проводов, труб... На природу! Так поступало большинство ленинградцев. Когда-то, лет тридцать назад, я целое лето ловил карасей в пруду и пил парное козье молоко. А вернувшись в конце августа, заново привыкал к запахам родных достоевских кварталов и удивленно задирал голову на вековые штамбы труб с пепельными кронами дыма. Жилые дома и учреждения моего северного города, продрогшего от мороси, рано начинали греться печками, а те яростно пожирали дрова.

Так и выросли поколения горожан — с сознанием, что осины, ели, тополя и березы для них либо «выезд на природу», либо дрова, хотя печек давно не стало. А город новыми районами ворвался в пригородные леса, и разные красивые названия бывших деревенек — Дачное, Купчино, Мурино, Ульянка — стали блочно-панельными синонимами.

Каково же место дерева в современной формуле города? И каково дереву в этом конгломерате?

Сегодня врачи убеждают нас, горожан, что восемьдесят процентов всех заболеваний связаны с загрязнением воды и воздуха. Не велика ли плата за комфорт? Владимир Чивилихин в книге «По городам и весям» призывал «обеспечить работников ГАИ газоанализаторами». Можно обеспечить и респираторами — и даже грудных младенцев, лежащих в колясках на уровне выхлопных труб,— да не станет легче дышать, как в доме без окон.

Иду по городу, огромному каменному дому, и деревья, кусты, зеленые газоны вокруг — его единственные животворные окна. Вижу: во дворах и на улицах дереву, закованному в асфальт, затоптанному, лишенному естественной гумусной среды, живется все труднее. Корням дерева надо хотя бы два метра земли, но и этого не дают корни города — трубы, кабели... Есть охранная зона кабеля и нет, к сожалению, охранной зоны дерева, когда в асфальт улицы врезается бульдозерный нож. То есть охранная зона тогда начинается от сердца бульдозериста, и редкая удача, если, копая траншею для теплотрассы, он не перемешает верхний плодородный слой с негодным суглинком.

И дышать дереву в городе становится все труднее. Нынче в Ленинграде газуют 210 тысяч личных автомобилей, а если прибавить автобусы, грузовики, такси, число, по меньшей мере, удвоится. Ученые подсчитали: 150 могучих зеленых крон должны «поработать», чтобы изъять из атмосферы углекислый газ, нафуканный *одним* «жигуленком». Следовательно, Ленинграду необходимы 60 миллионов здоровых деревьев. В книге Ю. Ходакова «Зеленый наряд города» говорится, что площадь озеленения «должна составить 60 м² на одного жителя».

Справедливость требует сказать: сегодня Ленинград, благодаря новым районам, намного зеленей довоенного, иные новоселы даже принимаются спиливать «лишние» ветви и целые стволы у своих светлых окон. В пригороде и новостройках «зеленых метров» хватает, пусть не все можно назвать «нарядом». Но в той же книге Ю. Ходакова сказано, что «избыточная площадь зеленых массивов пригорода... не может заменить того количества

насаждений», которое требуется ленинградцам, старым и малым, «для повседневного пользования в каждом районе города».

Два десятилетия назад специалистами были обследованы кварталы старой застройки между Невой и Обводным каналом с населением, примерно, в миллион человек. Из имеющихся здесь свыше 11 тысяч дворов было озеленено только 850. То есть 93 двора из 100 — это серые каменные мешки без единой травинки. Так было, цифры взяты из книги бывшего начальника Управления садово-паркового хозяйства Ленинграда В. И. Шафрана «Садово-парковое хозяйство Ленинграда». Сколько сегодня таких дворов? А сколько так же «озелененных», как двор на набережной Фонтанки, 96, где, раздавив жалкие деревца, царит мусорный бак, этакий танк о четырех люках? Книга нынешнего начальника Управления Ю. И. Ходакова о сем умалчивает.

— Шестьдесят квадратных метров на человека? — переспрашивает Нелли Михайловна Братчикова, начальник участка Куйбышевского района городского треста эксплуатации зеленых насаждений. И я читаю в ее глазах вопрос: а не придумал ли я сию цифирь? И следует монолог, страстный, аргументированный, о том, как в самом деле *эксплуатируются* деревья.

— Шестьдесят метров? Да у нас в районе один метр на человека, вы слышите? Один! И тот один не спасти. Я в районе с восемьдесят пятого года, за это время спилено четыреста четыре дерева, а посажено — сто сорок. Сравните! Да нет,— обрывает она себя,— ценность их несравнима, этим саженцам полвека расти — до тех. И приживаются из пяти — два.

— В районе сто тридцать семь тысяч населения,— забрасывает она меня кричащими цифрами,— а только в Гостином дворе ежедневно бывает триста тысяч. У нас двадцать шесть котельных на твердом топливе. Чем дышать? У Казанского собора собрали автобусные остановки всех тамошних маршрутов. Мы говорим: смотрите, розы в сквере у Казанского не выдержали, потухли...

Какое горькое слово: потухли. Неужели больше никогда у Казанского не вспыхнут белые, рубиновые и чайные розы?

— ...А если срочно не помочь, всего сквера не станет. Теперь строителей возьмите. Кажется, те же ленинградцы, а, извините, хуже варваров. Задумали метро строить — сносят сад Педагогического института. Этот сад — памятник восемнадцатого века, там священные деревья, юннатами в блокаду спасенные, могут еще расти и расти, там решетка Воронихинская!

Слушаю Нелли Михайловну и вспоминаю изуродованный сад на Большой Зеленина улице, красивые деревья, до одного спиленные на площади Мира, безуспешные баталии жителей за спасение сквера в Красногвардейском районе... Не слишком ли дорогая цена за комфорт? Конечно, нельзя «возвращаться к предкам», надо разумно сопрягать прогресс с охраной природы. Но почему деревья в этой сложной дилемме всегда оказываются «крайними»? Почему руководители Ленметрогипротранса «выносят на суд общественности» подготовленные и без пяти минут принятые решения, заранее считая их «наиболее оптимальными»? Вместе с Нелли Михайловной, вместе со многими ленинградцами не представляю шахту метро в Старом саду, рядом с Покровской церковью и дворцом Разумовского. Как повезут тяжелые «МАЗы» грунт мимо колонн Казанского собора? — Архитекторы ленинградские хватаются за головы. Ленинградец, доктор медицинских наук Д. Б. Голубев это «действо» назвал «операцией на слабом, бесценном сердце города, операцией безо всякой гарантии». Не логичней бы выглядела та же станция метро в районе Университета или на площади Труда?

— Другие строители не лучше,— словно угадывает мои мысли хозяйка районных деревьев.— По проекту «Гипроторга» будет снесено шестнадцать лип на Невском для ремонта Гостиного двора. Говорят, не хватает зоны кран поставить. А если поставить изнутри? Ведь придется и Садовую линию ремонтировать. Говорят, после ремонта посадят деревья. Как сажают, мы знаем... Возле ДЛТ — после ремонта — необходима подсадка лип. Не дают подсаживать! На Пушкинской улице за десять лет ремонта уничтожены все деревья, на улице Достоевского — тоже. На улице Тюшина не осталось лип. Были! На участке от Боровой до Воронежской десять лип осталось, надо подсадить еще десять. Нельзя! На бульварах — улице Правды и Большой Московской — по плану восстановления после ремонта надо было подсадить пятьдесят пять деревьев, а разрешили — двадцать три...

Дома плюс — минус деревья. На бумаге плюс, а на деле все больше — минус. Попутно узнаю, что насаждений в Куйбышевском районе стало втрое меньше, чем было в скупом на «зеленое строительство» XIX веке. Здесь еще неугомонная Братчикова (побольше бы таких!) бросается в двери стройтрестов, как на амбразуры дотов. Пытается объяснить, что деревья — это красота, воздух, наконец. Людям и сегодня нужен кислород, как через пятьдесят лет, а стройтресты, в отличие от тех же тополей, его производить не умеют.

Братчикова бросается, а в других районах начальники участков поспокойней. Лет пятнадцать назад на Большом проспекте Васильевского острова проложили теплотрассу. А часть деревьев спилили и вместо них высадили кустики. Такая же участь постигла вековые тополя на набережной Мойки от Невского проспекта к Исаакиевской площади. Что же, и здесь вместо деревьев появятся чахоточные кусты, на которые зимой станут ссыпать «соленый снег», следовательно, они обречены.

Но кто-то же, обладающий полномочиями, должен защитить уличные деревья на самом высоком городском уровне! Или наоборот, чем выше кабинет, тем дальше от деревьев, тем легче «договориться» за их счет? В застойные времена царила негласная формула: степень профессиональной принципиальности должна быть ниже степени функциональной безопасности — иначе «не усидишь». Я понимаю так XXVII съезд нашей партии: этой удобной для чиновников формуле пришел конец, хотя радеющие о себе в деле за кресла держатся крепко.

— Сквер между Боровой и улицей Засонова отдан под тяговую подстанцию,— на той же взволнованной ноте продолжает Нелли Михайловна.— А сквер в Свечном переулке — под тепловой коллектор. Под угрозой сад на Литейном, возле «Академкниги». На улице Бродского будут ремонтировать гостиницу «Европейская» — снесут все липы. А наше начальство говорит: «У нас тут не Швеция с Финляндией».

Итак, в старых районах города зеленые площади в лучшем случае не убывают, в худшем — уменьшаются, как, например, в Куйбышевском. А тем временем озеленители гонят зеленый вал там, где это удобнее делать — в просторных дворах и на широченных магистралях новостроек. Здесь есть где развернуться мощной технике, есть где впрок бульдозерами «соорудить» тысячетонные горы плодородной земли, здесь не надо особенно ломать голову над тем, как обеспечить посадками доступ солнечного света и влаги.

За предыдущие пятнадцать лет строители снесли в старых районах Ленинграда 131 здание XIX и начала XX веков. «Блочные» скверы на их месте что-то не радуют. Приходится не о «молодом лице» города говорить, а смириться с фактом безвозвратной потери очарования старины — пропорций барокко, лепки карнизов, узора чугунных оград. «Наше дело — обслуживание домов, а не деревья,— сказал мне руководитель одного из таких районных жилищных управлений.— Мне жильцы на протечки жалуются, а у меня кровельщиков нет. Хотите зелеными листочками любоваться — топайте в сад».

Я так и сделал.

ВОСХОЖДЕНИЕ К САДУ

Мой собеседник, Андрей Рихардович Метс, высокий, русоволосый человек. Я гляжу на его большие, потемневшие от работы, сильные ладони садовника и невольно сравниваю со многими виденными ранее в управлениях и трестах милыми ладошками инспекторш и инструкторш при садовом деле. Управления и тресты, разумеется, нужны, но сколько же тех ладошек приходится на каждую из этих шершавых ладоней!

— Рассказать о себе? А что именно? Ну, родился в тридцать третьем году в Ленинграде. Во дворе не было ни травинки, бегал через дорогу к отцу в парк Военно-медицинской академии. Предки все в основном петербуржцы, с самого основания города.

— Отец ваш к садовому делу не имел отношения?

— Нет, он был вторым лицом в Военно-медицинской академии, начальник строевой части. Большевик с семнадцатого по тридцать седьмой год...

В первую блокадную весну, как только сошел снег, я ходил и высматривал, нет ли чего съедобного. Говорили, что можно есть лебеду, крапиву, мокрицу. Вот тогда и приобщился немного к этому делу. Через год моей матери выделили крохотный огородный участок в парке Ленина, как раз возле трамвайной остановки Сытный рынок. Против здания биржи. Я там начал вскапывать...

(Он старается говорить ровно, и от этого в голосе пробивается щемящая нота боли. Пока он — в частых паузах после точки — старается откашлять или сглотнуть эту некрасивую, мешающую ему ноту, я пытаюсь представить, как девятилетний пацаненок, переживший вдвоем с матерью жуткую блокадную зиму, искал спасительную лебеду. Как вскапывал грядку лопатой, тяжеленной и огромной, но я уже знаю, что перед тем апрелем его, цинготного дистрофика, скелетик, обтянутый кожей, едва выходили в больнице.)

— А на другой день большой фугасный снаряд пробил метровую стену здания биржи. Обстреливали тогда именно остановки... Выделили нам другой участок, снова начал копать... Вырос турнепс и кормовая свекла. Так стал огородником в десять лет. А уже в сорок четвертом году, после снятия блокады, в городе огороды стали сокращаться. Нам дали новое место, недалеко от Поклонной горы. Там мы выращивали овощи...

Потом разводил цветы на окне. До ста горшков с комнатными растениями. А когда пришло время идти работать, я захотел только в садоводство. Но была осень... пятьдесят первого года... Меня как активного участника юннатских кружков все же направили из Дома

пионеров к секретарю райкома комсомола и там вручили мне, как говорится теперь, комсомольскую путевку, хотя я... не комсомолец был, а пионер блокадных лет. Сын, сказали, за отца не отвечает...

(И снова щемящая нота. Чтобы пересилить ее, он сдавливает ладонь, будто твердую глину мнет, и негромко, мерно стучит кулаком по столу: раз, два, три. Кто сейчас поймет, как косились в райкоме на сына «врага народа»? Детская память — самая крепкая. Но мальчишка выдержал, в нем уже жила непобедимая доброта, светлая сила, впитанная в раннем детстве. Для человека его первые годовые кольца очень много значат, они — сердцевина, суть, по ним бегут жизненные токи. Человек может обмерзнуть, поободраться душой — всякое бывает! — но если те кольца не задеты, он переживет, не засохнет.)

— Приняли меня в комбинат цветочно-питомнического треста садовым рабочим первого разряда. И тут оказалось, что я все работы садовые знаю, и растения знаю, как сажать и пересаживать... Пюкенен, Иван Степанович, возглавлял древесный отдел, а техническим директором тогда был Безкаравайный, Митрофан Федорович. Садовники старой питерской школы, они крепко за меня взялись. Оказалось, что я единственный паренек в этой отрасли. В блокаду поумирали питерские садовники Апрелов, Гридасов, Калитин, Почайный, Старост, Теиц... Около шестидесяти специалистов, которыми гордился Ленинград...

(Воспользуемся паузой и вспомним последнего из плеяды ученых садоводов, садовника-архитектора Рудольфа Францевича Катцера. Его созданья — Марсово поле, сад имени 9 января, сад у Смольного, парк имени Ленина, сквер у Казанского собора — шедевры ленинградского садового искусства. Причем, замыслы художника, обладавшего глубокими знаниями в области растениеводства, все более раскрываются с ростом его деревьев. Сад имени 9 января (точное название: сад в память жертв расстрела 9 января 1905 года) во времена Катцера занимал всего пять гектаров, а казался довоенным ленинградцам тенистым красивым парком. Современный Южно-Приморский парк раскинулся на 148 гектарах, но больше похож на знойный гигантский сквер.)

— Через год я получил приглашение работать садовником в Ботаническом саду. Ну, конечно, пошел туда. Быстро постиг садовую науку, но хотелось учиться. И тогда ученый садовод Головач за руку повел меня в техникум.

(Садовод А. Г. Головач был виднейшим в стране специалистом по устройству и содержанию газонов. Он практически доказывал, что при грамотном уходе газон приобретает качество старого культурного луга. Сомкнутый травяной покров, им взращенный, приобретал изумрудный цвет, не боялся ни сорняков, ни вытаптывания. Садовод страстно пропагандировал ботанические знания, устанавливая возле растений металлические таблички-паспорта: русское название, латинское, родина, месяц цветения, распускания листьев, созревания плодов, быстрота роста, отношение к свету, теплу, влаге, стрижке... Такое сейчас только в Ботаническом саду увидишь.)

— Так я поступил в техникум зеленого строительства. Сейчас вместо него — отделение в жилищно-коммунальном техникуме. Я там в прошлом году преподавал почвоведение. После окончания техникума пригласили работать в садоводство инструментального завода имени Воскова под начало известного петербургского ученого садовода Заливского.

— Надо же! Все сплошь мужчины!

— Дело мужское... Он знал несколько языков и был в курсе всех садовых событий всего мира. Обширную переписку вел. Очень большая коллекция растений. Я стал его правой рукой, помощником. Но получил приглашение работать в ЦПКиО имени Кирова.

— В каком году?

— В пятьдесят восьмом, летом. Но пришл сюда, и столкнулся с непонятным равнодушием, косностью. Посадить дерево, ухаживать за ним — сначала согласуй, испроси разрешение, проконсультируйся с вышестоящим... Ну, что же это такое?! Если я садовник, почему не имею права делать то, к чему обязывает моя профессия?

— На что же вы имели право?

— Занимать должность. Делать то, что велят.

ЗЕЛЕНАЯ ТОСКА В ЗЕЛЕНЫХ МАССИВАХ

«Я к розам хочу в тот единственный сад, где лучшая в мире стоит из оград, где статуи помнят меня молодой, а я их под невскою помню водой». Узнали сад? Честно говоря, я не узнал. Нет, ограда — «лучшая в мире» — стоит, а ахматовский образ статуй под невской водой напоминает о наводнении 1924 года, повалившем в Летнем саду десятки вековых деревьев.

Чего проще было убрать их, сославшись на «критический возраст», но садовники Летнего под руководством инженера Добрыша тогда подняли (!) и установили на прежние места (!!) столетние липы с соблюдением всех агротехнических правил (!!!). Почему они это сделали?

Почему Петр I «любил деревья, по преимуществу большие, старые и жестоко наказывал за их вырубку в садах»? (Д. С. Лихачев. «Поэзия садов»). Почему велел пересаживать в петербургскую землю «липины, которые толстотою кругом дюймов в 12 или 15 с кореньем и землею», то есть толщиной до 40 сантиметров? Очень хорошо ответил на этот вопрос академик Д. С. Лихачев: «На какие деревья хочется смотреть? На те, которые обладают индивидуальностью, а черты индивидуальности несут только старые деревья».

Тополя, липы, клены, дубы — которые, если за ними ухаживать, могли бы простоять еще десятки лет — их первыми сейчас и валят под всякими предлогами. Дескать, старые деревья могут упасть во время урагана и убить человека. Жаль, нет статистики: что принесло больше вреда нашим головам — упавшие садовые деревья или сосульки с крыш... «Ленинградская правда» регулярно печатает колонку происшествий. Читаем: со стены дома на Невском оторвалась лепнина и тяжело ранила человека. В другой раз и в другом месте оторвалась штукатурка. И опять пострадал прохожий. Слава богу, что никто не додумался из-за этого сносить старые дома. А вот следить за состоянием прочности их лепнины, штукатурки — надо. Так же как и вовремя сбивать опасные сосульки.

Говорят, что старые деревья чаще болеют, с ними больше хлопот. Разумеется, чаще. Но разве красота не стоит этих хлопот? Старые картины в Эрмитаже не в пример капризней. К чему (следуя той же логике) корпеть над ними, свершая подвиги реставрации?

В 1982 году во имя сомнительного «помолодения старого парка» в Петродворце (в ущерб его индивидуальности) были свалены четыре ряда столетних деревьев на главной аллее Нижнего сада у дворца Марли. В ленинградские газеты посыпались возмущенные письма, в основном от старых ленинградцев, то есть людей, воспитанных на довоенном — истинно питерском — бережном отношении к садам. В защиту деревьев-ветеранов выступил и хранитель Пушкиногорья С. С. Гейченко. «Каждое дерево в парке — это неповторимое существо,— писал он.— Оно жило, болело, страдало, ему наносили раны».

Тогда же было опубликовано письмо старой ленинградки Т. М. Глинкиной. «Еще неизвестно, правилен ли лесорубский подход к старым деревьям в парке Петродворца,— писала она,— а деревьев-то уже нет. И страшно становится за еще живую красоту. Как представить себе Летний сад без тех многолетних лип, что стоят сейчас. Вдруг и до них доберутся? Ужас!!!»

Отношение к садам, бывшее и настоящее, познается в сравнении. Для этого воспользуемся уже известными книгами В. Шафрана и Ю. Ходакова с привлечением статистического сборника «Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 60 лет» (Лениздат, 1977). Все три книги сейчас передо мной, и я с удивлением вижу, как не совпадают в них цифры. «За 40 послевоенных лет,— пишет Ю. Ходаков,— удалось построить 3,5 тыс. га садов, парков, скверов и бульваров». Прибавляем эти данные к приведенным им же итогам прежних лет и получаем результат: 3925 га «садов, парков, скверов и бульваров». Но в этой же книге автор приводит другой результат — 4650 га. Расхождение в 725 гектаров, а это вдвое больше, чем площадь *всех* «зеленых насаждений общего пользования» шести центральных районов. Далее Ю. Ходаков не без гордости заявляет: «Зеленое строительство развивается такими же бурными темпами, как и все отрасли городского хозяйства. Так, в десятой пятилетке в городе построено более 2 тыс. га садов, парков, скверов и бульваров».

Запомним эту цифру, чтобы сравнивать ее с другой, тоже не без гордости названной этим же автором. В десятой пятилетке в Ленинграде построено «около 1 650 га всех зеленых массивов». Цифры становятся непостижимыми, а доля зеленых гектаров ведомственного пользования (она занимает, как свидетельствует Ю. Ходаков, в общем зеленом фонде 54,5 процентов) — величиной иррациональной. Там же узнаём, что «от 25 до 45 % площади приходится на долю объектов общего пользования — садов, парков, скверов и бульваров». Но 25 % — это четверть, а 45 % — почти половина всех зеленых площадей. Так какова же доля садов — четверть или половина? Может быть, такова поправка на неукротимую статистику?

Я, конечно, не специалист и, возможно, «лезу не в свое дело», но вот свидетельство ленинградского инженера-садовода И. Малько: «За послевоенные годы в Ленинграде посажено около 5 миллионов деревьев и 15 миллионов кустарников (свидетельство относится к 1975 году, а за последние 10 лет, по данным управления, высажено еще примерно 500 тысяч деревьев, еще миллион кустарников.— *О. С.*), и город давно должен был бы превратиться в непроходимые джунгли. Джунглей нет, а пустыри, голые улицы и дворы остаются».

Десять лет назад В. Шафран писал о том, что «существующий в городе специализированный трест садово-паркового строительства с большим напряжением озеленяет около 300 гектаров в год при затратах около 20 тыс. руб. на 1 гектар».

Другой бывший начальник ленинградского УСПХ П. Аристархов пишет о том же: «Не хватает сил, техники, специалистов, чтобы обеспечить квалифицированную посадку, уход, инспекторский надзор. Из тринадцати миллионов рублей в год, затрачиваемых нами на зеленое

строительство, примерно полтора миллиона теряется безвозвратно». Остается добавить, что общие затраты на зеленое строительство подскочили почти вдвое — до 24 миллионов рублей в год (так утверждает Ю. Ходаков), а объем потерянного безвозвратно в лучшем случае колеблется на уровне 12 процентов, в худшем — растет. То есть три миллиона в год одних потерь, а ставку сторожа в садах сократили для экономии заработной платы.

Теперь давайте спросим себя: как же так? Зеленоустроители уже десять и пятнадцать лет назад работали на пределе сил, технической революции в садовом хозяйстве не произошло, а темпы зеленого строительства растут и растут. Причем, не только в рублях. За пять лет восьмой пятилетки, судя по отчетам, построено всех зеленых гектаров почти столько же, сколько за десять предыдущих лет, а садов, парков и бульваров — вдвое больше, чем в седьмой пятилетке; за пять лет одиннадцатой пятилетки — еще почти на 300 гектаров больше (напряженный объем целого года!), чем за пять лет восьмой...

Обращаюсь опять к цифровым данным книги Ю. Ходакова: «По новому Генеральному плану Большого Ленинграда площадь зеленых насаждений всех видов в пределах городской черты планируется довести до 29 тыс. га, в том числе зеленых насаждений общего пользования — до 9 450 га». То есть рост вдвое против сегодняшнего? За счет чего? Не пора ли критически посмотреть на этот «гром победы раздавайся»?

Массовое создание «зеленых участков» началось одновременно с массовой застройкой кварталов блочных «пятиэтажек» в начале 60-х годов. Это не простое совпадение. И в жилищном, и в зеленом строительстве началась погоня за количеством метров в ущерб их качеству. В строительстве жилищ такая гонка оправдывалась обстоятельствами — острой нехваткой жилья. Строителям «зеленых участков» оправдаться труднее, они все равно не поспевали, даже штампуя рядом с серыми пятиэтажками свои зеленые (но все равно серые) безликие квадратики, даже оставляя в новостройках гигантские пустыри. И чем далее на простор вырывалось жилищное строительство, тем проще становилось «зеленым строителям» осваивать свои миллионы.

В угоду упрощенности создавались безликие сады и скверы на одно лицо. Парк авиаторов (35 гектаров), парк на Полюстровском проспекте (30,4 гектара), сад на улице Замшина (12 гектаров), парк в пойме Муринского ручья (45 гектаров), парк имени 50-летия Октября в Красногвардейском районе (38 гектаров), Малоохтинский сад (7 гектаров), сад на Пионерской площади (9,8 гектара), парк на проспекте Стачек (20 гектаров), сад в районе аэропорта Пулково (12 гектаров), сквер у кинотеатра «Планета» (8,4 гектара), Южно-Приморский парк (148 гектаров).

За какие такие красоты эти «зеленые участки» называются садами и парками? Многие из них до сих пор производят впечатление «незавершенки», многие похожи как две стандартные «пятиэтажки»: на поле газона редкая рядовая посадка деревьев одного-двух видов и сплошная обсадка живыми изгородями-кустами.

Если мы посчитаем эти перечисленные гектары, то получим в сумме больше, чем создано в Питере за все время до 1917 года. Хорошо, положим перечисленное на левую чашу весов, а то, что до 1917-го,— на правую: Александровский парк (на Петроградской стороне), Александровский сад (у Дворцовой площади), Михайловский сад, Таврический сад, парк на Елагином острове, на Каменном острове, Летний сад... Довольно, правая чаша давно уже перетянула на весах истинных ценностей.

В гонке за зелеными гектарами мы забыли главное: что есть сад! Во введении к своей книге Ю. Ходаков подробно перечисляет девять функций «зеленых насаждений». Здесь и оздоровление воздушного бассейна, и улучшение микроклимата, и снижение запыленности, и защита от ветров... Не названа лишь десятая — а на самом деле первая! — функция сада: эстетическое воспитание.

В книге «Поэзия садов» академик Д. С. Лихачев подчеркивает именно это значение сада, ныне утраченное. Красота — вот чем должен цениться парк, сад, сквер. Вместе с чистым воздухом мы вдыхаем и чистую красоту. Среди красивого и человеку хочется быть красивей.

Воспитательное значение сада несомненно важно, а мы заменяем его «зелеными участками», «гектарами» и «объектами», инстинктивно стыдясь назвать это садом. Своенравный Петр I высоко ценил садовника-художника и даже слушался его, как об этом писал Пушкин в «Истории Петра». Жестокий Людовик XIV приказал пронести садовника-архитектора Андре Ленотра, создателя сада Версаля, в портшезе по парку, а сам шел рядом — неслыханно! А сколько удивительных стихов родилось в садах, сколько прекрасной музыки!

Современные городские сады не способны вдохновить даже создателей хэйвметалла. Архитекторы домов давно сами взбунтовались против своих «блочных детей», архитекторов же садов, похоже, вовсе не осталось, некому бунтовать. Факт может показаться невероятным, но он неоспорим: в нашей стране практически нет квалифицированных специалистов по ландшафтной архитектуре, садово-парковому искусству, давно нет своих Бушей, Гонзаго, Ленотров, Катцеров. Ведь здесь мало быть архитектором, надо дендрологию знать, биологию, почвоведение. И это искусство требует таланта.

Таланты-то наверняка есть, да негде их учить. В 1956 году в Ленинградской лесотехнической академии был закрыт последний специализированный факультет. Тогдашние руководители министерства высшего и среднего специального образования (апологеты посредственности?) сочли, наверное, что хватит нам и обычных озеленителей. А обычные — штампуют новые зеленые участки и рубят старые деревья. Ленинградка Т. М. Глинкина как в воду глядела: в Летнем саду срубили-таки столетние липы. Решили таким образом его осветлить, а заодно избавиться от лип-старушек, хлопот с ними... Сад, хотя и лежит на возвышенном месте, пахнет сыростью, потускнел. Розы там давно не растут. Питаться деревьям-великанам нечем, и они поедают сами себя.

ВОСХОЖДЕНИЕ К САДУ

— Знаете, перед кем снял бы шапку? Лобанов Петр Кондратьевич, садовник Летнего сада. Он работал там в годы блокады. Из Лахты, где жил, ежедневно — обстрел, не обстрел — приходил в свой сад. Пожилой уже, как только ноги таскал? Его деятельность сводилась к тому, чтобы добыть хоть крохи органических веществ. Его неоднократно задерживала милиция, эмпэво и даже комендатура, потому что он останавливал воинские обозы и приглашал в парк — постоять, переночевать. Зачем? А чтобы заполучить ведро-два навозу. В сорок втором году, когда начало развиваться огородничество, он приглашал в Летний сад копать участки под огород. Но не с пустыми руками приходить, а принести хоть ведро золы. Представьте себе: в его бытность Летний сад еще получал какое-то органическое вещество, а после, уже лет сорок, ничего не получает. Зато там трава и не растет...

Андрей Рихардович Метс показывает мне фотографии. На них крупно: в деревьях дупла с человеческий рост, заложенные кирпичами.

— Это где же так?

— В нынешнем Летнем саду. Хоть бы не позорились... И у меня в парке так было...

К 1958 году, когда Метс пришел на Елагин остров, «дело», можно сказать, было уже сделано. Дореволюционный пейзажный парк Джозефа Буша стал местом культуры и отдыха. Тропинки спрямили, на газонах разбили дачные клумбы с георгинами, посреди клумб стояли гипсовые атлетки в гипсовых майках и трусах — одна с веслом, другая с кубком, третья с лыжами. Парк ежегодно перевыполнял план затейно-массовых мероприятий, как то: бег в мешках, массовое исполнение песен, викторины, вроде вот такой: «Мы не можем ждать милостей от природы!»

— Андрей Рихардович, а не показалось вам, что спасать парк было уже поздно?

— Нет, хотя деревья уже гибли. До двухсот пятидесяти в год — многоствольных, самых красивых. Мне говорили: «Они и не должны расти, хватит. Пора их валить. Вы садовый мастер, вам и пила в руки. В парке культуры все должно быть культурно, чисто, а у вас повсюду на газонах листья валяются. Они же разносчики грязи. Убрать! Вот у нас, в лучшие времена, как было? Пять тыщ братцев-матросиков за ночь наводили шик-блеск.

— Нет, спасать деревья было не поздно. И учиться никогда не поздно, я это знаю по себе. Лет через двадцать после техникума я поступил в Лесотехническую академию и без отрыва от парка закончил ее по специальности «озеленение городов». Дипломный проект защитил: «Сохранение биогеоценозов в условиях рекреационной дигрессии». Популярно это, наверное, звучит так: «Сохранение живых связей природы в условиях города». Потом закончил и университет, факультет экологии рационального использования природных ресурсов. Правда, ни рубля не прибавилось к моей зарплате, но не в этом дело. Дело интересное! Меня понимают, поддерживают... Правда, никто не хочет встать рядом, но в общем-то поддерживают. Научный мир — весь поддерживает. И в управлениях все понимают, и на местах, но одни люди дрожат за свою должность, другим характера не хватает, третьи ждут повышения и поэтому к природе относятся с позиций: «На все наплевать, лишь бы самим в благодати пребывать». Есть еще и пролеткультовцы от биологии, что когда-то над Владимиром Николаевичем Сукачевым потешались...

(Кулаком опять: тук, тук по столу — трудно ему об этом, слишком знакома судьба борца-одиночки.)

Создатель биогеоценологии в эпоху лысенковщины понял и пытался доказать: все элементы леса так взаимосвязаны, что нельзя ни один удалить, чтобы не повредить всей структуре.

Садовник Андрей Рихардович Метс, последователь академика В. Н. Сукачева и других биологов-диалектиков, понял, что дерево и в городе живет по своим извечным законам, что парк, сквер — это художественно понятый и созданный кусочек леса, не более. Но и не менее! Надо пытаться понять эту объективную структуру, помочь ей, и нельзя подчинить ее своим субъективным желаниям.

Андрей Рихардович начал с тезы: управ-

ший лист — не мусор, а важнейшее звено в круговороте лесной жизни. В опаде живут микроорганизмы, бактерии, насекомые, помогающие обогащать почву в прикорневой зоне. Опад — главная основа создания верхнего — генетического! — гумусного слоя земли. Наша зона, бедная почвами, потому и называется нечерноземной, что верхний — важнейший для жизни — слой невелик (10—15 сантиметров), не успевает накапливаться и смывается частыми дождями.

Зимой из опавших листьев «уходят а деревья» сначала калий и фосфор, затем и другие элементы. Скелету человека необходим фосфор. Оказывается, необходим он «скелету» и дерева.

В борьбе с теми, кто в опавших листьях видел «грязь» и «бескультурье», Андрей Рихардович добился-таки главного: вместо сгребания опада с газонов Елагина острова, тысячи горожан, призванных на субботник, разносили лист — полторы тысячи тонн — под пологи деревьев, подсыпали туда торф, привезенный накануне десятками самосвалов. Вместо акта вандализма по отношению к растениям свершался акт гуманизма. Какой прекрасный урок нравственного воспитания!

— Кто же в парке работал до вас, Андрей Рихардович?

— Некто Эскин, старший мастер. За душой — пусто, но сорок три года откантовался. Бывший директор Борщенко его ценила за послушание. Помню, пришел я к ней в самом начале своей работы и попросил денег на покупку белок. Нигде в ленинградских парках еще не было белок, а биологическая и эстетическая их роль велика. Всего рублей сто и надо было, но — куда там! Борщенко раскричалась: «Где это видано! Это не Прибалтика — белок разводить...». Я все равно купил двух белок, пустил. За первой белкой посетители два часа гонялись с палкой, вторую мальчишки из рогатки...

Белки тогда были в городе чудом. Их в витринах выставляли, и они там, несчастные, носились в колесе, не в силах с ним сладить. Борщенко потом в докладах и отчетах очень гордилась нашими белками.

В семидесятом году, уже при другом директоре, я привез в парк два муравейника. Лесные муравьи вредителей поедают и разносят семена. Подснежник по парку — это они разнесли. Спустя какое-то время исчезли мои муравейники! «Ты бы,— говорит,— сказал, что у тебя там муравьи. К чему они? Бегают, понимаешь, у женщин по чулкам». А лет через пять в программе «Время» показывают: садоводы Франции закупают в Италии лесных муравьев за валюту.

— Есть ли в парке научная часть? Говорят: наука о природе должна быть ближе к природе.

— Надо бы, но пока никто из ученых конкретно за парк не отвечает, а мы, которые по озеленению,— это лишь одна десятая часть всей парковой администрации.

— Как же, ведь вы, одна десятая, и есть парк?!

— Да, это общая проблема. Стало много инструкторов, администраторов, кураторов, инспекторов, референтов... А младший обслуживающий персонал, по-простому, рабочие — руками работать — исчезают. Механизация плохая и не везде она пригодна. Есть у нас Северный пруд, там пихты растут, в шестидесятые годы посаженные. Так они дали рекордный в городе прирост, до пятнадцати метров вымахали. А потом реставраторы из треста запустили туда экскаватор, и он лапой содрал дернину над корнями. Прирост упал — какая же это реставрация? Одна видимость... Растения любят, когда к ним прикасаются бережно, руками... А некому. Приходится во всех лицах: и хранителем, и научным сотрудником. И вся техника на мне. Иной раз легче дерево вырастить, чем добыть запчасть. Приходится заниматься и снабжением, ведь никто мне ничего — даже тех же газонных семян — не достанет.

— В парке много цветов!

— У нас только на альпийской горке сто с лишним видов цветочных растений. Многие цветы те, что в «Красной книге». В Ленинградской области скоро ландыша не станет, а у нас — ландыш!

Четверть века назад, когда Андрей Рихардович пришел в ЦПКиО, там и не мечтали о ландыше, очень чувствительном к чистоте почвы и воздуха. Метс пришел, и началось самовозобновление деревьев: природа не могла не отозваться на доброту человека. На двухвековых деревьях рядом с погубленными ветвями стали расти новые, молодые. На суховершинивших — проклюнулись новые верхушки. Возле больших кленов и берез, что от голода поедали свое нутро, проросли юные березки и клены. Тогда же Андрей Рихардович сделал второй решающий шаг — отказался от пестицидов. Развесил на деревьях скворечники, кормушки для птиц, оборудовал дуплянки.

— Мои учителя меня учили: охранять природу — значит охранять природную среду. Взять тех же мошек. Меня учили так: создай в саду условия, исключающие появление вредителей и болезней растений. Привлекай в парки насекомоядных птиц.

Он перестал заделывать дупла цементом: все равно это деревья не спасает, а так птицы могут жить в дуплах, заодно вредных насекомых подъедать. Один скворец для выкормки своих птенцов ловит восемь тысяч жучков, ласточка в течение суток триста раз принесет птенцам корм, а маленькая мухоловка-пеструшка — шестьсот... И не надо пестицидов, от них птицы гибнут, от них в гнездах три яйца вместо шести.

— От ядохимикатов я отказался в шестьдесят восьмом году. Наша станция защиты зеленых насаждений оседлала химию — будь здоров! Хлорофос, карбофос, тиафос... А все это ведь яды. Пятнадцать тысячных грамма тиафоса на килограмм веса — летальная доза. Ну а кому-то это очень удобно и выгодно: приехал, попрыскал и переводи на их счет тысячи рублей. Один наш парк раньше перечислял за сию услугу от восьми до двенадцати тысяч рублей в год.

Андрей Рихардович показывает фотографии. На ней щит с надписью, что появляется каждую весну за оградой соседнего Приморского парка: «ОПАСНО! Парк закрыт. Проводится массовая химическая обработка деревьев».

— Пришли как-то к нам из санэпидстанции. «Мы у вас берега прудов польем керосином — против малярийного комара». Спрашиваю: вы видели этого комара? «Нет,— отвечают,— но это ничего не меняет. Профилактика». А я тогда две тысячи годовиков карпа в пруды пустил. Не разрешил я делать такую «профилактику», а в санэпидстанцию акт на выпуск рыбы отнес. Расшумелись. «Что же это вы,— говорят,— не предупредили». Вот видите: сейчас, если в парке есть рыба или птицы, оказывается, надо предупреждать...

Все время, пока мы беседовали, заходили по своим делам люди. Женщина принесла заявление на увольнение. «Я уборщицей в столовой лучше заживу». Девушка принесла заявление: «Прошу оформить меня рабочей...». Зашел рабочий, принес наточенную фрезу для газонокосилки, ему друг «исполнил» в порядке, так сказать, индивидуальной трудовой деятельности. Естественно, не за спасибо. «На моральный стимул не опохмелишься»,— улыбнулся мне рабочий. Последним забежал инструктор культпросвета, попросил Андрея Рихардовича подарить ему шкаф. «Он внизу стоит, говорят, вам не нужен, а?» Метс с радостью согласился и стал названивать: «Какие справки нужны для передачи шкафа?». Казалось, он был даже рад отвлечься от горькой пестицидной темы...

— Да, я помню, мы про комаров говорили. Я работникам санэпидстанции сказал: если есть малярийные комары — запустите в пруд мешок лягушек.

— А рыба сейчас в ваших прудах есть?

— Двадцать шесть видов. Карп, карась, линь, плотва, окунь, язь... Впускаем из Невы метровых щук на нерест, а выпускаем в Неву стайки щурят. Собираюсь две тысячи годовиков форели запустить, но это уже будущее.

...Мы вышли с садовником на аллеи. На стволе старой липы выросло совсем новое дерево. Под кленами и березами на квадратном метре буквально десяток тоненьких и долговязых деревец.

— Не знаю, что делать,— заметил мое удивление Андрей Рихардович.— Мы каждый год вынуждены вырубать совершенно здоровые деревья, причем благородных, долговечных пород. Это называется рубка-уход, но все равно...

— У Шафрана в книге говорится: если за газоном нормально ухаживать, ему не нужен капремонт.

— Правильно, не нужен. Вот, посмотрите. Масляный луг — двадцать лет безо всякого капремонта. Видите: папоротник растет — известный неженка, старинное растение, требует изысканную среду. Вот кустики черники — возвращаются после пожара через двадцать пять лет. Ко мне, правда, через пятнадцать вернулись. Там манжетка, а это вербейник, золотарник. Ветреница дубравная — тоже из «Красной книги» — у меня спокойно растет. Сейчас по утрам бабуси ходят, собирают щавель. Мы, конечно, не поощряем, но, главное, химии нет, можно не бояться. А это, как видите, крапива. Скажете, сорняк? Нет, крапива — верный показатель хорошей почвы, я ей рад. А знаете, откуда в парке лесной мятлик, лютик кашубский, голубая жимолость, сныть? Лесные все травы, их ведь не сеют. Птицы занесли...

Я поднял голову и увидел дрозда-рябинника, он деловито стучал по веточке крепким клювом. Пробежала по дорожке трясогузка. Вспорхнула веселая синица. В синем небе пронеслась ласточка. Орнитологи любят здесь бывать. Где еще, в каком парке увидишь тридцать шесть видов птиц! Не зря ведь Андрей Рихардович запрещал косить траву на газонах и перештыковывать кусты, пока птенцы не стали слетками.

У каждого хорошего человека обязательно есть хорошая мечта, заветная. Как-то ранехонько Андрей Рихардович шел по своему саду и... услышал соловья! Соловей признал его труд, вернулся и свил гнездо. Так неожиданно свершилась заветная мечта садовника, так вдруг захлестнуло, что он не справился с собой — прошибло слезу.

— Вернулись птицы, вернулись. Видите красивые домики? Это мои рабочие мастерят, есть умельцы. И шмели вернулись, а они под пологом живут. Я как-то видел старую дореволюционную фотографию: дюжие мужики в Царском Селе привязывают груз к нижним ветвям — это умно. И красиво. У меня в укромном месте улей стоит с баночкой меда: жду, когда пчелы вернутся...

Ухожу из парка с мыслью, что все в руках человеческих. Что быть на Земле лишь тем городам, где много светлых

окон, тенистых парков — именно красотой они спасены будут. Что, сберегая всеми силами мир-спокойствие, не забываем ли мы, на свою беду, о сохранности мира природы. Что пчелы к Метсу обязательно вернутся и что мой новый друг, увы, последний в Ленинграде садовник-мужчина. А ведь садовничество — исконно мужеское на Земле дело.

О «ПОЭЗИИ САДОВ» И ПРОЗЕ ГАЗОНОВ

Каждая эпоха имеет свои сады, в садах отражается. Философы, осмысливая времена, писали о садах. Джозеф Аддисон создал пейзажный сад в Билтоне и зло высмеял регулярные сады. Россияне, любопытные до западного, переняли и пейзажные, и регулярные.

Иду по Михайловскому саду и словно вижу статного старика с пышными усами и благородной бородой, как у Ивана Сергеевича Тургенева. А в Летнем мне видится кудрявый недоросль «а ля франс», «резов, но мил», в галифе и жабо тонкого узора. В Летнем вспоминается и замечание садовника Метса: «Петр Первый видел Летний сад уже через двадцать лет, а мы свои и через сорок не видим».

Московский парк Победы, по-моему, последний достойный уважения питерский сад. Он создан в сорок пятом еще не отошедшими от войны, от блокады цинготными ленинградцами, слабыми, но сильными духом, он — мемориальный сад-совесть. Сад-долг. Сад-напоминание. Он должен бы стать садом высокого стиля, но, похоже, затем засуетились люди и снизили звучание его.

Слева от парадного входа должны были расти липы, а посадили тополя. Пустили лодки в пруд, возле торжественной ограды поставили пивную. Потом, спустя тридцать лет, вспомнили о торжественности и спилили разом полста живых тополей. Посадили тонкие липки. Пивную оставили. Окружен парк большими тяжелыми домами с излишествами, осмеянными в последующую эпоху блочных «пятиэтажек».

Позже на одной границе парка встала станция метро, на другой — спортивно-концертный комплекс, и пятьдесят тысяч ног бодро затопали «сквозь все» туда-обратно, не умещаясь в аллее, не отличая ее от газона, воодушевленные «Зенитом» и брэйк-дансом. Как сохранить биогеоценоз в условиях такой рекреационной дигрессии?

Я знаком с начальником участка этого парка (как только садовники не обозваны!) С. И. Южаковой. Маленькая, энергичная женщина. Она в парке скоро уж двадцать лет и каждое лето переживает «пляжи» на газонах, переживает «свинорой» (ходят граждане по газонам и ковыряют палками грибы), переживает перевернутые урны и опрокинутые скамейки. Она сказала, сломав карандаш: «Это не для печати, но через сорок лет при *таком* отношении парка не будет!». Почему же не для печати?

Вспомнив темные аллеи парка на Елагином острове, я спросил о биогеоценозе. Светлана Ивановна легко отозвалась. Да, она знает, что Метс не убирает опад. Нет, она с Метсом не согласна. Лист надо вывозить, парк должен быть чистым. Станция защиты растений у них распыляет, как всюду, хлорофос, карбофос. А как же без пестицидов? От насекомых житья не станет! Ведь лист дает гниль.

Я спросил: а в лесу не гниет? «У нас тут не лес. Потом, для шоферов вредно — колеса скользят... Сгребать под деревья? А вы знаете, что они накапливают тяжелые металлы?» У нее был милый вид заговорщицы, знающей тайну. Я не стерпел и на память процитировал из Вернадского, что вода, прошедшая через слой лесной подстилки, очищается лучше, чем в лаборатории. «У нас не лес,— повторила она теперь твердо,— у нас парк». Продолжать, что за год-два наши северные деревья с помощью микрофлоры, не убитой химией, подъедают весь свой опад, я не стал.

Я честно поблагодарил начальника участка за двадцать лет служения парку. В конце концов до академика В. Н. Сукачева никто из ученых-биологов ведь не смог сложить в уме структуру биогеоценоза. Городские садовники работают в сложной системе подчинения («делай, что говорят»), легко их винить, исполняющих роль трудяг-вагонов, когда садово-парковый паровоз везет не туда.

Из 67 гектаров Московского парка Победы ежегодно капитально ремонтируется четыре гектара газонов, на что требуется примерно четыре тысячи кубометров плодородной земли. Эту землю сюда и в другие парки привозили из новостроек (бывших деревень Купчино, Ульянка, Боровая), снимая там верхний слой, а потом в те новостройки привозили из других новостроек. Даже если ремонтировать ежегодно семь процентов ленинградских газонов, то необходимо где-то взять более 300 тысяч кубометров земли.

В нарушение известной садовой истины новыми слоями земли засыпаются комлевые части растений, а деревья и кустарники, особенно старые, не терпят засыпки... То есть они вынуждены терпеть и стоя умирают от удушения.

Если бы в земле были дождевые черви, они «провели» бы вентиляцию и дренаж. Но дождевые черви не выносят пестицидов. Ежегодно Московский парк Победы перечисляет химополивщикам три тысячи рублей...

В масштабах огромного города создан, кажется, некий антибиогеопсевдоценоз, при котором одни сотни машин вывозят из садов органику, а другие сотни — везут сюда пестициды, землю и двойную дозу минеральных удобрений. «Симбиозу микрофлоры и деревьев,— сказал мне Метс,— вредна даже половинная». Вот так осуществляется гигантская деловая деятельность, осваиваются миллионы рублей. А у нас ничто не вызывает такого уважения, как деловая деятельность и освоенные миллионы.

Неужели нет путей экономии этих затрат? В парке на Елагином острове, по словам Метса, уже много лет ежегодно экономят: 12 тысяч рублей на нерасплыске ядохимикатов, 20 тысяч — на неиспользовании сотен машин в ту и в другую сторону, 30 тысяч — из фонда заработной платы на несборе опада, 10 тысяч — на неремонте газоноа... Итого — более 70 тысяч рублей. А за пятилетку 350 тысяч на НЕ. И парк процветает. Правда, часть этих средств уходит на известь в пруды (10 тонн на один гектар водоемов, и сгинула колюшка, пожиравшая рыбью икру), на органические удобрения, необходимые деревьям... Но, в сравнении с гигантской деятельностью, об этой, скромной, даже неловко говорить.

Старые питерские сады при том же климате и неспособностях городской Думы простояли без капремонта 150 лет. Новые, при всех наших способностях, молят о ремонте через пять лет. Старые после современного капремонта не станут ли «новыми»?

Я шел по прямым аллеям парка Победы, они здесь и должны быть прямыми. Но я не увидел певчих птиц. Орнитологи, правда, находят и ставят парку «удовлетворительно», но я всего лишь посетитель, пришедший сюда за сочувствием, сонастроением, я не могу высматривать зяблика в бинокль. Я вижу воробья на газоне, ворону на ветке, голубя на аллее и утку в пруду — родных наших городских птах. И вижу лысые газоны, сухие вершины деревьев, обрубки вместо нижних, самых декоративных, ветвей — и мне больно. Умом я понимаю, что и здесь, как и в других парках города, осуществляются героические усилия по сохранению и приумножению... А душе хочется красоты.

В тенистых аллеях парка на Елагином острове хочется грустить, мечтать. Пруды тамошние — красота и покой, а в громких городах особенно «покой сердце просит». Зачем же суета лодок? Выгодно? Но выгодно и рыцарские доспехи из Эрмитажа давать в прокат. Достоинство парка — красота покоя, а лодки и «американские горы» есть и по соседству. К услугам любителей шумного отдыха — луна-парк. Мало одного, поставьте на «зеленых участках» еще.

Особенного настроения требует и Московский парк Победы. А хочется еще и сада камней — очень бы у нас смотрелся. Возможен сад сиреней (представляете, двадцать сортов сиреней в одном саду!), и сад жасминов. Сад непрерывного цветения — с ранней весны до поздней осени. И экспериментальный сад малоизвестных декоративных растений, могущих жить у нас. С нами жить. А в новых районах могли бы статься живописные березовые, сосновые куртины (примеры такие есть в Ленинграде), зачем же обязательно: «Сперва вырубим, а потом озеленим»?

Может быть, я пристрастен, не замечаю «достигнутых успехов и объективных трудностей»? Успехи в смысле количества, повторяю, несомненные — это признают все коренные ленинградцы, выбравшиеся из «каменного мешка» в новые районы. Другое дело, что это за зеленые квадратные метры, какие они. Отмеченные любовью и талантом художника или кое-как произбающие метры. У нас есть розарий в Александровском саду, еще два-три прекрасных исключения из общего унылого правила. Наверное, я пристрастен, но эти исключения — капли в море «зеленых участков». А ссылки на объективные трудности... Тот же садовник Метс, как видим, предпочитает изыскивать возможности.

Нельзя без страсти относиться к тому, что претендует на звание произведения искусства, особенно — садового искусства в конгломерате выхлопных газов, трубных жерл и хитросплетения проводов...

Лет двадцать назад Леонид Леонов, защищая сады от «достигнутых успехов», высказал истину, во имя которой тем более стоит жить сегодня: «Когда мы говорим о коммунизме, то часто является нам образ совершенного просторного сада, где гуляют труженики, строители, мудрецы, поэты. Это не только красивая метафора, но и то, что обязательно должно совершиться на нашей земле, и построить настоящий парк, достойный коммунистического будущего, может только истинный художник. Деревья плюс красота плюс человеческие знания, глубокое понимание садовником мира природы — вот что должно входить в понятие Парк Будущего».

* * *

Думая о Саде Будущего, в который вернулась бы поэзия, и думая о садах настоящего, я вернулся на свой проспект... И я увидел друзей, которых не замечал. Они не напрашивались в друзья, а молча заслоняли меня от пыли, окислов, жары, дарили кислород и... бесценную возможность жить на земле, быть человеком — значит понимать и беречь красоту.

Не сделав и ста шагов от дома, я познакомился с сиренью, причем, одни кусты ее имели маленькие, сочно-зеленые листы, жаждущие жить и взять от жизни побольше света и тепла, а другие — большие, с ладонь, болезные и какие-то вялые, безразличные ко всему. Познакомился я с акацией, и эти кусты отличались один от другого. Ростом отличались, статью своей и счастьем. Одни, например, являли образец благополучного семейства. Дородные, довольные жизнью, они были густо усыпаны детишками-стручками, и детишки их, как щекастые бутузики, радовали глаз. А неподалеку росла тоже акация, но какая несчастная! Какая пожухлая и совсем пустая, одинокая, ссутулившаяся почти до самой земли.

Долго описывать всех моих новых знакомцев. Только деревьев открылось мне на моем третьестепенном проспекте двенадцать имен: дуб, клен, береза, липа, тополь, серебристая ива, рябина, конский каштан, яблоня, ясень, ольха, пихта. И все живут неподалеку от моего дома. И у каждого есть еще свое собственное имя, отличное от имени брата и соседа, ведь жизнь-то у каждого дерева своя.

А если еще назвать имена кустарников и трав! Черноплодная рябина, жасмин, шиповник, снежноягодник, жимолость... Здесь, правда, вышла заминка. Я нашел возле своего дома с десяток кустарников, которые протягивали мне в знак знакомства свои веточки, но... имен их я не знал, вот беда, а они и рады бы мне представиться. Как и среди людей: живем подолгу стенка в стенку, и, вроде, оба — нормальные ребята, но даже имен друг друга не знаем и не спросим. Делаем вид, что неинтересно...

Ничего, с кустами это дело легче — познакомимся.

И без того за какой-то час я обрел столько зеленых друзей! А ведь не замечал их двенадцать лет,— со дня, как переехал из центра в этот район, на юг моего северного города.

Знакомиться — так знакомиться! И я наклонялся к травинкам, что росли вокруг деревьев, кустов и не были пока сострижены, сбриты электрической машинкой. Я увидел подорожник, кашку, заячью капусту, лютик... К ромашке и одуванчику, крапиве и репью можно было не нагибаться — они видны издалека, одни из-за яркой одежды, другие из-за высокого роста.

А что это за травка? Так с виду знакома... Внешне ярких да рослых знаю, а как зовут эту, незаметную, странную травинку с продолговатой жесткой седенькой головкой, на тонкой ножке в плаще кульком? Забыл. А ведь знал когда-то, ведь знакомились. Пришлось снова заглянуть в свой старенький учебник ботаники за пятый класс. Извини, тимофеевка, теперь уж не забуду твоего имени. Здравствуй!

Горожанин, никогда не ощущавший под ступнями шероховатость асфальта и привыкший ездить к природе лишь в гости, я обрел друзей, я рад и встревожен. Они доверились мне давно, а я только теперь понял, что в ответе за их судьбу. Большая раскидистая ольха посреди тротуара, серая от зноя, устало шевелила листьями и будто грустно улыбалась. Под густой кроной уместился прилавок и груда коробок. В тени старой ольхи и не замечая ее, стояла небольшая очередь, негромко галдя в ожидании бананов...



А. ПАВЛОВСКИЙ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ДОРОГ

(Лирический дневник М. Цветаевой. 1917—1920)

Ни одного крупного русского поэта современности, у которого после Революции не дрогнул и не вырос голос — нет.

Марина Цветаева. «Поэт и время»

Личные контакты Марины Цветаевой с другими поэтами были всегда немногочисленны: ярчайшие события на всю жизнь — Волошин, Мандельштам, Бальмонт, Белый, счастливое, но мимолетное знакомство с Есениным, Кузминым... Длительных и близких, «домашних» дружб почти не было. Была — пылкость; обычно — односторонняя, со стороны Марины. Были длительные, жгучие — эпистолярные — привязанности на расстояниях: к Ахматовой, Пастернаку, Рильке. Письма Цветаевой к этим людям (да и вообще все ее письма) всегда страстны, исповедальны и поэтичны: как стихи, как проза. Возможно, именно в письмах она отчасти возмещала нанесенную судьбою обиду, которая с какой-то низменной расчетливостью отводила ее «любимых» на версты и версты долгих, а то и вечных разлук. Сколько потеры!.. «И все они умерли, умерли, умерли...»,— горестно, навзрыд писала она в воспоминаниях о Кузмине, имея в виду не только его, но и Есенина, и многих других.

Какими блещущими красками описала она ослепительные под ее пером, какие-то марсианские глаза Кузмина, ангельский силуэт Есенина, аполлоновскую надмирность Мандельштама, античность Волошина! Она была романтиком не только в творчестве, но и в своих отношениях с людьми, даже в тяжком быту. И если, как она говорила, «стихи быт перемололи и отбросили», то и сама поступала точно так же: ненужное, мешавшее видеть в человеке главное, отбрасывала. Иногда кажется — не из желания ли взять реванш (перед судьбою!) так щедры, так обширны, так пространны и разветвленны и так не хотят заканчиваться все большие, даже огромные — при ее-то лапидарности — статьи-надгробия: Волошину, Кузмину, Белому. Смерть уравнивала их с простыми смертными, и возмущенная подобным кощунством Цветаева всеми силами души и таланта стремилась вернуть им исконное право художника на бессмертие.

Посвящения в поэтическом цикле «Версты», эмоционально щедрые и безотчетно расточительные, говорят не только об адресатах, поднятых романтической душой Цветаевой в недосягаемую высь, но еще больше — о страстной жажде общения, человеческой духовной и душевной близости, художнического, поэтического собеседования, которых «надменной» Марине смертельно недоставало. Добивалась она отзвука — эмоционально-поэтического эха — а родственных ей человеческих душах; но таких, чтобы были ей подстать, в ее окружении обычно не находилось, а те, что составляли исключение, оказались ею же самою вознесенными недосягаемо высоко. Блоку она даже не решалась передать свои стихи, хотя на одном из литературных вечеров стояла с ним рядом (перед божеством Марина была робкою), Ахматова на все послания царственно молчала. С Мандельштамом разлучила война: он остался в Крыму, Цветаева жила в Москве, и известия о нем и о Волошине получала урывками.

Но зато «Версты» принесли ей дружбу с Пастернаком. В 1922 году она получила от него восторженно-нежное письмо, положившее начало долгим счастливым годам заочной творческой дружбы.

«Дорогая Марина Ивановна! — писал Пастернак.— Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше — „Знаю, умру на заре, на которой из двух“ — и был, как

Из книги «Куст рябины», готовящейся к печати Ленинградским отделением издательства «Советский писатель».

чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыдания, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворения на „Я расскажу тебе про великий обман", я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на „Версты и версты и версты и черствый хлеб",— случилось то же самое.

Вы — не ребенок, дорогой, золотой, несравненный мой поэт, и, надеюсь, понимаете, что̀ это в наши дни означает, при *обилии* поэтов и поэтесс не только тех, о которых ведомо лишь профсоюзу, при обилии не имажинистов только, но при *обилии* даже неопороченных дарований, подобных Маяковскому, Ахматовой.

Простите, простите, простите!

Как могло случиться, что, плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Феодоровны (Скрябиной), я не знал, с кем рядом иду?»[1]

В этом письме поражает ошеломляющее сходство с цветаевским почерком — во всяком случае, с почерком эпистолярным. Разве не так же писала и она свои письма — взахлеб, на полной искренности, с неожиданными отходами в сторону, с возвращениями, с этими тире и восклицательными знаками, и ощущением полной, почти трагической невозможности выразить себя с помощью столь бедной для чувства, но — увы,— общепринятой пунктуации! Удручающе нищенскую пунктуацию способен, считала Цветаева, заменить только индивидуальный синтаксис.

...Прочитав письмо Пастернака, Цветаева долго не могла прийти в себя — она даже не сразу ответила ему, хотя на все письма откликалась обычно тотчас же — или черновиком, набросанным по горячему впечатлению в рабочей тетради, или беловиком, сразу для почты. На этот раз она не могла сделать ни того, ни другого. Ариадна Эфрон пишет, что «Маринина сдержанность» объяснялась «оглушенностью — этим голосом — почти что своим; от немыслимости именно этого голоса среди прочих, вокруг нее звучавших; от насущной потребности удостовериться в неподдельности его, в своей подвластности или неподвластности ему; от необходимости дать ему срок — рассеяться, если он — наваждение („аминь, рассыпься!"), или угнездиться и укрепиться в ее душе, если он — правда...»[2]

«Какие великолепные стихи стала писать Марина. У меня голова кружится от ее книги „Версты"»[3],— признавался Волошин в одном из писем 1922 года. Он всегда верил в Марину, в ее особую — высокую — поэтическую судьбу. И вот, наконец-то полностью — и даже сверх меры! — сбылась, осуществилась его уверенность. Он радовался тому, что теперь, после «Верст», не только ему одному да еще нескольким близким друзьям, но и всем будет хорошо видна истинная величина ее таланта.

Конечно, талант Цветаевой после выхода «Верст» многим стал ясен, но ни признание, ни известность к ней все же не пришли.

В оценке Волошина она никогда не сомневалась. А вот письмо Пастернака радостно ошеломило и потрясло ее.

Но все это было позже — в 1922 году, а в те годы, когда «Версты» создавались (1916—1920), ее окружали безвестность и одиночество. Она писала исключительно много, жила интенсивнейшей духовной жизнью, из-под ее пера выходили строки, великолепные по форме и глубокие по поэтическому смыслу. Как художник, она развивалась не по дням, а по часам, но подавляющее большинство произведений, которыми мы сейчас восхищаемся, были, по сути дела, совершенно неизвестными читателю.

Все стихи 1917—1920 годов образуют своего рода лирический дневник, писавшийся постоянно, снабженный, как всегда у Цветаевой, точными временными пометами. По стихам этого дневника, расположенным в хронологической последовательности, можно проследить многие перипетии душевной жизни поэта, возникновение или иссякание отдельных мотивов, отпочковывание и вырост побегов, которым суждено развиться в будущем. Что касается стихов, составивших, вследствие авторского отбора, книгу «Версты II», то они в своей совокупности образуют плотный музыкально-смысловой резонанс событий, входивших в душу поэта. Отдельные «болевые» точки времени, попав в лирику «Верст», создали достаточно внятный для слуха звуковой узор, или, по выражению Цветаевой, «болевое эхо».

По стихам, написанным в 1916 году («Версты I»), бродят сполохи, в них живет острое предвкушение близких перемен, которые уже назревают в воздухе, насыщенном электричеством. В стихах, созданных в 1917—1920 годах («Версты II») также не стихает ветер пространств, но кружение дорог и ветров устремляется к одной точке, где —

Синие тучи свились в водопад,—

и образовали собою смерч, пляшущий на «кресте дорог», на перекрестке, куда все дороги сошлись и откуда вновь расходятся. Душа поэта оказалась в самом центре встречи всех ветров — в той точке, которую мореходы называют «оком урагана», когда на малом пространстве бешеная энергия как бы застывает в секундном равновесии.

А я — руки настежь! — застыла — столбняк!
Чтоб выдул мне душу — российский сквозняк!
(«Другие — с очами и с личиком светлым...»)

Цветаева страшилась «дороги крестом» и никому ее не желала. Этот образ, взятый из фольклора, стал ее поэтическим заклятием.

Заклинаю тебя от злата,
От полночной вдовы крылатой,
От болотного злого дыма,
От старухи, бредущей мимо.
Змеи под кустом,
Воды под мостом,
Дороги крестом...
(«Заклинаю тебя от злата...»)

«Дорога крестом» — перепутье, схождение в одну точку, оторопь души, закруженной неведомой силой и не знающей, что̀ выбрать. Тревога, живущая в «Верстах II»,— от необходимости выбора, от страха — не выбрать или выбрать не то; это — почти ужас перед сужающимся, прицельным «оком урагана», от которого и свое, человеческое око, уже не отвести.

День единый теперь — житие твое...

Даже если бы под стихами, составляющими книгу «Версты II», не было проставлено дат — все равно мы могли бы их датировать годами революции.

...Есть мудрая пословица: «Путь дороги не знает». Цветаева в ту важнейшую для себя пору не обладала пониманием пути: «дорога крестом» надолго замкнула и распяла ее душу. Уже в начале революции Цветаева разделила судьбу той части русской интеллигенции, которая, не зная пути, выбрав не ту дорогу, претерпела жесточайшие «хождения по мукам». Для многих они кончились гибелью либо духовным пленом эмиграции, то есть тоже гибелью, еще более долгой и мучительной. Ведь и вся эмигрантская жизнь Марины Цветаевой — это крик страдания, боли, тоски, отчаяния и — неискупимой вины: перед собою, перед детьми, перед родиной, перед поэзией.

Не случайно уже в «Верстах II» пророчески возникает образ Страшного Суда, возмездия, расплаты и — самое главное — полнейшей их справедливости: возможно, то был преображенный отзвук блоковского Возмездия, но с поправкой на собственную судьбу. В стихотворении 1919 года «Закинув голову и опустив глаза...» (бесспорном шедевре цветаевской лирики) она пишет о вине, о непонимании ее, но — и о готовности принять кару.

Закинув голову и опустив глаза,
Пред ликом Господа и всех святых — стою.
Сегодня праздник мой, сегодня — Суд.

Сонм юных ангелов смущен до слез.
Бесстрастны праведники. Только ты
На тронном облаке глядишь как друг.

Что хочешь — спрашивай. Ты добр и стар,
И ты поймешь, что с эдаким в груди
Кремлевским колоколом — лгать нельзя.

И ты поймешь, как страстно день и ночь
Боролись Промысел и Произвол
В ворочающей жернова — груди.

Так, смертной женщиной — опущен взор,
Так, гневным ангелом — закинут лоб,
В день Благовещенья, у Царских врат,

Перед лицом твоим — гляди! — стою.
А голос, голубем покинув грудь,
В червонном куполе обводит круг.

В цветаевском Страшном Суде есть нетрадиционный, противоречащий «канону» неожиданный и глубокий мотив праздничности, потому что, в ее понимании, этот Суд есть торжество справедливости, ради которой с радостью пойдешь на муку, на крест, на лобное место. Есть, однако, еще один важный момент: душа, явившаяся на Суд, оказывается, не знает за собою вины — не потому, что вины не было, а потому, что она ее не понимает. Душа подобна в этом стихотворении искупительной жертве: над нею — рок. Правда, рок (излюбленное античное понятие Цветаевой) предстает в образе старого доброго бога, словно пришедшего из молитв русской крестьянки. Но доброта не отменяет кары — она лишь придает ей ореол праздничности. Здесь, если исходить из духа цветаевского миропонимания, нет противоречия, напротив, есть естественная и строгая поэтическая логика: не ведающий пути, но осмелившийся выбрать дорогу, тем самым — в своем неведении — виновен. Поэтому душа, явившаяся на Суд, не только готова к расплате, но и благодарна за предстоящую ей великую милость наказания. Такую ситуацию, напоминающую нравственные коллизии Достоевского, Цветаева в другом месте очень точно назвала «возвышением Бедою».

В годы Революции и гражданской войны религиозная символика возникала в художественном преломлении у многих и самых различных поэтов — у Есенина, Пастернака, Д. Бедного. Революция создавала новую социальную вселенную — мир как бы возникал заново. У Маяковского в «Мистерии-Буфф» революция изображалась в виде вселенского потопа: вновь плыл по волнам Ноев ковчег, и вот уже показалась долгожданная земля. Ощущение пересотворения жизни было в те годы всеобщим, хотя у одних это вызывало озлобление, у других — радость. Библейские сюжеты нередко становились олицетворением грандиозного переворота в жизни человечества, метафо-

---

[1] Ариадна Эфрон. Страницы былого.— «Звезда», 1975, № 6, с. 161—162.
[2] Там же, с. 162.
[3] Письмо Ю. Оболенской от 28 мая 1922 года (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1975 год. Л.: Наука, 1977, с. 157).

рическим замещением и понятия, и самого слова «революция». Такое нередко бывало в истории общественных движений: чувства, вызванные революцией, облекались в одежды библейских и евангельских символов. Цветаева, обращаясь к этой символике, не была среди поэтов своего времени исключением: вспомним Христа в поэме Блока «Двенадцать».

Цветаевское стихотворение было одним из первых в русской поэзии, где предугадывалась великан вина и беда близкого эмигрантского исхода. В октябре-ноябре 1917 года Цветаева уже видела первые толпы, поспешно покидавшие Москву и Петроград. Она ехала тогда из Крыма в Москву, а затем снова в Крым и — обратно в Москву, хотела спасти детей от голода. Муж ее Сергей Эфрон был в белой армии, приближалась разлука. Эти поездки по революционной стране, в переполненных солдатами вагонах, были для нее огромной и ценнейшей школой жизни. Она попала, сама того не зная, в крутую революционную волну, мощно вздыбившуюся через всю страну. Впоследствии Цветаева описала свои впечатления в цикле фрагментарных набросков «Октябрь в вагоне». По-видимому, они были зафиксированы в дневнике тотчас после дороги, а может, отчасти и в вагоне — так ощутимо сохранился в них неподдельный, далекий от литературной отделки задним числом жар времени. Сохранилась от тех дней и вереница четверостиший, тоже похожих на беглые записи в дневнике, и, возможно, возникавших с такой же непроизвольностью и импровизационностью. Эти четверостишия еще у нас не публиковались, а жаль: в них иногда очень точно выявлены не только дух необыкновенного времени — «десяти дней, которые потрясли мир»,— но и характер писавшего, человека зоркого, обладавшего, судя по записям, незаурядной репортажно-журналистской хваткой и, главное, относившегося к виденному не только с сосредоточенной пристальностью, но и с явной сердечной заинтересованностью. Вот вглядывается Цветаева в обнищавшую, стронутую с насиженных мест, горелую и голодную Россию. Записывает:

Не стыдись, страна-Россия,
Ангелы всегда босые.
Сапоги сам черт унес,
Нынче страшен, кто не бос...
(«Не стыдись, страна-Россия...»)

Читая «Октябрь в вагоне», цепочку «дневниковых» четверостиший, видишь, что автор смотрит на мир с позиций наивного, несведущего в политике человека. Но зримые черты этого мира оказываются зафиксированными и достоверно, и метко. Главная тональность этих записей (и прозаических, и стихотворных), возникавших в шуме и гвалте вагонной тряски, среди солдатской матерщины, ребячьего плача, бабьих причитаний и ожесточенных, не прекращавшихся ни на минуту споров простого люда о будущем России — потрясенность.

За этот месяц, проведенный действительно в самой гуще народа и событий, невиданных по своему значению и яркой зрелищности, среди бесконечных разговоров и суждений, сшибки мнений и наэлектризованности, из которой, как искры, высекались слова «большевики», «советы», «Ленин» — слова, как поняла Цветаева, огромные и лишь ей одной неведомые, она душевно выросла. Эта вагонная тряска, тревожные крики поездов, суматошные вести о бандитах, прыгающих с крыш на спящих пассажиров, бесконечные станции, куда бежали за кипятком, и осаждавшие поезд толпы голодных, раздетых, разутых людей... И вот среди них и первые цилиндры, котелки, дорогие манто, баулы, кожаные чемоданы — господа, дамы: первые беженцы из Москвы, Петрограда, ринувшиеся на юг, сначала в Одессу, «переждать большевиков», затем в Константинополь, Прагу... Сосед-матрос, сидевший всю дорогу рядом с Мариной, и чернобородый, похожий на «ласкового Пугачева» мастеровой, смотрели на них с нескрываемой ненавистью и удовлетворением: буржуазия начала драпать. Буржуи бежали из Москвы, а Марина ехала в Москву — это вызывало симпатии к городской образованной и беспомощной девушке, по виду студентке, не проглотившей за три дня томительного пути ни крошки хлеба. Ее угощали кипятком, расспрашивали, ей сочувствовали, Марина молчала — она хотела слушать, слушать и слушать: мир шумел, корчился, богохульничал, срывался в крик, среди махорочного дыма повисали слова, тяжелые, как топоры, слух изнемогал от этой чудовищной какофонии, но она слушала, пытаясь поймать смысл, гармонию, начатки мелодии, то, что Блок называл музыкою Революции. Она молчала почти всю дорогу, а когда, вынужденная доброжелательными расспросами, должна была говорить, почему-то срывалась, по ее же словам, в нелепую «фронду»: что у нее в Крыму дача, а в Москве собственный дом, что она богата. Эта фронда, вредившая ей в гимназии, здесь, среди людей, заряженных Революцией, как динамитом, могла ей дорого обойтись. Что-то, однако, помешало соседям по вагону отнестись к ее словам всерьез: уж очень внимательно и доброжелательно слушала, уж очень была голодна, бедна по виду и несчастна. Кто знает, может, фронда ее была быстро и насмешливо угадана?

Она слушает все, что говорится в вагоне, и художническая память навсегда сохраняет эти разговоры, меткие словечки, неожиданные обороты. Ее особенно интересовали слова, в которых выступал смысл происходящих событий. Окружающий люд — и матрос, и чернобородый Пугачев-мастеровой, солдаты, крестьяне были ей глубоко симпатичны, за долгую дорогу она прониклась к ним чувством, неожиданно близким любви. Ночью, когда вагон тревожно засыпал, она шептала слова Блока из его «Стихов о России»: ей казалось, что уже не поезд, а дикие степные кобылицы, бросая искры, окутанные туманом, несутся через ночь — в далекое, неведомое будущее. Она вдруг чувствовала родство со всеми этими людьми, спящими вокруг нее — их твердые мозолистые руки, их тяжелые слова, их нацеленные хмурые взгляды — все говорило о правоте, о силе, об уверенности. Вспоминались книги о французской революции, Марат, якобинцы, Робеспьер — как знала и любила она эти великие имена, как горела она в отрочестве этими далекими событиями! Революция, мятежи, зарева пожаров... Но вспоминались слова бородатого солдата (она днем незаметно и быстро записала их в тетрадку): «У нас молодая революция, а у них во Франции, старая, лежалая...» «Молодая Революция»! Как это здорово! Как это по ней! Но — «А офицер, товарищи,— первый подлец...» Марина отметила про себя: «А Сергей произведен в первый офицерский чин. Сказать им?» Записывала дальше — чьи-то слова, кажется, матроса: «Большевики правильно говорят, не хотят кровь проливать, смотрят за делом...»

Ведь именно они,— смятенно думала Марина,— ведь именно они, матрос, чернобородый мастеровой, солдаты, мужики,— они и есть молодая Революция, не французская, а своя, русская. Она чувствовала, как уже готовы были вскипеть стихи — о молодой Буре, мчащейся по российским полям... «В вагонном воздухе — топором — три слова: буржуазия, юнкера, кровососы...» Что́ она всегда ненавидела, так это буржуазность и буржуазию, собственничество. Но ведь юнкером был Сергей! Если мужики, солдаты, матросы, то есть народ — это молодая Революция, то кто — Сергей? Он поставлен в этом вагоне в один ряд с буржуазией и кровососами... Голоса кругом... Как же так? Да ведь предки Сергея — народовольцы, его мать — революционерка! Как она гордилась этим ореолом революционности, прочно и торжественно витавшим над семьей Сергея!.. Ведь она любила в нем и это — его род!

На станциях солдаты бегали за газетами — попадались сообщения: Кремль взорван, юнкера уничтожены... В сознание Марины не вмещалось, как может быть взорван Кремль — взорван русскими людьми?! Явная нелепость странным образом ее успокаивала. Но ведь Сергей был среди тех, кто «защищал» Кремль! Однажды он забежал домой, на Борисоглебский, с большим ключом от кремлевских ворот. «У меня в Москве — купола горят...» Как все перемешалось, как все трагически перепуталось! Здесь, в вагоне, несущемся к Москве, к Кремлю, к Сергею, она — полностью с этим людом, с молодой Революцией, неодолимая притягательная сила явно влечет ее к ним. Но она и там, с Сергеем. Жив ли? И снова лихорадочная — как молитва, запись:

«Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться — слушайте.

...Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас... Когда я Вам пишу, Вы — есть, раз я Вам пишу!..

...Если бог сделает это чудо — оставит вас в живых, я буду ходить за вами как собака...»[1]

Она ехала в Москву, зажатая бедой, тоской, ожидая самого худшего, и уже разговаривала только с чернобородым Пугачевым, выбрав его себе — как в «Капитанской дочке» — в Вожатые.

Запись: «Сговариваемся с мастеровым ехать с вокзала вместе. И хотя нам вовсе не по дороге: ему на Таганку, мне на Поварскую, продолжаю на этом строить... Мастеровой — оплот, и почему-то мне чудится, что он все знает (недаром Пугачев!) и именно оттого ⟨...⟩ спасет.— Уже спас.— И что нарочно сел в этот вагон — оградить и обнадежить... мог бы просто в окне появиться,— на полном ходу, среди степи...)»[2].

Первое впечатление от Москвы, еще до встречи с Сергеем, который оказался жив, было связано у Марины как раз с той «буржуазией», о которой с ненавистью говорили в вагоне. Впрочем, в воспаленном воображении Цветаевой все, что ей как-то мешало, связывалось теперь именно с «буржуазией» — вагонные разговоры и злые реплики матроса и Пугачева оказали-таки на нее свое «революционизирующее» влияние. Такой «буржуазией» явилась перед ней закутанная в шубы, посверкивающая из-под барских шапок стеклышками пенсне домовая охрана, стоявшая у подъезда — час был ранний и требовался пропуск. «Так у меня и осталось, первое видение буржуазии в революции: уши, прячущиеся в шапках, души, прячущиеся в шубах, головы, прячу-

---

[1] Через двадцать один год перед новым переломом судьбы на полях этой же тетради Цветаева приписала: «Вот и пойду, как собака».

[2] Когда в тридцатые годы Цветаева писала книгу «Мой Пушкин», то, говоря о «Капитанской дочке», вероятно, не могла не вспомнить своего попутчика-мастерового, чернобородого, как Пугачев, ставшего ей Вожатым в 1917 году. Пугачев для Цветаевой был бессмертен — он мог появиться в любую минуту, из первой же метели.

щиеся в шеях, глаза, прячущиеся в стеклах. Ослепительное — при вспыхивающей спичке — видение шкуры».

Но парадокс заключался в том, что Сергей тем же вечером уезжал на Дон, в белую армию. Цветаева не знала тогда, что, проводив Сергея, она рассталась с ним на четыре года и что встретиться с ним сможет лишь ценою мучительного самоизгнания. Впоследствии она многое поняла и решительно пересмотрела, как, впрочем, и Сергей, который намного раньше Марины разочаровался в своих заблуждениях и, попав в эмиграцию, стал одним из организаторов Союза возвращения на родину. Но это было позже, а тогда, в годы гражданской войны, он не сумел рассмотреть, на чьей стороне правда. Отпрыск народовольцев, революционеров, борцов с самодержавием встал на сторону контрреволюции.

На языке мастерового-Пугачева это означало, что Сергей Эфрон защищал гиблое дело буржуазии, изменив трудовому народу, и если бы, например, он или матрос встретили бы его там, в донских станицах, то расстреляли бы, ни минуты не задумываясь.

Понимала ли Цветаева весь трагизм положения любимого человека и своего собственного? Надо думать, не понимала. И горький парадокс заключался в том, что с буржуазией, которую она искренне и всегда ненавидела всеми фибрами своей антисобственнической души, ее буквально ничто не связывало — ни по рождению, ни — вопреки всем иностранным пансионам и боннам — по воспитанию, по привычкам. Она всегда ощущала себя бездомной, бесприютной, свободной, ибо для поэта (ее внутреннее убеждение) весь мир — дом, а очаг можно развести на любой дороге, под пологом черной ночи, при свете вечных звезд, под музыку бессонных вод.

Кто дома не строил —
Земли недостоин.

Кто дома не строил —
Не будет землею:
Соломой — золою...

— Не строила дома.

(«Кто дома не строил...»)

Пережившая вагонную эпопею, погрузившаяся в смуту времени, в самую гущу перевороченного бытия и быта, встретившись с Пугачевым и Матросом, проникнувшись к ним симпатией, Цветаева осталась восторженным романтиком, и ей снова казалось, что ступни ее едва касаются земли. Будучи романтиком, она была бессребренницей, яростной, убежденной ненавистницей собственности, или, как она говорила, «буржуазности». «Нигде, никогда...— писала Цветаева,— я не утверждала... собственности... Когда у меня в Революцию отняли деньги, я их не оспаривала, ибо не чувствовала их своими» («История одного посвящения»).

Благословляю ежедневный труд,
Благословляю еженощный сон.
Господню милость — и господень суд,
Благой закон — и каменный закон.

И пыльный пурпур свой, где столько дыр...
И пыльный посох свой, где все лучи!
Еще, господь, благословляю — мир
В чужом дому — и хлеб в чужой печи.

Возможно, вагонный Пугачев не понял бы пышных слов о пыльном пурпуре и пыльном посохе, но слова, благословляющие труд и мир, он, безусловно, принял бы к сердцу. Новое государство начало свое существование с Декрета о мире...

В многочисленных стихах Цветаевой периода гражданской войны — и в тех, что составили вторую книгу «Верст», и в «Разлуке», и в «Ремесле» — можно найти немало строк, явно созвучных революционной эпохе.

Какую, например, замечательную поэтическую формулу, выражающую презрительную ненависть к миру сытых и богатых, нашла она в одном из стихотворений 1918 года:

Если душа родилась крылатой —
Что́ ей хоромы и что́ ей хаты!
Что Чингисхан ей — и что — Орда!
Два на миру у меня врага,
Два близнеца — неразрывно-слитых:
Голод голодных — и сытость сытых!

Именно о таких «формулах», словно высеченных на меди подобно латинским изречениям, говорила она, что они для нее — на всю жизнь.

Разумеется, Марина Цветаева — не Анна Ахматова, написавшая в 1917 году инвективу «Мне голос был. Он звал утешно...», в которой отреклась от всех, бросавших родину в годину бедствий. Несопоставима она по глубине понимания эпохи с Блоком, перед которым благоговела, а «Двенадцать» приняла восторженно. Но ее поэзия — частичка той эпохи, в ней переливается, брызжет и играет как бы переложенная на шопеновскую музыку лирика и романтика бурных революционных дней.

Голод и стужа, огонь и мрак подступали к ее жизни, жилью, судьбе со всех сторон. Она ходила на службу в башмаках, привязанных к ногам веревками, в старом изношенном платье, закутанная в мороз во что попало. Маленькую Ирину, родившуюся уже после отъезда мужа, буквально нечем было кормить. То была нищета — не театральная, не реквизитно-романтическая, а самая настоящая — с безысходностью голода и холода. Жили в узкой, как вспоминала впоследствии ее дочь, клетушке с единственным, но зато выходившим на плоскую кровлю соседнего флигеля, окошком... Об этой клетушке Марина писала стихи, исполненные радости и юмора:

Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!
Войдите: гора рукописных бумаг...
— Так! — Руку! — Держите направо!
Здесь лужа от крыши дырявой.
Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук,
Какую мне Фландрию вывел паук.
Не слушайте толков досужих,
Что женщина может без кружев...

Впрочем, и вся Москва жила так же: на осьмушке хлеба, без дров, заваленная уездными сугробами, но кипевшая молодым революционным энтузиазмом. Этот энтузиазм, стучавший в холодные двери «чердачного дворца», заражал и Цветаеву: она жадно прислушивалась к горячим спорам об искусстве, о поэзии, которые заводила далеко за полночь романтическая молодежь из вахтанговской студии — ее новые знакомцы: Павел Антокольский, Юрий Завадский... Порою ей казалось, что она, одетая в легкую броню поэзии, неистребима, как птица-Феникс, что голод, холод и огонь бессильны сломить крылья ее стиха.

...Птица-Феникс — я, только в огне пою!
Поддержите высокую жизнь мою!
Высоко́ горю — и горю дотла!
И да будет вам ночь — светла!

(«Что другим не нужно — несите мне!..»)

Что писала Марина в эти годы — длинными зимними, голодными вечерами, у вяло потрескивающей буржуйки, под бульканье воды в закопченном котелке, где варились с превеликим трудом приобретенные мерзлые картофелины? Ее томила разлука, полная неизвестности о судьбе Сергея. Она отдала маленькую Ирину в приют, чтобы спасти старшую дочь, Алю, но голод был, и в приюте — Ирина умерла.

Как заупокойная молитва — бессильная дань матери, не сумевшей спасти, сохранить, оживить — рождались стихи:

Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.

Но обеими — зажатыми —
Яростными — как могла! —
Старшую у тьмы выхватывая —
Младшей не уберегла.

Две руки — ласкать — разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них
За́ ночь оказалась лишняя.

Светлая — на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем не понято,
Что дитя мое в земле.

(«Две руки, легко опущенные...»)

Все, что можно было продать,— продано. Все, что можно было сжечь в печурке, чтобы не замерзнуть,— сожжено. Удалось устроиться на службу в Народный Комиссариат по делам национальностей. Нравилось уже то, что Комиссариат расположился в доме, где, по воле Льва Толстого, жила семья Ростовых. Перечитывала «Войну и мир» и шла на службу, каждый раз удивляясь неслыханной, ошеломляющей близости времен, несмотря на все перемены. В доме Ростовых жила, во флигеле, прежняя хозяйка — ее привычки были патриархальны и трогательны. В Комиссариате Цветаева сидела за столом в отделе Информации, ее обязанностью было делать вырезки из вороха газет. Читали газеты — разные — с утра до вечера. Перед нею, надо думать, развертывалась широкая панорама гражданской войны в стране — сведения, сведения, сведения — со всех фронтов, в том числе и с Дона. Но сведения были противоречивы, и она не знала, чему верить.

Положа руку на сердце, Марина могла бы сказать, что здесь, в красной Москве, она, жена белого офицера, не чувствует себя ущемленной: голодна — как все, бедна — как все, и потому — равна со всеми. Будучи поэтом, она не могла не оценить своего необыкновенного, жестокого и беспощадного, но и праздничного времени, словно заряженного тысячевольтной силой всеобщего социального творчества. Стихи шли, как грозовой ливень — стеной. Никогда ранее так много, так самозабвенно и счастливо она не писала. Годы гражданской войны, бедственные, голодные, холодные и в ее личной жизни — несчастные, оказались, словно по закону контраста, небывало плодоносными: сотни стихов, шесть пьес, три поэмы! Она не могла не удивляться этой поразительной силе, накопившейся в ней, несмотря, а может быть, благодаря чудовищному противодействию обстоятельств. Появились и друзья — плеяда верных и пламенных энтузиастов поэзии и театра, пришедших из романтической вахтанговской студии, среди них — юный поэт и актер Павел Антокольский и талантливейший Юрий Завадский, а вскоре вошла в ее жизнь и незабываемая Голлидэй — героиня будущей «Повести о Сонечке»...

Но была и смерть Ирины. И на Дону в рядах так называемой Добровольческой армии пропал без вести Сергей Эфрон.

Из газет, как ни плохо разбиралась тогда Цветаева в перипетиях войны, постепенно становилось ясно, что белое движение на Дону окончательно иссякло. И вот однажды, про себя, ужасаясь собственной догадке и словам, она назвала армию, где находился (жив ли он?) Сергей, «добровольным движением к смерти». Так она определила тогда создавшееся положение.

Ее пронизывал ужас при одной мысли о возможной гибели Эфрона — жизни без него она себе не представляла, чувствовала, что известие о смерти приведет ее к самоубийству. Дочь? Она не выдержит без нее, Аля — ее маленький двойник. Мысль Марины была пряма и жестока — такова судьба! Так она жила, ожидая каждый день развязки. Понимала ли Марина, что в тягостном ожидании, между небом и землей, между жизнью и смертью, пройдут годы? Она — ждала. Душа ее ожесточалась. Спасало лишь одно — поэзия. Словно все силы стиха, жившие в ней, бросились на помощь. Рождались слова и звуки, пленительные по красоте, изяществу и шопеновской прозрачной грусти-радости. В темном «чердачном дворце», при свете чадной коптилки возникала музыка слова, исполненная очарования и света, появлялись строки литые, как мудрость, приходили звуки, скорбные и гулкие, вырастали строфы, дышавшие неведомыми темными пространствами, и вновь, как в 1916 году, плавно и широко уходила вдаль мелодия бесконечных российских дорог...

Мигала коптилка, шла ночь — сырая, тяжелая, пахнущая кровавым донским ветром ночь гражданской войны, о чердачную крышу стучал дробный дождь, сердце сжималось от тоски и тяжелых предчувствий. Но стихи, помимо воли, из каких-то глубинных душевных родников шли странные, нездешние — словно давняя-давняя музыка из-под материнских легких рук.

Друг, разрешите мне на лад старинный
Сказать любовь, нежнейшую на свете...

Она писала стихи, составившие большой цикл «Комедьянт» — для своих новых друзей из вахтанговской студии, юных, красивых, романтичных. С их уст легко и празднично слетали слова, исполненные волшебства: «Принцесса Брамбилла», «Адриенна Лекуврер», «Фамира Кифаред», «Принцесса Турандот», «Сакунтала», «Чудо святого Антония», «Гадибук»...

Я вас люблю.— В камине воет ветер.
Облокотясь — уставясь в жар каминный —
Я вас люблю. Моя любовь невинна.
Я говорю, как маленькие дети.

Друг! Все пройдет! — Виски в ладонях
сжаты,—
Жизнь разожмет! — Младой военнопленный,
Любовь отпустит вас, но — вдохновенный —
Всем пророкочет голос мой крылатый —
О том, что жили на земле когда-то
Вы,— столь забывчивый, сколь незабвенный!

(*«Я помню ночь на склоне ноября...»*)

Жизнь — разожмет? Жизнь сжала ее душу, как железным обручем — до крови.

По утрам она шла на службу — читать газеты. Через много лет в стихотворении «Читатели газет» она с яростью выплеснула всю свою ненависть к этому занятию, осточертевшему ей потому, что было обязательным.

Служба оставалась единственным источником пропитания — осьмушка хлеба, иногда конина, жидкий суп...

Но Цветаева была Цветаевой: обостренная правдивость и вечное стремление к «фронде» заставляли ее даже на службе, от которой фактически зависело их с Алей существование, где буквально за стеною, в этом же здании, располагалась ЧК, постоянно напоминать, что она — жена белого офицера и что газетные сообщения с Дона она вычитывает с личным интересом.

И именно в этот-то момент, когда с контрреволюцией на Дону было уже практически покончено, она, думая лишь о Сергее и о нем скорбя, стала писать скорбно-траурные стихи, посвященные «белому стану».

На поэтических вечерах Марина появлялась перепоясанная офицерским ремнем и с офицерским же планшетом через плечо. Но и этого ей казалось мало: в красной Москве, гордясь собой, она читала стихи, посвященные белому движению. Стихи эти были исполнены несвойственного ей натужливого пафоса: ведь она ничего не знала о так называемой Добровольческой армии — кроме того, что там находился ее «рыцарственный» Эфрон. Как ни странно такое кажется ныне, эти читки проходили совершенно спокойно: в тогдашней литературной обстановке читалось всякое, очень часто — явно рассчитанное на скандал. Успехом пользовались стихи Цветаевой другого плана и звучания — романтические, «нездешние». Летом 1919 года она читала отрывок из написанной ею пьесы «Фортуна» — в присутствии Луначарского. «Меня встретили хорошо,— вспоминала Цветаева,— из всех — одну — рукоплескали (оценка не меня, а публики). „Фортуну" я выбрала из-за монолога в конце...»

Этот монолог, произносимый героем пьесы, дворянином Лозэном, был выбран ею не случайно, а тоже, как она рассчитывала, из «фронды»:

...И я, Лозэн, рукой, белей, чем снег,
Я подымал за чернь бокал заздравный!
И я, Лозэн, вещал, что полноправны
Под солнцем дворянин и дровосек!

Совершенно непонятно, однако, что именно должно было в этом монологе шокировать комиссара Луначарского. Наоборот, монолог, в котором так патетически провозглашалось равенство, ему понравился — как и вся публика, он встретил его аплодисментами. Цветаева не знала, что Луначарский и сам писал романтические пьесы, что в его эстетических взглядах романтизм занимал важнейшее место, что он поощрял молодое романтическое искусство. В монологе Лозэна о равенстве ему и в голову не могло прийти подозревать какую-либо фронду.

Но Цветаева вспоминала об этом так: «...Монолог дворянина в лицо комиссару — вот это жизнь!..»

Удивительное политическое невежество, какая-то романтизированная инфантильность, помноженные на наивную «фронду», заставляли ее относиться к важнейшим проблемам достаточно примитивно, по-бытовому, с какой-то чисто женской экзальтированной и расплывчатой эмоциональностью. Цветаева была совершенно убеждена в изначальной, природной — «от бога данной» — потребности искусства становиться на сторону революции. История поэзии многократно утверждала ее в этой мысли: искусство — само по себе — мятеж, оно по сути своей революционно. В работе «Пушкин и Пугачев» (а 1937 году) она подробно обосновывала эту точку зрения — о «страсти всякого поэта к мятежу» и об исконной любви поэта и поэзии к мятежнику, революционеру. Если нет такой страсти, перед нами, утверждала она, «не поэт». Только революционность способна превратить стихи в поэзию. Она считала искусство обязанным революции самим своим существованием и в годы гражданской войны.

И тем не менее рядом с книгой «Версты II» и с «Разлукой» возникал «Лебединый стан» — книга, контрреволюционная по своей сути.

Каким же образом все это уживалось в сознании Цветаевой?

Ее взгляд на «мятеж», на «революцию» (характерно, кстати, что эти слова для нее синонимичны) был крайне абстрактен и полностью лишен какого-либо классового наполнения. К словам «мятеж» и «революция» она прибавляла еще и слово «чара». Мятеж, в представлении Цветаевой, был явлением и понятием почти эстетическим — вот почему она не отделяла его от «чары» и говорила о неизбежной зачарованности поэта мятежом. Чара, по рассуждению Цветаевой, постоянное свойство мятежа, а очарованность — столь же постоянное свойство поэтической натуры. Поэт очаровывается прежде всего мятежом народным (Разин, Пугачев),— но в особенности (и по преимуществу!) он очаровывается мятежом и мятежником обреченными. В «Пушкине и Пугачеве» она развивала эту мысль так: если при революционном строе возникает мятеж, то страсть поэта к мятежу «оборачивается у поэта *контр*-революцией — естественно, раз сами мятежники оборачиваются — властью...»[1] От власти, когда к ней приходят революционеры, поэт отшатывается, он обращает свой взор на побежденных, пусть обреченных, но пытающихся поднять голову, то есть способных зажечь мятеж. Вся эта невероятная схоластика, возможно, построенная Цветаевой задним числом, чтобы оправдать появление «Лебединого стана», разумеется, не только художественно беспомощна, но исторически несправедлива. Поэтому «Лебединый стан» на ее поэтическом пути стал чудовищным провалом в фальшь. Открещивавшаяся от всякой политики, Цветаева написала стихи, исполненные совершенно определенного политического смысла, непримиримо противоречащие ее заветной мысли о революционной сути поэзии. Они отбросили на весь ее дальнейший путь — в глазах советского читателя — долгую и мрачную тень, способствовавшую ее забвению на много лет, а по существу — отлучению от отечественной поэзии (чему способствовала, конечно, и эмиграция — в глазах многих она как бы подтверждала позицию автора «Лебединого стана»).

Стихи «Лебединого стана» были ходульными и бесконечно далекими от реальности. Характерно, что их первым нелицеприятным критиком стал человек, ради которого они и были написаны,— Сергей Эфрон. В рядах белой армии он, как это нередко бывало в те годы (вспомним хотя бы героев романа А. Толстого «Хождение по мукам»), довольно скоро разочаровался в своих иллюзиях. Он увидел эту армию изнутри — ее преступления, разложение, ее крах. Марина ни о чем подобном не имела ни малейшего представления.

Ариадна Эфрон писала в своих воспоминаниях:

«Помню один разговор между родителями, вскоре после нашего с матерью приезда за границу; „... И все же это было совсем не так, Мариночка",— сказал отец, с великой мукой все в тех же огромных глазах, выслушав несколько стихотворений из „Лебединого стана".

„Что же было?" — „Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не мы, а — лучшие из нас. Остальные воевали только за то, чтобы отнять у народа и вернуть себе отданное ему большевиками — только и всего. Были битвы за веру, царя и отечество и, за них же, расстрелы, виселицы и грабежи".

„Но как же вы — вы, Сереженька..." — „А вот так: представьте себе вокзал военного времени — большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею — все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга... Втянули и тебя, третий звонок, поезд

[1] Марина Цветаева. Сочинения в двух томах, т. 2. М.: 1980, с. 381.

трогается — минутное облегчение — слава тебе, господи! — но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал — впрочем, вместе со многими и многими — не в тот поезд... что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет — рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком — по шпалам — всю жизнь...“»

После этого разговора, вспоминает Ариадна Эфрон, был написан Маринин «Рассвет на рельсах». «Вся дальнейшая жизнь моего отца,— подытоживала она свой рассказ об этом важном разговоре, поставившим окончательную точку над «Лебединым станом»,— и была обратным путем — по шпалам — в Россию, через препятствия, трудности, опасности и жертвы, которым не было числа, и вернулся он на Родину сыном ее, а не пасынком».

Сергей Эфрон, вынужденный бежать вместе с разбитыми частями белой армии, был морально раздавлен. Его всепоглощающей мечтой, подлинной страстью стало стремление вернуться на родину и искупить свою вину.

Но это — позже...

В гражданской войне Цветаева склонна была видеть лишь то, что война происходила между соотечественниками и, следовательно, по ее словам, являлась братоубийственной. Именно это обстоятельство перекрывало в ее глазах все, в том числе и очевидный классовый смысл происходивших событий. Прекрасная формула:

Два на миру у меня врага,
Два близнеца — неразрывно-слитых:
Голод голодных — в сытость сытых! —

эта формула, родившаяся как прозрение, как предвестие будущих произведений, долго ею самою как бы не принималась во внимание. Это был ключ, которым она почти не пользовалась, и потому дверь в реальную и широкую социальную действительность не отмыкалась перед нею.

Отвлеченность воззрений, принципиальная аполитичность были характерной чертой Цветаевой как раз в те годы, когда аполитичность с особой обостренностью оборачивалась именно политикой. Ее несомненный демократизм, принесенный из семьи, из разночинского, труженического уклада цветаевского дома, произраставший на узловатых крестьянских корнях цветаевского рода, принимал в те годы форму абстрактного гуманизма и либерального пацифизма.

И все же между Цветаевой и тем кругом интеллигенции, который был органично враждебен революции (например, Гиппиус, Мережковский), лежала четкая и никогда не переступавшаяся Мариной граница. Эта демаркационная линия осталась и позже — в годы пребывания за рубежом, что послужило причиной и ее травли эмигрантами, и ее одиночества.

Круг цветаевских друзей, образовавшийся в 1918—1920 годах, состоял из демократической и революционно настроенной молодежи — молодых поэтов и актеров из вахтанговской студии. Всем высоким настроем своей смятенной, сумбурной и одинокой души она была на стороне «голодных», а не «сытых», и всегда любила демонстративно подчеркнуть это важное для нее обстоятельство («...себя причисляю к рвани»,— сказано ею в одном из стихотворений тех лет). Не забудем — она была из тех, увы, немногочисленных тогда поэтов, кто восторженно — как свое, родное, близкое — принял поэму Блока «Двенадцать». Очень рано, то есть опять-таки в годы революции, оценила она по достоинству и трубный глас Маяковского: она высоко чтила в нем олицетворенную мощь революционной России, энергию, соответствовавшую, по ее словам, безмерной широте вскипевшего народного моря.

Превыше крестов и труб,
Крещенный в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ —
Здорово, в веках Владимир!..

(«Маяковскому»)

Маяковский,— писала Цветаева,— «первый в мире поэт масс». Его всемирная роль и значение настолько велики, что не только «нам», но «нашим внукам» придется «оборачиваться на Маяковского»,— причем оборачиваться «придется не назад, а вперед».

Отношение к Блоку и Маяковскому очень многое говорит о Цветаевой тех лет.

Однако жизнь ее поэтического сознания вершилась гораздо более сложно, противоречиво и драматично, чем можно было бы предположить, если исходить из ее четких и верных оценок Блока или Маяковского.

Блок и Маяковский были для нее двумя колоссальными вершинами, до которых она даже не мечтала дотянуться, но в глубине души именно на них она хотела бы равняться, чтобы стать между ними — третьей: пришедшее ощущение художнической силы тайно вселяло такую надежду. То было не тщеславие, а уже почти не подвластная, шедшая впереди обстоятельствам тяга к идеалу — устремленность души в высоту, в «лазорь». В «Двенадцати» Блока ее потрясла народность певца. Она чувствовала, что здесь было немало родственного ее собственной мечте — о самой же себе и о своем стихе. Разве не гулял в ее «Верстах» ветер, не ходили по стихам сполохи дальних гроз, разве не бредила она разбойничьей вольницей и удалой ватажкой, народными мятежами, Пугачевым, Разиным, Мариной-самозванкой?.. Недосягаемую близость чувствовала Цветаева и в Маяковском. Его эпос она ценила по-особому, то

есть втайне родственному себе счету. Поэмы «Война и мир» и «150 миллионов», каждая по-своему, подсказывали ей путь, которым, как ей казалось, и она могла бы пойти. В лирике она уже пробовала их темы, намечала вариации — широта набираемого дыхания влекла ее к эпосу, к народной песенно-языковой стихии, к открытому и сильному звуку. Изо дня в день, из ночи в ночь, в любую свободную минуту читала она сказки, былины, сравнивала фольклорные сюжеты, погружалась в мир восточно-славянской мифологии.

Путь Цветаевой в годы гражданской войны, при ее опоре на фольклор, на речь современной улицы, при ее жадном и восторженном внимании к творчеству Блока и Маяковского, мог бы быть стремительным. Однако на деле он оказался резко заторможен целым рядом угнетавших ее стих обстоятельств.

Одно из них, как мы знаем, было постоянным и для Цветаевой чуть ли не роковым: у нее не было ни читателя, ни слушателя, ни книг, ни аудитории. Правда, время от времени она выступала на поэтических вечерах, чрезвычайно распространенных в те годы и в Москве, и в Петрограде. Бумажный голод в стране сделал такие вечера насущной потребностью — недаром исследователи советской литературы назвали этот период «кафейным». На многолюдных вечерах, судя по всему, Цветаевой выступать не довелось. Она бывала лишь на достаточно камерных встречах в «доме Ростовых». Цветаева была одинока безмерно. По существу, и в житейском, и в творческом смысле она жила как в вакууме, только стихами и для стихов. И — надеждою на встречу с Эфроном, от которого по-прежнему не было ни вестей, ни слухов. Почти все стихи рождались у нее из этой больной и трагической темы: любовь, ее гибель или — воскрешение. Марина чувствовала, что ни о чем другом, кроме этой боли, она ни думать, ни писать не может. Ей казалось, что на ней как бы виднелся знак — своего рода проклятие: не наша! Но людные, голодные и холодные московские улицы были ей родны и дороги, как прежде, и вовсе не чужими казались ей новые люди. И — тут же возникал, как у античных героев (Тезей, Федра), «комплекс вины» — перед Москвой и перед Сергеем одновременно.

Шли не дни, не недели — годы.

Как власы мои златые
Стали серой золой,
Так года твои младые
Станут белой зимой...

(«Развела тебе в стакане...»)

Среди тогдашних стихов есть настоящие жемчужины. Выношенность чувства, горькая мудрость, отточенность прекрасной, чистой формы превращали их в явления высокого искусства.

Бренные губы и бренные руки
Слепо разрушили вечность мою.
С вечной Душою своею в разлуке —
Бренные губы и руки пою.

Рокот божественной вечности — глуше.
Только порою, в предутренний час —
С темного неба — таинственный глас:
— Женщина! — Вспомни бессмертную душу!

(«Бренные губы и бренные руки...»)

Ее духовно-поэтическое существо было расколото, разбито и властно разведено по разным полюсам: «бессмертная душа», жившая в поэзии, как бы отделилась от «смертной женщины». Эту дилемму она, как мы видели, с большой силой выразила в «Страшном Суде».

А между тем характер дарования Цветаевой не был склонен к подобной раздвоенности: она была от природы натурой исключительно цельной и по-своему твердой. Как художник она была достаточно чуткой к толчкам и движениям эпохи — большой мир был ей интересен. Однако в годы создания «Верст» он, как правило, возникал в ее стихах почти исключительно посредством поэтической интуиции, угадывания или романтического прозрения. «Стихи,— объясняла она природу своего дарования,— являют нам нечто скрытое, приглушенное, чего и сам поэт не знал...» Этот «закон», открытый ею на примере собственного творчества, она склонна была распространять широко — на природу поэтического искусства вообще. Характерно в этом смысле стихотворение «Стихи растут, как звезды и как розы...», где мысль о соприродности искусства то ли магии, то ли божественному прозрению выражена в форме философской медитации:

Стихи растут, как звезды и как розы,
Как красота — ненужная в семье.
А на венцы и на апофеозы —
Один ответ: — Откуда мне сие?

Мы спим — и вот, сквозь каменные плиты,
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцом — во сне — открыты
Закон звезды и формула цветка.[1]

Январь 1917 года был отмечен стихотворением, которым открылась книга «Версты II» — «Мировое началось во мгле кочевье...». То было стихотворение о грозной эпохе, сдвинувшей материки, повернувшей реки, о мировом кочевье, захватившем все — народы, деревья, звезды... Мотив всечеловеческого движения, сопровождаемого грозами небывалой

[1] Интересный комментарий к возникновению этого стихотворения см. в «Страницах воспоминаний» Ариадны Эфрон («Звезда», 1973, № 3, с. 166).

силы и ветрами неслыханной ярости, пройдет через всю поэзию Цветаевой революционных лет. Он был подсказан ей самой жизнью и многократно поддержан поэтической интуицией, на которую она полагалась как на главную силу поэтического творчества. Верное ощущение потрясенности и сдвинутости всего сущего навсегда с этих пор и очень болезненно пронзило и ее душу, и ее стих. Этому чувству предстояло углубляться и, наполняясь сумрачно-трагедийной силой, пронизывать стихи мотивами растерянности, печали, недоумения и острым предчувствием надвигающейся роковой разлуки. Хрупкое человеческое сердце, защищенное лишь любовью, противопоставлено Цветаевой могучей силе неотвратимого «мирового кочевья».

Здесь она находила слова замечательной афористической емкости — настоящие, по ее любимому выражению, «формулы» разлуки, верности и любви.

Как правая и левая рука —
Твоя душа моей душе близка.

Мы смежены, блаженно и тепло,
Как правое и левое крыло.

Но вихрь встает — и бездна пролегла
От правого — до левого крыла!

(«Как правая и левая рука...»)

В стихах Цветаевой периода «Верст» и «Разлуки» порою причудливо уживались «пиитический восторг» перед «великой бурей», вызвавшей «мировое кочевье», и растерянность перед нею. Есть, однако, стихи, где она с восторгом и упоением дышит наэлектризованным воздухом эпохи и где сама муза, обычно незримо касающаяся «струнной изгороди», становится похожей на Деву-Воина, вооруженную Мечом,— олицетворение Девственности и Доблести.

Доблесть и девственность! Сей союз
Древен и дивен, как смерть и слава.
Красною кровью своей клянусь
И головою своей кудрявой —

Ноши не будет у этих плеч,
Кроме божественной ноши — Мира!
Нежную руку кладу на меч:
На лебединую шею Лиры.

(«Доблесть и девственность...»)

От стихов такого смысла мог быть проложен путь, на котором мир и красота, поэзия и доблесть, мечта и земная правда нашли бы друг друга. В романтическом образе мира как божественной ноши поэта содержится большая потенциальная сила. То была дорога, хорошо знакомая блоковской музе; здесь была развилка, на которой Марина, обожествлявшая Блока и никогда не терявшая его из виду, встретилась с ним лицом к лицу. Но Блок ушел дальше — в революцию, в ее шум, в ее музыку, а Цветаева осталась наедине с собой. Трагедии личной судьбы — разлука, ежеминутное ожидание страшной вести, двойственность самого положения в новоустраивающемся мире,— все способствовало внутренней драматизации и экзальтации свойственного ей романтического мироощущения.

В те годы Цветаева приходит к убеждению, окончательно сформулированному ею несколько позднее, что все поэты мира, и в прошлом, и в настоящем, делятся на художников «без развития» («без истории») и на поэтов «с историей». В ее представлении, мир поэта «без истории» подобен кругу, очерченному границами его собственной души, из которой он берет все, в том числе и все представления о внешней действительности. Поскольку поэты без истории — это прежде всего лирики, то для них главная и всеисчерпывающая данность — собственное чувство, а «чувство не нуждается в опыте... Чувству нечего делать на периферии зримого, оно — в центре, оно само — центр. Чувству нечего искать на дорогах, оно знает — что придет и приведет — в себя». Что же касается поэтов «с историей» или же, по другому определению, «поэтов с темой», то они,— писала Цветаева,— «идут сквозь время, вбирая в себя все его этапы и повороты и меняясь вместе с ним... Их самооткрывание есть самопознание через мир, самопознание души через видимый мир. Их путь есть путь опыта. Когда они идут, мы физически ощущаем движение воздуха, ими рассекаемого...» Для Цветаевой оба типа равноценны, оба важны, но те и другие живут по своим законам,— одни под знаком круга, другие — под знаком стрелы. К поэтам круга Цветаева относила Пастернака, к поэтам стрелы — Маяковского. (К обоим, как мы знаем, отношение восторженное.) С этой же точки зрения она пыталась посмотреть и на историю всей поэзии; но это ей, естественно, не удалось — много оказалось исключений. На определенном этапе развития себя она ощутила поэтом «круга», а не «стрелы». И, изобретя «круг», охотно в него вошла. Круг этот, названный ею «сновидческим», «зачарованным», «магическим», был не чем иным, как лирическим романтизмом в его острейшей, то есть трагедийной форме. Большинство стихов Цветаевой, написанных в 1917—1920-е годы и вошедших в сборник «Версты II» и в «Разлуку»,— это лирика трагедийно-романтическая. Она написана поэтом, через душу которого, по выражению Гейне, прошла трещина, расколовшая мир.

Известная парадоксальность внутренней жизни Цветаевой состояла в том, что природная, «родовая» цветаевская жадность к внешнему миру, вплоть до стрем-

ления жить всеми его соблазнами, пройти по всем его дорогам и верстам, насытить глаз всеми красками,— ею же самою сознательно парализовалась.

Плоти — плоть, духу — дух,
Плоти — хлеб, духу — весть,
Плоти — червь, духу — вздох,
Семь венцов, семь небес.

Плачь же, плоть! — Завтра прах!
Дух, не плачь! — Славься, дух!
Нынче — раб, завтра — царь
Всем семи — небесам.

(«Плоти — плоть, духу — дух...»)

Реальный мир представлялся ей грозным и непредсказуемым, загражденным случайностями, которыми маскировал себя рок, и полным всяческих запретов. Мир и мечту она романтически и категорично противопоставила. Есть земля, со стопудовым притяжением ее быта, и есть — «седьмое небо»: Поэзия.

Высокó мое оконце!
Не достанешь перстеньком!
На стене чердачной солнце
От окна легло крестом.

Тонкий крест оконной рамы.
Мир.— На вечны времена.
И мерещится мне: в самом
Небе я погребена!

(«Высоко мое оконце...»)

Ей нужен был мир, где «все сбывается» — где торжествуют дух, любовь и верность, где все вести — благие. Такой мир существует — «под вéками»: в воображении, в мечте, в поэзии, очертившей себя крýгом. Ей казалось, что, погружаясь в стихи, она уходит в сон, на «седьмое небо», где ничто не соответствует и не должно соответствовать действительности, но где она — ее душа — наконец-то узнают друг друга.

...Там на земле мне подавали грош
И жернова навешали на шею.
— Возлюбленный! — Ужель не узнаешь?
Я ласточка твоя — Психея!

(«Психея»)

Поэзия самовластно похищала ее у земли. Само тело, которое надо питать хлебом, передвигать и одевать, чудодейственным образом как бы исчезло: оставались лишь дух и стих.

...Дух — мой сподвижник, и Дух —
мой вожатый!

(«Я счастлива жить образцово и просто...»)

Позднее она узнала, что так же думал и А. Белый, разделивший жизнь на «биографию в теле» и на «собственно биографию». Сходное ощущал и Б. Пастернак с его знаменитыми стихами: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?..» В Петрограде, таком же холодном и голодном, как и Москва, развертывал свои Алые Паруса Александр Грин — корабли его мечты, оттолкнувшись от обледенелой набережной Мойки, уплывали в далекие, как сон, и радужные, как греза, далекие страны, не существующие ни на одной карте мира. «Островитянкой с далеких островов» воображала себя подчас и Цветаева. Ее корабль, как и у А. Грина, назывался Мечтой, но мечтой еще более «сновиденной», чем мужественная и мужская фантазия автора «Бегущей по волнам».

И вот, весь холод тьмы беззвездной
Вдохнув — на самой мачте — с краю —
Над разверзающейся бездной
— Смеясь! — ресницы опускаю...

(«Пахнýло Англией и морем...»)

Что и говорить — порою ей было душно: бешеный темперамент и неукротимая, до затаенной праздничности, воля к жизни, заставляли ее скучать по настоящему ветру, и стремление выйти «за круг» становилось неодолимым. Странные «молитвы» срывались тогда с ее уст:

Дай разок вздохнуть
Свежим воздухом.
Размахнись мне в грудь
Светлым посохом!

(«Слезы, слезы — живая вода!..»)

«Плоть» и «дух», их извечная борьба — традиционная тема романтизма. В поэзии Цветаевой с этих пор становятся на долгие годы постоянными образы огня, ада, ран, ветра, образы демонов и ангелов, инструментованные в русских фольклорных тонах.

А все же с пути сбиваюсь
(Особо — весной!),
А все же по людям маюсь,
Как пес под луной...

(«Мой путь не лежит мимо дому — твоего...»)

Но романтический мир, чем больше он отдалялся от земли, тем больше таил в себе опасностей: ведь опора — в воздухе! Не из этого ли ощущения зыбкости возник у Цветаевой образ канатоходца, исполняющего смертельно опасный танец на легкой нитке каната, висящей в пустоте?

Долг плясуна — не дрогнуть вдоль каната,
Долг плясуна — забыть, что знал когда-то —
Иное вещество,
Чем воздух — под ногой своей крылатой!..

(«Да, вздохов обо мне — край непочатый!»)

Забыть «иное вещество» — землю, твердую опору, явь — она не могла, да и нельзя Цветаеву даже на миг представить «канатоходцем стиха»: слишком серьезны, трагичны и конкретно-жизненны были источники боли, из которых выходили ее нервно-пульсирующие строки. В цвета-

евской лирике не было ничего от предвзятого «романтизма позы». В ее разладе между поэзией и жизнью чувствовался драматизм совершенно реального, в том числе и житейского существования.

Всего этого было достаточно, чтобы болезненное ощущение разлада, двойственности, раскола, длившееся годами, сделалось резко трагичным и возобладало надо всеми иными переживаниями. Поэт, по справедливым словам Цветаевой,— это человек, «утысячеренный» в силе переживаний, в интенсивности и постоянном свечении всего эмоционального спектра. «Магический круг», который она очертила вокруг себя, лишь многократно усиливал ее духовное одиночество; в нем создавалось лирическое поле невероятного напряжения, которое Цветаева почти не размыкала.

Этот экзальтированный романтизм был своеобразным преломлением высокого и трагического романтизма революционных лет. Ошибка страстей, борьба долга и чувства, мотивы вины, апофеоз жертвенности — как часто возникали эти темы в тогдашней поэзии, прозе, драматургии! Как популярен был романтический театр! «Разбойники» Шиллера шли всюду — от столичных театров до дощатых подмостков в далеких провинциях. Никогда еще романтическое искусство не горело так ярко и высоко, не привлекало к себе столько сердец, как в те годы. И театральная публика, и читатель, посетители литературных кафе и Политехнического музея,— все жаждали искусства грозного и прямого, страстного и, в своей народности, площадного.

Театр и театральность привлекли Цветаеву, возможно, именно тем, что театральное действо по далекой природе своей поэтически иллюзорно, но в то же время автор через посредство героев-актеров встречается со сцены со зрителями, и встреча происходит накоротке: глаза в глаза. Сама она объясняла свое обращение к театру (зимой 1918—1919 года) прежде всего тем, что ей стало тесно в рамках лирики. «Я стала писать пьесы,— делала она запись в дневниковой тетради,— это пришло, как неизбежность, просто голос перерос стихи, слишком много воздуху в груди стало для флейты».

Внешним поводом для работы над пьесами послужило уже упоминавшееся знакомство с молодыми (вернее сказать, юными) актерами из вахтанговской труппы (так называемая Третья студия МХАТ).

Среди горестной, бедственной и одинокой жизни, которую вела Цветаева в те годы, эта дружба была подлинной радостью. Не только пьесы, но и множество стихов, написанных во время дружбы со студийцами и составивших своеобразный «театральный роман», искрятся светом; даже темные тени и драматические коллизии, развертывавшиеся в сценических сюжетах, исполнены лукавства и изящества. То был прежде всего театр романтический: чувства укрупнены, интрига вплетена в приключение, герои благородны, ветер романтики трогает их плащи, они изъясняются находчиво, остроумно и, конечно же, стихами. Над этими пьесами, разными по своим персонажам и событиям, но в общем однотипными, как бы склоннется романтическая тень Сирано де Бержерака, мужественного, благородного и ироничного — любимца Цветаевой.

Интерес к театру, вернее, соприкосновения с ним были у Цветаевой и прежде, но чисто зрительские, неглубокие и кратковременные. В ранней юности она неожиданно «сорвалась» в Париж, чтобы увидеть Сару Бернар, игравшую ростановского «Орленка». Сару Бернар Цветаева никогда не забывала: то был замечательный пример и урок воспламененного романтизма духа, который она приняла в свою душу на всю жизнь.

Интерес к театру вновь оживился, когда Марина познакомилась с Эфроном: и Сергей, и его сестры были учениками театральных школ, а один из братьев, Петр Эфрон, профессиональным актером. Цветаева не участвовала в спектаклях, которые устраивались в студии-спутнике Камерного театра — «Эксцентрионе», но не могла не оценить талантливую игру Эфронов, в том числе и Сергея, занятого в «Сирано де Бержераке». Некоторые из актеров стали ее друзьями — Антокольский, Завадский, Софья Голлидэй, замечательный арлекин из «Покрывала Пьеретты» А. Подгаецкий-Чабров, Никольский, Серов, Алексеев... Театр в годы гражданской войны явился для Цветаевой, по оценке А. Эфрон, целой эпохой — «эпохой Романтики». Ее дочь справедливо пишет в своих воспоминаниях, что «из тех русл, по которым пробивалось тогда Маринино творчество, „студийное“ русло было самым праздничным, ибо — комедийным; то была последняя праздничность, нарядность, и первая и последняя комедийность ее лирики...»

Интересно, что этой студии в ее жизни могло и не быть, если бы до этого не было того «октябрьского вагона», когда Цветаева познакомилась с Пугачевым и Матросом. В вагонном стуке колес, уже к ночи, она услышала вдруг откуда-то с верхней полки мужской голос, читавший стихи, которых она, все стихи знавшая, не знала.

Впоследствии Цветаева рассказала: «Был октябрь 1917 года... Самый последний его день, то есть первый по окончании (заставы еще догромыхивали). Я ехала в темном вагоне из Москвы в Крым. Над головой, на верхней полке, молодой мужской голос говорил стихи. Вот они:

И вот она, о ком мечтали деды
И шумно спорили за коньяком,
В плаще Жиронды, сквозь снега и беды,
К нам ворвалась с опущенным штыком!

И призраки гвардейцев-декабристов
Над снеговой, над пушкинской Невой
Ведут полки под переклик горнистов,
Под зычный вой музыки боевой...

— Да что же это, да чье же это такое, наконец?..»

То были стихи Павла Антокольского, их читал его товарищ.

Стихи были родственны ее собственным — по романтичности образов, по патетичности интонации; в них была, кроме живой страсти, и книжность, вернее, страсть была как бы покрыта легким налетом книжности, такое часто бывает в юности, недавно было и с нею. Впрочем, события Великой Французской революции, о которых читал голос с верхней полки, по мнению Марины, требовали романтической приподнятости и литературной экзальтации.

Она разыскала Антокольского вскоре же после приезда в Москву, он и познакомил ее со студийцами. В студии она обрела новый дружественный мир — живой, но как бы и несколько условный, так как дух театральности пронизывал его насквозь. Ей нравились в этом мире удивительное соединение высоких идеалов с нищетою, реальности с бутафорией, переменчивость лиц, которые из юности, благодаря игре и гриму, могли мгновенно переходить в старость, в детство, в отрочество, снова в юность. Все было сродни ее поэзии — разве не соединялись в ее собственных стихах идеальность и нищета, высота духа с бытовой прозой? Разве в ее строфах, рождавшихся в темном закутке чердака, не играли переменчивые блики давно исчезнувших жизней — Манон Леско, кавалера де Гриэ, Калиостро?.. Разве в ее лирике, еще задолго до знакомства со студийцами, не возникал своеобразный «театр», когда, не в силах совладать с богатством воображения, она «разводила» свой голос по разным инструментам, игравшим не только предназначенные им мотивы, но и вполне «персонажные» роли? Актеры, распределение ролей, читка пьес, атмосфера постоянной влюбленности и праздничности, какой-то карнавальности, разлитой в воздухе,— для Цветаевой сама Студия стала таким зачарованным кругом.

Студийцы хотели играть для народа, для широкой и простой публики — им самим был в высшей степени свойствен революционный энтузиазм. Приподнятость и праздничность мироощущения шли оттуда — с улицы. Молодость рождавшейся страны совпадала с их собственной молодостью.

Цветаева буквально заразилась этой атмосферой, восприняв, правда, лишь одну сторону жизни своих новых друзей — их романтичность.

Она пишет стихи искрометные, живые и изящные, в которых много от романтического театра, от его условности, от его декораций, реквизита и книжных реминисценций.

Пять или шесть утра. Сизый туман. Рассвет.
Пили всю ночь, всю ночь.
Вплоть до седьмого часа.
А на мосту, как черт, черный взметнулся плащ.
— Женщина или черт? — Доминиканца ряса?
Оперный плащ певца? —
Вдовий смиренный плат?
Резвой интриги щит? —
Или заклад последний?
— Хочется целовать.— Воет завод.— Бредет
Дряхлая знать — в кровать,
глупая голь — к обедне.
(«Плащ»)

Она создает цикл стихов под характерным названием «Плащ». В нем возникают «ночные ласточки Интриги», похождения знаменитых кавалеров и искателей приключений французского XVIII века, звучат имена Казановы, Лозэна, Калиостро, королевы Антуанетты, Лафайета и даже Руссо...

Ночные ласточки Интриги —
Плащи! — Крылатые герои
Великосветских авантюр.
Плащ, щеголяющий дырою,
Плащ игрока и прощелыги,
Плащ — Проходимец, плащ — Амур...
(«Плащ»)

Мир актеров воссоздается в цикле «Комедьянт»: в нем меньше веселья, появляется легкая горечь, первый привкус усталости, предчувствие разочарования, нотка иронии...

Любовь ли это — или любованье,
Пера причуда — иль первопричина,
Томленье ли по ангельскому чину —
Иль чуточку притворства — по призванью...
(«Комедьянт»)

Лиричен и психологически проникновенен, стилизован под игру, точен по легкому рисунку цикл «Стихи к Сонечке», посвященный актрисе Софье Голлидэй. Роль и живая личность сливаются в образе маленькой Сигареры: девушки из Севильи, комедьянтки из Москвы...

Так же «театрален» и цикл «Любви старинные туманы», исполненный нежности и горечи: в нем «маска» как бы немного сдвинута с актерской души и видна живая боль, печаль, любовь — старинная — и потому: вечная, сегодняшняя.

Ревнивый ветер треплет шаль.
Мне этот час суждён — от века.
Я чувствую у рта и в вéках
Почти звериную печаль.

Такая слабость вдоль колен!
— Так вот она, стрела господня!
— Какое зарево! — сегодня
Я буду бешеной Карменн...

(«Любви старинные туманы...»)

Но стихи — стихами: ими она как бы вживалась в театральную стихию, пробовала «дать персонаж», создать «стиховые роли», характерную маску, отчасти выработать диалог, наметить сюжет, научиться сценической «повествовательности», не теряя при этом ни лиризма, ни романтичности интонации.

Затем — и одновременно — она написала несколько пьес специально для студийцев, с учетом их вкусов, внешних данных и помещения: «Метель», «Фортуна», «Каменный ангел», «Червонный валет», «Феникс» и «Приключение». Впоследствии Цветаева объединила их общим названием «Романтика». В стремлении максимально приспособить свои пьесы к нуждам студийцев она пошла даже на жертву — внесла в «Каменного ангела» и в «Червонный валет» некоторые черты символизма, ей самой совершенно чуждые, но студийцам заметно близкие.

А. Эфрон так вспоминает о несостоявшейся судьбе цветаевских пьес:

«Все эти вещи, очень сценичные, с блистательными диалогами, имели, при чтении их Мариной студийцам, большой, многоголосый, что называется — шумный успех; однако ни одна из них не была ими поставлена. Может быть, потому, что воссоздавать на подмостках самих себя, свой образ, даже облик, свой характер актерам несподручно. Может быть, они просто прошли мимо, не сумев понять, что это им, для них и насколько ей важно, чтобы ее дар, ее вклад был ими принят. Она ведь им об этом ни слова не сказала, как всегда потопив в собственной гордости и робости надежду, заранее предвестив себе ее несбыточность.

Так или иначе, ее голос не слился с голосами студийцев, ее слово не прозвучало из их уст. Жаль. Это глубокое человеческое и творческое разочарование Марины ее рукой вывело — эпиграфом к изданному в 1922 году последнему действию „Феникса“ — слова Гейне: „Театр неблагоприятен для поэта, и поэт неблагоприятен для Театра“».

Сейчас уже трудно сказать, что помешало этим пьесам быть сыгранными: легко написанные, с живыми, подвижными и выразительными диалогами, остроумными репликами, достаточно четкими характерами, прекрасными стихами, они действительно могли быть поставлены, особенно «Приключение», наиболее динамичная, «полнометражная» и целеустремленная по сценическому сюжету. Легко представить также, что и «Метель», короткая и выразительная, лирически туманная и нежная, могла быть сыграна с той грациозностью и молодой непринужденностью, на которую, по-видимому, и рассчитывала Цветаева, знавшая характер своих друзей-студийцев. Теперь, конечно, невозможно судить, насколько роли были подогнаны под определенных героев, но история театра свидетельствует, что когда роли писались драматургами для конкретных актеров, это лишь помогало их дарованию наиболее полно, удачно и выигрышно раскрыть себя. Примеров так много, что они легко опровергают соображение А. Эфрон. Может быть, просто, как говорится, «имела место» случайность! Или — наоборот — закономерность, судьба: не выходили книги, не вышли на подмостки театра и пьесы. Цветаева как автор всегда была неудачницей: ни читателей, ни публики почти всю жизнь. Все пришло лишь посмертно...

У А. Эфрон есть попутное замечание, которое отчасти проливает свет на природу цветаевской драматургии, а заодно помогает понять причину ее сценической невоплощенности.

«Что привлекло Марину к Студии, помимо самих студийцев, то есть помимо всегда для нее основного: обаяния человеческих отношений? То, что в театральном искусстве, наряду с далеким ее природе „зрелищным“ началом, наличествовало *слово*, ее стихия. Только для Марины театр кончался пьесой, текстом, то есть тем, с чего он фактически для актера начинался. Воплощение образов воображаемых в образы изображаемые было уже всецело их заботой, не ее.

Впервые в жизни возникло у нее желание слить свой поиск с их поиском, преодолеть барьер между своим — бесплотным — искусством и их искусством „во плоти“, принять участие в чуде рождения спектакля, увидеть свой труд, рассекретив его, сделав тайное — явным».

Скорее всего, именно этот-то «барьер» между искусством слова и зрелищем, «духом» и «плотью» и не был преодолен — сначала Цветаевой, а потом — как следствие — студийцами. Здесь надо, конечно, учитывать, что слово само по себе не может быть препятствием для сценического воплощения его в образ, ведь в конце концов все пьесы написаны словами. Дело именно в цветаевской словесной природе. Как уже говорилось, слово у нее выходит из стихии музыки, оно по сути своей не зрелище. Поэтому ее пьесы трудно играть в театральном смысле этого слова, то есть на сцене, когда, как например в «Метели», перед нами возникает харчевня, а в ней пылает камин, стоит дубовый стол, возле него беседуют торговец и охотник, а поодаль в огромном кресле сидит старуха, у окна же, в распахнутом зеленом плаще глядит в окно — в метель — некая юная Дама. Все это можно вещественно, сценически изобразить, поставив на сцене дубовый стол, позаботившись, чтобы костюмы героев соответствовали Германии 30-х годов прошлого века. И все же, даже если мы воспроизведем весь антураж, создадим «настроение», удастся ли передать главное, ради чего все и написано — то есть музыкально-символический смысл того, что Дама глядит в метель, что самое важное — Дама и Метель, что из нее, из Метели, должно возникнуть что-то (кто-то), от чего зависит самая жизнь Дамы? Все реплики, которыми обмениваются герои, звучат на фоне метели. Можем ли мы, зрители сцены, где стоит крепкий дубовый стол и пылает огонь в камине, почувствовать, что Метель кружится всюду, что она уже устлала снегом весь стол, погребла и охотника, и трактирщика, что она подбирается к огню, кружит, метет, злобствует и ворожит не за стенами харчевни, а в душе очарованной Прекрасной Дамы, которая так воздушна и так ирреальна, что сама сродни Метели? И можем ли мы почувствовать смысл зеленого цвета — цвета ее плаща?

Возможно, студийцы уже на читке интуитивно догадались, что цветаевские пьесы — вещи не их природы: «Метель» должна была бы быть сыграна не актерами, а музыкантами, и сыграна как непрограммная музыка.

«Метель» — это мелодия любви, затерявшейся в круговерти стихий, страстная мольба о встрече, страх вечной разлуки, песня самопожертвования и верности. Все, что Марина писала в стихах тех лет, она перенесла и в пьесы. Дама в зеленом плаще — ее собственная душа, живущая надеждой в глухом и седом мире, продутом вселенской вьюгой. Всадник, появившийся из Метели, это, конечно же, Он — тот, кого год за годом ждала она в своем чердачном дворце — под морозными звездами, глядя на метель, укутавшую московские улицы: не слышно ли бубенцов, скрипа полозьев, стука в дверь?

Первая я — раньше всех! —
Ваш услыхала бубенчик.

«Метель» — страстная мольба о любви, о встрече — пусть последней, смертной, в звездах, вьюге, в забвении, во сне...

Крылья слетались на пир,
И расставались в лазури
Двое низринутых в мир
Тою же бешеной бурей.

И потому — раньше всех —
Мой бубенец издалече...
Это не сон и не грех,
Это — последняя встреча.

«Метель» была, судя по отдельным замечаниям Цветаевой и по особой близости этой пьесы к наиболее больным темам ее лирики, самым любимым драматическим произведением поэта. Она долго не показывала ее студийцам — скорее всего, из чувства боязни предельно саморасскрыться, обнажить душу, рассекретить самое тайное, заветное, живущее лишь в чердачной тетради; из боязни не сглазить встречу, не помешать сбыться снустиху. Лишь через год принесла она «Метель» в III Студию МХАТ. «Чтение... вещи перед лицом всей Третьей Студии... и, главное, перед лицом Вахтангова, их всех — бога и отца-командира.

...Читала, могу сказать, в алом тумане, не видя тетради, не видя строк, наизусть, на авось читала, единым духом — как пьют! — но и как поэт! — самым певучим, за сердце берущим из своих голосов...

Когда я кончила, все сразу заговорили. Так же полно заговорили, как я — замолчала:

— Великолепно!
— Необычайно!
— Гениально!
— Театрально! —
и т. д. ...»

Выделим из этой замечательной сценки характерные для Цветаевой слова о чтении-пении, о певучем голосе, о «самом певучем, за сердце берущим» из голосов, которым она исполнила свое чтение.[1] Она ведь сразу подчеркнула музыкально-звуковую природу своей пьесы!

Дальше она вспоминает:

«— Юра будет играть Господина.
— А Лиля Ш.— Старуху.
— А Юра С.— Купца.
— А музыку — те самые безвозвратные колокольчики — напишет Юра Н. Вот только — кто будет играть Даму в плаще?

И самые бесцеремонные оценки, тут же, в глаза:

— Ты — не можешь: у тебя бюст велик. (Вариант: ноги коротки.)

Я, молча: „Дама в плаще — моя душа, ее никто не может играть...“» («Повесть о Сонечке».)

Весь этот эпизод показывает полней-

---

[1] А. Белый, познакомившись — впервые — со стихами Цветаевой, собранными в книге «Разлука», написал рецензию, которую назвал так:

Поэтесса-певица.
«Разлука», стихотворения
Марины Цветаевой.

В рецензии он писал, что стихи Цветаевой хочется не читать, «а пропеть как бы голосом поэтессы», пропеть «то именно, что почти в нотных знаках дала она нам», что у все строчки и строфы «держатся только мелодией целого», что ее стихи «не прочитываемы без распева...» («Вопросы литературы», 1982, № 4, с. 276, публикация А. Саакянц).

шую отчужденность Цветаевой от сцены. Сцена, в ее представлении — это грубое, насильственное, нестерпимое для глаза и слуха овеществление лирики и души. Разве у души есть руки, ноги (короткие или длинные), бюст,— все эти подробности, в ее глазах, чудовищно нелепы. Она пишет, что все лица — это лица студийцев, дорогих и милых ей людей! — стали вдруг чужими, «то есть ненужными».

Иноприродную, чем сцена, суть «Метели» поняла одна лишь Софья Голлидэй — будущая героиня «Повести о Сонечке». Цветаева описала восприятие «Метели» Сонечкой и ее устами как бы дала свою трактовку этой непоставленной пьесы.

«— Разве это бывает,— говорила Сонечка.— Такие харчевни... метели... любови... Такие Господины в плаще, которые нарочно приезжают, чтобы уехать навсегда? Я всегда знала, что это — было, теперь я знаю, что это — есть. Потому что это — правда — было: Вы действительно так стояли. Потому что это Вы стояли. А Старуха сидела. И все знала. А Метель шумела. А Метель приметала его к порогу. А потом — отметала... заметала... след... А что было, когда она завтра встала? Нет, она завтра не встала... Ее завтра нашли в поле... О, почему он не взял ее с собой в сани? Не взял ее с собой в шубу?

Бормочет, как сонная. С раскрытыми —дальше нельзя! — глазами — спит, спит наяву. Точно мы с ней одни, точно никого нет, точно и меня — нет. И когда я чем-то отпущенная, наконец, оглянулась — действительно на сцене никого не было: все почувствовали или, воспользовавшись, бесшумно, беззвучно — вышли. Сцена была — наша...»

Стоит прочитать эти строки, чтобы понять, почему именно о Голлидэй, а не о ком-нибудь другом из вахтанговской группы написала она свою повесть. То была благодарность сердца за редкостнейшее понимание, за совершенно исключительную отзывчивость актрисы на музыку, образность, ритмику и, конечно, на смысл ее пьесы. Так цветаевскую драматургию и, наверно, ее душу не понимал еще никто — потому-то все и ушли: бесшумно и беззвучно, и на сцене — наконец-то пустой! — никого не осталось, кроме главных действующих лиц — Марининой души и ее собеседницы, то есть ее же двойника. Монолог Сонечки Голлидэй, бессвязный, но точный по всем своим акцентам, творчески воссоздан (а может быть, и пересоздан) Цветаевой через много лет после читки пьесы; он интересен не только для понимания характера героини повести, но и как авторский комментарий к пьесе, которую, по убеждению Цветаевой, никто, кроме Голлидэй, никогда не понимал. И как характерна реакция Цветаевой при распределении ролей: чувствуется, что сама она никому никакой роли бы не дала, потому что в каждой роли есть еще и она сама, ушедшая под маску, особенно в Даме и в Старухе, олицетворяющей в этой пьесе не только бывшую красавицу из ушедшего XVIII века (подобно пушкинской Пиковой Даме), но и Сивиллу, прорицательницу Судьбы — любимейший символ-образ всего ее творчества. Она никому не дала никакой бы роли, потому что «Метель» не пьеса в обычном смысле этого слова, а романтическое воплощение души автора средствами поэзии, пронизанной музыкальным началом, совершенно не поддающимся исполнению с помощью одетого в соответствующий костюм и расхаживающего по сцене актера. Цветаева была при распределении ролей неприятно шокирована упоминанием ног, рук, бюста — все это было, по ее мнению, не только «бесцеремонно», но и — ненужно: не нужно ни рук, ни ног, ничего, кроме звучащего лоскутка зеленого цвета, пляски метели за окном, глухого бормотания Сивиллы и замершей в ожидании встречи Души. Цветаева понимала еще до читки, что сыграть это средствами обычного театра, даже такого талантливого, как Третья Студия, невозможно.

Ее пьесы не столько драматургия, сколько музыка, лирика или поэма. Она прибегла к драматургии, чтобы дать возможность жившим в ее душе стихам свободно разойтись в пространстве — ей, как лирику, было тесно, в маленьком объеме стихотворения она стала задыхаться. Как когда-то в «Верстах I», Цветаева попробовала «разойтись по персонажам», создав стихи-маски, стихи-роли (цыганки, Кармен), так и сейчас она снова почувствовала потребность в просторе, в воздухе, в широком живительном аетре.

Дай разок вздохнуть
Свежим воздухом.
Размахнись мне в грудь
Светлым посохом!

То была — в конечном счете — потребность в большой форме. Ей показалось, что она сможет удовлетворить ее в драматургии. Но, написав шесть пьес, вынуждена была признать (вслед за Гейне), что Театр для нее, Поэта, «неблагоприятен».

И тогда Цветаева обратилась к поэмам.

Седьмая  тетрадь

Вячеслав КОРОБКИН

ИНДУСТРИЯ ОТДЫХА И БУМАЖНАЯ АРХИТЕКТУРА

У этой истории множество «виновников», но все же главный из них и первый — герцог Ижорский Александр Данилович Меншиков. Именно он в начале XVIII века распорядился запрудить реку Ижору в районе нынешнего Колпина и устроить лесопильную мельницу. Прошли годы — опальный герцог умер в Березове. Минули века — на месте лесопильни вырос гигантский Ижорский завод, а полноводная Ижора превратилась в небольшую речку. Однако Меншиковский пруд остался, и в него острым корабельным форштевнем врезается живописнейший зеленый мыс, контурами напоминающий василеостровскую Стрелку. Мыс с прилегающей территорией образует парк площадью двадцать два гектара — «Пионерский».

Другой «виновник» (без вины) — ленинградский архитектор Юрий Орестович Цехновицер. Именно он дал согласие в 70-х годах выполнить заказ Главного управления культуры Ленгорисполкома — разработать на базе этого парка проект культурно-досугового центра нового типа. Уже более десяти лет прошло с тех пор, как архитектор сделал оригинальный проект, получивший одобрительную оценку заказчика и комплексного совета Худфонда РСФСР, по-прежнему остающийся на желтеющей год от года бумаге.

Третий виновник (пассивный) — всемирно известный петербургский зодчий Растрелли. Ведь именно он проектировал городские и пригородные парки таким образом, что с самого основания своего они становились законченными произведениями садово-паркового искусства, не терпящими каких-либо дополнений (даже в образе аттракционов).

Есть и четвертый «виновник» — давно устаревший заводишко «Аттракцион» в городе Ейске. Фантазии его руководителей и технологии производства вот уже много лет не идут дальше поднадоевших всем качелей и каруселей. А ведь от него в немалой степени зависит культурный досуг жителей других городов, а том числе и Ленинграда.

Всех «виновников» не перечесть. В этом ряду невозможно не упомянуть и социологов, подсчитавших, что при средней продолжительности жизни в семьдесят лет мы, за вычетом времени на труд и сон, имеем двадцать семь лет для проведения досуга.

На первый взгляд, досуг — личное дело каждого. Свободное время всякий тратит на то, что его душе угодно: шьет, вяжет, коллекционирует, занимается спортом, ходит в музеи, театры, кино, на танцы, дискотеки... Иные гоняют по ночным улицам на мотоциклах без номеров и без глушителей, украшают себя велосипедными цепями или ошейниками, красят волосы в немыслимые цвета. Есть и такая разновидность досуга, как выпивки по поводу или без...

Вывод напрашивается сам собой: наш досуг — дело государственное, поскольку государство — это мы. Но решать-то государственные проблемы следует не где-нибудь в отвлеченном «центре», а «на местах», где вам, правда, бодро перечислят огромное количество «культурно-развлекательных учреждений и мероприятий», зададут цифрами и процентами, завалят тоннами бумаги с проектами парков, аттракционов, игровых автоматов, спортивных площадок, дворцов культуры...

Цифры цифрами, но все же вряд ли можно согласиться с тем, что в такой развитой индустриальной державе, как наша, наряду с прочими отраслями существует подлинная индустрия отдыха. Допустим, средняя семья из пяти человек хочет провести свой выходной вне дома. Мама предлагает сходить в оперу, папа — поиграть в волейбол, дочка — покататься в зоопарке на пони, сын — посмотреть

кинофильмы, а дедушка — сходить в музей. Наконец, принимается компромиссное решение: провести весь день в парке культуры и отдыха. И что же? Хотели позагорать — набежали тучи. Подошло время перекусить — в кафе длиннющая очередь. Вадумали покататься на лодке — снова очередь. Припекло солнце — попробуйте где-нибудь выпить стаканчик газировки. Подошли к городку аттракционов — очередь. Да и не всем по душе аттракционы, по свидетельству дедушки, практически не изменившиеся с тридцатых годов. Дети побегали, попрыгали и вместе с уставшими от ничегонеделания родителями и дедом вернулись домой...

Такая картина — можно сказать, стандарт. О какой тут индустрии отдыха может идти речь? Проблема нашего выходного дня откровенно пущена на самотек.

То и дело мы слышим: «Ленинградцы по праву гордятся своими музеями, памятниками, дворцово-парковым ожерельем». А чем конкретно? Эрмитажем? Исаакием? Русским музеем? Петродворцом? Летним садом? Да, мы гордимся ими. Но по праву ли? Ведь все это — наше культурное наследие, но не нами оставленное наследство! Эти старинные заповедные ансамбли предназначены лишь для созерцания и любования. У парижан тоже есть Лувр, Версаль, Нотр-Дам, Буа-де-Булонь. Но ведь создали же они еще и Культурный центр имени Помпиду, и «Жеоду». Не для того, чтобы удивить мир, а для собственного удовольствия.

Одна москвичка на вопрос о том, как ей понравился Ленинград, ответила: «А я не видела Ленинграда! Только Петербург. Переодеть ваших дам в платья с фижмами и кринолином вместо джинсов и миниюбок — чистой воды Петербург. Все ваши дворцы и пригороды — памятники XVIII и XIX веков. Посмотреть есть что, а отдохнуть негде. Особенно детям». И я понял, что она права.

XX век — век индустриального взлета и культурной революции — кончается. Какой памятник мы оставим ему после себя?

К «Пионерскому» парку города Колпина мы подходим вместе с архитектором Цехновицером. С ловкостью акробатов преодолеваем полуразрушенный мост. Утопая в грязи пешеходных дорожек, проходим сквозь строй полинялых планшетов с «наглядной агитацией». С риском поранить ноги об острые осколки винных бутылок подходим к неработающим (да и вряд ли кому-то нужным) заскорузлым аттракционам — их, к слову сказать, раз-два и обчелся.

— Вот на этом месте,— говорит Юрий Орестович,— на самой Стрелке я запланировал сказочную крепость. Не просто архитектурную доминанту — первый и главный аттракцион...

Его нетерпеливую речь прервала ослепительная вспышка раздавшегося поблизости взрыва, и мы увидели разбегавшихся врассыпную мальчишек лет десяти — четырнадцати.

— А ведь не только для них, но и для их родителей задуман культурный центр, его можно было бы условно назвать «Машиной времени»,— сказал старый архитектор.— На оригинальных средствах передвижения они могли бы перенестись не только, скажем, в IX век, но и заглянуть в отдаленное будущее. Да что перечислять! — махнул он рукой.— Вы же видели проект...

Да, я видел его в мастерской архитектора. Видели и представители разных городских властей и инстанций. Всем нравится. Но и только! А между тем, нет ничего неосуществимого для его воплощения в жизнь. Тем более, что парк задуман не как очередной центр пассивного отдыха, а как игровой (подчеркиваю — игровой) комплекс нового типа. Давно уже доказано, что именно в динамике игрового процесса легче всего усваивается все новое. А ведь дети (и не только они) готовы играть до изнеможения. Комплекс аттракционов архитектора Цехновицера как раз и предусматривает приобщение детей и их родителей к физическим и интеллектуальным играм. В том числе компьютерным. О важности таких игр едва ли стоит говорить.

И все же этому проекту, не грех сказать — уникальному для нашей страны, упорно не дают хода. В чем причина? В том, что у большого города весь бюджет расходуется на ремонт дорог, зданий, содержание садов, парков, скверов? Или в том, что выгоднее приглашать из-за границы экзотические луна-парки? Кстати, за сезон выручка одного луна-парка составляет больше полутора миллионов рублей, и половина этих денег уплывает за рубеж! Может быть, колпинский парк расположен чересчур далеко от невских берегов? Но ведь гигантский парк аттракционов для детей «Евродиснейленд» строится в двадцати километрах от Парижа! И это никому не кажется убыточным. А в другом пригороде французской столицы уже построен крупнейший в Европе «Мираполис». Эта страна чудес выросла за пять лет и обошлась в пятьсот миллионов франков (приблизительно пятьдесят миллионов рублей). Разместившийся на пятидесяти пяти гектарах парк оснащен по последнему слову техники. Ежегодно он принимает свыше двух миллионов посетителей. Каждого, кто приедет в «Мираполис», ожидает увлекательное путешествие в волшебную страну, полную сюрпризов: с поразительной достоверностью воссозданы горные речки, кряжи, на миниатюрном поезде можно объехать королевство аттракционов, состоящее из нескольких «графств», встретиться с любимыми персонажами сказок и легенд, с литературными героями.

Разве без зависти к американским детям и их родителям мы изредка слышим скупые сообщения о «Диснейленде»? Мало того, что он доставляет массу удовольствия посетителям —он приносит владельцам баснословные доходы. Не случайно, наверное, «диснейленды», поставленные на поток, пересекли Тихий и Атлантический океаны и успешно функционируют в Японии и в Европе.

— Идея нового парка,— рассказывает Цехновицер,— не сказка, а песнь беспредельности наших технических способностей. Вообразим на несколько минут, что он уже построен...

Начало парка — крепость на Стрелке. Ее проект готов в рабочих чертежах, и начать строительство можно хоть завтра утром. Вокруг крепости — аттракционы-экспозиции образа жизни и способов производства наших предков с древнейших времен до начала XVIII века: там — охота на мамонта, здесь — крестьянская изба с русской печью, выпекающая пышные, вкусные хлебы, действующая кузница, ветряная мельница... Экскурсанты смогут принять участие в штурме крепости — соревноваться в метании мячей на меткости и дальности, состязаться в стрельбе из луков и арбалетов, в метании копий.

Второй раздел посвящен промышленной революции в России с конца XVIII по начало XX века. В нем среди действующих экспонатов — паровоз братьев Черепановых, модель блюдообразного дредноута, подводная лодка конца прошлого века, дирижабль с гондолой, поднимающий экскурсантов на небольшую высоту, первый в мире самолет Можайского, красочный воздушный шар, автомобиль «Руссо-Балт», конка с империалом...

Маленькое, но увлекательное приключение для посетителей парка, дающее возможность не просто прикоснуться руками к старине, пусть и поддельной, а и поучаствовать в игре, приобщиться к техническому творчеству, влюбиться в ремесло.

Третий сектор посвящен технологии будущего. Его ядро — оригинальной конструкции павильон в виде космического корабля инопланетян. Внутри — голографический кинотеатр, голографические интерьеры на темы освоения космического пространства, роботы, с которыми можно побеседовать. В соседнем павильоне (в форме шара) будут установлены игровые компьютеры. Причем, игра с ними будет, так сказать, «на интерес»: справился с двумя-тремя логическими задачами — получай бесплатный билет на любой аттракцион. При помощи персональных ЭВМ дети и взрослые освоят азы принципов световой архитектуры и скульптуры, смогут самостоятельно создавать иллюзорные пространства. Зимой, вероятно, особым успехом будет пользоваться теплый дом с невидимыми стенами...

А теперь окинем взглядом всю панораму парка. Между насыпанными высокими холмами-вазонами с мини-ландшафтами и растительностью различных климатических зон нашей страны пролягут рельсовые и шоссейные дороги, по ним экскурсанты отправятся в путешествие. Две высокие башни соединятся канатной дорогой (серийная продукция тбилисского завода) с прицепными люльками в виде различных летательных аппаратов тяжелее воздуха вплоть до моделей межзвездных кораблей...

Это — основа парка. А потом можно будет подумать и об освоении прилегающей акватории: устроить, к примеру, грандиозный аттракцион «Приключения Одиссея». Но это перспектива весьма отдаленная: ведь вопрос о создании парка все еще не сдвинут с места. У «отцов» города Колпино иная задумка — застроить «Пионерский» парк теннисными кортами. Любопытно, где они найдут столько теннисистов! А вот идея сделать в парке аттракционов площадки для возрождения незаслуженно забытых русских народных спортивных игр их почему-то не увлекает...

Генеральный план развития Ленинграда и Ленинградской области до 2005 года предусматривает удовлетворение потребности в современной, здоровой, красивой и разумной индустрии развлечений как для молодежи, так и для взрослых. Для двух таких крупных центров даже зарезервирована территория. Но мощности подрядных организаций не позволяют претворить идею хотя бы одного из таких центров методом народной стройки.

Выход всегда можно найти, если его искать. В условиях хозрасчета и самоокупаемости колпинский парк, например, можно построить на кооперативных началах. Возможно и учреждение акционерного общества. Оборудование (по разовым заказам) вполне под силу десяткам ленинградских предприятий, располагающих некондиционными строительными материалами. Потенциальная рабочая сила — студенческие строительные отряды, неформальные молодежные объединения, старшеклассники, просто люди, желающие подработать...

Итак, «виновников» у затронутой темы оказывается множество. А виноватых? Увы, без вины виноватыми остаются колпинские дети, от нечего делать самостоятельно отыскивающие себе сомнительные развлечения в парке с многообещающим названием — «Пионерский». А дети других городов?

Изыскания

Михаил КРАЛИН

«ПОБЕДИВШЕЕ СМЕРТЬ СЛОВО»

Когда Анна Андреевна Ахматова в ноябре 1961 года лежала в больнице имени Ленина на Васильевском острове в Ленинграде, она записывала в «больничный блокнот» некоторые сокровенные мысли, подводя итоги: у нее случился обширный инфаркт, уже не первый, и даже ей, провидице и пророчице, не были ясны «последние сроки»...

«Ты! кому эта поэма принадлежит на 3/4, так как я сама на 3/4 сделана тобой, я пустила тебя только в одно лирическое отступление (царскосельское). Это мы с тобой дышали и не надышались сырым водопадным воздухом парков („сии живые воды“) и видели там 1916 г. (нарциссы вдоль набережной)».

Эта запись, несколько эпистолярная по стилю, обращена к человеку, умершему в 1919 году. К Николаю Владимировичу Недоброво. Его образ, его «страдальческая тень» не отпускали Ахматову никогда.

Ахматова не слишком любила говорить о своих учителях в поэзии и в жизни. Пожалуй, за исключением Иннокентия Анненского, ничьего учительства она не признавала. И вот — «я на 3/4 сделана тобой»!..

Когда они познакомились — неизвестно. Вероятно, чуть раньше 1 октября 1913 года, когда Недоброво писал своему закадычному еще с харьковской гимназии другу Борису Васильевичу Анрепу: «Источником существенных развлечений служит для меня очень способная поэтесса Анна Ахматова». Быть может — 4 апреля 1913 года, когда в Петербурге состоялось первое заседание Общества поэтов. Блок впервые тогда вынес на суд публики свою драму «Роза и Крест», а председательствовал Недоброво, один из основателей Общества (после выступления Блока он прочел доклад «О связи некоторых явлений русского стихотворного ритма с дыханием»).

Сохранилось письмо поэта А. Д. Скалдина к Ахматовой от 1 апреля 1913 года, где он просит ее принять участие в первом заседании кружка и сообщает адрес Недоброво. Значит — тогда они еще не были знакомы. А на том вечере Ахматова присутствовала наверняка (по воспоминаниям поэта В. Пяста, она и потом не пропускала ни одного заседания).

Ждала его напрасно много лет.
Похоже это время на дремоту.
Но воссиял неугасимый свет
Тому три года в Вербную субботу.

Вербная суббота 1913 года приходилась на 3 апреля, накануне первого заседания Общества поэтов! Возможно, Ахматова воспользовалась приглашением Скалдина и зашла к Недоброво за повесткой — своего рода пропуском на заседание Общества. Эта-то встреча и могла послужить поводом для написания стихотворения «Ждала его напрасно много лет».

Знакомство быстро переросло в тесную дружбу. Годы 1914—1915 стали для Ахматовой «царскосельской идиллией». 27 апреля 1914 года Недоброво делился с Анрепом: «Попросту красивой ее назвать нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок и генсборовский портрет маслом, и икону темперой, а пуще всего, поместить ее в самом значущем месте мозаики, изображающей мир поэзии». Анреп, мозаичист по основному роду своих занятий, воспользовался этим советом много лет спустя: в 1953 году он выполнил для Национальной галереи в Лондоне мозаику, изображающую Анну Ахматову.

12 мая Недоброво снова пишет Анрепу: «Через неделю нам предстоит трехмесячная, по меньшей мере, разлука. Очень это мне грустно. Лето мое начнется в начале июня. Я, вероятно, полностью проведу его в Крыму: мне хочется не иметь никаких обязанностей, даже лечебных, не иметь новых впечатлений, а, отдыхая телом на старых местах, писать побольше для того, чтобы развлекать Ахматову в ее „Тверском уединении“ присылкой ей идиллий, поэм и отрывков из романа под заглавием „Дух дышит, где хочет“ и с эпиграфом:

И вот на памяти моей
Одной улыбкой светлой боле,
Одной звездой любви светлей».

Упоминаемый Недоброво роман не сохранился, но его заглавие Ахматова использовала через много лет как эпиграф в одном из вариантов «Поэмы без героя». В 1914 году она пишет в «Завещании»:

Моих друзей любовь, врагов моих вражду,
И розы желтые в моем густом саду,
И нежность жгучую любовника — все это
Я отдаю тебе, предвестница рассвета.

И славу, то, зачем я родилась,
Зачем моя звезда, как некий вихрь, взвилась
И падает теперь. Смотри, ее паденье
Пророчит власть твою, любовь и вдохновенье.

Образ, подсказанный Николаем Владимировичем, Ахматова использует и в других стихах:

Но в путаных словах вопрос зажжен:
«Зачем не стала я звездой любовной?».

В том же году Недоброво читает в сборнике «Четки» ее «Стихи о Петербурге»:

Ты свободен, и свободна,
Завтра лучше, чем вчера,—
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

И уже на следующий год печатает в издании, представляющем ныне библиографическую редкость («Невский альманах. Жертвам войны — писатели и художники», Пг., 1915), собственное стихотворение, явственно перекликающееся с ахматовским,— «Светлое воскресение четырнадцатого года». В нем есть такие строки:

Свободна ото льда к пароходов,
Вся в тонких струйках искрится Нева
И, пышно поделясь на рукава,
Объемлет к, колебля в чистых водах,
Лелеет радостные острова!

А сердце полным роздыхом природы,
Овеянным благословенным днем,
Во мне расширено до той свободы,
Что ничему теперь не тесно в нем.



Н. В. Недоброво. Фото 1914 г.

Весной 1914 года Недоброво работал над статьей о творчестве Ахматовой, напечатанной в седьмом номере журнала «Русская мысль» за 1915 год. Отмечая, что «у Ахматовой есть дар геройского освещения человека», он в примечании, написанном уже в дни войны, прямо связывает ее поэзию с действительностью: «Надобно вспомнить, что это писалось весною 1914 г. С тех пор история снова заполнила всю жизнь человечества такими жертвенными делами и такими роковыми, каких и видано прежде не бывало. И слава богу, что люди действительно оказались беспредельно прекраснее, чем о них думали, это в особенности относится к тому, столь оклеветанному до войны, русскому молодому поколению, к которому принадлежат почти все рядовые и младшие офицеры нашей армии и которое, таким образом, выносит на себе светлое будущее России и мира. К Ахматовой надо отнестись с тем бо́льшим вниманием, что она во многом выражает дух этого поколения и ее творчество любимо им».

Роль этого человека в поэтическом становлении Анны Ахматовой — не только в том, что он предсказал в своей статье будущее ее поэзии. Он был первым, кто обратил ее внимание на важность традиции, на роль Пушкина и поэтов пушкинской плеяды в развитии русской поэзии вплоть до начала XX века. «Ахматова,— вспоминала Сазонова-Слонимская,— не позволяла публичных восхвалений. Когда на литературном собрании в редакции журнала „Аполлон“ после напечатания поэмы „У самого моря“ один из ораторов сравнил ее поэму с лермонтовским „Мцыри“, Ахматова, сидевшая в первых рядах, бесшумно встала и молча удалилась, оставив всех в растерянности. Недоброво, с подчеркнутою старинностью, выражал восхищение ее стихами в том, что коленопреклоненно надевал ей ботинки, но не сравнивал ее ни с Лермонтовым, ни с Пушкиным».

Недоброво любил читать стихи вслух, сопровождая Ахматову в прогулках. Однажды, гуляя по Екатерининскому парку в Царском Селе, они подошли к статуе «Девушка с кувшином». И Недоброво чистым и звучным голосом, как-то особенно выделяя, округляя гласные, прочитал знаменитые пушкинские строки. В его голосе слышалось нечто, похожее на влюбленность. В этот старинный парк, в эту статую, в поэзию Пушкина. Недоброво как бы представительствовал за своего предка: Ахматова знала, что ее спутник — прямой потомок Григория Пушки, одного из прародителей рода Пушкиных. Вскоре и она написала свою «Царскосельскую статую».

В 1916 году Недоброво уехал на юг лечиться от туберкулеза. Он знал, что дни его сочтены. Последнее их свидание со-

стонлось в Бахчисарае. И Ахматова тоже знала, что прощается с другом навсегда:

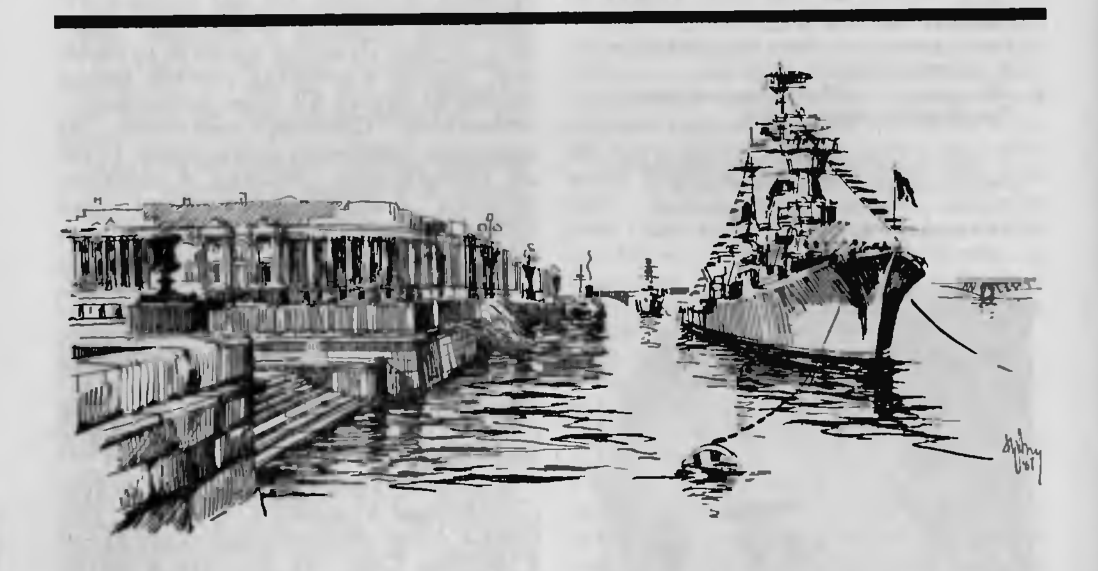
Чтобы песнь прощальной боли
Дольше в памяти жила,
Осень смуглая в подоле
Красных листьев принесла
И посыпала ступени,
Где прощалась я с тобой
И откуда в царство тени
Ты ушел, утешный мой.

19 января 1920 года Сазонова-Слонимская писала из Ялты М. А. Волошину: «Третьего декабря умер Николай Владимирович Недоброво от болезни почек, неожиданно обнаружившейся лишь в нач[але] ноября». Его похоронили на Аутском кладбище недалеко от церкви, но впоследствии могила эта затерялась.

В 1949 году, вскоре после ареста сына, Ахматова сожгла бо́льшую часть своего архива, в том числе и письма Недоброво. А в «Поэме без героя» посвятила ему так называемое «царскосельское лирическое отступление» — самые нежные, самые проникновенные строки. Их она и вспоминала в «больничном блокноте» 1961 года:

А теперь бы домой скорее
Камероновой Галереей
В ледяной таинственный сад,
Где безмолвствуют водопады,
Где все девять мне будут рады,
Как бывал ты когда-то рад,
Что над юностью встал мятежной,
Незабвенный мой друг и нежный,
Только раз приснившийся сон,
Чья сияла юная сила,
Чья забыта навек могила,
Словно вовсе и не жил он.
Там за островом, там за садом
Разве мы не встретимся взглядом
Наших прежних ясных очей,
Разве ты не скажешь мне снова
Победившее смерть слово
И разгадку жизни моей?

Ленинградский альбом



В День Военно-Морского Флота боевые корабли входят в Неву. Их стальные громадины высятся над водной гладью торжественно и несокрушимо, а мачты их, как бы припомнив стройные силуэты петровских фрегатов, изо всех сил тянутся ввысь, к серому ленинградскому небу — в попытке хоть чуточку быть похожими на бесподобный шпиль Адмиралтейства.

И кажется, это им удается.

Впрочем, в такой праздник возможно все.

И глядя на причудливые нагромождения надстроек, мы зрим сквозь толщу времен всю историю Российского флота: здесь он начинался, здесь ежегодно отмечает свой День.

Ликующе бьются на ветру яркие флаги расцвечивания, звучно чмокает серый гранит невская волна, летят стремительные катера и бурунный след их рисует на воде длинные дуги.

Ничего этого нет на рисунке капитана 1-го ранга инженера В. А. Горбачева, но все это мыслится как реальность, как непременная принадлежность большого праздника.

Внимание, памятник!

Виктор КИРКЕВИЧ

ОСКОЛОК ВЕЧНОСТИ

Если ехать из Киева в сторону Володарки — районного центра, то на сто двадцатом километре, слева, начнет мелькать среди деревьев, как бы призывая, приманивая к себе, стройный силуэт церкви Покрова пресвятой Богородицы и святого Виктора.

Издалека она кажется необычайно легкой, эта церковь в селе Пархомовка, изящной — быть может, за счет своих строгих выверенных пропорций, но когда машина, повернув, пробежит еще полтора десятка километров, выяснится, что она довольно внушительных размеров: кирпичная, однокупольная, трехнефная, сорокавосьмиметровой высоты, к тому же в плане объединенная с пятиярусной колокольней и небольшой часовней-усыпальницей с куполком.

Архитектор — Владимир Александрович Покровский (1871—1931) — автор Собора конвоя его императорского величества и здания вокзала в Царском Селе, Государственного банка в Нижнем Новгороде, Ссудной казны в Москве, храма-памятника «Битве народов» под Лейпцигом. В советское время участвовал в строительстве Волховской ГЭС.

Что заставило его выстроить такое грандиозное сооружение именно здесь, вдали от Киева, в небольшом украинском селе? И помогал Покровскому в оформлении не кто иной, как Н. К. Рерих...

Объясняется все тем, что в Пархомовке в конце XIX — начале XX века жил инженер путей сообщения В. Ф. Голубев. Жители и сегодня с благодарностью вспоминают о выстроенных им школе, мельнице, ремесленном училище... А его сын Виктор Викторович — археолог, искусствовед, востоковед был другом Рериха и немало способствовал развитию его интереса к исследованию Индии. (Последние двадцать пять лет жизни Голубев трудился во Вьетнаме, добрая память о нем сохранилась и там.)

В 1903 году Виктор Викторович со своим младшим братом Львом решили в память отца, на месте его захоронения, построить величественный храм, своего рода памятник-усыпальницу, и пригласили для этой цели своих друзей — Рериха и Покровского, а также ярославских каменных дел мастеров, многие из которых после окончания работ остались жить в окрестных селах.

Церковь (освящение ее состоялось лишь благодаря хлопотам Александры Степановны Голубевой, дочери адмирала Макарова) построена в стиле «неорусского модерна» с применением различных архитектурных стилей, с использованием гранита, мрамора, шифера, металла, дерева, керамики, удачно подобранных по фактуре и цвету. В едином ключе (это было свойственно творчеству Покровского) созданы каменные ограда и ворота, бывшие дом священника и церковная сторожка. По свидетельству специалистов, в строительстве, впервые в России, применили железобетон. У входа — мраморная доска со стилизованно выполненным сообщением о захоронении Виктора Федоровича.

Центральнокупольное пространство имеет форму равноконечного креста, над его средней частью расположен грандиозный главный купол. А с востока внутреннее пространство замыкается алтарем.

Подготавливая роспись алтарной части, а также куполов и пилонов, Рерих создал дюжину картонных эскизов. Ими восхищался Огюст Роден, о чем Голубев писал Рериху. На одном, репродуцированном в 1916 году в альбоме издательства «Свободное искусство», изображены стоящие в ряд святые в коронах, бережно держащие (кажется, что одним только касанием) на высоко поднятых руках оригинальной формы кресты, словно сделанные из драгоценных камней. К сожалению, работы по этим эскизам не были выполнены: в 1905 году Виктор Викторович неожиданно уехал в Париж, и наблюдение за строительством перешло к другим лицам, не имеющим достаточного знания и вкуса. Возведение церкви было временно приостановлено, потом, вместо произведений Рериха, в центральном нефе появились росписи маслом, в стиле, близком к модерну, ремесленников-богомазов, взявших за основу сюжеты мозаики Софии Киевской — Оранту и Евхаристию. А купол и пилоны так и остались без живописи.

Где теперь эскизы Рериха — трудно предположить. По всей вероятности, они попали в Ханой [1], так как долго находились в собрании В. В. Голубева и потом, вероятно, вместе с его собранием рукопи-

[1] Это предположение высказал С. Н. Рерих в мае 1987 года.

сей и уникальной библиотекой были завещаны вьетнамскому народу.

Два портала, украшенные мозаикой Рериха, очень декоративны. Приглушенная гамма белого, голубого, зеленого и желтого при полном отсутствии черного и красного подчеркивает интересную, своеобразную трактовку образов.

Видимо, и сам автор был удовлетворен: в левом нижнем углу «Спаса нерукотворного» на сколе мозаики легко прочитывается надпись «Н. Рерих».

Не менее интересна и Богоматерь, Матерь Мира — прародительница всего сущего, хранительница жизни на Земле. «Матерь Мира,— писал Рерих,— сколько необыкновенно трогательного и мощного слилось в этом священном понятии времен и народов». Символическая значимость этого персонажа настолько захватывает художника, что он возвращается к нему неоднократно, наполняя все новым и новым содержанием, особенно в годы создания знаменитого Пакта Рериха — движения в защиту мира на Земле.

За церковными ликами Рериху виделись многозначные древние символы человеческой мудрости и всевидения, единения, счастья, радости, величественного всепоглощающего женского начала. Матерь Мира воплощала в себе весь окружающий мир, обязанный ей своим существованием. Она была образом Родины. В постановке фигуры, в одежде, в использованной цветовой гамме чувствуется влияние мозаик Софии и Михайловского собора в Киеве, в 1896 году потрясших Николая Рериха. «Восторг Ярослава при виде блистательной Софии,— напишет позднее проникновенно чувствующий прошлое Николай Константинович в статье „Матери городов",— безмерно далек от вполн современного дикаря при виде яркости краски. Это было восхищение культурного человека, почуявшего памятник, ценный на многие века. Так было; такому искусству можно завидовать; можно удивляться той культурной жизни, где подобное искусство было нужно».

Центральное место в композиции, кроме женской фигуры, занимают изображения каменных стен, башен и ворот. Все это, мощное и монументальное, по всей видимости, должно было выражать идею, что не «божественные покрова» защищают людей, а их созидательный труд, результатом которого явились и эти укрепления, как бы повторяющие стилизованный каменный забор, окружающий церковь. Очень красив фон в виде клубящихся облаков: не золотая плоскость, мертвая и холодная, применяемая во многих церквах XIX века, а переливающаяся в лучах солнца или мерцающая при свете луны и изменяющаяся на наших глазах.

Мозаика изготавливалась в петербургской мастерской профессора Владимира Александровича Фролова (1874—1942), под наблюдением и при участии самого Рериха, а выкладывалась «обратным способом» — по контуру фигур (пространство между ними заполнялось смальтой). Дорогостоящая и трудоемкая в работе мозаика в церковном строительстве применялась относительно редко, преимущественно в искусстве древнего Киева. И все же именно она стала впоследствии любимым материалом художника: даже некоторые его картины имеют много общего с мозаикой. Чтобы получить заказ на такие работы, нужно было согласие церковных деятелей. Рерих же настораживал их своей чересчур свободной художественной манерой, неканоничностью. В 1906 году он пишет: «Что делать и зачем делать таким как Врубель, среди толпы, среди всей тяготы, запрудившей наше искусство? У нас так мало художников со свободной душой, полной своих песен. Надо же дать Врубелю сделать что-либо цельное: такую храмину, где бы он был единым создателем. Увидим, как чудесно это будет... Неужели, чтобы получить доступ сказать широкое слово, художнику прежде всего нужна старость?».

Николай Константинович напрасно ожидал разрешения работать в мозаике, его стремление наталкивалось на глухое сопротивление высшего духовенства. Стремясь избежать канонически регламентированных художественных форм и уйти от проторенных путей официозного искусства, художник ищет возможность проявить свой творческий темперамент — и его искусство прорывает границы чистой эстетики. Церковный образ становится лишь формой и способом, через него Рерих передает свое отношение к миру и человеку, стремится подчеркнуть в религиозных образах и сюжетах волевое, созидательное начало и творческую деятельность.

Впоследствии, в 1938 году, он писал: «Мозаика всегда была одним из любимых моих материалов. Ни в чем не выразить монументальность так твердо, как в мозаичных наборах. Мозаика дает стиль, и в самом материале ее уже зарождается естественное стилизирование. Мозаика стоит, как осколок вечности. В конце концов и вся наша жизнь является своего рода мозаикой. Не будем думать, что можно сложить повествование или жизнеописание, которое бы не было мозаичным. Не только мозаична целая жизнь, не только мозаичен год жизни, но и день жизни уже состоит из мозаики».

Безусловно, много потерял интерьер церкви из-за отсутствия работ Рериха, но тем не менее обилие архитектурных деталей обогащает внутреннее пространство: это перепевы приемов, свойственных различным национальным стилям всех эпох,— древнерусскому и барокко, готическому и мавританскому, а галерея переносит на юг Франции XV века. Особенное впечатление производит центральный алтарь, где прослеживается много восточных, в частности индийских мотивов, соседствующих с символами раннеславянской эпохи. Здесь же, на иконостасе, мастера вырезали каменную крепость, похожую на Изборскую; за ее стенами видна беседка, характерная для Ближнего Востока, соседствующая с многокупольной украинской деревянной церковью, встречающейся в Карпатах. В правой части — «древо жизни» с диковинными птицами. Везде — на кованых дверях, решетках окон, лестнице на большие хоры, на скамьях и подставках для книг — разбросана древняя символика, имеющая глубокие дохристианские корни, ведущая в глубь истории.



Церковь Покрова. Снимок 1987 года

Своеобразен и наружный декор. Под куполом колокольни — изображение огня, проросшего зерна, елочки (символ зарождающейся жизни), лестницы, клещей, молотка, стрелы, ползущей змеи в сочетании со словом «император», петуха с надписью «Николай II». На центральном барабане снаружи, над оконными проемами, Покровский изобразил, правда контурно, основные свои творения...

Работы по восстановлению этого удивительного памятника идут сейчас довольно быстро. В нем намечено создать краеведческий музей с экспозицией, посвященной Рериху, Покровскому, Фролову и семье Голубевых, а учитывая великолепную акустику строения — и театральный зал, где будет проводить концерты Советский фонд культуры.

Все это лишний раз подтверждает веру Николая Константиновича в многогранность и богатство народной души: «Только таким широким народным посевом можно создавать племя молодое, новое и знакомое по общим устремлениям к высокому качеству труда».

Ю. СЯКОВ, А. ЦВЕТАЕВ

ЗАКОНСЕРВИРОВАННАЯ ПАМЯТЬ

В стороне от шумной автострады Ленинград — Петрозаводск, поближе к Загубскому охотничьему заказнику, расположилась неприметная деревенька Надкопанье. С одного ее боку неторопливо плещутся спокойные воды широкой Паши, а на все другие стороны света раскинулись угодья совхоза «Пашский». Хозяйство крепкое, специализируется на откорме крупного рогатого скота, имеет многомиллионные прибыли.

Разговор о прибылях не случаен. И в деревне, и у рабочих совхоза он возник в связи с некоторыми событиями. Неожиданно для всех на давно заброшенный погост, где тихо доживает свой век красивая, но основательно разбитая и всеми покинутая Рождественская церковь — памятник архитектуры XIX века,— пришли реставраторы ленинградского отделения специализированных научно-реставрационных производственных мастерских «Росреставрации». Появилась техника, на помощь поторопились школьники, окрестности заполнила музыка из динамиков, создающая хороший



рабочий настрой. «Совхоз выделил деньги на восстановление церкви»,— говорили люди.

Но они ошиблись. Совхоз «Пашский» не дал на реставрацию ни копейки, средства были изысканы Управлением культуры Леноблисполкома.

— На восстановление Рождественской церкви выделено девяносто тысяч. Но по ходу дела всплыло много дополнительных работ, не предусмотренных сметой, так что все будет стоить дороже,— сказал бригадир реставраторов Анатолий Васильевич Мельников.

Восемь реставраторов очистили памятник от мусора, начали его консервацию. Особое внимание уделено внешнему виду церкви, чтобы с дороги она смотрелась как невеста. Трогательно, не правда ли?

А в каких-нибудь шестидесяти километрах от Надкопанья, в том же Волховском районе Ленинградской области, тихо выветривается другой памятник старины — комплекс Староладожского историко-археологического и архитектурного музея-заповедника. Это древнее русское поселение на берегу седого Волхова существует, как свидетельствуют летописи и исландские саги, с начала VIII века. Здесь, на мысу при слиянии речки Ладожки с Волховом, появилась одна из первых на Руси каменных крепостей, ставшая самым северным боевым бастионом новгородцев на пути «из варяг в греки». Здесь — церковь Георгия XII века с сохранившимися фресками, и церковь Успения Богородицы этого же периода, и Никольский монастырь, основанный, по преданию, Александром Невским, и более поздний, Успенский женский монастырь, славившийся по всей России своими строгими правилами, в который после суздальского сыска по приказу царя Петра была сослана его первая жена Евдокия... На реставрацию всех этих, да и не только этих, жемчужин земли волховской в 1987 году выделили... восемьдесят тысяч рублей! На двенадцати уникальнейших объектах работают всего... пятеро чернорабочих из местных, приносящих больше вреда, чем пользы...

Так почему же предпочтение отдано памятнику, по своему значению, исторической ценности намного уступающему всемирно известному комплексу?

Не потому ли, что мимо Рождественской церкви проходит довольно оживленная магистраль, по которой ежедневно проносятся сотни автомашин и с любознательными туристами, и с высокопоставленными начальниками? А Старая Ладога, на свою беду, находится в стороне от трассы, и ее разрушающиеся памятники не видны с «шоссе союзного значения»...

Никольский монастырь практически закрыт для посетителей. На его главном соборе неоднократно устанавливали строительные леса, их разрушало время, а реставрация не продвинулась ни на шаг. Даже люди до сих пор из него не выселены... В Успенском монастыре расположилась вспомогательная школа для недоразвитых детей. Церковь Успения Богородицы, центр монастырского ансамбля, также закрыта для посетителей: ее купол обшили досками — и на этом «реставрация» закончилась. В крепости, где сосредоточены основные «силы» реставраторов, дела уже много лет идут черепашьими темпами. К тому же крепость реставрируется без учета исторических особенностей: исчезли, например, зубцы-бойницы на стенах. Фрески церкви Георгия (XII век!) после гибели в годы войны новгородских фресок домонгольского периода приобрели особое значение, но и на этом памятнике реставрационные работы ведутся безобразно медленно...

— Сколько раз поднимали вопрос, чтобы сократили количество реставрируемых памятников, взялись бы за один, два и сдали их в эксплуатацию,— сетует директор Староладожского музея-заповедника Людмила Александровна Губчевская.— А так получается, что на наших объектах ежегодно осваивается по пять-семь тысяч рублей. Этого хватает только на то, чтобы сделать первоочередные работы по консервации, приостановить дальнейшее разрушение памятников. Лишь в 1986 году был наконец отреставрирован дом Шварца, где мы разместили музейные экспозиции и открыли к ним доступ. В остальном же дело не продвигается...

Можно понять директора, его заботы. В нынешнее десятилетие известность Старой Ладоги заметно выросла. Массовое увлечение историей приводит сюда туристов со всех уголков страны. Но экскурсоводы вынуждены предлагать им только обзорные экскурсии. Основные памятники реставрируются. Привлекает староладожская земля внимание и ученых, именно здесь в последние годы сделано немало интереснейших открытий, позволивших совсем по-иному взглянуть на древнюю историю нашей Родины. Наконец, есть в истории Старой Ладоги еще одна удивительная страница, связанная с творчеством таких выдающихся русских живописцев, как О. А. Кипренский, А. О. Орловский, П. Е. Заболотский, Б. М. Кустодиев, И. К. Айвазовский, Н. К. Рерих. С северной стороны Успенского монастыря находилась усадьба известного петербургского мецената А. Р. Томилова (это его дочь вышла замуж за Е. В. Шварца, построившего дом, где сегодня расположились экспозиции музея-заповедника)...

Интересных памятников деревянного зодчества в Волховском районе наберется с десяток: Никольская церковь в деревне Вольково, прекрасная деревянная церковь, охраняющаяся государством, в де-

ревне Немятово — в пятнадцати километрах от Старой Ладоги, уникальная древняя часовенка в селе Хвалово, где по соседству, в деревне Столбово, в феврале 1617 года был заключен мирный договор со шведами. А сколько их рядом — в Лодейнопольском и Подпорожском районах!

Энтузиасты, любители русской старины, давно уже предлагают на базе Староладожского музея-заповедника создать комплекс памятников деревянного зодчества, собрав их в одно место из всех северо-восточных районов области. В Паше, Сторожно, Николаевщине, Ивановском Острове до сих пор стоят интереснейшие деревянные строения прошлого: дома и амбары, бывшие помещичьи усадьбы и хозяйственные постройки.

Увы, все хорошо складывается и видится лишь в перспективе. Радужные планы энтузиастов наталкиваются на грустную реальность — острый недостаток средств и отсутствие толковых мастеров-реставраторов. Неразбериха в этом деле постепенно губит Старую Ладогу и может привести к утрате уникальных памятников. Не придется ли нам спасать этот удивительный уголок русской земли, как мы бросились теперь дружно на помощь Ладожскому озеру, словно не замечая все предыдущие годы, как оно постепенно, но верно загрязнялось?

Однажды редакция районной газеты «Волховские огни» в порядке эксперимента призвала любителей истории приехать в выходной день в Старую Ладогу и помочь сотрудникам музея убрать на реставрируемых памятниках мусор. На призыв откликнулось около двадцати пяти человек. Мало! И все же за несколько часов они сделали больше, чем рабочие-реставраторы за неделю.

Музею-заповеднику Старой Ладоге нужны не только внимание, но и существенная помощь. Вспоминается разговор с археологом из Швеции. «Если бы Ладога была у нас,— сказал он,— мы бы сделали из нее центр международного туризма. Уникальное место с точки зрения истории»...

Библиофил

Петр МАТКО

НЕОТМЕЧЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ ШВЕЙКА

В 1986 году бравый солдат Швейк отметил два юбилея: семидесятипятилетие своего литературного рождения (первый рассказ Ярослава Гашека «Швейк против Италии» был опубликован в 1911 году в пражском журнале «Карикатуры») и шестидесятипятилетие выхода в свет первой части «Похождений бравого солдата Швейка» в Праге. Третий юбилей — шестидесятилетие встречи этого популярного персонажа с русским читателем, к сожалению, остался вне внимания.

В 1926 году ленинградское рабочее издательство «Прибой» издало первую часть романа. На красочно оформленной обложке форматом сто тридцать на сто восемьдесят миллиметров значилось: «Ярослав Хашек. Приключения бравого солдата Швейка», на титульных листах первой и второй (1927) частей — «Перевод с немецкого Г. А. Зуккау», а третьей (1927) и четвертой (1928) — «Перевод А. Г. и Г. А. Зуккау».

Почему Хашек, а не Гашек, приключения, а не похождения, почему перевод с немецкого, а не с чешского, и, наконец, кто они — А. Г. и Г. А. Зуккау?

В начале 1921 года Гашек пытался организовать собственное издательство, не прибегая к услугам частных книгоиздателей: знал, что для них на первом месте собственная прибыль, а интересы автора где-то на заднем плане. Но для этого нужны деньги, а у Гашека их нет. И тогда он попытался создать издательскую компанию. В нее вошли, кроме него самого, владелец небольшого магазина Франта Сауэр, его брат жестянщик Арношт и фотограф Антонин Чермак, обнадеженный тем, что на литературе можно заработать «большие деньги». Однако вскоре обнаружилась финансовая несостоятельность издательства Гашек-Сауэр и К°. Гашек вынужден был договориться с книгоиздателем Адольфом Сынеком, и тот, весьма искушенный в этих делах, сообразил, что деньги сами плывут к нему в руки. Сынек издает в виде книги («Швейк» вначале выпускался тетрадями по тридцать две страницы) первую часть романа. Уже в 1922 году она выходит пятым изданием, вторая — четвертым, а третья часть — вторым.

Четвертая часть романа остается неоконченной: автор умирает 3 января















1923 года. И тогда Сынек поручает писателю Карелу Ванеку закончить ее и затем сочинить пятую и шестую части под названием «Приключения бравого солдата Швейка в русском плену» (опубликованы издательством «Прибой» в 1928—1929 годах).

Однако возможности распространения «Швейка» на чешском языке были не безграничны, и издатель принимает решение перевести роман на один из европейских языков, не потеряв при этом возможности сбыта книги и в собственной стране. Таким требованиям наиболее отвечал немецкий: им владела значительная часть жителей Чехословакии, долгие годы находившейся в составе Австро-Венгрии.

С большим трудом в Праге был найден переводчик — писательница Грета Рейнер, и в 1926 году «Швейк» издается Сынеком на немецком языке. Потому-то и была первая его часть переведена Г. А. Зуккау с немецкого. Отсюда — и Хашек, и основное значение немецкого слова «абентойер» — приключения. 7 декабря 1928 года в рецензии на книги Гашека, вышедшие в издательствах «Прибой» и «Земля и фабрика» (ЗИФ), газета «Правда», между прочим, отмечала, что «называть Гашека — Хашеком все равно, что Яна Гуса называть Хусом. Неправильная транскрипция приносит много хлопот библиотекам...». Лишь с 1929 года, когда «Швейк» был впервые переведен П. Г. Богатыревым с оригинала, фамилия писателя и название романа стали такими, какими их знаем мы.

Кто же они, первые переводчики «Швейка» на русский?

Попытка отыскать фамилию Зуккау в общих и литературных энциклопедиях ничего не дала. Для обращения в адресное бюро необходимо знать имя и отчество, год и место рождения. К тому же в военные годы многие ленинградцы были эвакуированы, многие погибли. Издательство «Прибой» еще в 1930 году влилось в Госиздат РСФСР, да и тот неоднократно реорганизовывался...

И вдруг — совершенно неожиданная и счастливая находка — очерк Л. Очаковской в двадцать девятом номере «Недели» за 1986 год: «Один из Смирновых. Это было в Ленинграде». В нем приведены отрывки из дневника П. Н. Смирнова, одного из многих тысяч ленинградцев, умерших от голода во время блокады. Но самое для меня интересное — авторский комментарий: «„Мы жили эту зиму в Ленинграде" — так назвал свою поэму ленинградский поэт Владимир Зуккау-Невский. Поэма была прочитана по ленинградскому радио в январе сорок второго. Поэт знал, что такое блокада: в сорок первом при артобстреле города была убита его мать... Зуккау-Невский воевал рядовым... В сорок седьмом его приняли в Союз писателей, а в пятьдесят первом, в возрасте сорока лет, он умер...».

Не был ли Зуккау-Невский племянником Г. А. Зуккау? Ведь девичья фамилия матери Владимира была Невская, и после ее гибели поэт-фронтовик вполне мог принять двойную фамилию — в память о самом дорогом человеке...

А вскоре я получил из Ленинграда... адрес Сергея Владимировича Зуккау — сына Владимира Зуккау-Невского и внука А. Г. и Г. А. Зуккау! Продолжая традиции бабушки и дедушки, он тоже стал литератором-переводчиком.

Переписка с ним и помогла установить интересующие меня сведения о первых переводчиках «Швейка»: А. Г. — это Алиса Германовна, а Г. А. — ее муж, Герберт Августович. Что же касается их сына — Владимира, то этот поэт подписывался двойной фамилией еще в довоенные годы.

Среди сведений, сообщенных мне ленинградцами, было и такое: в Москве живет Вера Израилевна — вдова Владимира Зуккау-Невского. От них я узнал, что Алиса Германовна погибла в 1941 году в возрасте пятидесяти трех лет, что родилась она в весьма интеллигентной семье, владела несколькими языками и была профессиональной переводчицей. Ее муж, юрист Герберт Августович, на два года старше ее, после Великой Октябрьской революции тоже стал профессиональным переводчиком с немецкого. В 1930-е годы он был репрессирован, и дальнейшая его судьба неизвестна...

Вера Израилевна достает из альбома фотографию Владимира Гербертовича и, передавая ее мне, говорит:

— Это 1957 год.

— 1951-й?..

— Нет, именно 1957-й!

Показываю публикацию в «Неделе». Оказывается, Вера Израилевна ее не читала. И стали проступать детали... В. Зуккау-Невский умер в 1968 году, а не в 1951-м; его поэма «Мы жили эту зиму в Ленинграде» была прочитана в ленинградской «Радиохронике» 18 июня 1942 года, а не в январе...

Связываюсь с автором очерка — Лениной Семеновной Очаковской, специальным корреспондентом отдела писем газеты «Известия», и прошу сообщить, какими источниками она пользовалась. Оказалось — материалами о В. Зуккау-Невском, хранящимися в Ленинградском государственном архиве литературы и искусства (ЛГАЛИ). Теперь все должно встать на свои места.

На снимках: обложки книг Я. Гашека и К. Ванека, изданных в 1926—1929 годах

ОШИБКИ МОГЛО НЕ БЫТЬ

В журнале «Нева» (№ 9 за 1987 год) вышла моя статья «Фото, которых тогда не было». Я приношу благодарность Е. И. Лубянниковой за то, что она помогла обнаружить в ней ошибку, в основе которой лежит доселе не выявленная ошибка составителей книги «Волошин-художник» (1977 г.). Там, на странице 149, под фотографией неверно значилась Майя Кювилье, что послужило причиной моей ошибочной передатировки ряда снимков из книги А. Саакянц и статьи В. Н. Такасийчука с 1911-го на 1914-й. Однако другие ошибки, встречавшиеся мне в ранних публикациях из числа описанных в статье «Фото, которых тогда не было»,— не снимаются.

Л. Козлова
г. Ульяновск

НАШИ АВТОРЫ

● СУХОРУКОВА Мария Арсентьевна. Родилась на хуторе Ярыженском в Волгоградской области. Окончила Волгоградский пединститут. Работала преподавателем средней школы. Опубликовала подборки стихов в журналах «Юность», «Волга», «Сельская молодежь». Автор поэтической книги «Под солнцем» (1977). Живет в селе Красный Оселок Горьковской области.

● АГЕЕВ Леонид Мартемьянович. Родился в 1935 году в Ленинграде. Окончил Горный институт. Работал в научных учреждениях и в геологических экспедициях. Печатается с 1958 года. Автор многих поэтических книг. Член СП. Живет в Ленинграде.

● АДМОНИ Владимир Григорьевич. Родился в 1909 году в Петербурге. Литературовед, лингвист, переводчик, поэт, критик. Доктор филологических наук, профессор. Автор многочисленных научных работ по истории немецкой и скандинавской литератур, по теории перевода и лингвистике, а также переводов произведений западноевропейской классики. Неоднократно выступал в печати с публикацией оригинальных стихотворений. Член СП. Живет в Ленинграде.

● СПАСОВ Осип Борисович. Родился в 1946 году в Ленинграде. Работал слесарем, механиком, киноинженером, преподавателем. Окончил философский факультет ЛГУ. Печатался в журналах «Звезда», «Нева», «Аврора», в альманахах и сборниках. Живет в Ленинграде.

● ПАВЛОВСКИЙ Алексей Ильич. Родился в 1926 году в Ленинграде. Окончил литературный факультет и аспирантуру ЛГПИ имени А. И. Герцена. Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинского дома) АН СССР. Автор книг и статей по истории советской литературы, монографий о творчестве О. Берггольц, А. Ахматовой. Член СП. Живет в Ленинграде.

Сдано в набор 25.03.88. Подписано к печати 27.05.88. М-31506. Формат бумаги 70×108 1/16. Бумага кн.-журн. Печать высокая. 18,2+2 вкл.=18,55 усл. печ. л. 20,3 усл. кр.-отт 24,11+2 вкл.=24,44 уч.-изд. л. **Тираж** 555 000 экз. Заказ № 1410. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3
Телефоны: главный редактор, заведущая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 315-84-72, 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 312-70-35, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

